

3-264

И.И.ЗАМОТИНЪ  
**Ө.М.ДОСТОЕВСКІЙ**  
ВЪ РУССКОЙ КРИТИКЪ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ  
1846-1881

ВАРШАВА 1913





Пр. 2010

1229844

891

3-262.

OPK

У. Б.

КАМЫШЛОВСКОЙ  
ЖЕНС. ГИМНАЗИИ

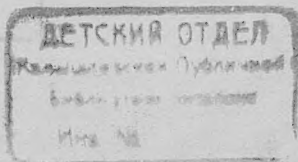
ИНВЕНТАРЬ № 3021.

И. И. ЗАМОТИНЪ ~~ОТДѢЛЪ~~ № 1197

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ  
ВЪ РУССКОЙ КРИТИКѢ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1846-1881



ВАРШАВА 1913

ТИПОГРАФІЯ ОКРУЖНАГО ШТАБА

1082a

Б. 5.



Ш15(2=Р)  
3-264

Печатано по опредѣленію Совѣта  
ИМПЕРАТОРСКАГО Варшавскаго Университета.

РЕКТОРЪ И. Н. ТРЕПИЦЫНЪ.

1229844

Научная библиотека  
Уральского  
Государственного  
Университета



Систематическій пересмотръ отзывовъ критики о томъ или другомъ писателѣ — одна изъ необходимыхъ предварительныхъ работъ, безъ которой историко-литературное изученіе художественнаго творчества даннаго лица не можетъ быть полнымъ. Такой пересмотръ, говоря вообще, даетъ историку литературы матеріалъ для сужденій о томъ, какъ отнеслась къ данному писателю современная ему общественная и литературная мысль въ лицѣ наиболее видныхъ своихъ представителей и къ какимъ выводамъ о немъ пришла послѣдующая, посмертная, его оцѣнка. Но на ряду съ этой прямой задачей на основаніи того же матеріала рѣшаются отчасти и нѣкоторые другіе вопросы большого историко-литературнаго значенія. Вопросы эти слѣдующіе: 1) о движеніи общественнаго сознанія въ эпоху, представленную соответствующими критическими матеріалами, 2) о характерѣ за то же время литературной критики, 3) о постепенномъ духовномъ ростѣ самого писателя, которому посвящена изучаемая группа отзывовъ критики и 4) о развитіи его литературной манеры. Изученіе послѣднихъ двухъ вопросовъ, проливающихъ свѣтъ на эволюцію литературныхъ идей и формъ, позволяетъ историку литературы проникать до нѣкоторой степени въ самый процессъ литературной дѣятельности даннаго лица и тѣмъ самымъ нѣсколько приближаетъ его къ рѣшенію наиболее важной проблемы историко-литературныхъ изысканій, представляющей собою и въ настоящее время искомое неизвѣстное, — именно къ построенію законовъ художественнаго творчества.

Въ этомъ направленіи предпринять и настоящій обзоръ критики о Достоевскомъ, остановившійся пока на современныхъ ему критическихъ отзывахъ. Насколько достигнуты поставленныя цѣли, — предоставляется судить читателю. Нѣкоторые выводы самого автора книги сгруппированы въ послѣдней главѣ. Авторъ будетъ, во всякомъ случаѣ, вполне удовлетворенъ, если его книга дастъ возможность историку литературы, не прибѣгая

къ новому пересмотру соответствующихъ газетъ и журналовъ 1846—1881 гг., заполнить и документально обставить тѣ страницы изслѣдованія о Достоевскомъ, которыя будутъ посвящены отношеніямъ къ писателю современной ему печати.

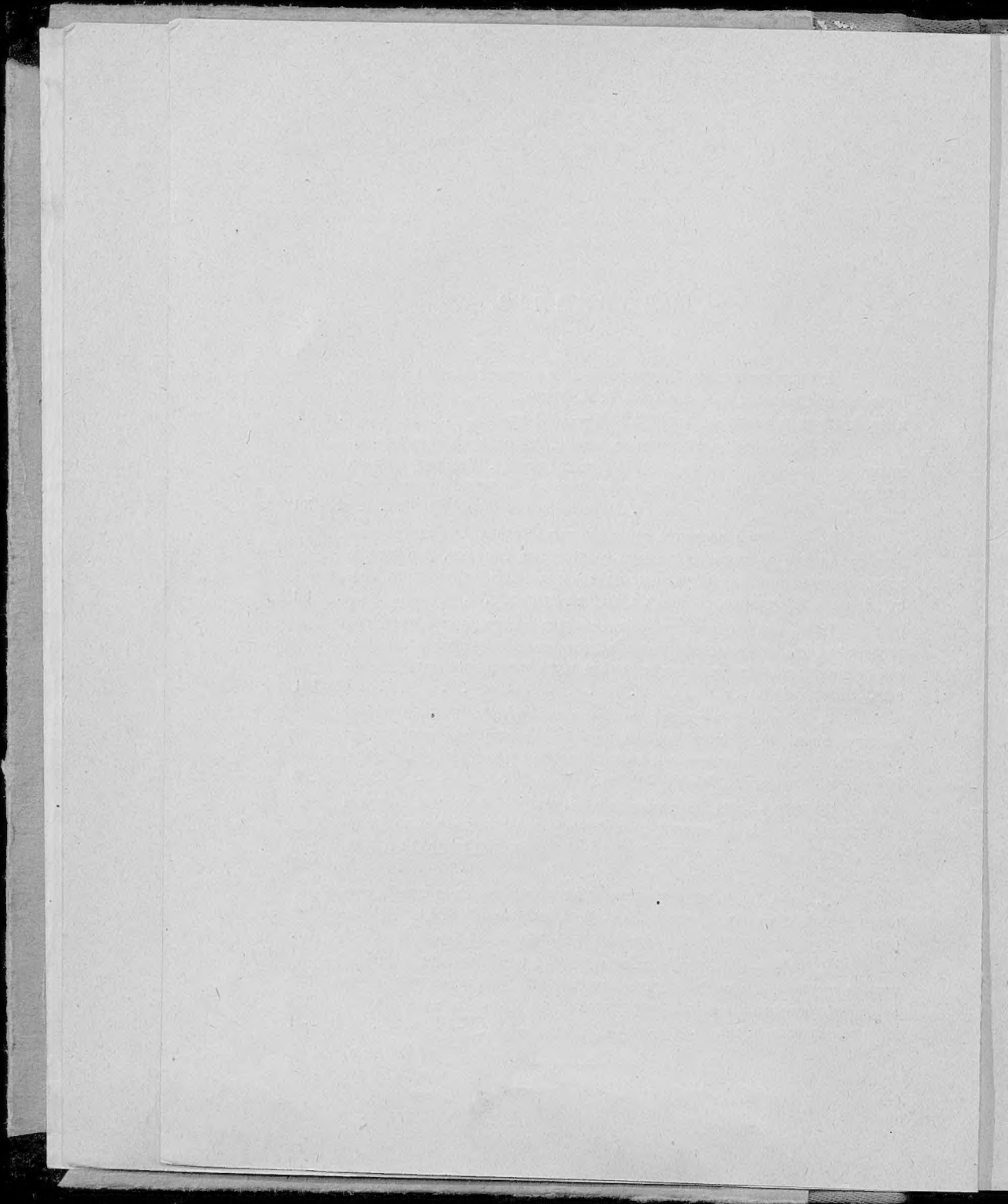
Въ основу самаго подбора критическихъ статей и замѣтокъ о Достоевскомъ, вошедшихъ въ настоящіе очерки, положенъ извѣстный „Библиографическій указатель сочиненій и произведеній искусства, относящихся къ жизни О. М. Достоевскаго, собранныхъ въ „Музей памяти О. М. Достоевскаго“ въ Московскомъ Историческомъ Музее Имени Императора Александра III. 1846 — 1903“ (Спб. 1906), составленный А. Г. Достоевской. Нѣкоторыя дополненія къ „Библиографическому указателю“... взяты изъ II-го тома (стр. 297—307) „Источниковъ словаря русскихъ писателей“ (Спб. 1910) С. А. Венгерова. Большая часть газетныхъ и журнальных справокъ и выписокъ съдѣлана въ Императорской Публичной Библіотекѣ благодаря любезному содѣйствію В. Н. Саитова, которому считаю долгомъ выразить глубокую благодарность.

Отнюдь не претендуя на составленіе толстаго по объему и случайнаго по характеру сборника критическихъ статей о Достоевскомъ, въ родѣ существующихъ уже въ обращеніи подобныхъ сборниковъ, авторъ имѣлъ въ виду дать лишь возможно полный систематическій обзоръ всего сказаннаго о Достоевскомъ въ печати за данный періодъ времени (1846—1881) вмѣстѣ съ историко-литературнымъ осмысленіемъ этого сырого матеріала; тѣмъ не менѣе въ книгѣ обильно цитируются для иллюстраціи обзора нѣкоторыя статьи, какъ болѣе цѣнныя по содержанію, такъ и менѣе доступныя для непосредственнаго пересмотра ихъ самимъ читателемъ. Изъ 250—300 статей и замѣтокъ, включенныхъ въ настоящій обзоръ, нѣкоторыя приводятся съ прямымъ обозначеніемъ ихъ авторовъ, для другихъ раскрыты по возможности литературные псевдонимы, которыми онѣ подписаны; многія статьи и замѣтки остались анонимными; всякія поправки и указанія въ данномъ отношеніи авторъ книги приметъ съ благодарностью.



## Оглавление.

	Стр.
I. Сороковые годы. Натурализм литературной манеры и западничество направления въ творчествѣ Ф. М. Достоевскаго. „Бѣдные люди“ и др. повѣсти и рассказы періода 1846 — 1849 гг. . . . .	1
II. Въ началѣ шестидесятыхъ годовъ. Отъ западническаго гуманизма къ гуманитарному освѣщенію русской жизни. Отъ натурализма отрицанія пошлости въ жизни къ натурализму утвержденія въ ней идеала. „Униженные и оскорбленные“. „Записки изъ Мертваго Дома“. . . . .	33
III. Во второй половинѣ шестидесятыхъ годовъ. Отъ прогрессивнаго гуманизма къ консервативнымъ тенденціямъ „почвы“. Отъ натурализма бытописанія къ натурализму психологическихъ изысканій. „Преступленіе и наказаніе“. „Идіотъ“. „Вѣчный мужъ“. . . . .	83
IV. Въ первой половинѣ семидесятыхъ годовъ. Консервативныя тенденціи „почвы“ въ оппозиціи къ „западническому прогрессу“. Вѣщный литературный шаблонъ и внутренняя психологическая правда. „Бѣсы“. „Подростокъ“. . . . .	131
V. Во второй половинѣ семидесятыхъ годовъ. Оппозиціонный консерватизмъ въ процессѣ собственнаго идеальнаго строительства на „почвѣ“. Простота литературной формы и величіе проникающей ее идеи. „Дневникъ Писателя“ 1876—1877 годовъ. . . . .	195
VI. 1879 — 1881. Художественная реализація идеала: русская дѣйствительность въ освѣщеніи религіозно-нравственныхъ воззрѣній Достоевскаго. Независимость литературной формы и литературной мысли. „Братья Карамазовы“. . . . .	223
VII. 1880. Историческое оправданіе идеала: прошлыя судьбы русскаго человѣка и его будущее „всемирное назначеніе“. Рѣчь Достоевскаго о Пушкинѣ и итоги его основныхъ взглядовъ въ критикѣ. . . . .	287
VIII. 1846 — 1881. Выводы: общественныя направленія и литературная критика, идеология Достоевскаго и его литературная манера въ освѣщеніи отзывовъ о немъ современной ему печати. . . . .	322
Указатель именъ. . . . .	331





## I. Сороковые годы. Натурализмъ литературной манеры и западничество направленія въ творествѣ **Θ. М. Достоевскаго**. „Бѣдные люди“ и др. повѣсти и рассказы періода 1846—1849 гг.

Вліяніе Гоголя и „натуральной школы“ на автора романа „Бѣдные люди“: зависимость его романа отъ гоголевскаго стиля, юмора, отъ гоголевскихъ художественныхъ образовъ и вообще отъ „эстетическихъ началъ, внесенныхъ въ наше искусство Гоголемъ“. Крайности „натурализма“ въ литературной манерѣ Достоевскаго: „миньонность“ формы и содержанія, однообразіе и слащавость языка. Художественная манера Достоевскаго передъ судомъ „эстетики чистаго искусства“. Достоинства литературной формы въ романѣ Достоевскаго. Итоги сужденій о литературной формѣ романа „Бѣдные люди“ въ статьяхъ Бѣлинскаго 1847—1848 гг. Общественная тенденція въ романѣ „Бѣдные люди“ и связь ея съ западнической идеологіей: Бѣлинскій и критика западническаго лагеря о гуманизмѣ автора „Бѣдныхъ людей“, Шевыревъ о его иноземной „филантропической тенденціи“. Отрицаніе идейности въ содержаніи романа. Вліяніе романа на читающее русское общество. Критика о повѣстяхъ и рассказахъ Достоевскаго за 1846—1849 гг.; общее въ нихъ по формѣ и содержанію съ романомъ „Бѣдные люди“; новыя наблюденія надъ творчествомъ Достоевскаго по поводу его повѣстей и рассказовъ: любовь автора къ анализу душевныхъ явленій, стремленіе къ „психологической исторіи помѣшателства“, „фантастичность колорита“ повѣстей и рассказовъ, иностранныя вліянія и иностранныя параллели въ нихъ, предчувствіе славянофильской тенденціи въ творествѣ Достоевскаго; недостатки повѣстей и рассказовъ по формѣ и содержанію. Общія заключенія критики о характерѣ художественнаго дарованія Достоевскаго и предвѣдніе его литературнаго будущаго.

Первое печатное произведеніе **Θ. М. Достоевскаго**, появившееся въ 1846 году <sup>1)</sup>, было встрѣчено пророческой фразой В. Г. Бѣлинскаго: „... Въ „Петербургскомъ Сборникѣ“ напечатанъ романъ „Бѣдные люди“ г. Достоевскаго—имя

<sup>1)</sup> „Петербургскій Сборникъ“, изданный Н. Некрасовымъ. Спб. 1846; отдѣльно: „Бѣдные люди“. Романъ Федора Достоевскаго. Спб. Въ типографіи Эдуарда Праца. 1847.

совершенно неизвѣстное и новое, но которому, какъ кажется, суждено играть значительную роль въ нашей литературѣ<sup>1)</sup>. Дѣйствительно, „совершенно неизвѣстное и новое“ имя сразу же привлекло къ себѣ вниманіе критики и вызвало цѣлый рядъ самыхъ разнообразныхъ и иногда противорѣчивыхъ толковъ. Несмотря однако на пестроту сужденій, сгруппировавшихся около романа „Бѣдные люди“, этотъ сырой, на первый взглядъ, матеріалъ журнальныхъ статей и замѣтокъ поддается—даже для этого ранняго періода дѣятельности знаменитаго романиста—нѣкоторой схематизаціи, по крайней мѣрѣ, въ отношеніи съ одной стороны—литературной, съ другой—общественной стихіи въ его творествѣ.

Литературная манера нашихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ, въ той или другой степени близкая къ творчеству Гоголя, опредѣлялась въ критикѣ этого времени обыкновенно терминомъ „натуральная школа“, подъ которымъ В. Г. Бѣлинскій понималъ стремленіе искусства къ „воспроизведенію дѣйствительности во всей ея истинѣ“<sup>2)</sup>. Самымъ выдающимся представителемъ этого стремленія для своего времени считалъ Бѣлинскій Гоголя, и къ нему, какъ совершенному образцу „натуральной школы“, возводилъ творчество другихъ, еще начинавшихъ свою дѣятельность, писателей сороковыхъ годовъ. Поэтому при появленіи романа „Бѣдные люди“, онъ, не отрицая оригинальности таланта Достоевскаго, заговорилъ въ то же время и о близости его къ литературнымъ приемамъ Гоголя. „Мы не хотимъ—говорить онъ—его (Достоевскаго) сравнивать ни съ кѣмъ, потому что такіа сравненія вообще отзываются дѣтствомъ и ни къ чему не ведутъ, ничего не объясняютъ. Скажемъ только, что это талантъ необыкновенный и самобытный, который сразу, еще первымъ произведеніемъ своимъ, рѣзко отдѣлился отъ всей толпы нашихъ писателей, болѣе или менѣе обязанныхъ Гоголю направленіемъ и характеромъ, а

<sup>1)</sup> „Отеч. Записки“ 1846, т. 44. VI. Библиографическая хроника. „Петербургскій Сборникъ“, изданный Н. Некрасовымъ. Стр. 45.

<sup>2)</sup> „Современникъ“ 1848, т. 7. „Взглядъ на русскую литературу 1847 года“, стр. 18.



потому и успѣхомъ своего таланта. Что же касается до его отношеній къ Гоголю, то если его, какъ писателя съ сильнымъ и самостоятельнымъ талантомъ, нельзя назвать подражателемъ Гоголя, то и нельзя не сказать, что онъ еще болѣе обязанъ Гоголю, нежели сколько Лермонтовъ обязанъ былъ Пушкину. Во многихъ частностяхъ обоихъ романовъ г. Достоевскаго („Бѣдныхъ людей“ и „Двойника“) видно сильное вліяніе Гоголя, даже въ оборотѣ фразы; но со всеѣмъ тѣмъ въ талантѣ г. Достоевскаго такъ много самостоятельности, что это теперь очевидное вліяніе на него Гоголя, вѣроятно, не будетъ продолжительно и скоро исчезнетъ съ другими, собственно ему принадлежащими, недостатками, хотя тѣмъ не менѣе Гоголь навсегда останется, такъ сказать, его отцомъ по творчеству. Продолжая эту реторическую фигуру сравненія, прибавимъ, что тутъ нѣтъ таже никакого намека на подражательность: сынъ, живя своею собственною жизнію и мыслию, тѣмъ не менѣе всетаки обязанъ своимъ существованіемъ отцу. Какъ бы ни великолѣпно и ни роскошно развился въ послѣдствіи талантъ г. Достоевскаго, Гоголь навсегда останется Коломбомъ той неизмѣрной и неистощимой области творчества, въ которой долженъ двигаться г. Достоевскій<sup>1)</sup>.

Такая же мысль о близости литературной манеры Достоевскаго къ Гоголю, но только въ болѣе рѣзкой формѣ, была высказана и въ другомъ, славянофильскомъ, лагерѣ нашей критикѣ. „...Замѣтно ли оригинальное художественное созданіе?“ Задастъ такой вопросъ С. П. Шевыревъ по поводу романа „Бѣдные люди“ и отвѣчаетъ слѣдующимъ образомъ: „Рѣшить такой вопросъ съ перваго раза очень трудно. Оригинальность художника опредѣляется формою его созданій. На формѣ лежитъ еще такая рѣзкая, неотразимая печать вліянія Гоголева, что мы не видимъ возможности освобожденія. Обвинять въ этомъ нельзя. Гоголева походка видна въ большей части произведеній нашей повѣствовательной и особенно драматической литературы. Трудно начи-

<sup>1)</sup> „Отеч. Записки“ 1846, т. 45, отд. V. Критика. „Петербургскій Сборникъ“, изданный П. Некрасовымъ, Спб. 1846. Стр. 7.

нающему отъ нея отдѣлаться. Въ слогѣ Макара Дѣвушкина такъ часто отзывается слогъ лицъ, выводимыхъ Гоголемъ. Юмористическія выходки такъ и пахнутъ его юморомъ "... 1)

Какъ это обыкновенно бываетъ, двѣ-три мысли, брошенные корифеями критики по адресу новаго писателя, были подхвачены рядовыми рецензентами и обозрѣвателями литературы и перетолкованы на нѣсколько ладовъ.

При этомъ одни изъ нихъ, отмѣчая близость Достоевскаго къ Гоголю, стали относить на счетъ подражательности комическій элементъ романа „Бѣдные люди“. „Въ этомъ романѣ два элемента поэзіи: серьезный и комическій, Первый гораздо болѣе второго носить на себѣ той художественской истины, которая такъ высоко цѣнится въ произведеніяхъ таланта. Комическое же здѣсь какъ-то изыскано и составляетъ замѣтное подражаніе тону, краскамъ и даже языку Гоголя и Квитки“ 2). „Главная причина недостатковъ скучнаго романа г. Достоевскаго“—читаемъ въ другой замѣткѣ вариацию на ту же тему—„заключается, по нашему мнѣнію, въ томъ, что онъ въ тонѣ своего разсказа хотѣлъ соединить юморъ Гоголя съ наивнымъ простодушіемъ покойнаго Основьяненки (Квитка). Пусть, въ дальнѣйшихъ опытахъ, онъ уклонится отъ соблазна наружнаго подражанія, устранивъ нелѣпыя теоріи фокусниковъ искусства, и, можетъ быть, лучше удастся“... 3)

Другіе, наоборотъ, приписывали вліянію Гоголя именно „серьзный“ элементъ романа „Бѣдные люди“. Такъ, по поводу героевъ этого романа высказывалось напр. такое мнѣніе: „...Въ самомъ созданіи этихъ лицъ, въ самой любви автора къ возведенію въ художественные образы этихъ, повидимому мелкихъ, отношеній проглядываетъ вліяніе Гоголя“... Въ частности, „что касается до героини романа, то при созданіи ея присутствовала мысль гоголевскаго „Невскаго проспекта“, только взятая въ обратномъ смыслѣ“. „Да не подумаютъ—оговаривается критикъ—, чтобы (sic) мы

1) „Москвитининъ“ 1846, ч. I, № 2. Критика. Петербургскій Сборникъ, изданный Н. Некрасовымъ. Статья С. П. Шевырева. Стр. 169.

2) „Современникъ“ 1846, т. 41. Новыя сочиненія. Стр. 273.

3) „Сѣверная Пчела“ 1846, № 25. Русская литература.



съ натяжкою отыскивали это сходство. Въ авторѣ на каждомъ шагу виденъ продолжатель, развитель Гоголя, хотя развитель самостоятельный и талантливый; скажемъ еще болѣе: авторъ анализируетъ явленія иногда даже больше Гоголя, роется въ нихъ глубже, если хотите“...<sup>1)</sup> Наконецъ, обобщеніе шло дальше, и въ произведеніяхъ Достоевскаго стали видѣть вообще „господство эстетическихъ началъ, внесенныхъ въ наше искусство Гоголемъ“...<sup>2)</sup> Еще одинъ шагъ впередъ по тому же пути—прикрѣпленія Достоевскаго къ Гоголю—, и Достоевскій оказался не только подражателемъ его, но и однимъ изъ крайнихъ представителей гоголевскаго „натурализма“: „Въ направленіи автора отразилось вліяніе Гоголя,—онъ принадлежитъ къ числу лицъ, которыхъ произведенія упрочили названіе натуральной школы за школою, которая считала своимъ главою и основателемъ великаго художника, едва-ли думавшаго объ основаніи какой-либо школы. Акакій Акакіевичъ гоголевской „Шинели“ сдѣлался родоначальникомъ многаго множества микроскопическихъ личностей: микроскопическія печали и радости, мелочныя страданія, давно уже вошедшія въ обыкновеніе у повѣствователей, подъ перомъ г. Достоевскаго... доведены до крайняго предѣла“<sup>3)</sup>.

При такомъ характерѣ вліянія „копированіе“ Гоголя дѣлается въ ущербъ художественности и самостоятельности разсказа и становится однообразно-тяжелымъ. „Какъ г. Достоевскій, такъ и г. Тургеневъ (послѣдній въ своихъ прозаическихъ сочиненіяхъ) слѣдуютъ тому направленію, которое далъ нашей словесности Гоголь, и которое петербургскіе критики называли натуральною школою. Хотя трудно опредѣлить достоинство писателя по его первымъ произведеніямъ, потому что въ дѣлѣ искусства первыя попытки, часто, какъ вспышки насильственно сосредоточеннаго жара, не всегда могутъ ручаться за будущее развитіе: однако и

<sup>1)</sup> „Финскій Вѣстникъ“ 1846, т. 9. V. Библиографическая хроника. Стр. 28

<sup>2)</sup> „Отеч. Записки“ 1847, т. 50. Отд. V. Критика. Нѣчто о русской литературѣ въ 1846 году. (Статья Вал. Майкова). Стр. 3.

<sup>3)</sup> „Московскій Городской Листокъ“ 1847, № 116. Обзорѣніе журналовъ за апрѣль. Стр. 465.

по начальнымъ опытамъ видно, что г. Достоевскій не безъ таланта; но талантъ этотъ, по признанію даже самыхъ жаркихъ поклонниковъ его, принялъ какое-то утомительное для читателя направленіе; юморъ автора большею частію не въ мысли, а въ словахъ, въ безпрестанномъ и несносномъ повтореніи однихъ и тѣхъ же выраженій, сплошь и рядомъ скопированныхъ съ манеры гоголевскаго разсказа (недостатокъ, общій впрочемъ всеѣмъ послѣдователямъ такъ называемой натуральной школы)...<sup>1)</sup>

Такимъ образомъ въ этой близости литературныхъ приемовъ Достоевскаго къ Гоголю и вообще къ „натуральной школѣ“ нѣкоторые критики увидѣли уже не положительную, а скорѣе отрицательную сторону творчества новаго беллетриста. Отрицательное вліяніе „натурализма“ на Достоевскаго отмѣчено было уже въ 1846 году не только въ содержаніи его романа и въ общихъ приемахъ его творчества, но и въ самомъ его языкѣ. Критика обратила, между прочимъ, вниманіе на излишнюю подробность, однообразіе и слащавость языка,—въ частности на обильное употребленіе уменьшительныхъ именъ существительныхъ и прилагательныхъ. Въ одномъ изъ январскихъ выпусковъ „Иллюстраціи“ за 1846 годъ „Бѣдные люди“ Достоевскаго сравниваются съ романомъ Я. П. Буткова „Петербургскія вершины“ (2 т. Спб. 1846 г.), и результатъ сравненія оказывается не въ пользу литературной манеры автора, изобилующей „подробностями“ стиля и пристрастной къ именамъ уменьшительнымъ. „...Въ послѣднее время такъ называемый сатирическій родъ развился до нельзя. Гдѣ набрать предметовъ: чиновники и картежники, картежники и чиновники и опять чиновники и картежники. „Петербургскія вершины“, кажется, служили образцомъ, или, лучше сказать, натурой для новаго романа. Въ „Петербургскихъ вершинахъ“ замѣтенъ талантъ, который сколько-нибудь заботится о формахъ; по нѣкоторымъ подробностямъ можно ошибиться и подумать, что авторъ—„Вершинъ“ написалъ и этотъ романъ; но романъ, который не имѣетъ

<sup>1)</sup> Москвитянинъ 1847, ч. I. Критика. Стр. 152.

никакой формы и весь основанъ на подробностяхъ, утомительно однообразныхъ, наводитъ такую скуку, какой намъ еще испытывать не удавалось. Подробности да подробности въ романѣ похожи на обѣдъ, въ которомъ, вмѣсто супа, сахарный горошекъ, вмѣсто говядины, соуса, жаркого и десерта, сахарный горошекъ. Оно, можетъ быть, и сладко, можетъ быть, и полезно, но въ такомъ смыслѣ, въ какомъ подчиваютъ сластями кондитерскихъ учениковъ: чтобы поселить отвращеніе къ сахарнымъ произведеніямъ. Въ каждомъ письмѣ Дѣвушкинъ даетъ какой-нибудь подарочекъ, и непременно съ тѣмъ же сахарнымъ горошкомъ; въ каждомъ письмѣ Вариньки—нѣжная заботливость о здоровьѣ сосѣда съ сахарнымъ горошкомъ. Неизвѣстно, почему вообразили себѣ наши сатирики, что мелкіе чиновники говорятъ только уменьшительными. И ужъ въ этомъ романѣ уменьшительнымъ нѣтъ никакой пощады. Это лексиконъ, справочное мѣсто уменьшительныхъ. Впрочемъ чего нельзя взвести на безотвѣтныхъ мелкихъ чиновниковъ. Истинно бѣдные люди!“....<sup>1)</sup>

Два мѣсяца спустя обличеніе „уменьшительныхъ“ у Достоевскаго было подхвачено и развито съ значительной долей прони въ журналѣ „Библіотека для Чтенія“. Критика этого журнала, не расположенная вообще къ литературному „натурализму“, отнесла, видимо, на его счетъ уже упомянутые недостатки стиля въ романѣ Достоевскаго, къ которымъ прибавила еще обильное употребленіе „парадныхъ“ или „театральныхъ“ эпитетовъ. Сочувствуя начинающему автору, очутившемуся въ недоумѣнномъ положеніи между восторженными похвалами и жестокими нападками, критикъ „Библіотеки для Чтенія“ въ то же время иронизируетъ надъ излишней скромностью и микроскопичностью идей и чувствъ автора и въ особенности его способа выражать свои „идеечки“, „чувства и страстицы“. „Бѣдный молодой человѣкъ!... (а я,

<sup>1)</sup> „Иллюстрація“ 1846, янв. 26-го. Библіографія. Петербургскій Сборникъ, изданный Н. Некрасовымъ. Стр. 59. Приблизительно въ томъ же духѣ было высказано нѣсколько замѣчаній о „ложной сентиментальности“ и апофеозѣ мѣщанскихъ добродѣтелей“ въ „Финскомъ Вѣстникѣ“ 1846, т. 9, V. Библіограф. хроника. Стр. 29.



признаться, сначала думалъ, что авторъ „Бѣдныхъ людей“ не молодой человѣкъ, а молодая особа, и теперь еще не совсѣмъ увѣренъ, что онъ не дѣвушка,—чего прошу не принимать въ укоризну—это своего роду похвала!)... бѣдный молодой человѣкъ! За что вы его такъ жестоко хвалите, такъ лестно браните?... что онъ вамъ сдѣлалъ?... онъ, такой скромненькій, тихонькій, миленькій, пригоженькій? — онъ, который даже не смѣетъ говорить *ore rotundo* и изъясняется всё одними только уменьшительными?... „Въ роцѣ щебетали птички, кустики, обѣгавшіе опушку, были такіе хорошенькіе, такіе веселенькіе, березка раскидывалась съ такими говорливыми, трепещущими листочками, что, бывало, невольно перебѣжишь лужайку, по травкѣ, такъ гармонически шелестящей подъ ножкой“... Всё у него мишьячное—идеюшка самая капельная, подробности самыя крошечныя, сложокъ такой чистенькій, перышко такое гладенькое, наблюденіице такое меленькое, чувства и страстицы такія нѣжненькія, такія кружевныя, что, прочитавши, невольно воскликнуть я: премиленькій талантѣкъ!... Я имѣю слабость вѣрить въ будущность всякаго начинающаго дарованія, хотя столько разъ уже они меня надували, и убѣжденъ, впредь до распоряженія, что господинъ Федоръ Достоевскій вскорѣ заставитъ меня воскликнуть полнымъ ртомъ и густымъ басомъ: премилый талантѣкъ!... но, покамѣстъ, его микроскопическія словечки, предметы, лица и подробности такъ съузили и сжали мой губы, что и я, подобно ему, говорю уменьшительными... Я убѣдился, что уменьшительныя ничего не уменьшаютъ, что они просто—признакъ мелочности понятій, а не тонкости воображенія или нѣжности чувства, и что человѣкъ со вкусомъ долженъ избѣгать ихъ по возможности, какъ пошлаго и приторнаго средства любезности... Уменьшительныя—вещь неблагородная, особенно, въ такомъ изобиліи, какъ у него (Достоевскаго) въ „Бѣдныхъ людяхъ“ и притомъ въ искусствѣ, у котораго находится много другихъ средствъ, болѣе художественныхъ, и менѣе пошлыхъ, придать мысли и ея выраженію оттѣнокъ нѣжности. Рядомъ съ этими няюшкиными словечками онъ любитъ еще употреблять

парадные прилагательныя, каковы: широко-разросшіяся, зелено-раскинувшіяся, и тому подобныя. Общее и несомнѣнное правило: чѣмъ длиннѣе или сложнѣе прилагательное, тѣмъ менѣе оно выражаетъ, потому что фраза становится отъ него болѣе растянutoю, тяжелою, темною, да и самая явственность претензіи на живописность уже достаточна, чтобы убить эффектъ. Театральные эпитеты—несчастная слабость начинающихъ писателей. Эти уменьшительныя и эти увеличительныя слова, запутывая автора въ лабиринтъ незримыхъ подробностей, невольно увлекаютъ его къ многорѣчію: это не живопись кистью, но вышиваніе иглою по канвѣ; природа натянута въ пальцахъ, и сочинитель наблюдаетъ ее, считая стежки "...<sup>1)</sup> На ту же тему продолжали говорить журналы и въ слѣдующемъ, 1847-мъ, году, указывая и на „вычурныя уменьшительныя имена“ <sup>2)</sup> и на сентиментальность <sup>3)</sup>, которою обусловливается этотъ слащавый стиль.

Что эта „мишённость“ содержанія и формы романа Достоевскаго отнесена была именно на счетъ „натуральной школы“, видно изъ того, что и въ 1848 году, по поводу изданія предъидущаго года—отдѣльной книжкой—романа „Бѣдные люди“, этотъ упрекъ Достоевскому въ излишнемъ пользованіи уменьшительными словами снова появился въ печати, но въ этотъ разъ прямо поставленъ былъ въ тѣсную связь съ приемами и недостатками натурализма въ искусствѣ. „Кромѣ безсвязности въ созданіи“, читаемъ въ „Спб. Вѣдомостяхъ“ за 1848 годъ, „это сочиненіе страждетъ общимъ недостаткомъ такъ называемой натуральной школы--безвкусіемъ. Авторъ выводитъ изъ терпѣнія читателя безпрестанными повтореніями одного и того же въ письмахъ Дѣвушкина, многими грязными подробностями и даже неумѣреннымъ

<sup>1)</sup> „Библіотека для Чтенія“ 1846, т. 75, мартъ. Отд. VI. Литературная лѣтопись. Новыя книги. Петербургскій сборникъ, изданный Н. Некрасовымъ... Стр. 3—5. На злоупотребленіе именами уменьшительными указываетъ тамъ же („Вибл. для Чтенія“ 1846, т. 75, мартъ. Отд. V. Критика. „Петербургскій Сборникъ“, изданный Н. Некрасовымъ. Статья первая. Стр. 34) и А. В. Никитенко.

<sup>2)</sup> „Санктпетербургскія Вѣдомости“ 1847, № 4 фельетонъ. Русская литература въ 1846 г. Э. Губеръ. Стр. 14.

<sup>3)</sup> „Московский Городекой Листокъ“ 1847, № 131. Критика. Стр. 524.

употребленіемъ уменьшительныхъ словъ, которыя при первомъ изданіи „Бѣдныхъ людей“ вызвали улыбку неодобрительную“ <sup>1)</sup>. Въ этой же замѣткѣ поставлена на счетъ плохого сорта русскаго литературнаго натурализма и безцвѣтность характеровъ Макара Дѣвушкина и Вареньки Доброселовой, которые, по мнѣнію критики, не выдерживаютъ сравненія съ западно-европейскими параллелями. „Безцвѣтность характера Вариньки также несносна. Не въ примѣръ, но для сравненія укажемъ на характеръ Риголетты у Эжена Сю: вотъ сильно задуманный и поэтически отгѣненный характеръ такого же рода! Риголетта всегда какъ живая передъ вами, и карандашъ художниковъ уже изобразилъ это лицо своими средствами. Попробуйте составить себѣ такое же понятіе о Варинькѣ, и даже о самомъ Макарьѣ Дѣвушкинѣ: это какія-то неясныя тѣни, общія черты, гдѣ иное находите вы вѣрнымъ, иное разрушающимъ и то, что вѣрно. Такъ слабо изображалъ авторъ свои лица“ <sup>1)</sup>.

Изъ другихъ недостатковъ литературной манеры Достоевскаго отмѣчены были излишняя растянутасть разсказа, благодаря которой романъ оказался „гораздо длиннѣе своего сюжета“ <sup>2)</sup>, и даже излишнее „обиліе истинъ, обнаруженныхъ въ этомъ произведеніи“, „излишество представленныхъ въ немъ фактовъ такого рода, которые остаются безразличными для читателя, неспособнаго сосредотчить на нихъ все свое вниманіе и прочувствовать ихъ сердцемъ“... <sup>3)</sup> Наконецъ, къ недостаткамъ отнесли и отсутствіе въ разсказѣ „интереса событія“ при наличности „только отдѣльныхъ чертъ, хотя и

<sup>1)</sup> „Санктпетербургскія Вѣдомости“ 1848, № 12. Фельетонъ. Библиографія: „Бѣдные люди“. Романъ Федора Достоевскаго. Спб. Въ типографіи Эдуарда Праца. 1847. Въ 8 д. л. 181 стр. Статья К. П. Стр. 45--6.

<sup>2)</sup> „Библиотека для Чтенія“ 1846, т. 75, мартъ, отд. VI. Новыя книги... Стр. 2.

<sup>3)</sup> „Отечественныя Записки“ 1848, т. 57, мартъ, отд. VI. Библиографическая хроника. Русская литература (за февраль мѣс.): „Бѣдные люди“, романъ Федора Достоевскаго... Спб. 1847... Стр. 13. По поводу злоупотребленія утомительными „подробностями“ въ романѣ Достоевскаго А. В. Никитенко еще въ 1846 году (Вибл. для Чт. 1846, т. 75, критика, стр. 30) привелъ слѣдующее картинное подтвержденіе изъ области читательскихъ переживаній: „Мы понимаемъ“—говоритъ онъ—, „какъ одна умная и милая дама могла сказать, сидя за „Петербургскимъ Сборникомъ“, раскрытымъ на половинѣ романа „Бѣдные люди“: Я плачу, а дочитать не могу“.



вѣрно набросанныхъ“, что не давало автору основанія называть свое произведеніе романомъ <sup>1)</sup>.

Всѣ эти указанія на недостатки въ художественной сторонѣ романа Достоевскаго приводились однако по большей части мимоходомъ и не обосновывались на опредѣленной критической теоріи. Но когда дѣлалась попытка дать болѣе или менѣе законченный обзоръ этихъ недостатковъ, то основаніемъ для раскрытія ихъ служила все та же критика „натурализма“ съ точки зрѣнія „эстетики чистаго искусства“, которая иногда еще отзывалась воспоминаніями о французскомъ классицизмѣ, а въ лучшемъ случаѣ восходила къ одной изъ варіацій шеллингіанскаго ученія о прекрасномъ, какъ представленіи безконечнаго въ конечной формѣ. Такія именно разсужденія объ отступленіяхъ отъ кодекса художественности у Достоевскаго находимъ въ статьѣ по поводу „Петербургскаго Сборника“, помѣщенной въ „Моск. Сборникѣ“ за 1847 годъ. „Прежде всего скажемъ, что напрасно сочинитель избралъ эту форму, саму по себѣ неудобную и сверхъ того имъ невѣрно выполненную. Мы увѣрены, что Дѣвушкинъ (чиновникъ) говорилъ, могъ говорить точно такъ, какъ въ повѣсти; но увѣрены, въ то же время, что онъ никогда не писалъ такъ; такъ можетъ писать сочинитель, поставившій внѣ себя описываемое лицо, сознавшій и ухватившій его своею художественною силою; но само лицо никогда бы не написало такъ, какъ говорить; иначе надо было бы ему тоже сознать само себя и внѣ себя поставить... Г. Достоевскій взялъ форму, столько разъ являвшуюся у Гоголя — чиновника и вообще бѣдныхъ людей. Она является у него живо въ повѣсти. Но повѣсть его рѣшительно не можетъ назваться произведеніемъ художественнымъ. Никакая прекрасная мысль, никакое прекрасное содержаніе еще не составляютъ художественнаго произведенія. Здѣсь необходимо еще то творчество, то чудо, которое даетъ мысли, содержанію соразмѣрный и высоко-дѣйствительный образъ: такъ, что сама мысль никогда не выдвиги-

<sup>1)</sup> „Санктпетербургскія Вѣдомости“ 1848, № 12. Фельетонъ. Библіографія... Стр. 45—6.

гается, какъ мысль,—а между тѣмъ вы приняли ее въ свою душу, она сдѣлалась частію вашего духовнаго бытія и никогда не оставитъ васъ. Вотъ великая задача художника, которой не исполнилъ г. Достоевскій. Результатомъ такого недостатка то, что повѣсть его оставляетъ впечатлѣніе тяжелое, чего никогда не можетъ быть при созданіи истинно художественномъ... Г. Достоевскій не явилъ въ своей повѣсти, какъ въ цѣломъ, художественнаго таланта. Это, конечно, первая его повѣсть, но въ первыхъ попыткахъ истиннаго художника почти всегда уже виденъ его талантъ и свойство этого таланта, эта искренность творчества, которая такъ неотъемлемо принадлежитъ ему. Но этого мы не видимъ въ повѣсти вообще у г. Достоевскаго; въ ней нѣтъ этого безцѣльнаго творчества. Въ одномъ журналѣ было замѣчено, что въ его повѣсти есть филантропическая тенденція; мы согласны съ этимъ; это тенденція высокая и прекрасная, но это-то и мѣшаетъ произведенію быть изящнымъ. Картины бѣдности являются во всей своей случайности, не очищенные, не перенесенныя въ общую сферу. Впечатлѣніе повѣсти тяжелое и частное, потому проходящее и не остающееся навсегда въ вашей душѣ<sup>1)</sup>.

Къ достоинствамъ разсказа отнесены „истина“ изображенія характеровъ<sup>2)</sup> (особенно Макара Дѣдушкина), умѣнье передать событія „живо и увлекательно“<sup>3)</sup>, наличность въ авторѣ „наблюдательности“ и „чувства“<sup>4)</sup> и „рельефное изображеніе тѣхъ движеній, которыя общи всѣмъ людямъ, большимъ и малымъ, загнаннымъ и могущественнымъ“<sup>4)</sup>. Отмѣчены были еще, независимо отъ недостатковъ романа въ его цѣломъ, художественность „отдѣльныхъ мѣстъ, истинно прекрасныхъ“<sup>5)</sup>; оригинальность самой манеры разсказывать у

1) „Московский Сборникъ“ 1847. Отдѣлъ критики. III. Петербургскій Сборникъ, изданный Некрасовымъ. Стр. 26, 27 и 29.

2) „Санктпетербургскія Вѣдомости“ 1848, № 12. Фельетонъ. Библиографія. . . Стр. 45—6.

3) „Москвитининъ“ 1846, ч. I, № 2. Критика. . . Стр. 169.

4) „Отечественныя Записки“ 1848, т. 57, мартъ. Отд. VI. Библиографическая хроника. Русская литература (за февраль мѣсяцъ): „Вѣдныя люди“, романъ Федора Достоевскаго. . . Спб. 1847. Стр. 13.

5) „Московский Сборникъ“ 1847. Отдѣлъ критики. III. Петерб. Сборн., изданный Некрасовымъ. Стр. 29.

Достоевскаго, отличающаяся, по мнѣнію В. Н. Майкова, отъ манеры Гоголя тѣмъ, что „Гоголь—поэтъ по преимуществу социальный“, а г. Достоевскій по преимуществу психологическій<sup>1)</sup>; подчеркнуть было, какъ достоинство романа, также и высокій интересъ обоихъ главныхъ лицъ его, замѣчательныхъ „одно своимъ человѣческимъ чувствомъ любви и состраданія, другое своимъ страданіемъ, своей христіанской покорностью“<sup>2)</sup>; впрочемъ, эта сторона была полнѣе и глубже оцѣнена въ тѣхъ статьяхъ, которыя касались не литературной манеры Достоевскаго, но его направленія.

Всѣ эти разнообразныя толки о близости Достоевскаго къ „натуральной школѣ“ и о вытекающихъ отсюда послѣдствіяхъ, начавшіеся статьей Бѣлинскаго въ „Отеч. Запискахъ“ 1846 года, были имъ же и резюмированы въ 1848 году. Желая подвести итоги этимъ толкамъ, онъ еще въ 1847 году опять заговорилъ о романѣ „Бѣдные люди“: „Оригинальность таланта г. Достоевскаго была признана тотчасъ же всѣми, и—что еще важнѣе—публика тотчасъ же обнаружила ту неумѣренную требовательность въ отношеніи къ таланту г. Достоевскаго и ту неумѣренную нетерпимость къ его недостаткамъ, которыя имѣетъ свойство возбуждать только талантъ. Почти всѣ единогласно нашли въ „Бѣдныхъ людяхъ“ г. Достоевскаго способность утомлять читателя, даже восхищая его, и приписали это свойство одни—растянутости, другіе неумѣренной плодовитости. Дѣйствительно, нельзя не согласиться, что если-бы „Бѣдные люди“ явились хотя десятою долею въ меньшемъ объемѣ, и авторъ имѣлъ бы предусмотрительность поочистить ихъ отъ излишнихъ повтореній однихъ и тѣхъ же фразъ и словъ,—это произведеніе явилось бы болѣе художественнымъ“<sup>3)</sup>.

Въ слѣдующемъ году, по поводу изданія романа „Бѣдные люди“ отдѣльной книжкой, Бѣлинскій сдѣлалъ уже окончательный выводъ изъ журнальных отзывовъ о первомъ произведеніи Достоевскаго. „Бѣдные люди“—говорить онъ—

1) „Отеч. Записки“ 1847, т. 50. Отд. V. Критика. Нѣчто о русской литературѣ въ 1846 г. (Статья Вал. Майкова). Стр. 3.

2) „Финскій Вѣстникъ“ 1846, т. 9. V. Библиографическая хроника. Стр. 28.

3) „Современникъ“ 1847, т. I, № 1. III. Взглядъ на русскую литературу 1846 года. Стр. 35—7.



были первымъ и, къ сожалѣнію, доселѣ остаются лучшимъ произведеніемъ г. Достоевскаго. Появленіе этого романа было шумнымъ событіемъ въ нашей литературѣ. Раздались громкія похвалы и громкія порицанія, начался споръ. Въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ имя г. Достоевскаго одно занимало наши журналы. Это движеніе доказывало, что дѣло идетъ о произведеніи и талантѣ, выходящихъ изъ ряду обыкновенныхъ явленій... „Бѣдные люди“ доставили своему автору громкую извѣстность, подали высокое понятіе о его талантѣ и возбудили большія надежды—увы!—до сихъ поръ не сбывающіяся. Это однакожъ не мѣшаетъ „Бѣднымъ людямъ“ быть однимъ изъ замѣчательныхъ произведеній русской литературы. Романъ этотъ носитъ на себѣ всѣ признаки перваго, живого, задушевнаго, страстнаго произведенія. Отсюда его многословность и растянутость, иногда утомляющія читателя, нѣкоторое однообразіе въ способѣ выражаться, частыя повторенія фразъ въ любимыхъ авторомъ оборотахъ, мѣстами недостатокъ въ обработкѣ, мѣстами излишество въ отдѣлкѣ, несоразмѣрность въ частяхъ. Но все это выкупается поразительною истинною въ изображеніи дѣйствительности, мастерскою обрисовкою характеровъ и положеній дѣйствующихъ лицъ, и—что, по нашему мнѣнію, составляетъ главную силу таланта г. Достоевскаго, его оригинальность,—глубокимъ пониманіемъ и художественнымъ, въ полномъ смыслѣ слова, воспроизведеніемъ трагической стороны жизни. Въ „Бѣдныхъ людяхъ“ много картинъ, глубоко потрясающихъ душу. Правда, авторъ подготавливаетъ своего читателя къ этимъ картинамъ немножко тяжеловато. Вообще, легкость и текучесть изложенія не въ его талантѣ, что много вредитъ ему. Но зато, самыя эти картины, когда дойдешь до нихъ, — мастерскія художественныя произведенія, запечатлѣнныя глубиною взгляда и силою выполненія. Ихъ впечатлѣнія рѣшительно и могущественно, ихъ никогда не забудешь... „Бѣдные люди“ вышли теперь отдѣльнымъ изданіемъ, въ небольшой красивой книжкѣ. На оберткѣ сказано: „изданіе исправленное“. Мы не имѣли времени слѣдить новаго изданія съ старымъ и узнать, въ чемъ состоятъ

„исправленія“, по сколько можно догадываться по сравненію объема обоихъ изданій, должно думать, что во второмъ сдѣланы авторомъ сокращенія. Это хорошо, и романъ долженъ отъ этого много выиграть“<sup>1)</sup>).

Толки о литературной манерѣ того или другого автора, или въ частности о его прикосновенности къ литературному „натурализму“, во второй половинѣ сороковыхъ годовъ обыкновенно соединялись съ опредѣленіемъ усвоенной имъ общественной тенденціи; чаще всего, конечно, поднимался вопросъ о принадлежности его къ одному изъ двухъ основныхъ теченій русской общественной мысли, получившихъ въ исторіи русскаго просвѣщенія названіе западничества и славянофильства. Говоря о Достоевскомъ, критика сороковыхъ годовъ, можно думать, соединяла его „натурализмъ“ съ западнической тенденціей, хотя и не высказывала на этотъ счетъ какихъ-либо опредѣленныхъ сужденій.

Съ этой стороны уже въ 1846 году въ общихъ чертахъ опредѣлилъ его направление Бѣлинскій. Не примѣняя къ роману Достоевскаго никакой тенденціозной терминологіи, Бѣлинскій однако понималъ основную мысль „Бѣдныхъ людей“ какъ гуманизмъ, который, по мнѣнію историковъ нашего западничества, является самымъ характернымъ признакомъ западнической идеологіи. „Многіе могутъ подумать“, говоритъ Бѣлинскій по поводу Макара Алексѣевича Дѣвушкина, „что въ лицѣ Дѣвушкина авторъ хотѣлъ изобразить чело-вѣка, у котораго умъ и способности придавлены, приплюснуты жизнію. Была бы большая ошибка думать такъ. Мысль автора гораздо глубже и гуманнѣе: онъ, въ лицѣ Макара Алексѣевича, показалъ намъ, какъ много прекраснаго, благороднаго и святаго лежитъ въ самой ограниченной человѣческой натурѣ. Конечно, не всѣ бѣдняки такого рода похожи на Макара Алексѣевича въ его хорошихъ свойствахъ, и мы согласны, что такіе люди рѣдки, но въ то же время нельзя

<sup>1)</sup> „Современникъ“ 1848, т. 7. Отдѣлъ III. Критика и библиографія. „Бѣдные люди“. Романъ Федора Достоевскаго. Спб. 1847. Стр. 43—4. Подобное же мнѣніе, именно что „первое произведеніе г. Достоевскаго осталось до сихъ поръ лучшимъ“, развивается въ журн. „Пантсонъ и Репертуаръ русской сцены“ 1848, № 4. Петерб. телеграфъ. Сигналы литературныя. Стр. 59.

не согласиться и съ тѣмъ, что на такихъ людей мало обращаютъ вниманія, мало ими занимаются, мало ихъ знаютъ. Если богачъ, ежедневно продающій сто, двѣсти и больше рублей, бросить нищему двадцать пять рублей, всѣ замѣчаютъ это и, въ чайникъ получить отъ него больше, умиляются душою отъ его великодушнаго поступка. Но бѣднякъ, отдающій такому же бѣдняку, какъ и онъ самъ, свои послѣднія двадцать копеекъ мѣдью, какъ отдалъ ихъ Дѣвушкинъ Горшкову,—такой бѣднякъ не всѣхъ тронетъ и въ повѣсти, мастерски написанной, а въ дѣйствительности въ его поступкѣ не захотѣли бы увидѣть ничего, кромѣ смѣшного. Честь и слава молодому поэту, муза котораго любитъ людей на чердакахъ и въ подвалахъ, и говорить о нихъ обитателямъ раззолоченныхъ палатъ: „вѣдь это тоже люди, ваши братья!“ Обратите вниманіе на старика Покровскаго—и вы увидите ту же гуманную мысль автора. Подставной мужъ обольщенной и обманутой женщины, потомъ угнетенный мужъ разлихой бой-бабы, шутъ и пьяница—и онъ человѣкъ! Вы можете смѣяться надъ его любовью къ своему мнимому сыну, напоминающею робкую любовь собаки къ человѣку; но если, смѣясь надъ нею, вы въ то же время глубоко ею не трогаетесь, если изображеніе Покровскаго, съ книгами въ карманѣ и подъ мышкою, безъ шапки на головѣ, въ дождь и холодъ бѣгущаго, съ видомъ помѣшаннаго, за гробомъ смѣшно-любимаго имъ сына,—не производитъ на васъ трагическаго впечатлѣнія, не говорите объ этомъ никому, чтобъ какой-нибудь Покровскій, шутъ и пьяница, не покраснѣлъ за васъ, какъ за человѣка“... <sup>1)</sup> Опредѣляя, такимъ образомъ, основное направленіе творчества Достоевскаго какъ гуманитарное освѣщеніе трагизма человѣческой жизни, Бѣлинскій повторилъ это опредѣленіе—какъ мы уже видѣли—и позже, черезъ два года, когда онъ еще разъ увидѣлъ „главную силу таланта г. Достоевскаго“ въ „глубокомъ пониманіи и художественномъ, въ полномъ смыслѣ слова, воспроизведеніи трагической стороны жизни“ <sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> „Отеч. Записки“ 1846, отд. V. Критика. „Петербургскій Сборникъ“, изданный Н. Некрасовымъ, Спб. 1846. Ст. 9—10.

<sup>2)</sup> „Современникъ“ 1848, т. 7. Отдѣлъ III. Критика и библиографія. „Бѣдные люди“. Романъ Федора Достоевскаго. Спб. 1847. Стр. 44.



1229814

Высказанная Бѣлинскимъ общая мысль о гуманномъ направленіи въ творчествѣ автора „Бѣдныхъ людей“ не стоитъ особнякомъ: въ сочувствующей ему журнальной критикѣ она была развита дальше въ духѣ западничества, съ нѣкоторымъ даже налетомъ лѣваго гегеліанства. Въ романѣ увидѣли отображеніе русской общественной неурядицы, выражающейся, въ частности, въ страданіяхъ обездоленныхъ отъ „недостатка обезпеченности“; кромѣ того, на романѣ взглянули какъ на полезное поученіе для тѣхъ добродѣтельныхъ и благонамѣренныхъ обывателей, которые, если и не примиряются, подобно правымъ гегеліанцамъ, съ дѣйствительностью, то во всякомъ случаѣ закрываютъ глаза на ея несовершенства, чтобы не выводить изъ гармоничнаго состоянія своего прекраснодушія. Первую мысль—о „недостаткѣ обезпеченности“, какъ одномъ изъ тяжелыхъ явленій нашей общественности,—раскрываютъ, повидимому, слѣдующія строки, посвященные въ критикѣ „Отеч. Записокъ“ отдѣльному изданію романа „Бѣдные люди“: „Разнообразія событий, сложной обстановки не ищите въ романѣ г. Достоевскаго; колоссальныхъ личностей тоже не ищите... Дѣло-то извѣстное, дѣло-то обыкновенное, заурядъ случающееся, „такъ, пустой какой-то примѣръ изъ вседневнаго подлаго быта“ (смотри „Бѣдные люди“, стр. 97): что-жъ тутъ удивительнаго, что не оцѣнили вовсе достоинствъ романа „Бѣдные люди“!.. А между тѣмъ, нельзя не согласиться, что въ романѣ г. Достоевскаго затронута та же идея, которая положена въ основаніе „Шинели“ Гоголя. Макарь Алексѣвичъ, точно такъ же, какъ и Акакій Акакіевичъ, страдаетъ вообще отъ недостатка безпечности. Одинъ изъ нихъ гибнетъ отъ пропавшей шинели, другой страдаетъ и падаетъ, потому что подчинился чувству, столь же нормальному и законному, какъ и потребность теплаго платья“... Вторая мысль—о необходимости активнаго противодѣйствія противъ тяжелыхъ сторонъ общественнаго уклада—прикровенно выражена критикомъ такъ: „...Мы знаемъ, какъ много есть на свѣтѣ людей, куда-ни-повороты-порядочныхъ, добрыхъ, нѣжныхъ отцовъ и заботливыхъ супруговъ, которые, несмотря

на всё свои прекрасные качества, очень не любят давать себе отчет в том, что около них дѣлается, а особенно не любят заглядывать туда, гдѣ стонетъ-стонетъ бѣдное сердце... „Для нихъ чтеніе романа г. Достоевскаго должно было показаться мучительнымъ, точно такъ же, какъ больно бываетъ съ непривычки разсматривать предметъ въ микроскопъ“...<sup>1)</sup>

То, что на языкѣ критики западнческаго лагеря называлось въ творествѣ автора „Бѣдныхъ людей“ гуманностью и протестомъ противъ неупорядоченной дѣйствительности во имя гуманитарнаго идеала, — на языкѣ нѣкоторыхъ славянофиловъ получило наименованіе „филантропической тенденціи“, тенденціи иноземной, не имѣющей подъ собою національной почвы, а потому и не заслуживающей одобренія. „Филантропическая сторона этой повѣсти“, говорить С. П. Шевыревъ, „замѣтнѣе, чѣмъ художественная. Она всего болѣе выдается во второй половинѣ (романа), въ письмѣ отъ 5-го сентября. Если въ обществѣ нѣтъ никакого иного высшаго двигателя, который возбудилъ бы любовь къ ближнему и состраданіе къ бѣднымъ, то, конечно, хорошо подогрѣвать эти чувства и повѣстями“... Критику-славянофилу, впадающему нѣсколько въ тонъ оффиціальной народности, западно-европейская „филантропическая тенденція“ представляется не инымъ чѣмъ, какъ временнымъ покушеніемъ моды на высшую и вѣчную христіанскую добродѣтель—любовь къ ближнему; понимаемая такимъ образомъ, „филантропическая тенденція“, которой служить авторъ „Бѣдныхъ людей“, не имѣетъ, по мнѣнію Шевырева, ничего общаго съ чистымъ источникомъ русскаго народнаго духа. „Эта тенденція“—говоритъ онъ—„забрела въ нашу словесность изъ чужихъ: мы становимся и филантропами даже изъ подра-

<sup>1)</sup> „Отеч. Записки“ 1848, т. 57, № 3. Отд. VI. Библиографическая хроника. Русская литература: „Бѣдные люди“, романъ Федора Достоевскаго... Стр. 13. Выше было указано, что на стихію гуманности въ романѣ „Бѣдные люди“ обращено было вниманіе также и въ критикѣ „Финскаго Вѣстника“ (1846, т. 9. V. Библиогр. хроника, стр. 28), примыкавшаго по своему направленію къ „западнеческой“ группѣ журналистики.

жанія, какъ будто не нашлось у насъ другого, болѣе чистаго источника для того, чтобы внести чувство любви къ ближнему въ изящное слово. Но вотъ чего мы не замѣтили. Литература западная — высочайшую христіанскую добродѣтель—любовь къ ближнему умѣла превратить въ филантропическую тенденцію. Всякая тенденція прикована къ условіямъ времени: она можетъ пройти, и даже должна пройти, должна смѣниться другою, если всюду внесено развитіе. Тенденція есть то же, что мода, но только въ высшей сферѣ. Превратить любовь къ ближнему—добродѣтель вѣчную—въ филантропическую тенденцію вѣка значитъ на самую добродѣтель наложить моду“. Подобная тенденція, по мнѣнію Шевырева, не совмѣстима съ высокимъ служеніемъ искусству, такъ какъ сообщаетъ художественному произведенію характеръ чего-то, связаннаго съ „временною потребностью“, а самого автора заставляетъ подозрѣвать въ корыстолюбивыхъ цѣляхъ. „Но что дѣлаетъ“—разсуждаетъ онъ на эту тему—„несчастное искусство, будучи поставлено въ агенты чело-вѣколюбивой тенденціи? Оно лишено своей красоты и наполнено только выставкой филантропіи какого-нибудь писателя, который самъ не только питается, но и роскошничаетъ отъ своихъ бѣдныхъ... Истинно изящное, и безъ филантропическихъ тенденцій, всегда возбуждало любовь къ ближнему. Это сознавали и язычники: у нихъ красота рождала любовь. Вспомнимъ слова Платона о высокой любви, возбуждаемой красотою. Христіанство еще болѣе уяснило эти понятія. Послѣ всякаго вполне изящнаго впечатлѣнія ваша душа настроена гармонически и растворена къ добру. Къ чему же создавать какое-то особенное филантропическое искусство, когда всякое искусство, изящное само въ себѣ, непременно содержитъ въ себѣ сочувствіе и любовь къ челоувѣчеству? Заботьтесь объ одномъ только, чтобы произведеніе ваше было прекрасно: добро отъ него будетъ. Если же вы, отчаиваясь за его красоту, мѣтите имъ на одну филантропію,—тогда вы, вредя изящному, вредите и доброму, а самую любовь къ ближнему подвергаете вкусу моды вмѣстѣ съ вашимъ произведеніемъ, которое, не имѣя не-

преходящихъ достоинствъ истинно прекраснаго, живетъ только временною потребностію“<sup>1)</sup>.

Внѣ этихъ двухъ мнѣній о „западничествѣ“ въ творчествѣ Достоевскаго, его направленіе не нашло въ критикѣ сороковыхъ годовъ другого, болѣе или менѣе глубокаго, истолкованія. Зато нашлись такіе наивные и недалёковидные истолкователи, которые не только не увидали въ романѣ „Бѣдные люди“ „гуманной идеи“ или „филантропической тенденціи“, но даже не замѣтили и самой бѣдности. Такъ одинъ изъ критиковъ, послѣ длиннаго разсужденія о бѣдности, ея гнетѣ и борьбѣ съ нею, приходитъ къ заключенію, что въ романѣ Достоевскаго собственно бѣдныхъ людей нѣтъ, а есть только люди глупые. „Авторъ „Бѣдныхъ людей“ представляетъ намъ чиновника, полуграмотнаго, глуповатаго старика, бѣднаго единственно отъ тупости своего ума, и несчастную дѣвушку, какимъ-то чудомъ избавленную отъ крайняго разврата... Тутъ собственно и нѣтъ бѣдныхъ людей, а выставлены люди глупые и грубые: бѣдность только немножко касается ихъ“. Впрочемъ, критикъ дѣлаетъ нѣкоторую уступку въ пользу гуманнаго направленія автора: „Въ этихъ глупыхъ и грубыхъ людяхъ“—говоритъ онъ—„проявляется иногда человѣческое чувство и миритъ съ ними и съ авторомъ“<sup>2)</sup>. Вообще гуманитарная сторона романа „Бѣдные люди“ въ концѣ концовъ признавалась даже самыми взыскательными судьями этого перваго произведенія Достоевскаго; такъ напр. А. В. Никитенко, говоря о недостаткахъ романа съ художественной стороны, въ то же время съ удовольствіемъ останавливается на „человѣчественности“ тѣхъ „стихій“, „изъ которыхъ созданы его характеры и положенія“<sup>3)</sup>.

Разсуждая о томъ, какъ реагировалъ въ своемъ творчествѣ Достоевскій на явленія современной ему русской обще-

<sup>1)</sup> „Москвитининъ“ 1846, ч. I, № 2. Критика. Петербургскій сборникъ, изданный Н. Некрасовымъ. Статья С. П. Шевырева. Стр. 170—2.

<sup>2)</sup> „Санктпетербургскія Вѣдомости“ 1848, № 12. Фельетонъ. Библиографія: „Бѣдные люди“, романъ Федора Достоевскаго... Статья К. П. Стр. 45—6.

<sup>3)</sup> „Вибл. для Чтенія“ 1846, т. 75, мартъ. Отд. V. Критика. Петербургскій Сборникъ, изд. Н. Некрасовымъ. Статья первая, стр. 23.

ственности, критика должна была попутно остановиться и на обратномъ вопросѣ—о томъ, какъ реагировало читающее общество на произведеніе Достоевскаго: такой переходъ отъ анализа психическихъ переживаній художника къ анализу психики его читателей былъ совершенно въ духѣ сороковыхъ годовъ, когда взаимная связь литературы и общественной жизни все болѣе и болѣе крѣпла. Въ этомъ отношеніи критика этого времени подчеркнула два интересныхъ явленія: во-первыхъ, „сочувствіе“ читателей роману „Бѣдные люди“, изображающему „безвыходность бѣдности, неизбежность, неотразимость зла и горя“; во-вторыхъ, неудовлетворенность романомъ, наталкивающимъ на тяжелыя размышленія, но не дающимъ изъ нихъ выхода. „...Всѣ, послѣ чтенія „Бѣдныхъ людей“, прониклись—читаемъ въ „Отеч. Запискахъ“—какимъ-то болѣзненнымъ чувствомъ—болѣзненнымъ въ такой мѣрѣ, насколько восторженная скорбь, томительное безпокойство, страхъ, досада, озлобленіе могутъ быть названы чувствомъ болѣзненнымъ... Одна группа читателей обнаружила живое сочувствіе роману „Бѣдные люди“... Въ романѣ видѣли они безвыходность бѣдности, неизбежность, неотразимость зла и горя, а съ такой мыслью тяжело примириться человѣку, озирающему жизнь съ точки зрѣнія восторженнаго Макара Алексѣевича“.... Но—продолжаетъ критикъ—„всѣ вообще читатели-сочувствователи обнаружили какую-то уклончивость въ сужденіи о романѣ, потому что авторъ только навелъ ихъ на тяжелое размышленіе, но по художественному такту не представилъ имъ въ своей книгѣ теоретическаго разрѣшенія ихъ думъ.“ Другая группа читателей вынесла изъ романа по преимуществу чувство неудовлетворенности и усталости: „Несравненно болѣе оказалось такихъ читателей, которые, по прочтеніи книги, жаловались на какую-то истому, тягостное чувство, въ которомъ они не могутъ дать себѣ отчета, или съ какой-то настойчивостью старались увѣрить, что, несмотря на всѣ свои старанія, они не могли ничего понять въ „Бѣдныхъ людяхъ“. Эти отзывы заслуживаютъ особенное вниманіе, потому что по нимъ всего удобнѣе опредѣлить особенность таланта



г. Достоевскаго“. Анализируя причины этой усталости и неудовлетворенности, критикъ дѣлаетъ такое заключеніе: „...Приходится согласиться, что утомились читатели обиліемъ истинъ, обнаруженныхъ въ этомъ произведеніи, излишествомъ представленныхъ въ немъ фактовъ такого рода, которые остаются безразличными для читателя, неспособнаго сосредоточить на нихъ все свое вниманіе и прочувствовать ихъ сердцемъ... Обиліе психологическихъ чертъ, представленныхъ художникомъ, произвело какое-то ошеломляющее впечатлѣніе на большую часть читателей, даже на тѣхъ, которые способны проникаться произведеніями Гоголя“ <sup>1)</sup>. Но какъ ни тяжелъ былъ романъ въ чтеніи, его читатели во всякомъ случаѣ—насколько позволяетъ судить цитируемая замѣтка—отъ романа переходили къ тяжелымъ думамъ о жизни и, повидимому, готовы были искать изъ нихъ того или другого, теоретическаго или практическаго, выхода.

Все остальное, напечатанное Ф. М. Достоевскимъ, помимо романа „Бѣдные люди“, въ періодъ времени до роковаго 1849-го года, не вызвало оживленныхъ толковъ въ критикѣ <sup>2)</sup>. Но на нѣкоторые произведенія критика всетаки обратила вниманіе: мы встрѣчаемъ небольшія замѣтки, посвященные повѣстямъ „Двойникъ“, Господинъ Прохарчинъ“,

<sup>1)</sup> „Отеч.“ Записки“ 1848, т. 57, № 3. Отд. VI. Библиографическая хроника. Русская литература: „Бѣдные люди“, романъ Ф. Достоевскаго... Стр. 12—14.

<sup>2)</sup> Въ періодъ 1846—1849 гг. напечатаны были, согласно „Библ. указателю“ А. Г. Достоевской, помимо романа „Бѣдные люди“, слѣдующія произведенія: „Двойникъ. Приключенія господина Голядкина“. („Отеч. Зап. 1846 г. Томъ XLIV. Февраль. Стр. 263—428). „Господинъ Прохарчинъ“. („Отеч. Зап.“ 1846. Томъ XLVIII. Октябрь. Стр. 151—178). „Хозяйка“, повѣсть. („Отеч. Зап.“ 1847 г. Часть первая—томъ LIV, октябрь, Стр. 396—424. Часть вторая и послѣдняя—томъ LV, декабрь, стр. 381—414). „Романъ въ девяти письмахъ“. („Современникъ“. 1847 г. Томъ I Смѣсь. Стр. 45—54). „Ползунковъ“. („Иллюстрированный Альманахъ“. 1848 г. Стр. 50—64). „Слабое сердце“, повѣсть. („Отеч. Зап.“ 1848 г. Томъ LVI. Стр. 412—446). „Чужая жена“. (Уличная сцена). („Отеч. Зап.“ 1848 г. Томъ LVI. Смѣсь. Стр. 50—58). „Разказы бываго челоѣка“ (Изъ записокъ неизвѣстнаго); I. Отставной. II. Честный воръ. („Отеч. Зап.“ 1848 г. Томъ LVII. Стр. 286—306). „Елка и свадьба“. („Отеч. Зап.“ 1848 г. Томъ LX. Смѣсь. Стр. 44—49). „Бѣлыя ночи“. Сантиментальный романъ. (Изъ воспоминаній мечтателя). („Отеч. Зап.“ 1848 г. Т. LXI. Стр. 357—400). „Ревнивый мужъ“. Происшествіе необыкновенное. („Отеч. Зап.“ 1848 г. Т. LXI. Смѣсь. Стр. 158—175). „Неточка Незванова“. Часть I и II („Отеч. Зап. 1849 г. Т. LXII. Январь. Стр. 1—52 и 307—356. Часть III. („Отеч. Зап.“ Т. LXIV. Май. Стр. 81—130).

„Хозяйка“, „Разказы бывалаго чловѣка“ „Бѣлыя ночи“, „Нечочка Незванова“. Въ этихъ замѣткахъ отчасти высказано было то же, что пространнѣе говорилось по поводу „Бѣдныхъ людей“. Между прочимъ, въ цитированной выше статьѣ С. П. Шевырева по поводу повѣсти „Двойникъ“ подчеркнулъ зависимость Достоевскаго отъ Гоголя: „...Тутъ непрерывно кланяешься — говоритъ онъ — знакомымъ изъ Гоголя: то Чичикову, то Носу, то Петрушкѣ, то индѣйскому пѣтуху въ видѣ самовара, то Селифану“<sup>1)</sup>. Мысль Шевырева въ слѣдующемъ году подробно развивается въ „Московскомъ Литературномъ и Ученомъ Сборникѣ на 1847 годъ“ въ статьѣ, посвященной „Петербургскому Сборнику“ Некрасова: „Въ этой повѣсти (т. е. въ повѣсти „Двойникъ“) видимъ мы уже не влияніе Гоголя, а подражаніе ему; но такъ какъ подражать творчеству нельзя: надо самому имѣть творчество, а тогда это уже подражаніемъ не будетъ, — то г. Достоевскій подражаетъ приемамъ, внѣшнимъ движеніямъ Гоголя, одной наружности, не понимая, какъ видно, что у Гоголя все это прекрасно, потому что самобытно, живо, вытекаетъ изъ внутренней причины, а когда кто-нибудь, погнавшись за сходствомъ, схватить только одну голую внѣшность, одни приемы, не ухвативъ духа, жизни, облекшейся въ нихъ, то это выйдетъ до несносности безжизненно, сухо и скучно. Таковъ г. Достоевскій въ этой своей повѣсти длинной и до невѣроятности утомительной. Въ ней г. Достоевскій постоянно передразниваетъ Гоголя, подражаетъ часто до такой степени, что это выходитъ уже не подражаніе, а заимствованіе. — Мы даже просто не понимаемъ, какъ могла явиться эта повѣсть. Вся Россія знаетъ Гоголя, знаетъ его чуть не наизусть; — и тутъ, передъ лицомъ всѣхъ, г. Достоевскій переимчиваетъ и цѣликомъ повторяетъ фразы Гоголя. Разумѣется, это только однѣ фразы, лишеныя своей жизни; это одно голое подражаніе внѣшности великихъ произведеній Гоголя. Въ этомъ только и состоитъ вся повѣсть: ни смысла, ни содержанія, ни мысли, — ничего. Г. Достоевскій изъ лоскутковъ

<sup>1)</sup> „Москвитининъ“ 1846, ч. I, № 2. Критика. Петербургскій Сборникъ, изданный Н. Некрасовымъ. Статья С. П. Шевырева. Стр. 172—3.

блестящей одежды художника сшилъ себѣ платье и явился храбро передъ публикой“... <sup>1)</sup> На ряду съ гоголевскимъ вліяніемъ опять увидѣли въ повѣстяхъ Достоевскаго „натурализмъ“. Такъ, по поводу повѣсти „Хозяйки“ критикъ „Спб. Вѣдомостей“ опять ставитъ литературную манеру Достоевскаго въ связь съ „натуральной школой“ и въ этой связи видитъ разгадку того, что въ авторѣ „Бѣдныхъ людей“ „несомнѣнные признаки дарованія не развиваются въ полной красѣ, но болѣе и болѣе задерживаются туманомъ словъ, облакающихъ безсвязныя мысли и самыя странныя идеи“ <sup>2)</sup>.

Помимо этихъ повтореній, замѣтки о повѣстяхъ Достоевскаго дали и нѣсколько новыхъ наблюдений надъ его творчествомъ.

Къ числу новыхъ наблюдений надъ литературной манерой Достоевскаго нужно отнести прежде всего нѣсколько замѣтокъ о его любви къ психологическому анализу. Въ 1847 году этой темѣ нѣсколько строкъ посвящаетъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“ В. Н. Майковъ. ...Въ „Двойникѣ“ манера г. Достоевскаго и любовь его къ психологическому анализу выразились во всей полнотѣ и оригинальности. Въ этомъ произведеніи онъ такъ глубоко проникъ въ человѣческую душу, такъ безтрепетно и страстно вглядѣлся въ сокровенную машинацію человѣческихъ чувствъ, мыслей и дѣлъ, что впечатлѣніе, производимое чтеніемъ „Двойника“, можно сравнить только съ впечатлѣніемъ любознательнаго человѣка, проникающаго въ химическій составъ матеріи“... <sup>3)</sup>

Въ 1848 году то же наблюденіе надъ психологическимъ анализомъ у Достоевскаго было приложено въ болѣе пространнымъ видѣ къ повѣсти „Слабое сердце“ въ „Пантеонѣ и Репертуарѣ русской сцены“ въ статьѣ М. Достоевскаго. ...Повѣсть „Слабое сердце“ принадлежитъ къ наиболѣе

<sup>1)</sup> „Московскій Литературный и Ученый Сборникъ на 1847 годъ“. Отдѣлъ критики. III. Петербургскій Сборникъ, изданный Некрасовымъ. Г-на Цмрексъ. Стр. 33—34.

<sup>2)</sup> „Санктпетербургскія Вѣдомости“ 1848, № 12. Фельетонъ. Библиографія: „Бѣдные люди“... Статья К. П. Стр. 45—6.

<sup>3)</sup> „Отеч. Зап.“ 1847 г. 50. Отд. V. Критика. Нѣчто о русской литературѣ въ 1846 г. Стр. 4.

удавшимся произведеніямъ г. Достоевскаго. Мы не станемъ разсказывать содержаніе этой повѣсти: тутъ дѣло не въ сюжетѣ: тутъ неумолимый, безжалостный анализъ человѣческаго сердца, отъ котораго оно стонетъ и обливается кровью у читателя. Есть на лицѣ земномъ сердца слабыя и нѣжныя. Если они загнаны судьбою, забыты дѣйствительностію, они сжимаются и терпятъ, и рады-рады, когда счастье улыбнется имъ мимоходомъ. Они то того покоряются гнетущей судьбѣ, до того увѣрены въ непреклонности и нормальности сферы, въ которой они прозябаютъ, что на рѣдкія радости свои смотрятъ, какъ на появленія сверхъестественныя, какъ на незаконныя уклоненія отъ общаго порядка вещей. Они принимаютъ эти радости отъ судьбы не иначе, какъ взаймы и мучаются желаніемъ воздать за нихъ сторицею. Потому и самыя радости бываютъ для нихъ отравлены. Скажетъ имъ кто-нибудь ласковое слово, и вся наружность ихъ преобразуется, свѣтлѣетъ, и имъ становится весело и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ-то неловко, но неловко по чувству сознанія своего неравенства,—до того обстоятельства умѣли унижить ихъ въ собственномъ мнѣніи. Малѣйшее участіе принимаютъ они не иначе, какъ за благодареніе. Такой типъ встрѣчаемъ мы въ повѣсти „Слабое сердце“, въ лицѣ Шумкова“...<sup>1)</sup>

Но отмѣчая любовь Достоевскаго къ психологическому анализу, критика вмѣстѣ съ тѣмъ усмотрѣла не безъ основанія въ его повѣстяхъ стремленіе анализировать главнымъ образомъ такія душевныя состоянія, которыя представляются ненормальными съ нашей обычной точки зрѣнія. Еще въ 1846 году Бѣлинскій, разбирая повѣсть „Двойникъ“, настойчиво подчеркнул, что „г. Голядкинъ разстроенъ въ умѣ“, что „герой романа—сумасшедшій“, и увидѣлъ въ выборѣ такой темы для повѣсти „мысль смѣлую и выполненную авторомъ съ удивительнымъ мастерствомъ“<sup>2)</sup>. Въ 1848 году по поводу повѣсти „Хозяйка“ критика отмѣтила „выборъ стран-

<sup>1)</sup> „Пантеонъ и Репертуаръ русской сцены“ 1848. № 3. Петербургскій телеграфъ. Сигналы литературныя. М. Достоевскаго. Стр. 100.

<sup>2)</sup> „Отеч. Записки“ 1846, т. 45, отд. V. Критика. „Петербургскій сборникъ“... Стр. 18.

ныхъ, ненормальныхъ лицъ“ <sup>1)</sup>. Въ 1849 году П. В. Анненковъ по поводу той же повѣсти заговорилъ о стремленіи Достоевскаго заниматься „психологической исторіей помѣшательства“ <sup>2)</sup>.

Въ связи съ выборомъ такой темы въ самой формѣ повѣствованія у Достоевскаго увидѣли теперь совершенно новый приѣмъ, не свойственный роману „Бѣдные люди“,—именно стремленіе къ фантастичности въ разсказѣ. Въ „фантастичности колорита“ повѣсти „Двойникъ“ Бѣлинскій увидѣлъ даже причину того, что она не заинтересовала широкой публики. „Фантастическое въ наше время—говорить онъ—можетъ имѣть мѣсто только въ домахъ умалишенныхъ, а не въ литературѣ, и находится въ завѣдываніи врачей, а не поэтовъ. По всѣмъ этимъ причинамъ, „Двойникъ“ могъ заинтересовать только немногихъ дилетантовъ искусства, для которыхъ литературныя произведенія составляютъ предметъ не одного наслажденія, но и изученія“ <sup>3)</sup>. Повѣсть „Господинъ Прохарчинъ“ Бѣлинскій назвалъ по характеру ея изложенія повѣстью „странною“, „вычурною, манерною, непонятною, болѣе похожею на какое-нибудь истинное, но странное и запутанное прорешество, нежели на поэтическое созданіе“ <sup>3)</sup>; фантастичность содержанія повѣсти „Хозяйка“ онъ находитъ „чудовищной“ и въ то же время ходульной и фальшивой <sup>4)</sup>. П. В. Анненковъ отнесъ повѣсти „Двойникъ“ и „Хозяйка“ къ особому роду „фантастически-сентиментальныхъ“ повѣствованій и Достоевскаго назвалъ „изобрѣтателемъ этого рода“. Въ „Отечественныхъ Запискахъ“—говоритъ онъ—„образовался кругъ молодыхъ писателей, создавшій, уже довольно давно, какой-то фантастически-сентиментальный родъ повѣствованій, конечно не новый въ исторіи словесности, но по крайней мѣрѣ новый въ той формѣ, какая теперь ему

<sup>1)</sup> „Отеч. Записки“ 1848, т. 56, отд. V. Критика. Русская литература въ 1847 году. Стр. 23.

<sup>2)</sup> „Современникъ“ 1849, т. 13, отд. III. Замѣтки о русской литературѣ прошлаго года. Стр. 2.

<sup>3)</sup> „Современникъ“ 1847, т. I, № 1, отд. III. Взглядъ на русскую литературу 1846 года. Стр. 35—37.

<sup>4)</sup> „Современникъ“ 1848, т. 8, отд. III. Критика и библиографія. Взглядъ на русскую литературу 1847 года. Стр. 39.



дается возобновителями его. Всякій, нѣсколько занимающійся отечественною словесностію, знаетъ напередъ, что изобрѣтатель этого рода былъ г. О. Достоевскій, авторъ „Бѣдныхъ людей“. Онъ положилъ ему основаніе повѣстями: „Двойникъ“ и „Хозяйка“ и, какъ видно, собирався дать ему важное значеніе, прерванное однакожъ всеобщимъ неодобреніемъ. Публика помнитъ, какое впечатлѣніе произвела на нее „Хозяйка“. Кому не казалось тогда, что повѣсть эта порождена душнымъ затворничествомъ, четырьмя стѣнами темной комнаты, въ которыхъ заперлась отъ свѣта и людей болѣзненная до крайности фантазія?... Разумѣется, что разъ отдавшись безъ оглядки собственной фантазіи, отдѣленной отъ всякой дѣйствительности, авторы этого направленія уже и не думаютъ объ оттѣнкахъ характеровъ, о живописи, такъ сказать, лица, о нѣжной игрѣ свѣта и тѣни на картинѣ. Требованія эти замѣщаются туманнымъ стремленіемъ къ величію характеровъ, тяжелымъ поискомъ колоссальности въ образахъ и представленіяхъ. И дѣйствительно, къ концу разсказа главное лицо облачается въ нѣкоторый родъ величія, но величіе это весьма близко подходитъ къ тому, которымъ поражаетъ бѣднякъ съ картоннымъ вѣнцомъ на головѣ и деревяннымъ скипетромъ на страдальческомъ ложѣ своемъ“ <sup>1)</sup>.

По отношенію къ этой „фантастичности колорита“ критика въ одномъ случаѣ подыскала то именно объясненіе, которое потомъ подтвердилось при знакомствѣ съ характеромъ чтенія Достоевскаго въ бытность его еще въ Инженерномъ училищѣ. Я разумью указаніе на Гоффмана, какъ на источникъ фантастичности въ литературной манерѣ Достоевскаго. Оно было сдѣлано въ „Финскомъ Вѣстникѣ“ за 1846 годъ. „Двойникъ“, по грѣшному разумѣнію нашему—разсуждаетъ критикъ—, сочиненіе патологическое, терапевтическое, но нисколько не литературное: это исторія сумасшествія, разбанилизованнаго, правда, до крайности, но тѣмъ не менѣе отвратительнаго какъ трупъ. Больше еще: по про-

<sup>1)</sup> „Современникъ“ 1849, т. 13, отд. III. Замѣтки о русской литературѣ прошлаго года. Стр. 1—2.

чтеніи „Двойника“, мы невольно подумали, что если авторъ пойдётъ дальше по этому пути, то ему суждено играть въ нашей литературѣ ту роль, какую Гофманъ играетъ въ нѣмецкой; Гофманъ до того вглядѣлся въ нѣмецкую флистерскую жизнь, что она начала ему являться въ ломаныхъ, чудовищныхъ, фантастическихъ формахъ; точно также г. Достоевскій до того углубился въ анализъ чиновнической жизни, что скучная, нагая дѣйствительность начинаетъ уже принимать для него форму бреда, близкаго къ сумасшествію. Увы! по неволѣ вспомнишь мысль гоголевскаго „Портрета“!... Признаемся, грустно будетъ, если назначеніе Достоевскаго есть назначеніе талантливаго, но уродливаго, Гофмана“ <sup>1)</sup>...

По отношенію къ другимъ литературнымъ приемамъ, обнаружившимся въ повѣстяхъ Достоевскаго, также указаны были тѣ или другіе западноевропейскіе авторитеты, которые могли повліять на его творчество. Такъ, отмѣчая нѣкоторую зависимость двухъ разсказовъ Достоевскаго—„Отставной“ и „Честный воръ“ (соединенныхъ подъ общимъ заглавіемъ „Разказы бывалаго человѣка“) отъ „Записокъ Охотника“ Тургенева, Анненковъ вмѣстѣ съ тѣмъ во второмъ изъ нихъ склоненъ видѣть вліяніе разсказовъ изъ деревенскаго быта г-жи Жоржъ-Зандъ. „Во второмъ изъ нихъ: „Честный воръ“ (говорить онъ) намъ еще показалось, что въ глазахъ автора стояли неподражаемыя повѣсти иностраннаго романиста, написавшаго *La mare au diable* и *François le Champi*. Простота содержанія, взятаго изъ народнаго быта, стараніе открыть тѣ свѣтлыя стороны души, которыя человѣкъ сохраняетъ на всякомъ мѣстѣ и даже въ сферѣ порока, куда завлеченъ собственной виной или обстоятельствами, наконецъ мысль заставить говорить человѣка недалекаго, но которому превосходное сердце замѣняетъ умъ и образованіе,—все это очень близко намекаетъ на родство русскаго разсказа съ иностранными, приведенными выше. Мы должны быть благодарны

<sup>1)</sup> „Финскій Вѣстникъ“ 1846, т. 9. V. Библиографическая хроника. Стр. 30. Въ 1848 году Бѣлинскій въ письмѣ къ П. В. Анненкову (отъ 15/27 февраля) говоритъ по поводу повѣсти „Хозяйка“, что Достоевскій „въ ней хотѣлъ помирить Марлинскаго съ Гофманомъ, подболтавши немного Гоголя“.

автору за подобную попытку возстановленія (rehabilitation) человѣческой природы, если бы даже не было нѣсколькихъ мѣстъ въ его повѣсти, дѣйствительно прекрасныхъ...<sup>1)</sup>

По поводу второй части (разумѣются, вѣроятно, главы IV—V) повѣсти „Неточка Незванова“ въ „Современникѣ“ сдѣлана была А. В. Дружининымъ осторожная догадка о вліяніи на Достоевскаго Диккенса: „Въ этой (второй) части авторъ заставилъ дѣйствовать трехъ дѣтей; изъ нихъ двое, мальчикъ Ларенька<sup>2)</sup> и слезливая Неточка, довольно вялы и безцвѣтны, но третье лицо, крошечная княжна Катя, очертано съ живостью и граціею, которыя дѣлаютъ честь г. Достоевскому. Но рядомъ съ этими дѣтьми, авторъ представилъ намъ собаку Фальстафа; Фальстафъ напомнилъ мнѣ диккенсова Діогена (въ „Домби и Сынѣ“), а Діогенъ привелъ мнѣ на мысль маленькую Флоренсу и больного крошку Павла, и передъ этими милыми созданіями Диккенса потускнѣли дѣтскіе образы, нарисованные авторомъ Неточки. Диккенсъ великій мастеръ рисовать дѣтскія фигуры; онъ Грѣзъ между романистами, и потому подражать ему нестыдно, хотя и опасно“<sup>3)</sup>.

Таковы были новыя наблюденія, вызванныя повѣстями Достоевскаго, въ области его литературной манеры. Эти наблюденія коснулись однако и его общественнаго нап्रा-

<sup>1)</sup> „Современникъ“ 1849, т. 13, отд. III. Замѣтки о русской литературѣ прошлаго года. Стр. 5. Со стороны формы (романъ въ письмахъ) сопоставленіе Достоевскаго съ Жоржъ-Зандъ сдѣлано было еще въ 1846 году по поводу его „Бѣдныхъ людей“: признавая „превосходный романъ г-жи Дюдеванъ (Жоржъ-Зандъ) „Какъ“ новѣйшимъ образцомъ“ романа въ письмахъ, критикъ подводитъ подъ этотъ „родъ“ произведеній и романъ Достоевскаго, но считаетъ его неудачной попыткой въ данномъ направленіи („Сѣверная Пчела“, 1846, № 25. Русская литература).

<sup>2)</sup> Эпизодъ,—заключающій встрѣчу Неточки съ мальчикомъ Ларенькой, который по смерти своихъ родителей, также нашелъ пріютъ въ домѣ князя Х.,—при послѣдующихъ изданіяхъ романа былъ вынущенъ; въ первоначальной редакціи, которую имѣетъ въ виду А. В. Дружининъ, онъ занимаетъ нѣсколько страницъ: „От. Зап.“, 1849, т. 62, стр. 313—322.

<sup>3)</sup> „Современникъ“ 1849, т. 14. Смѣсь. Современныя замѣтки. Письма многогороднаго подписчика въ редакцію „Современника“ о русской журналистикѣ. Стр. 67. По поводу „Бѣдныхъ людей“ тоже была однажды проведена параллель между Достоевскимъ и Диккенсомъ въ томъ смыслѣ, что у обоихъ при художественности отдѣльныхъ мѣстъ цѣлое „искусственно“, но съ оговоркою, что критикъ вовсе не думаетъ начинающаго автора, г. Достоевскаго, сравнивать съ Диккенсомъ („Моск. Сборн.“ 1847. Отдѣлъ критики, стр. 29).

вления, которое получило въ связи съ его повѣстями нѣсколько иную, новую сравнительно съ прежней, оцѣнку его отношенія къ русской общественной жизни. Именно, по поводу повѣсти „Двойникъ“ впервые была высказана мысль о служеніи „западника“ Достоевскаго національной идеѣ въ славянофильскомъ ея освѣщеніи; это было своего рода предчувствіе будущаго. Мысль эта принадлежитъ уже не разъ упомянутому выше С. П. Шевыреву. „...Нельзя сказать—говорить онъ о „Двойникѣ“—, чтобъ и въ этой повѣсти не было мысли. Мотивъ, правда, тотъ же, что и въ Макарѣ Дѣвушкинѣ, но только половиною: это амбиція русскаго человѣка въ чиновникѣ, оскорбленная произвольнымъ поступкомъ. Можно бы было разработать эту тему: она богата. Въ русскомъ человѣкѣ чувство личности замѣняется тѣмъ чувствомъ, которое создало пословицу: на людяхъ смерть красна. Русскій человѣкъ дорожитъ тѣмъ, что скажутъ о немъ люди,—и постольку цѣнитъ себя и личность свою, поскольку признають ее другіе. Русскій человѣкъ служить народу и міру. Петръ Великій понялъ это въ русскомъ человѣкѣ—и къ этому свойству нашему привилъ амбицію, привязалъ къ русскому человѣку шпагу, и на этомъ чувствѣ основалъ табель о рангахъ, которая, хотя перенесена изъ чужой земли, но привилась такъ крѣпко на народномъ началѣ“<sup>1)</sup>.

Внѣ этихъ немногихъ новыхъ наблюденій критики, повѣсти Достоевскаго за 1846—1849 гг. вызвали довольно настойчиво выраженное чувство неудовлетворенности авторомъ. Въ отдѣльности онѣ производили то впечатлѣніе „самаго непріятнаго и скучнаго кошмара“<sup>1)</sup> („Двойникъ“), то чего-то расплывчатаго, риторичнаго и вообще „незначущаго“ („Разказы бывалаго человѣка“)<sup>2)</sup>, однообразнаго и скучнаго „до утомленія“ („Двойникъ“ и „Господинъ Прохарчинъ“)<sup>3)</sup>, то чего-то „темнаго, многословнаго и скучноватаго“ („Хо-

<sup>1)</sup> „Москвитининъ“ 1846, ч. I, № 2. Критика... Стр. 172—3.

<sup>2)</sup> „Современникъ“ 1849, т. 13. Отд. III. Замѣтки о русской литературѣ прошлаго года. Стр. 1—7.

<sup>3)</sup> „Спб. Вѣдомости“ 1847, № 4. Фельетонъ. Русская литература въ 1846 г. Э. Губеръ. Стр. 14.

зайка“ и др. повѣсти) <sup>1)</sup>, то, наконецъ, чего-то наскоро, спѣшно написаннаго („Бѣлыя ночи“) <sup>1)</sup>; въ нихъ находили мелочность („Господинъ Прохарчинъ“) <sup>2)</sup>, „допотопный языкъ“ <sup>3)</sup>, недостатокъ дѣйствія и отсутствіе завязки въ разсказѣ („Неточка Незванова“) <sup>1)</sup>, отсутствіе художественной мѣры въ развитіи идеи <sup>4)</sup>, даже злоупотребленіе таланта въ смыслѣ нарушенія приличія, нетерпимаго для „круга образованныхъ читателей“ („Двойникъ“) <sup>5)</sup> и т. д.; однимъ словомъ—выразимся словами Бѣлинскаго по поводу повѣсти „Господинъ Прохарчинъ“—онѣ, даже и почитателей таланта г. Достоевскаго привели въ непріятное изумленіе“ <sup>4)</sup>.

Но „непріятно изумившійся“ Бѣлинскій однако не спѣшилъ, подобно другимъ критикамъ Достоевскаго, доказывать увяданіе его еще не расцвѣтшаго таланта. Раньше другихъ признавшій дарованіе Достоевскаго, Бѣлинскій дольше другихъ на немъ и настаивалъ. Мало того,—онъ по поводу неудачной повѣсти „Двойникъ“ посвятилъ Достоевскому и его критикамъ нѣсколько замѣчательныхъ строкъ, полныхъ пророческаго предвѣдѣнія. „Что же касается—говоритъ онъ—до толковъ большинства, что „Двойникъ“—плохая повѣсть, что слухи о необыкновенномъ талантѣ его автора преувеличены и т. п.—объ этомъ г. Достоевскому нечего заботиться: его талантъ принадлежитъ къ разряду тѣхъ, которые постигаются и признаются не вдругъ. Много, въ продолженіе его поприща, явится талантовъ, которыхъ будутъ противопоставлять ему, но кончится тѣмъ, что о нихъ забудутъ именно въ то время, когда онъ достигнетъ апогея (sic!) своей славы“ <sup>6)</sup>. Эти разсужденія Бѣлинскаго о будущности Достоевскаго не

---

<sup>1)</sup> „Современникъ“ 1849, т. 13. Смѣсь. Современные замѣтки. Письмо инороднаго подписчика въ редакцію Современника о русской журналистикѣ. Стр. 43—44.

<sup>2)</sup> „Моск. Городск. Листокъ“ 1847, № 116. Обзорѣніе журналовъ за апрѣль. Стр. 465.

<sup>3)</sup> „Спб. Вѣдомости“ 1848, № 12. Фельетонъ. Библиографія... Стр. 45—6.

<sup>4)</sup> „Современникъ“ 1847, т. I, № 1. Отд. III. Взглядъ на русскую литературу 1846 года. Стр. 35—37.

<sup>5)</sup> „Журн. Мин. Нар. Просв.“ 1846, ч. 51. Обзорѣніе русскихъ газетъ и журналовъ. Стр. 104.

<sup>6)</sup> „Отеч. Записки“ 1846, т. 45, отд. V. Критика. „Петербургскій Сборникъ“... Стр. 20.



стоять одиноко: тогда же, въ 1846 году, мы встрѣчаемъ напр. слѣдующую къ нимъ параллель въ критикѣ „Русскаго Инвалида“: „По одному первому произведенію молодого литератора еще нельзя опредѣлить его характеръ; но уже видно, что у г. Достоевскаго много наблюдательности и сердце, исполненное теплою любовью къ добру и благороднымъ негодованіемъ ко всему, что мы зовемъ малодушнымъ и порочнымъ. Присоедините къ этому еще особенную манеру разсказа—слогъ, весьма-оригинальный, ему одному только свойственный. Намъ кажется, что г-ну Достоевскому, для полноты успѣха, надобно составить свою публику, и, судя по первому его опыту, онъ пріобрѣтетъ ее, и весьма многочисленную, какъ пріобрѣли ее Гоголь и Лермонтовъ“ <sup>1)</sup>.

Эти пророчества скоро сбылись. Дѣйствительно, повѣсти 1846—1849 гг., правда, мало прибавили къ развитію таланта Достоевскаго, но въ то же время онѣ и не остановили этого развитія, и когда спустя десять лѣтъ его литературная дѣятельность возобновилась, критика опять оживленно заговорила о немъ, хотя уже и въ нѣсколько иномъ направленіи.



---

<sup>1)</sup> „Русскій Инвалидъ“ 1846, № 35. Библиографія. Петербургскій Сборникъ... Стр. 137.

## II. Въ началѣ шестидесятыхъ годовъ. Отъ западническаго гуманизма къ гуманитарному освѣщенію русской жизни. Отъ натурализма отрицанія пошлости въ жизни къ натурализму утвержденія въ ней идеала. „Униженные и оскорбленные“. „Записки изъ Мертваго Дома“.

Репроспективный взглядъ на литературную дѣятельность Ф. М. Достоевскаго; общее въ Достоевскомъ сороковыхъ и въ Достоевскомъ шестидесятыхъ годовъ; гуманизмъ—какъ основной мотивъ въ его творествѣ той и другой эпохи (А. Пятковский). Наличие этого мотива въ романѣ „Униженные и оскорбленные“; положительное и отрицательное (статья Е. Туръ) выраженіе въ романѣ гуманитарной идеи (Иванъ Петровичъ и князь Валковский). Западничество 30—40-хъ годовъ, какъ исходный пунктъ въ развитіи гуманизма въ творествѣ Достоевскаго, и конкретное раскрытіе его гуманитарнаго направленія въ приложеніи къ русской общественной жизни въ шестидесятыхъ годахъ (А. Хитровъ). Сужденія о романѣ „Униженные и оскорбленные“ радикальной и консервативной критики шестидесятыхъ годовъ: Н. А. Добролюбовъ о „забитыхъ людяхъ“ Достоевскаго, гр. Г. А. Кушелевъ-Везбородко о недостаткѣ у него „соціальной идеи“, Е. Θ. Заринъ о „небывалыхъ людяхъ“ Достоевскаго и о „предзаданности“ его романа. „Записки изъ Мертваго Дома“ и признаніе ихъ гуманитарнаго значенія. Вліяніе „Записокъ“ на общественную мысль; отдѣльные вопросы, юридическаго и административнаго характера, вызванные „Записками изъ М. Д.“; проекты реформы каторжной тюрьмы и вообще пенитенціарнаго дѣла на основаніи содержанія „Записокъ изъ М. Д.“ (П. Мулловъ и др.) „Историческое и общественное значеніе“ „Записокъ“: гуманитарное освѣщеніе темнаго прошлаго и настоящаго русской каторги. Основная идея „Записокъ“: гуманное истолкованіе причинъ преступности и индивидуализація преступления (А. П. Милуковъ), раскрытіе „хорошихъ чертъ“ въ отдѣльных преступныхъ личностяхъ (Д. П. Писаревъ). Общественно-психологическія проблемы, выдвинутыя „Записками изъ М. Д.“: генезисъ преступныхъ дѣяній, характеръ проявленія преступности въ русской жизни, отношеніе къ преступникамъ администраціи, образованнаго общества и народа; человѣческія права преступника и условія его нравственнаго возрожденія. Критика основной идеи и содержанія „Записокъ“ въ прогрессивной и консервативной печати: недостатокъ въ „Запискахъ“ „философскихъ, политическихъ и общественныхъ интересовъ“ (А. Лѣвинцевъ=А. В. Эвальдъ); „болѣзненный, расплывающійся гуманизмъ“, сентиментальность филантропической тенденціи и „голословность“ „передового взгляда“ (Е. Θ. Заринъ). Поворотъ въ натурализмъ Достоевскаго

Гоголь и „сентиментальный натурализм“ Достоевского (А. Григорьевъ). Отклоненіе Достоевского отъ крайностей натурализма: „счастливый выходъ изъ безчеловѣчнаго смѣха натуральной школы“. Отъ натурализма отрицанія къ натурализму утвержденія: синтезъ реалистическаго изображенія жизни съ идеалистическимъ ея истолкованіемъ. Реалистическая сторона литературной манеры Достоевскаго въ романѣ „Униженные и оскорбленные“ (А. Пятковский, А. Хитровъ, гр. Кушелевъ—Безбородко, Е. Туръ, А. Миллюковъ). Идеалистическая стихія въ творествѣ Достоевскаго: „изумительное знаніе челоуѣческаго сердца“ и „неподдѣльное чувство“ (Е. Туръ), „теплая и любящая сторона таланта г. Достоевскаго“ (А. Пятковский).

Литературная дѣятельность Ѳ. М. Достоевскаго, прерванная ссылкой, возобновилась въ печати въ 1859 году. На первыхъ порахъ критика встрѣтила его, какъ стараго знакома, автора „Бѣдныхъ людей“, и въ его новыхъ произведеніяхъ, написанныхъ и напечатанныхъ въ періодъ 1859—1865 гг.<sup>1)</sup>, т. е. до появленія романа „Преступленіе и наказаніе“, почти единодушно видѣла прогрессивный ростъ его прежняго направленія, усвоеннаго имъ еще въ сороковыхъ годахъ, и дальнѣйшее развитіе его первоначальной литературной манеры въ смыслѣ освобожденія ея отъ односторонняго подражанія Гоголю и его „натурализму“.

По поводу появленія романа „Униженные и оскорбленные“ критики Достоевскаго вспомнили его предъидущую литературную карьеру и опять съ особеннымъ вниманіемъ остановились на его гуманизмѣ, какъ основномъ мотивѣ его творчества. „Г. Достоевскій—говоритъ А. П. Пятковский въ „Сѣверной Пчелѣ“ — началъ свою литературную карьеру извѣстнымъ романомъ: „Бѣдные люди“, донинѣ памятнымъ

<sup>1)</sup> За этотъ періодъ времени напечатаны слѣд. произведенія (А. Достоевская, Библиогр. указатель, стр. 34—39): „Село Степанчиково и его обитатели“ („Отеч. Записки“ 1859, т. 127, ноябрь и декабрь), „Дядюшкинъ сонъ“ („Русское Слово“ 1859, мартъ), „Униженные и оскорбленные“ („Время“ 1861, январь—іюль), „Записки изъ Мертваго Дома“ („Время“ 1861, апрѣль, сент.—ноябрь, 1862, янв.—мартъ, май, декабрь; первые четыре главы появились также въ газетѣ „Русскій Міръ“ 1861, №№ 1, 3 и 7), „Скверный анекдотъ“ („Время“ 1862, ноябрь), „Зимнія замѣтки о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ“ („Время“ 1863, февраль, мартъ), „Записки изъ подполья“ („Эпоха“ 1864, янв.—февраль, апрѣль), „Необыкновенное событіе или пассажъ въ Пассажѣ“ („Эпоха“ 1865, февраль); кромѣ этого въ періодъ 1859—1865 гг. напечатанъ въ журналахъ „Время“ и „Эпоха“ рядъ критическихъ и публицистическихъ статей, принадлежащихъ, по мнѣнію Н. Н. Страхова, Ѳ. М. Достоевскому (Библиогр. указ., стр. 35—39). Повѣсть „Маленькій герой“, написанная еще въ 1849 году, во время пребыванія въ крѣпости, напечатана въ „Отеч. Зап.“ 1857, т. 113, августъ.

всей читающей Россіи. Бѣлинскій первый обратилъ вниманіе публики на этотъ новый талантъ и самъ увлекся имъ со всею теплотой и пылкостью своей энергической натуры. „Честь и слава молодому поэту“, говорилъ Бѣлинскій, „муза котораго любить людей на чердакахъ и въ подвалахъ и говорить объ нихъ обитателямъ раззолоченныхъ палатъ: „вѣдь это тоже люди, ваши братья!“... (Цитируется дальше статья Бѣлинскаго, см. выше, стр. 16). „Увлеченіе Бѣлинскаго—продолжаетъ критикъ—совершенно понятно: его не могъ не плѣнить этотъ горячій протестъ за права оскорбленнаго человѣчества, который слышался и до сихъ поръ слышится въ каждой строкѣ сочиненій г. Достоевскаго. Гоголь, съ своимъ практическимъ гуманизмомъ, первый затронулъ несчастное существованіе этихъ мелкихъ людей, живущихъ гдѣ-то и зачѣмъ-то, чтобы сойти въ могилу такъ же неслышно, какъ вошли они въ жизнь; и съ его времени эта струнка не перестаетъ звучать въ русской литературѣ. Г. Достоевскій мастерски воспользовался этой новой канвою и, не заслуживъ даже имени подражателя, изобразилъ съ такой самостоятельной глубиной жалкое существованіе Макара Дѣдушкина и другихъ эпизодическихъ лицъ въ своемъ романѣ, что вызвалъ своимъ примѣромъ немалое количество разныхъ повѣстущекъ, въ которыхъ тотъ же мотивъ доведенъ до смѣшной и пошлой сентиментальности,—удѣлъ, представленный бездарнымъ подражателямъ. Подобныя же лица дѣйствуютъ и въ „Двойникѣ“, романѣ, который исключенъ г. Достоевскимъ изъ полнаго собранія своихъ сочиненій, и въ „Бѣлыхъ ночахъ“, прелестной, по немного подслащенной эпопеѣ. Они вообще составляютъ сердцевину произведеній г. Достоевскаго: онъ самъ признавался въ своей любви къ униженнымъ и оскорбленнымъ, и если блескъ и сила, богатство и матеріальная власть входятъ въ его романы, то только для того, чтобы ярче отбѣнить другую, противоположную сторону картины, въ которой собственно и заключается главная сила. Вообще говоря, вдохновенія г. Достоевскаго унылы и мрачны, и въ этомъ у него много общаго съ другимъ даровитымъ авторомъ, Н. А. Некрасовымъ. Намъ

кажется, что его проза имѣетъ много общаго съ чертами той мрачной музыки, которая такъ хорошо намъ знакома по стихотвореніямъ Некрасова. Намъ кажется, что по многимъ страницамъ романовъ г. Достоевскаго цѣликомъ проходитъ тотъ же крикъ соціальнаго недуга, который слышенъ и въ лучшихъ произведеніяхъ Некрасова; замѣтна подчасъ та же нравственная истома и надломленность, какъ въ извѣстномъ стихотвореніи: „Замолкни, муза мести и печали“; видна та же безнадежность, которая заставила поэта сказать: „Не просвѣтлѣетъ небо надо мною, Не бросить въ душу теплаго луча.“ Только у г. Достоевскаго этотъ стонъ раздается какъ-то еще глуше и болѣзненнѣе, хотя и возрастаетъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, до поразительно смѣлыхъ и потрясающихъ нотъ. Такъ, напримѣръ, въ 4-й части романа: „Униженные и оскорбленные“ одно изъ дѣйствующихъ лицъ, отецъ дѣвушки, безъ брака пожертвовавшей собой для любви, говоритъ, принимая къ себѣ прежде отвергнутую имъ дочь: „Она здѣсь опять у моего сердца! О! благодарю Тебя, Боже, за все, за все, и за гнѣвъ Твой и за милость Твою, и за солнце Твое, которое просіяло теперь послѣ грозы на насъ. За всю эту минуту благодарю! О! пусть мы униженные, пусть мы оскорбленные, но мы опять вмѣстѣ, и пусть, пусть теперь торжествуютъ эти гордые и надменные люди, унижившіе и оскорбившіе насъ! пусть они бросятъ въ насъ камень! Не бойся, Елена, мы пойдемъ рука въ руку, и я скажу имъ: это моя дорогая, это возлюбленная дочь моя, которую вы оскорбили и унижили, но которую я, я люблю и благословляю во вѣки вѣковъ!“ Но эти горячія монологи рѣдки, очень рѣдки въ романахъ г. Достоевскаго, и ихъ общее впечатлѣніе можно опять-таки сравнить съ похороннымъ напѣвомъ больной и плачущей музыки. Люди счастливые и довольные судьбою, быть можетъ, пройдутъ мимо нихъ, не задумавшись; но всякій, испытавшій на себѣ тяжелую руку жизни, хорошо знакомый съ ея кошачьими ласками сердцемъ почуветъ ихъ родство съ своимъ собственнымъ горемъ и найдетъ въ нихъ минуты чистѣйшаго наслажденія Сочувствіе къ слабымъ и угнетеннымъ, выразившееся, какъ



мы сказали, въ первомъ романѣ г. Достоевскаго, дошло теперь, въ послѣднемъ его романѣ („Униженные и оскорбленные“), до апогея своего значенія. Здѣсь авторъ уже не прячется въ своихъ произведеніяхъ за вымышленную форму переписки между дѣйствующими лицами, но выходитъ самъ предъ лицо читателя, со всею горячностью своихъ за- вѣтныхъ симпатій... Однимъ словомъ, въ своемъ новомъ романѣ г. Достоевскій остался совершенно вѣренъ тому на- правленію таланта, которое уже опредѣлилось въ пре- жнихъ его романахъ, причемъ его недостатки значительно смягчились, а достоинства получили еще болѣе силы и блеска“ <sup>1)</sup>).

Заканчивая свой разсужденія о герояхъ Достоевскаго, на которыхъ направленъ его скорбный гуманизмъ, А. П. Пятковскій дѣлаетъ знаменательное для начала 60-хъ годовъ заключеніе. Онъ говоритъ, что въ настоящее время русская литература „остановилась пока на типѣ слабого человѣка“: сильные же, „могучіе, колоссальные таланты“ явятся въ ней только тогда, „когда житейскія условія дадутъ намъ по- больше матеріаловъ для сильнаго человѣка, дѣйствующаго на широкой аренѣ общественной жизни“.

Мысль А. П. Пятковского о гуманизмѣ романа „Унижен- ные и оскорбленные“ была развита вскорѣ же другимъ критикомъ „Сѣверной Пчелы“, въ приложеніи къ одному изъ дѣйствующихъ лицъ романа, Ивану Петровичу, слѣду- ющимъ образомъ: „О романѣ г. Достоевскаго: „Униженные и оскорбленные“, оконченномъ въ іюльской книжкѣ „Времени“, уже было сказано въ нашей газетѣ нѣсколько словъ въ статьѣ г. Пятковского; но мы, съ своей стороны, считаемъ не лишнимъ сдѣлать болѣе полную характеристику труду нашего талантливаго романиста, уже давно извѣстнаго на- шей публикѣ. Намъ особенно занимаетъ лицо самого раз- сказчика, Ивана Петровича, который является въ романѣ, какъ одно изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ, хотя повиди-

---

<sup>1)</sup> „Сѣверная Пчела“ 1861, № 176. Библиографическое обозрѣніе. Со- чиненія Ф. М. Достоевскаго. М. 1860 г. 2 ч. Униженные и оскорбленные. Романъ въ 4-хъ частяхъ. Статья А. Пятковского. Стр. 715—716.

тому и хочет сосредоточить главный интерес на других личностях. Онъ, можетъ быть, противъ своей воли представляется намъ душою той жизни, которую изображаетъ; его личностью, какъ сказать, освѣщаются всѣ лица. Это натура въ высшей степени кроткая, человѣчная, способная страдать за чужія страданія. Для счастья того, кого любить, онъ готовъ жертвовать своимъ собственнымъ счастьемъ, своимъ спокойствіемъ, своими интересами; онъ кажется созданъ для того, чтобы страдать за слабыхъ и несчастныхъ людей и слѣдственно быть жертвою своей любви къ людямъ. При такомъ направленіи духа, онъ въ то же время является натурою какого-то болѣзненной, которая одна въ своей слабости можетъ выносить то, подъ чѣмъ легко сломилась бы здоровая натура. Онъ могъ выносить то почти неестественное положеніе, въ какое поставилъ себя относительно своей бывшей невѣсты, когда она, уйдя изъ отцовскаго дома, всѣмъ пожертвовала другому. И этотъ другой, наслаждаясь любовью Наташи, сдѣлался другомъ Ивана Петровича, а онъ, добровольный свидѣтель взаимной ихъ любви, кажется находилъ наслажденіе въ своемъ страданіи, которое давало ему возможность видѣть свою милую Наташу и говорить съ нею. Пусть читатель представитъ, сколько тутъ нужно добродушія и, вмѣстѣ съ тѣмъ, сколько болѣзненнаго безсудія, чтобы не пытаться вырваться изъ этого мучительнаго положенія. Вы жалѣете его, но въ то же время чувствуете, что сами находитесь подъ его сильнымъ вліяніемъ: такой жизненной теплотой вѣетъ отъ этой нѣжной симпатичной души! Вы какъ будто любите всѣ другія лица, о которыхъ онъ рассказываетъ съ любовью, только потому, что онъ любитъ ихъ, а, взглянувъ въ ту среду, гдѣ такъ мало развита любовь къ человѣку, гдѣ такъ много эгоизма и расчета, вы начинаете понимать, отчего могла развиться до такой болѣзненности личность Ивана Петровича: одна крайность всегда производитъ другую. Замѣчательно, что въ нашей литературѣ почти всѣ личности, отличающіяся человѣколюбивыми стремленіями и прогрессивными идеями, отзываются въ то же время какою-то болѣзненностью: въ

не видите въ нихъ тѣхъ здоровыхъ натуръ, которымъ жизнь не въ тягость, которыя, напротивъ, отъ борьбы крѣпнуть и, хотя, можетъ быть, страдаютъ, но не унываютъ. Таковы болѣзненные, хотя и прекрасныя натуры въ большей части повѣстей Тургенева, такова натура героя „Подводнаго камня“, таковъ же и Иванъ Петровичъ. Это не есть случайность, не есть одна фантазія автора; значить, уже самая жизнь у насъ развиваетъ болѣзненность со стремленіями извѣстнаго рода. Въ самомъ дѣлѣ, сообразивъ ту обстановку, среди которой, по большей части, должны были жить эти люди, сообразивъ нѣжность и деликатность чувствъ, какія они развили въ себѣ, мы поймемъ, отчего они должны были такъ скоро почувствовать свое совершенное безсиліе, отчего они такъ мало способны къ практической дѣятельности, отчего съ ними такъ сродняется одно элегическое чувство. Они часто уступаютъ свое счастіе безъ борьбы, потому что не видятъ возможности бороться; они только скорбятъ и страдаютъ, какъ будто находятъ отраду питать свое сердце скорбями и страданіями. Можетъ быть, послѣдующія поколѣнія не совсѣмъ будутъ понимать такіе типы и съ удивленіемъ будутъ смотрѣть на нихъ, какъ на произведеніе болѣзнаго вѣка; но намъ они понятны и потому мы съ особеннымъ сочувствіемъ относимся къ нимъ, такъ какъ въ нихъ кроется много страдальческой любви къ человѣку: отъ нихъ вѣетъ особенною теплою. Имѣя въ виду такую натуру рассказчика, мы понимаемъ, отчего ему такъ удалось изображеніе всѣхъ страдальческихъ личностей, униженныхъ и оскорбленныхъ; отчего онъ такъ вѣрно понималъ чувства каждаго изъ нихъ и такъ живо представлялъ ихъ; отчего нашелъ въ ихъ положеніяхъ столь высокій драматическій интересъ. Наташа, старики—отецъ и мать ея—и особенно несчастная сиротка Нелли—личности художественно созданныя. Въ то же время намъ понятно, отчего тому же рассказчику не удалось всѣ аристократическія личности, надъ которыми онъ не могъ наблюдать спокойно; такъ какъ они имѣли близкое отношеніе къ существамъ, дорогимъ его сердцу; къ нимъ онъ не могъ относиться съ сочувствіемъ, и многое въ нихъ представлялось

ему въ преувеличенномъ видѣ, часто въ неестественномъ и уродливомъ, не изъ злобы и крайняго негодованія, на которыя неспособно его нѣжное сердце, а изъ особеннаго участія къ тѣмъ, кого онъ такъ любитъ" <sup>1)</sup>.

Такимъ образомъ въ лицѣ Ивана Петровича, этомъ автопортретѣ самого автора „Бѣдныхъ людей“ и „Униженныхъ и оскорбленныхъ“, критикъ видитъ типическое выраженіе русскаго страдальческаго человѣколюбія, сильнаго до героизма въ своихъ задушевиѣйшихъ движеніяхъ и слабого до болѣзненности въ своемъ практическомъ осуществленіи. Иванъ Петровичъ и окружающіе его объекты его гуманистическихъ переживаній характеризуютъ гуманизмъ Достоевскаго—въ приложеніи его къ русской жизни—положительнымъ путемъ. Другая центральная фигура романа, князь Валковскій, какъ рѣзкое отступленіе русской же жизни отъ гуманистическаго идеала, характеризуетъ ту же черту творчества Достоевскаго путемъ отрицательнымъ. На этой характеристикѣ довольно подробно останавливается, между прочимъ, Е. Туръ (графиня Е. В. Саліасъ-де-Турнемиръ) въ „Русской Рѣчи и Московскомъ Вѣстникѣ“.

Какъ это нерѣдко дѣлалось въ критикѣ начала шестидесятыхъ годовъ по отношенію къ возобновившейся литературной дѣятельности Достоевскаго, статья Е. Туръ начинается ретроспективнымъ взглядомъ на его произведенія сороковыхъ годовъ: „Вскорѣ за „Бѣдными людьми“ появилась въ печати одна изъ самыхъ поэтическихъ повѣстей русской литературы въ тогданнее время: „Бѣлыя ночи“,— произведеніе оригинальное по мысли и совершенно изящное по исполненію. Этотъ небольшой рассказъ, написанный самымъ простымъ и незатѣйливымъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ самымъ легкимъ языкомъ, читался, да еще и теперь прочтется многими, съ величайшимъ удовольствіемъ. Правда, что завязка этой повѣсти неестественна; она смѣшиваетъ на сказку и никакъ не напоминаетъ собою что-нибудь похожее на дѣйствительность... Послѣ „Бѣлыхъ ночей“ появилась

<sup>1)</sup> „Сѣверная Пчела“ 1861, № 199. Русская журналистика. Стр. 814.

„Неточка Незванова“, романъ оставшійся неоконченнымъ. Въ этомъ романѣ уже проглядывала другая манера писать, иное перо, описывался иной кругъ, другія лица. „Неточка Незванова“ до такой степени похожа по манерѣ на „Униженныхъ и оскорбленныхъ“, что говоря вообще о талантѣ г. Достоевскаго, мы могли бы говорить о томъ и о другомъ романѣ вмѣстѣ, хотя между ними лежитъ цѣлая пропасть въ отношеніи ко времени. Дѣйствительно, „Неточка Незванова“ прекратилась внезапно въ 1848 году, а „Униженные и оскорбленные“ появились въ 1861. Двѣнадцать лѣтъ! Много воды утекло съ тѣхъ поръ; но время, согнавшее столь многихъ въ могилу, выведшее другихъ на литературную арену, уничтожившее столько извѣстныхъ именъ, создавшее такъ много новыхъ, не паложило всемогущей руки своей на теплое сердце автора. Оно все то же; ни года, ни безвѣстная для насъ жизнь его не измѣнили ни его возрѣній, ни его гуманности, ни его сочувственной любви ко всему, что носитъ имя человѣка“...

Послѣ этого общаго вступленія критикъ сосредоточиваетъ свое вниманіе на фигурѣ князя Валковскаго, какъ орудіи того униженія и оскорбленія, противъ котораго горячо протестуетъ гуманизмъ Достоевскаго. „Самый выпуклый, самый цѣльный, самый вѣрный жизни и дѣйствительности характеръ въ романѣ: „Униженные и оскорбленные“— это характеръ князя Ивана, отца Алеши. Каждый изъ прожившихъ на бѣломъ свѣтѣ встрѣчалъ много такихъ людей, но къ счастью нашему, то есть къ счастью всего нашего общества, такія лица, какъ князь Иванъ, годъ отъ году вымираютъ и ужъ не нарождаются больше. Это квинтъ—эссенція всякой гнили, произведеніе особаго слоя общества, въ которомъ не осталось не только свѣжихъ соковъ, но даже тѣни чего-нибудь, что могло бы напомнить живую жизнь, а слѣдственно силу и развитіе. Такимъ лицамъ, взросшимъ среди нравственнаго растлѣнія, соединеннаго съ полуобразованіемъ, въ сферѣ, гдѣ европейскія привычки и азіятскія понятія, ловкія и изящныя манеры и грубыя чувства, вишній блескъ и тайная грязь нашли возможность сочетаться и

жить въ тѣсномъ союзѣ; не было будущности, и мы рады, что исчезая, вымирая, они оставляютъ въ литературѣ память по себѣ въ портретахъ, написанныхъ талантливымъ перомъ нашихъ романистовъ... Понятно, что въ романѣ, гдѣ князь Иванъ—герой и звѣзда первой величины, должно быть много простяковъ и донъ-Кихотовъ. Вотъ ихъ-то удачно и назвалъ г. Достоевскій униженными и оскорбленными. Какъ много говорятъ одни слова эти—униженные и оскорбленные! Сколько тутъ кровной, ничѣмъ неизгладимой, обиды, кровавыхъ, ничѣмъ несмываемыхъ, неистощимыхъ и горячихъ слезъ, которыя льются, льются и всетаки груди не облегчаютъ! Что можетъ быть ужаснѣе чувства безсилія? Оно давить человѣка, оно безустанно гнететъ его; отъ него онъ нравственно чахнетъ и гаснетъ! Униженные и оскорбленные!—вѣдь это сознаніе и собственной правоты и вмѣстѣ собственнаго безсилія. Такихъ людей не мало на бѣломъ свѣтѣ, и если мы можемъ упрекнуть автора, то развѣ въ томъ, что лица его (къ этому разряду относящіяся) не слишкомъ разнообразны, и что тѣ, которыя попались подъ перо его, недовольно ярко обрисованы<sup>1)</sup>.

Признавая въ романѣ „Униженные и оскорбленные“ наличность гуманитарнаго направленія, свойственнаго и болѣе раннимъ произведеніямъ сороковыхъ годовъ,—но лишь не приложеннаго раньше съ такой опредѣленностью, какъ теперь, къ оцѣнкѣ русской дѣйствительности,—критика въ то же время попрежнему ставитъ этотъ гуманизмъ въ связь съ идейными теченіями запада, захватившими еще въ сороковыхъ годахъ и Достоевскаго. Поэтому разбору романа „Униженные и оскорбленные“ предпосылается иногда, въ видѣ введенія, общая характеристика гуманитарнаго западничества, къ которому, какъ казалось критикамъ соотвѣтствующаго лагеря, примыкають по основному направленію художественныя произведенія автора „Бѣдныхъ людей“. Такой именно

<sup>1)</sup> „Русская Рѣчь и Московскій Вѣстникъ“ 1861; № 89; Ноября 5-го. Литературное и ученое обозрѣніе. Романы и сказки „Униженные и оскорбленные“, романъ г. Достоевскаго. Статья Е. Туръ. Стр. 573—5.



приступъ къ своему истолкованію романа Достоевскаго дѣлаетъ въ „Сынѣ Отечества“ А. Хитровъ. „И вотъ послышался голосъ гуманизма—говоритъ онъ по адресу 30—40-хъ годовъ—, послышался протестъ вообще за человѣка, имѣвшій цѣлью уяснить и показать, что богатство и знатность еще не ручательство за благородство и доблесть, что и подъ рубищемъ можетъ скрываться такая добродѣтель, какой поискать до поискать среди тѣхъ, кто гордо отъ нихъ отвертывается. И громко пронеслось это слово по Европѣ; забились благородныя сердца, не замедливъ откликнуться; все заговорили о правѣ вообще человѣка, и это, безспорно, лучшая черта новѣйшаго времени, это лучший трофей просвѣщенія. Такое движеніе идей Запада не могло же, долго ли коротко ли, не отразиться и въ Россіи. Правда, въ минувшее время у насъ вообще какъ-то боялись идей западныхъ, но пришло время и намъ толковать о гуманизмѣ, хотя и позднее того, чѣмъ заговорили о немъ въ Европѣ“. Однимъ изъ первыхъ—думаетъ критикъ—заговорить у насъ въ беллетристикѣ въ этомъ гуманитарномъ направленіи Ѳ. М. Достоевскій. „Вотъ почему... „Бѣдные люди“ читаются охотно и теперь, вотъ почему они будутъ охотно читаться и всегда, пока только мы не кинемъ нашего гуманнаго взгляда, который, благодаря Богу, начинаетъ прививаться къ нашему обществу. Раздавшійся такимъ образомъ голосъ гуманизма, голосъ за слабого и бѣднаго человѣка, обратившій на г. Достоевскаго всеобщее вниманіе, былъ и потомъ постояннымъ и главнымъ мотивомъ его многихъ произведеній. Такъ, что такое „Вѣрочка (sic) Незванова“..., какъ не тотъ же голосъ за бѣдную сироту? Что такое „Честный воръ“, какъ опять не то же заявленіе заступничества за бѣдняка? Не тѣмъ ли мотивомъ звучать затѣмъ „Бѣлыя ночи“, говорящая за благородное и готовое любить сердце бѣдной дѣвушки, и „Елка и Свадьба“, въ противоположность имъ представляющая аристократа съ пустой душенкой? И вотъ этимъ же самымъ мотивомъ звучитъ и новое его произведеніе, о которомъ мы и рѣшились говорить“.

Изложивши затѣмъ содержаніе романа „Униженные и оскорбленные“ со стороны гуманитарныхъ его мотивовъ,

критикъ дѣлаетъ о немъ такое общее заключеніе: „Таково содержаніе новаго романа г. Достоевскаго. Что жъ это такое, спрашивается, какъ не откликъ гуманнаго чувства, какъ не самый сильный протестъ за слабаго и маленькаго человѣка? Вникните, разсмотрите. Вотъ передъ нами князь. Какое громкое имя! И какъ много вмѣстѣ съ тѣмъ соединено съ нимъ разныхъ высокихъ представленій! При одномъ этомъ словѣ сейчасъ же рождается въ насъ понятіе о высокой доблести, примѣрномъ благородствѣ, геройствѣ, мужествѣ, величій духа. Онъ выше другихъ—такъ думаемъ мы, такъ естественно думать—потому, что онъ благороднѣе другихъ, болѣе другихъ служить обществу, могучѣе ихъ въ его интересахъ, обильнѣе въ пользѣ. И что жъ? Передъ нами, на мѣсто подобнаго героя, человѣкъ съ самой низкой душой, ползкомъ, плутнями и связями пріобрѣтшій значеніе, обманомъ и грабительствомъ—богатство, человѣкъ, который смѣется надъ всѣмъ святымъ, презираетъ, какъ гадину, cadaго, кто ниже его, и играетъ чувствами человѣка, какъ мичкомъ, который не только самъ не знаетъ чести, но не хочетъ знать и цѣнить ее въ другихъ, вѣситъ все на вѣсъ золота, забавляется несчастіями ближнихъ, готовъ убить человѣка, хвалится своимъ порокомъ, честью женщины шутить, какъ погремушкой, и который не прочь снести и оплеуху, лишь бы она была дана ему не при людяхъ. И рядомъ съ нимъ—бѣдный труженикъ, безсонными ночами и умственной работой, трудившейся всякой работы поденщика, снискивающий кусокъ хлѣба, готовый призрѣть всякаго бѣднаго, охотно вырывающій жертву изъ пасти какой-нибудь низкой торговли—Бубновой, охотно дѣлящейся съ брошеннымъ судьбою существомъ послѣдней копейкой и своимъ бѣднымъ пріютомъ, заботящійся потомъ объ этомъ существѣ съ любовью отца, отыскивающій ее, какъ пастырь заблудшую овцу стада. И рядомъ съ этимъ княземъ—цѣлое семейство, забитое горемъ и нуждой, лишенное всего, обезчещенное, но не рѣшающееся ни на какое угодничество и низость, не преклоняющееся передъ золотымъ тельцомъ, не продающее чести своей за деньги и не мирящееся на нихъ, за оскорбленіе готовое

итти на смерть, дорожащее своими чувствами и умѣющее лишь плакать при горѣ и молиться, но не торговать собой. Не заговорить ли послѣ этой картины хоть чье-угодно чувство въ пользу человѣка? Не родится ли послѣ этого само собой почтеніе не къ рангу и къ чину, а вообще къ достоинству человѣка, къ его личности? Я князь, коль мой сіяетъ духъ! сказалъ поэтъ, и романъ г. Достоевскаго есть развитіе этой мысли, такъ сказать, олицетвореніе ея. Прочтя его, невольно начинаешь съ любовью смотрѣть на cadaго, кто встрѣчается, — горькій-ли пьяница, дѣвочка-ли въ лохмотьяхъ, мужикъ-ли въ сѣромъ зипунѣ, старуха-ли нищенка, бѣдная-ли дѣвушка или развратная женщина, наконецъ трупъ-ли самоубійцы. Сейчасъ же воскресаютъ передъ нами образы Нелли съ матерью, Наташи съ отцомъ, рѣшающимся на дуэль, и при нихъ какъ палачи — князь и Бубнова. Не пройдешь тогда уже мимо съ презрѣніемъ, — нѣтъ, самъ собой придетъ вопросъ: А что самъ-ли ты несчастный виновать въ своей бѣдѣ? Не сгубили-ли тебя люди? И горько станетъ на сердцѣ, явится жалость. И перестанешь уже отъискивать благородство только подъ шелкомъ и бархатомъ, подъ батистовыми сорочками, повѣришь въ честность и благородство и лапотника. Не оттолкнешь уже и мальчика, просящаго гдѣ-нибудь на мосту милостыню, представится картина умирающей матери, голодающаго дѣда, и опустишь руку въ карманъ. И не станешь въ то же время съ завистью смотрѣть на эти быстро несущіеся экипажи, на дорогія одежды, почетъ и убранство, невольно увидишь на нихъ слезы бѣднаго народа, увидишь знаки угнетенной правды и примиришься съ своимъ уютнымъ угломъ. И много, много нахлынетъ на душу такихъ ощущеній, какъ скоро выикнешь въ романъ г. Достоевскаго. И вотъ по этой живости идеи, по тому благотворному вліянію, какое она можетъ имѣть на общество, мы и ставимъ высоко новое произведеніе г. Достоевскаго, мы ставимъ его, скажемъ при этомъ, выше всѣхъ другихъ его произведеній. Тамъ не такъ ясна была эта идея, не такъ понятна, здѣсь она прямѣй и откровеннѣй. Тамъ еще не было такого яснаго сопоставленія. Въ „Бѣдныхъ

людяхъ“ только лишь затрогивались тѣ вопросы, которые здѣсь раскрылись вполне<sup>1)</sup>.

Въ такихъ чертахъ представлялось гуманистическое направление романа Достоевскаго „Униженные и оскорбленные“ въ той части критики 60-хъ годовъ, которая, при умѣренно-прогрессивномъ („Русская Рѣчь“, „Сынъ Отечества“) или даже при консервативномъ („Сѣверная Пчела“) отношеніи къ общественно-политической жизни, продолжала хранить связи съ идеалистическими стремленіями 40-хъ годовъ, не настаивая въ то же время исключительно на западническомъ или на славянофильскомъ толкованіи идеализма этой эпохи. Но въ 60-хъ годахъ подъ вліяніемъ оживленія общественной мысли и дѣятельности критика выдвинула уже и новыя точки зрѣнія на задачи литературы въ связи съ общественными броженіемъ даннаго момента: одна изъ нихъ развивалась отчасти въ „Современникѣ“ и въ особенности въ „Русскомъ Словѣ“ и отличалась радикально-прогрессивнымъ характеромъ; другая склонялась въ сторону реакціи и исповѣдывалась или такими безцвѣтными по направленію журналами, какъ „Библіотека для чтенія“, или такими спеціально-реакціонными органами, какъ „Домашняя Бесѣда“<sup>2)</sup>. Эти точки зрѣнія, обострившіяся уже послѣ первыхъ лѣтъ реформы, ознаменованныхъ гармоническимъ настроеніемъ въ обществѣ и печати, не могли спокойно мириться съ гуманизмомъ Достоевскаго, какъ не мирились и со всѣмъ тѣмъ, что отзывалось созерцательнымъ, пассивнымъ идеализмомъ 40-хъ годовъ, слишкомъ либеральнымъ для реакціи, вызванной первыми же годами реформы, и слишкомъ инертнымъ и отсталымъ для радикализма той же реформаціонной эпохи. Такимъ образомъ и гуманизмъ „Униженныхъ и оскорбленныхъ“ неизбежно долженъ былъ подвергнуться оцѣнкѣ съ этихъ двухъ точекъ зрѣнія.

Дѣйствительно, радикальная критика начала 60-хъ годовъ, въ лицѣ напр. Н. А. Добролюбова признала про-

<sup>1)</sup> „Сынъ Отечества“ 1861, №№ 36—37. „Униженные и оскорбленные“. Романъ въ 4-хъ частяхъ Ѳ. М. Достоевскаго. Статья А. Хитрова. Стр. 1062 и 1093-4.

<sup>2)</sup> Впрочемъ, въ этомъ послѣднемъ журналѣ, повидимому, нѣтъ никакихъ откликовъ на литературную дѣятельность Достоевскаго.

грессивно-гуманитарный характеръ этого романа лишь съ большими ограниченіями. Въ статьѣ „Забитые люди“ (гдѣ попутно съ романомъ „Униженные и оскорбленные“ характеризуются и болѣе ранніе герои Достоевскаго—Макаръ Дѣдушкинъ, Голядкинъ и Прохарчинъ) Добролюбовъ, называя Достоевскаго „замѣчательнымъ дѣятелемъ“ „гуманическаго“ направленія, находитъ въ то же время, что въ его „забитыхъ людяхъ“ сознаніе человѣческаго достоинства, эта „искра Божія“, слишкомъ слабо и недѣлательно, и пытается съ точки зрѣнія радикала-шестидесятника объяснить нашу забитость историко-общественными причинами. „...Отчего же—спрашиваетъ онъ—подобныя вспышки „Божьей искры“ такъ слабы, такъ бѣдны результатами? Отчего пробужденное на мигъ сознаніе засыпаетъ снова такъ скоро? Отчего человѣческіе инстинкты и чувства такъ мало проявляются въ практической дѣятельности, ограничиваясь больше вздохами и жалобами да пустыми мечтами? Да оттого и есть, что у людей, о которыхъ мы говоримъ; ужъ характеръ такой. Вѣдь будь у нихъ другой характеръ,—не могли бы они и быть доведены до такой степени униженія, пошлости и ничтожества. Вопросъ, значить, о томъ, отчего образуются въ значительной массѣ такіе характеры, какія условія развиваютъ въ человѣческомъ обществѣ инерцію, въ ущербъ дѣятельности и подвижности силъ. Можетъ быть, вина въ нашемъ національномъ характерѣ? Но вѣдь этимъ вопросъ не рѣшается, а только отдалается: отчего же національный характеръ сложился такой, по преимуществу, инертный и слабый?“...<sup>1)</sup>

Одну изъ причинъ этой инертности, особенно въ средѣ „бѣднаго люда средняго класса“, критикъ видитъ въ самыхъ условіяхъ нашей семейной жизни и, въ частности, въ характерѣ воспитанія будущихъ „забитыхъ людей“. „Нашъ съ дѣтства наши кровные родные старались приучить къ мысли о нашемъ ничтожествѣ, о нашей полной зависимости

<sup>1)</sup> „Современникъ“ 1861, т. 89, сентябрь. Русская литература. Забитые люди. (Сочиненія Ѳ. М. Достоевскаго. Два тома. Москва. 1860 г. Униженные и оскорбленные, романъ въ четырехъ частяхъ, Ѳ. М. Достоевскаго, „Время“, 1861 г. №№ I-VII). Н—бовъ. Стр. 142.

отъ взгляда учителя, гувернера и вообще всякаго высшаго по положенію лица... „Такимъ образомъ направленные съ дѣтства, какъ мы вступаемъ въ дѣйствительную жизнь? Не говорю о богачахъ и баричахъ; до тѣхъ намъ дѣла нѣтъ; мы говоримъ о бѣдномъ людѣ средняго класса. Нѣкоторые и по окончаніи ученическаго періода не выходятъ изъ-подъ крыла родительскаго; за нихъ просятъ, кланяются, подличаютъ, велятъ и имъ кланяться и подличать, выхлопатываютъ мѣстечко, нерѣдко теплое... Подобные птенцы имѣютъ шансы дойти до степеней извѣстныхъ. Но огромное большинство бѣдняковъ, не имѣющихъ ни кола, ни двора, не знающихъ, куда приклонить голову,—что дѣлаетъ это большинство? По необходимости тоже подличаетъ и кланяется, и выкланиваетъ себя на первый разъ возможность жить безбѣдно гдѣ-нибудь въ углу на чердакѣ, тратя по двугривенному въ день на свое пропитаніе,—да и это еще по чьей-нибудь милости, потому что, собственно говоря, нужды въ людяхъ нигдѣ у насъ не чувствуется, да и сами эти люди не чувствуютъ, чтобъ они были на что-нибудь нужны... Замѣьте, что вѣдь у насъ, если человѣкъ маломальски чему научился, то ему нѣтъ другого выхода, кромѣ какъ въ чиновники. Въ послѣднее время всякій, обученный до степени кое-какого знанія хотя одного иностраннаго языка, норовитъ сыскать себя средства къ жизни посредствомъ литературы; но литература наша тоже наводнена всякаго рода претендентами и не можетъ достаточно питать ихъ. По неволѣ опять обращается цѣлая масса людей ежегодно къ чиновнической дѣятельности, и поневолѣ терпитъ все, сознавая свою ненужность и коренную бесполезность“ <sup>1)</sup>).

Такимъ образомъ уже семья и школа направляетъ, по мнѣнію Добролюбова, средняго человѣка къ состоянію забитости, изъ котораго для него потомъ нѣтъ выхода. Особенно же важное значеніе въ смыслѣ причины забитости придаетъ критикъ складу нашей общественной жизни и особенностямъ нашей такъ называемой цивилизаціи: этой именно причиной,

<sup>1)</sup> „Современникъ 1861, т. 89, сентябрь... Забитые люди... Стр. 144—5.



по его мнѣнію, объясняется та атмосфера забитости, которую мы находимъ въ романѣ „Униженные и оскорбленные“. „Человѣкъ поглощается—такъ разсуждаетъ Добролюбовъ—и уничтожается общимъ впечатлѣніемъ того громаднаго механизма, котораго онъ не въ состояніи даже обнять своимъ разсудкомъ. Подобно древнему язычнику, падавшему ницъ предъ невѣдомыми, грандіозными явленіями природы, падаетъ нынѣшній смертный предъ чудесами высшей цивилизаціи, которая хоть и тяжело отзывается на немъ самомъ, но поражаетъ его своими гигантскими размѣрами. Тутъ ужъ нѣтъ рѣчи о борьбѣ, тутъ и для характеровъ болѣе сильныхъ возможно только безплодное раздраженіе, желчныя жалобы и отчаяніе. Возьмите хоть опять послѣдній романъ г. Достоевскаго. Вотъ, напримѣръ, сильный, горячій характеръ маленькой Нелли; но посмотрите, какъ она поставлена, и можетъ-ли ей въ этой обстановкѣ притти хоть малѣйшая мысль о борьбѣ постоянной и правильной? Ея мать умерла, задолжавъ Бубновой; ее нечѣмъ похоронить; Нелли осталась безпомощна, беззащитна. Бубнова беретъ ее къ себѣ и вступаетъ, разумѣется, надъ нею во всѣ права воспитательницы и госпожи. Ее бьютъ, мучать и тиранятъ всячески, чтó же съ этимъ дѣлать? Бубнова—ея благодѣтельница, и не будь она, такъ другая на ея мѣстѣ могла бы дѣлать то же самое... Нелли даже злобно рада своимъ побоямъ: она считаетъ ихъ уплатою за кусокъ хлѣба и за отрешье, какое даетъ ей Бубнова. Но ей тяжело другое: она видитъ, къ чему ее готовить Бубнова, ей и обидно, и страшно, и горько... Но опять—чтó же она сдѣлаетъ? Вѣдь не зарѣзать же Бубнову? А убѣжать отъ нея—куда убѣжишь, чтобы не нашли? И вотъ она продана, и избавляется случайнымъ образомъ, когда уже надъ нею готово совершиться мерзкое преступленіе... Затѣмъ—она знаетъ, что она дочь, законная дочь князя. Но что же изъ этого? Нужны документы, у ней ихъ нѣтъ; нужно быть юристомъ, чтобы затѣять дѣло, да и то у князя есть деньги и связи, подѣйствительнѣе всѣхъ юристовъ... Бѣдная Нелли хоть и попадаетъ подъ конецъ къ добрымъ людямъ, но ее постоянно возмущаетъ чувство,

что она живетъ у чужихъ людей изъ милости... Ну да это, положимъ, ребенокъ. Возьмемъ изъ того же романа другое лицо—Ихменева. Это характеръ крѣпкій, но крѣпкій не на борьбу, а на упорство въ раздраженіи. Свой гнѣвъ, свою горечь онъ изливаетъ то на безотвѣтную жену, то на дочь, которую страстно любитъ, но тѣмъ не менѣе проклинаетъ нѣсколько разъ. Отчего онъ всю силу свою не употребитъ прямо, куда слѣдуетъ,—противъ своего обидчика—князя?... Да онъ бы и желалъ этого болѣе всего на свѣтѣ; но въ дѣлахъ съ княземъ надо соблюдать установленныя церемоніи и условія. Затѣянъ процессъ—ну и идетъ онъ неспѣшно, годами, по заведенному порядку и кончается въ пользу князя,—сколько ни апеллируй—все въ его пользу... Приходится платить, продавать съ аукціона Ихменевку... Вѣдь знаетъ и чувствуетъ старикъ, что это несправедливо, оскорбительно, безсовѣстно; но какъ же это передѣлаешь? Хоть убей Ихменевъ князя, а деревню его все-таки продадутъ... Ихменевъ возымѣлъ—было это намѣреніе, узнавъ, что князь сказалъ одному чиновнику, что „въслѣдствіе нѣкоторыхъ семейныхъ обстоятельствъ“ хочетъ возвратить старику штрафныя съ него 10 тысячъ. Это значило назначить плату за безчестье его дочери. Старикъ расхотѣлся и рѣшилъ вызвать князя на дуэль. Вотъ разсказъ Ивана Петровича объ успѣхахъ его попытки“ (Цитируется соотвѣтствующее мѣсто изъ романа)...<sup>1)</sup>

Выхода изъ этого тяжелаго положенія забытыхъ людей Достоевскій—такъ думаетъ критикъ—въ своемъ романѣ не даетъ; впрочемъ, не даетъ этого выхода и Добролюбовъ, ограничивающійся въ данномъ случаѣ общими осторожными фразами о несовершенствѣ нашего общественнаго уклада. „Такъ, стало быть, положеніе этихъ несчастныхъ, забытыхъ, униженныхъ и оскорбленныхъ людей совсѣмъ безвыходно? Только имъ и остается, что молчать и терпѣть, да, обратившись въ грязную ветошку, хранить въ самыхъ дальнихъ складкахъ ея свои безотвѣтныя чувства? Не знаю, можетъ быть, и есть выходъ; но едва ли литература можетъ указать его. Мы съ

<sup>1)</sup> „Современникъ“ 1861, т. 89, сентябрь... „Забытые люди“... Стр. 146—8.

нашею литературою все повторяемъ только зады. Произвела жизнь наша, много лѣтъ тому назадъ, извѣстный разрядъ личностей; лѣтъ двадцать тому назадъ художники ихъ примѣтили и описали; теперь критикъ опять пришлось обратиться къ разбору произведеній одного изъ этихъ художниковъ; вотъ она сгруппировала, съ картинъ художника, нѣсколько личностей, кое-что обобщила, сдѣлала кое-какіе выводы и замѣчанія... И вотъ все, что покамѣстъ мы можемъ. Мы нашли, что забытыхъ, униженныхъ и оскорбленныхъ личностей у насъ много въ среднемъ классѣ, что, несмотря на наружное примиреніе съ своимъ положеніемъ, они чувствуютъ его горечь, жаждутъ выхода... Гдѣ выходъ,—это должна показать сама жизнь <sup>1)</sup>.

Но, не указывая „этого выхода“, Добролюбовъ во всякомъ случаѣ находитъ, что Достоевскій съ своими забытыми героями уже отсталъ отъ поступательнаго движенія жизни въ сторону „возстановленія человѣческаго достоинства“; это поступательное движеніе, которое критикъ видѣлъ, вѣроятно, въ современной ему реформаціонной эпохѣ, нуждается по его мнѣнію не въ забытыхъ, а въ сильныхъ характерахъ, къ которымъ онъ относилъ, можетъ быть, наиболѣе яркихъ представителей радикализма своего времени; но не Достоевскаго, остановившагося на „Макарѣ Алексѣича съ братією“,—этомъ слабомъ выраженіи самосознающей и протестующей личности. „Со времени появленія Макара Алексѣича съ братією жизнь уже сдѣлала много. Мы замѣтили, между прочимъ, общее стремленіе къ возстановленію человѣческаго достоинства. Можетъ быть, здѣсь уже и открывается выходъ изъ горькаго положенія загнанныхъ и забытыхъ; потому большая часть этихъ забытыхъ, которыхъ считали, можетъ быть, пропавшими и умершими нравственно,—все-таки крѣпко и глубоко, хотя и затаенно даже для себя самихъ, хранитъ въ себѣ живую душу и сознаніе своего человѣческаго права на жизнь и счастье“ <sup>2)</sup>.

Еще настойчивѣе указываетъ на отсталость романа

<sup>1)</sup> „Современникъ“ 1861, т. 89, сентябрь... Забытые люди... Стр. 148.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 149.

„Униженные и оскорбленные“ отъ поступательнаго движенія 60-хъ годовъ гр. Г. А. Кушелевъ-Безбородко въ „Русскомъ Словѣ“. Онъ видитъ въ романѣ Достоевскаго не только излишнюю слабость и забитость характеровъ, какъ Добролюбовъ, но и излишнюю слабость и забитость общественной тенденціи или, какъ онъ выражается, недостатокъ соціальной идеи. „Мы должны признаться“, говоритъ критикъ, „что ожидали большаго отъ этого романа. Самое названіе, казалось намъ, обѣщало развитіе важной соціальной идеи.—Униженные и оскорбленные! Сколько ужасныхъ драмъ кроется въ этихъ двухъ словахъ, сколько и вправду есть униженныхъ, сколько оскорбленныхъ—отъ русскаго мужика, часто униженнаго и оскорбленнаго или своимъ господиномъ, или своимъ подрядчикомъ, десятскимъ, оскорбленнаго зачастую безъ причинъ, такъ зря, на улицѣ, въ лавкѣ, вездѣ, гдѣ его трактуютъ ниже всякаго, толкаютъ, не обращаютъ даже на него вниманія, а онъ между тѣмъ глубоко иногда чувствуетъ и понимаетъ это униженіе, это оскорбленіе, въ особенности, если хотя немного развитъ и образованъ. Да и мало ли можно указать въ нашемъ обществѣ примѣровъ униженія и оскорбленія, постоянно встрѣчающихся, не исключительныхъ, какъ въ романѣ г. Достоевскаго, а прямо вытекающихъ изъ нашихъ нравовъ и обычаевъ“<sup>1)</sup>).

Въ то время какъ для радикальной критики 60-хъ годовъ гуманизмъ Достоевскаго казался отсталымъ отъ вѣка, безцвѣтнымъ и бездѣятельнымъ,—критика охранительнаго порядка — охранительнаго, если не въ смыслѣ оппозиціи реформамъ, то, по крайней мѣрѣ, въ смыслѣ оппозиціи неустойчивому, порывистому радикализму молодежи 60-хъ годовъ—хотѣла въ его гуманизмѣ видѣть излишнюю дерзость прогрессивной мысли. Въ параллель статьѣ Добролюбова „Забитые люди“, Е. Θ. Заринъ помѣстилъ въ „Библіотекѣ для Чтенія“ свой отчетъ о романѣ Достоевскаго и назвалъ его „Небывалые люди“. Подчеркивая здѣсь свое отрицатель-

<sup>1)</sup> „Русское Слово“ 1861, сент. Русская литература. „Униженные и оскорбленные“, романъ Г. Достоевскаго. Статья гр. Г. А. Кушелева-Безбородко. Стр. 43—48 посвящены оцѣнкѣ романа.

ное отношеніе къ Добролюбову, г. Заринъ отрицательно относится и къ прогрессивному гуманизму Достоевскаго. Онъ находитъ, что „романъ видимымъ образомъ написанъ на предзаданную тему“ и, слѣдовательно, тенденціозенъ и далекъ отъ настоящей жизни. „...Въ основаніе романа положена чисто разсудочная тема—это уже ошибка и очень большая; потомъ для успѣшнаго упражненія надъ этой темой въ природѣ нашего романиста не оказалось достаточнымъ средствъ—это также радикальное неудобство. Совокупность этихъ двухъ недостатковъ имѣла своимъ послѣдствіемъ то, что авторъ, воплощая свои положенія въ человѣческія тѣла, снабдилъ эти послѣднія такимъ психическимъ механизмомъ, дѣйствіе котораго способно приводить въ отчаяніе каждаго психолога“.

Въ особенности эта „предзаданность“ романа „Униженные и оскорбленные“ обнаруживается, по мнѣнію критика „Библиотеки для Чтенія“, въ тѣхъ пунктахъ романа, гдѣ Достоевскій выступаетъ будто бы защитникомъ эмансипаціи женщинъ. „Въ намѣреніи нашего романиста было — сдѣлаться адвокатомъ самостоятельности (*émancipation*) женщинъ, хотя въ дѣйствительности онъ исполнилъ роль совершенно противоположную. Критика давно уже должна бы обратить свое вниманіе на эту благородную склонность нашихъ беллетристовъ, потому что женщина, эмансипированная въ извѣстную сторону, видимымъ образомъ является кандидаткой на упраздненное мѣсто причудливаго человѣка“. Приводится въ примѣръ мать Нелли, какъ любовница князя, „обокравшая“ своего отца. То же стремленіе къ защитѣ женской эмансипаціи Достоевскій обнаружилъ, по мнѣнію г. Зарина, въ характерѣ Наташи, усвоивши этой *émancipée*—вмѣсто присущихъ подобному типу отрицательныхъ чертъ — черты положительныя и даже симпатичныя. Въ обрисовкѣ ея авторъ—говоритъ г. Заринъ—„фельетонный прогрессъ принялъ за настоящій“. Но онъ „окружилъ ее ореоломъ порядочности и сдѣлалъ это въ величайшій ущербъ правдоподобію“... „Мы знаемъ автора за благородно-мыслящаго человѣка и полагаемъ, что онъ пришелъ къ этому невзначай;

мы полагаемъ даже—все на томъ же основаніи—, что его будничныи, обыкновенныи, нероманическій образъ мыслей состоитъ въ томъ, что хоть изъ его Наташи и вышла интересная униженная и оскорбленная, но это только въ романѣ; а что въ дѣйствительной жизни ни одно почтенное семейство, даже воспитывающее въ себѣ самыя радикальныя начала, не можетъ такую страницу въ своей семейной хроникѣ считать ничѣмъ другимъ, какъ роковымъ и величайшимъ злополучіемъ<sup>1)</sup>.

Такую же надуманность и случайность „униженія“ и „оскорбленія“ констатируетъ критикъ и въ безхарактерности героя романа—Вани. „Положимъ, что онъ (авторъ)—разсуждаетъ критикъ—имѣлъ намѣреніе вдохновить насъ превосходнымъ примѣромъ, показавъ намъ добрѣйшій образъ печальника о своихъ близкихъ: намѣренію этому никто не можетъ отказать въ благородствѣ. Но если авторъ оставилъ своего печальника при однѣхъ печаляхъ; если, вмѣсто всякихъ силъ, необходимыхъ для такого почтеннаго призванія, вмѣсто высоко-развитого чувства справедливости, вмѣсто непреклоннаго и хорошо направленнаго эгоизма, не терпящаго нарушенія ни своего права, ни права ближняго, эгоизма, предполагающаго столь же глубокую любовь, какъ и глубокую ненависть, не устающаго въ борьбѣ, не робѣющаго ни передъ какими неудачами, никогда не теряющаго своей надежды—если, вмѣсто всего этого, авторъ снабдилъ своего печальника одною безцѣльною добротою и сдѣлалъ изъ него зефирота, то мы никакъ не должны обольщать себя, будто такое химерное, хотя и добренькое существо, что-нибудь способно сдѣлать въ этомъ зломъ и реальномъ мірѣ. Такимъ образомъ, доказать, что это существо есть дѣйствительно химерное—становится нашею существенно обязанностию; иначе могутъ найтись робкіе люди, которые еще болѣе перепугаются и получаютъ лишнее доказательство, что хорошему человѣку въ этомъ зломъ мірѣ дѣйствительно ничего нельзя сдѣлать; пусть же они видятъ, что авторъ не доказалъ своего положенія“<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> „Библіотека для Чтенія“ 1862, т. 169, январь. Современная лѣтопись. Небывалые люди („Униженные и оскорбленные“. Романъ Ф. Достоевскаго). 3-на. Стр. 48—50. То же, февраль, стр. 39—40.



Несмотря на эти ограниченія, сдѣланныя по отношенію къ гуманизму Достоевскаго въ критикѣ какъ радикальнаго, такъ и умѣреннаго характера, его репутація—какъ писателя съ гуманитарнымъ и въ то же время прогрессивнымъ направлениемъ—стояла въ началѣ 60-хъ годовъ очень прочно. Показателемъ этого, на ряду съ романомъ „Униженные и оскорбленные“, служатъ въ особенности „Записки изъ Мертваго Дома“, появившіяся въ 1861—62 годахъ. Появленіе этого произведенія сопровождалось едва ли не самымъ согласнымъ и открытымъ признаніемъ гуманизма Достоевскаго, какое только выпадало на его долю до момента его смерти, еще разъ на нѣкоторое время объединившей разнорѣчивыя сужденія о немъ критики. Признавая безъ ограниченій гуманитарное значеніе этого произведенія, читающая публика и критика реагировали на него болѣе реально, чѣмъ навсе, раньше Достоевскимъ написанное, т. е. не однимъ сочувствіемъ или настроеніемъ, но и жестокимъ анализомъ—съ гуманитарной точки зрѣнія—соотвѣтствующей роману дѣйствительности и реальными выводами въ сторону ея обновленія.

Романъ, вызвалъ сначала рядъ частныхъ вопросовъ, связанныхъ съ пенитенціарнымъ дѣломъ въ Россіи. Такъ, между прочимъ, въ газетѣ „Русскій Міръ“ довольно рѣзко поставленъ былъ вопросъ: „На какомъ основаніи надѣваются кандалы на лицъ привилегированныхъ сословій?“<sup>1)</sup> и попутно съ этимъ вопросомъ подвергнута была обсужденію еще одна подробность, касающаяся самаго способа ношенія кандаловъ. „Въ „Запискахъ изъ Мертваго Дома“ Ф. М. Достоевскаго — разсуждаетъ критикъ — между прочими подробностями содержанія преступниковъ въ каторгѣ заключается указаніе, что преступники, освобожденные по закону отъ тѣлеснаго наказанія, заковываются въ кандалы, какъ во время слѣдованія въ Сибирь, такъ и въ самомъ заключеніи, наравнѣ съ преступниками изъ сословій, не освобожденныхъ отъ тѣлеснаго наказанія. По закону кандалы и оковы суть

<sup>1)</sup> „Русскій Міръ“ 1862, № 22, стр. 448—9. Статья подъ тѣмъ же заглавіемъ. подписана: — —ъ —ъ.

тѣлесное наказаніе, и, конечно, никакая логика не въ состояніи придать кандаламъ какое-либо предупредительное, а не карательное значеніе. Мы вовсе не хотимъ указать на-стоящей замѣткой на нарушеніе привилегіи, которой пользуются извѣстные классы нашего общества; но мы имѣли въ виду указать на отступленіе отъ закона. Если кандалы необходимы для всѣхъ, то пусть скажетъ это законъ, назвавъ ихъ не тѣлеснымъ наказаніемъ, а предупредительно-полицейской мѣрой; въ такомъ случаѣ кандалы могутъ быть надѣ-ваемы на всякаго арестованнаго и до рѣшенія о немъ дѣла. Что дѣлается по закону, то менѣе оскорбляетъ, нежели произвольное нарушеніе закона. Было бы желательно, чтобъ юристы наши высказали по этому предмету свое мнѣніе. Еще одна подробность, заключающаяся въ запискахъ г. Достоевскаго, взываетъ къ необходимости мѣры со стороны правительства, которая облегчила бы несчастныхъ отъ кары, не предписываемой никакимъ закономъ: надѣвая кандалы, законъ и администрація не полагаютъ такъ-называемыхъ подкандалниковъ, которые, обыкновенно, дѣлаются изъ толстой кожи и надѣваются на тѣ мѣста, гдѣ кандалы касаются прямо тѣла. Безъ подкандалниковъ кандалы при дальнемъ путешествіи пѣшкомъ и при морозахъ являются совершеннымъ истязаніемъ, протирая въ короткое время живую кожу до кости. Даже подкандалники не выдерживаютъ долго. Необходимость, весьма понятная, заставляетъ осужденныхъ покупать подкандалники на свой счетъ, но это, разумѣется, должно быть крайне затруднительно для людей, лишенныхъ возможности къ приобрѣтенію денегъ; и кромѣ того обыкновенно, когда дѣло касается до такой крайней потребности людей, уже лишенныхъ всякихъ правъ состоянія, до какой степени дѣлаются для нихъ тяжелы и неотразимы всѣ мелкія злоупотребленія и притѣсненія со стороны властей окружающихъ осужденныхъ!—А мы знаемъ, что эти злоупотребленія и притѣсненія тяготѣютъ у насъ и надъ людьми, пользующимися правами состоянія, но недостаточно сильными для борьбы съ ними“.

Въ „Сынѣ Отечества“ возбужденъ былъ по поводу „Записокъ изъ Мертваго Дома“ другой частный вопросъ изъ быта каторжанъ, именно—о госпиталяхъ при каторжныхъ тюрьмахъ: „Касаясь совершенно новаго предмета, быта людей, которые, заклеянные тяжелымъ именемъ преступниковъ, какъ-бы совершенно пропадаютъ для общества, „Записки“ г. Достоевскаго на каждомъ шагу рисуютъ картины одна другой поразительнѣе, отъ которыхъ то ноетъ сердце въ груди, до рождается новая дума, новый вопросъ въ умѣ. Въ послѣдней вышедшей части ихъ авторъ рассказываетъ намъ про госпиталь каторжныхъ; и Боже мой! что это за жизнь! Вотъ напр., какъ авторъ описываетъ больничный халатъ: „Я, говоритъ онъ, тотчасъ-же съ омерзениемъ и любопытствомъ невольно началъ осматривать только что надѣтый мною халатъ“... (Цитируется соответствующее мѣсто „Записокъ“, ч. II, гл. 1). Указывая на такую обстановку и задавая вопросъ: почему и для чего допускается въ этомъ госпиталѣ многое такое, автору, между прочимъ, кажется страннымъ это, что никакая болѣзнь не считается настолько важною, чтобы во время ея арестанта освобождали отъ цѣпей. „Положимъ, говоритъ онъ, кандалы, сами по себѣ, не Богъ знаетъ какая тяжесть.. Бѣжать же они никогда никому помѣшать не могутъ“ (Цитата изъ той же главы) <sup>1)</sup>.

Тамъ же, въ „Сынѣ Отечества“, критика заговорила, подъ вліяніемъ „Записокъ изъ Мертваго Дома“, о средствахъ исправленія преступниковъ, отбывающихъ наказаніе въ каторгѣ: „...Отчего-бы не ввести въ каторгѣ вмѣсто общаго сожителства систему одиночнаго заключенія, отчего-бы не дать преступнику возможности хоть нѣсколько времени побыть съ самимъ собой, углубиться въ себя?... Отчего-бы не сдѣлать... работу хоть сколько-нибудь непринужденною? Отчего-бы не завести на каторгѣ нѣчто въ родѣ мастерскихъ, существующихъ при заграничныхъ тюрьмахъ? Отъ такого устройства можно ждать большихъ плодовъ“... <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> „Сынъ Отечества“ 1862, № 28. Февраля 1-го. Листокъ. Стр. 218.

<sup>2)</sup> „Сынъ Отечества“ 1862, № XXIV (воскресный). Юня 17-го. „Записки изъ Мертваго Дома“ Ѳ. Достоевскаго. Стр. 569—570. Статья А. Х.

Тѣ же самые выводы нѣсколько раньше были формулированы П. Мулловымъ и въ журналѣ „Вѣкъ“ въ слѣдующемъ видѣ: 1. Совмѣстная жизнь въ каторгѣ развращаетъ преступниковъ, и этотъ развратъ каторжане несутъ потомъ и въ свое общество. 2. Въ каторгѣ помимо казенной работы (во время свободное отъ урочной работы) надо допускать и свободный трудъ. Въ подтвержденіе этихъ выводовъ цитируются два мѣста изъ первой главы части первой романа: „Помѣщалось насъ въ острогѣ всего человѣкъ двѣсти пятьдесятъ,—цифра почти постоянная“... и „Казенная каторжная работа была не занятіемъ, а обязанностью“... П. Мулловъ рекомендуетъ, между прочимъ, какъ выводъ изъ романа Достоевскаго, и общую мысль, именно что „измѣненіе системы заключенія нужно начинать не съ конца, не съ каторжныхъ работъ, а съ нашихъ исправительныхъ заведеній, съ нашихъ полицій и остроговъ“ <sup>1)</sup>.

Наконецъ, иногда эти отдѣльные соображенія, навѣянные чтеніемъ „Записокъ изъ Мертваго Дома“, разрослись въ цѣлую картину реформъ, долженствующихъ совершенно обновить устройство каторжной тюрьмы. Такъ, напр., въ „Иллюстрированномъ Листкѣ“ перечисляется цѣлый рядъ мѣръ, полезныхъ въ этомъ смыслѣ. „Для того, чтобы наказаніе явилось болѣе гуманнымъ, болѣе рациональнымъ и справедливымъ, слѣдовало бы произвести коренныя реформы въ порядкѣ наказанія, выражающемся въ каторжной жизни. Въ небольшой журнальной статьѣ не мѣсто разрабатывать такой важный вопросъ во всѣхъ его подробностяхъ; но мы не можемъ, однакоже, не сказать нѣсколько словъ о томъ, въ чемъ по нашему мнѣнію должны состоять въ общихъ чертахъ эти реформы. Уголовные преступники должны быть удаляемы изъ общества и заключены въ остроги, находящіеся въ значительномъ разстояніи отъ болѣе населенныхъ мѣстностей, хотя въ томъ же мѣстѣ, гдѣ помѣщены и нынѣшніе остроги, то есть въ Сибири. Но устройство остроговъ должно быть

<sup>1)</sup> „Вѣкъ“ 1862, №№ 9—10. Марта 11-го. „Вопросъ о мѣстахъ заключенія арестантовъ въ Россіи“. (По поводу „Записокъ изъ Мертваго Дома“ Э. Достоевскаго). Стр. 88—91. Статья П. Муллова.

измѣнено. Вмѣсто нынѣшнихъ общихъ казармъ для всѣхъ арестантовъ, слѣдуетъ устроить отдѣльныя комнаты, для каждаго арестанта особую, чтобы избавить его отъ принудительнаго сожителства съ другими заключенными, съ которыми, часто, онъ не можетъ имѣть ничего общаго; но вмѣстѣ съ этимъ не надо лишать арестантовъ свободы въ сообщеніи ихъ между собою. Пища, одежда, все вообще содержаніе должно быть улучшено по возможности; при острогахъ должны быть учреждены школы грамотности и должно доставлять арестантамъ книги; принудительной работѣ подвергать не слѣдуетъ, а каждому предоставить на собственный выборъ и усмотрѣніе—родъ работы и время занятій. Если черезъ это будетъ терять общество, если оно будетъ нести большую матеріальную, денежную повинность, необходимую для содержанія заключенныхъ преступниковъ, это будетъ отчасти и справедливо“. Помимо этихъ общихъ мѣръ, разсматриваются дальше и нѣкоторыя частныя, напр. облегченіе положенія въ тюрьмѣ людей образованныхъ, устройство для заключенныхъ спектаклей и т. п. <sup>1)</sup>).

Рядомъ съ этими отдѣльными практическими выводами, имѣвшими почти исключительно административный и юридическій интересъ, критика сразу же подчеркнула и ту основную гуманитарную идею романа Достоевскаго, которая надолго упрочила за авторомъ обаяніе апостола гуманности въ дѣлѣ русскаго прогресса. На эту идею указывали уже мимоходомъ и цитированныя выше статьи. Она понята была какъ прогрессивно-гуманитарное освѣщеніе не только внѣшней, но и внутренней жизни преступника, какъ призываніе милости и состраданія къ падшимъ собратьямъ. „Вызывая въ обществѣ состраданіе къ этому кружку несчастныхъ, убѣдительно доказывая при этомъ несостоятельность и во многомъ вредъ настоящихъ условій положенія этого кружка, „Записки“ въ то же время пролагаютъ очень ясно путь, какимъ можно внести свѣтъ и въ этотъ темный уголъ. За это — большое

<sup>1)</sup> „Иллюстрированный Листокъ“ 1862, т. VII, №№ 42—3. Библиографическія и литературныя замѣтки. „Записки изъ Мертваго Дома“ Ф. М. Достоевскаго. Изд. второе, 1862 г. Статья П. К. Цитируется № 43, стр. 430.

спасибо автору, здѣсь прямое и честное служеніе его страждущему человѣчеству" <sup>1)</sup>). Съ этой точки зрѣнія—гуманитарнаго освѣщенія темнаго прошлаго и настоящаго русской каторги — одинъ изъ только что цитированныхъ журналовъ усваиваетъ роману Достоевскаго совершенно опредѣленное „историческое и общественное значеніе“: „...Въ „Запискахъ“ рисуютъ (sic!) намъ особый міръ, представляющій столько интереснаго, столько трагическаго, а главное—истиннаго и дѣйствительнаго. Конечно, можетъ быть много фактовъ, случаевъ, выведенныхъ въ „Запискахъ“, въ настоящее время и не встрѣчается болѣе въ каторгѣ, благодаря нѣкоторымъ гуманнымъ преобразованіямъ; но этихъ преобразованій еще такъ мало по числу, они произвели такое незначительное измѣненіе въ общемъ характерѣ каторжной жизни, въ ея сущности, и можно сказать, что авторъ рисуетъ намъ дѣла минувшія и прошедшія и вмѣстѣ съ тѣмъ дѣла текуція и настоящія. Вотъ главная причина интереса, возбужденнаго въ публикѣ—„Записками изъ Мертваго Дома“ <sup>2)</sup>...

Эти попутно сдѣланныя замѣчанія объ основной идеѣ „Записокъ“ получаютъ подъ перомъ нѣкоторыхъ критиковъ весьма удачное развитіе. Въ этомъ отношеніи особенно замѣчательна статья А. Милюкова, помѣщенная въ „Свѣточѣ“ 1861 года <sup>3)</sup>. „По мѣрѣ чтенія—говоритъ А. Милюковъ—намъ казалось, что Достоевскій, точно Вергилій, ведетъ насъ въ какой-то страшный міръ страданій, въ какой-то новый адъ, только не фантастическій, а дѣйствительный, и показываетъ намъ такія же преступленія и страданія, но тѣмъ болѣе ужасныя, что это не вымыселъ поэта, а голая правда“. Роль Достоевскаго-Вергилія заключается однако, по мнѣнію критика, не въ одномъ только освѣщеніи темныхъ нѣдръ „новаго ада“, но и въ гуманномъ истолкованіи самыхъ причинъ преступности, въ индивидуализаціи самихъ преступленій, въ прощикновеніи въ человѣческую сущность преступной души.

<sup>1)</sup> „Сынъ Отечества“ 1862, № XXIV (воскр.). Стр. 571.

<sup>2)</sup> „Иллюстрированный Листокъ“ 1862, т. VII, № 42, стр. 402.

<sup>3)</sup> „Свѣточъ“ 1861. Книжка V. Критическое Обзорѣніе. „Записки изъ Мертваго Дома“ Федора Достоевскаго. Статья А. Милюкова. Стр. 27—40.



Поэтому А. Миллюковъ, едва-ли не первый изъ критиковъ Достоевскаго эпохи 60-хъ годовъ, обратилъ вниманіе на удивительное разнообразіе въ длинной галлерей портретовъ каторжанъ, нарисованныхъ авторомъ „Записокъ изъ Мертваго Дома“. „Вотъ страшный разбойникъ Газинъ—говоритъ онъ—, который не разъ бѣгалъ, перемѣнялъ имя и попалъ въ „особое отдѣленіе“. Про него рассказывали, что онъ заведетъ ребенка, напугаетъ, измучаетъ его, и, насладившись вполнѣ трепетомъ маленькой жертвы, зарѣжетъ ее медленно. Вотъ злодѣй Орловъ, уличенный во многихъ убійствахъ. Пройдя сквозь строїи половину назначеннаго числа палокъ, онъ возвращается съ опухлой спиною кроваво-синяго цвѣта и торопится выписаться изъ лазарета, чтобы совсѣмъ покончить съ наказаніемъ. „Выхожу остальное число ударовъ, говоритъ онъ товарищамъ, и тотчасъ же отправятъ въ Нерчинскъ, а я-то съ дороги бѣгу, непремѣнно бѣгу, только бы спина зажила!“ Вотъ шестидесятилѣтній благодушный старичекъ изъ старобрядцевъ-вѣтковцевъ, сосланный за поджогъ построенной правительствомъ единовѣрческой церкви. А вотъ Сироткинъ, кроткій юноша, который до того не взлюбилъ солдатской жизни, что рѣшился посредствомъ убійства выйти изъ нея въ безсрочно-каторжную работу. А наивный Акимъ Акимовичъ, который, будучи офицеромъ на Кавказѣ, зазвалъ къ себѣ мятежнаго князька, разстрѣлялъ его по собственному усмотрѣнію и обстоятельно донесъ о своемъ распоряженіи начальству. А трое братьевъ дагестанцевъ, сосланные за разбой на большой дорогѣ—и особенно Алей, возбуждающій состраданіе, какъ грустная тѣнь Франчески посреди Дантова Ада. Безъ сомнѣнія, все это преступники, болѣе или менѣе уклонявшіеся отъ настоящаго общественнаго порядка, и никакіе современные законы не оставили бы ихъ безъ наказанія. Но здѣсь невольно являются вамъ вопросы, хотя, можетъ быть, и не новые, но однакожъ и далеко не рѣшенные. При первомъ взглядѣ на страшную картину острога, вамъ приходитъ мысль: какъ можетъ сжиться съ такимъ мѣстомъ человекъ, брошенный сюда изъ быта достаточной жизни, не за злодѣйство противоре-

ственное, но по тѣмъ обстоятельствамъ, вслѣдствіе которыхъ русскій народъ такъ гуманно даетъ ссыльнымъ знаменательное названіе несчастныхъ?... Далѣе вы спрашиваете: неужели въ этомъ земномъ аду все должно быть подведено въ одну мѣрку, и законъ равно неумолимо долженъ карать безчеловѣчнаго Газина и наивнаго Акіма Акімыча, ужаснаго разбойника Орлова и несчастнаго Алея? Если правосудіе представляютъ намъ слѣпымъ, то неужели оно должно оставаться и глухимъ къ голосу человѣческаго сердца, къ вопіющимъ правамъ справедливости! Въ каторжномъ быту, по степени преступленій, есть и градации въ наказаніяхъ, но всѣ онѣ основаны не на различіи работъ или помѣщенія, а только на одномъ неравенствѣ срока каторжной ссылки. Не ужаснѣе-ли это Дантова Ада? Тамъ Франческа Римини не брошена въ одну ледяную пропасть съ свирѣпымъ Руджіеро, тамъ поэтъ Горацій и гражданинъ Катонъ не скованы вмѣстѣ съ отцеубійцами; а здѣсь страшный злодѣй Газинъ спитъ на однѣхъ нарахъ съ наивнымъ лезгинкомъ Нуррою, виноватымъ въ однихъ дерзкихъ наѣздахъ, и кроткимъ простодушнымъ Алеємъ, котораго все преступленіе въ томъ, что онъ по восточной патріархальности слѣпо повиновался старшимъ братьямъ! И сколько здѣсь, на ряду съ разбойниками по ремеслу, людей преступныхъ по легкомыслію, даже по образу мыслей, нетерпимыхъ, можетъ быть, въ одно время и вовсе не преступныхъ въ другую, болѣе свѣтлую эпоху"... Эти вопросы прямо вытекаютъ—по мнѣнію А. Милюкова—изъ той гуманной идеи, которою освѣтилъ Достоевскій свою портретную галерею каторжанъ и вообще жизнь на каторгѣ. „Онъ умѣлъ освѣтить ее“—такъ резюмируетъ критикъ—„такимъ высоко-гуманнымъ свѣтомъ, согрѣтъ такимъ теплымъ чувствомъ, какіе можно встрѣтить только въ сочиненіи, глубоко и долго зрѣвшемъ въ душѣ, полной любви и сочувствія къ людямъ. Въ каждомъ преступникѣ онъ ищетъ человѣка, и каждый его портретъ есть теплый, задушевный вопросъ, поставленный передъ обществомъ во имя правды или человѣколюбія“.

Нѣсколько позже та же основная идея „Записокъ“ была еще ярче освѣщена подѣ перомъ Д. И. Писарева <sup>1)</sup>. Въ статьѣ 1865 г. „Погибшіе и погибающіе“ Писаревъ использовалъ содержаніе „Записокъ“ для того, чтобы рѣзче отгѣнить свои безотрадные выводы изъ „Очерковъ бурсы“ Помяловскаго; но вмѣстѣ съ тѣмъ попутно онъ развернулъ и идею романа Достоевскаго во всей ея гуманистической цѣнности и красотѣ. Вмѣсто перечня наиболѣе типичныхъ каторжниковъ, отмѣченныхъ перѣдко самыми нѣжными движеніями человѣчности—какъ это дѣлаетъ А. Милюковъ—, Писаревъ вскрываетъ длинный рядъ „хорошихъ чертъ“, свойственныхъ тому или другому преступнику. „Хорошія черты, собранныя г. Достоевскимъ—говоритъ онъ—, особенно драгоценны потому, что онѣ вырываются у него почти невольно, и что онъ сообщаетъ ихъ читателю безъ всякой предвзятой мысли. Большая часть этихъ подробностей брошена мимоходомъ, такъ что авторъ самъ не вглядывался въ нихъ и не ставилъ ихъ въ заслугу каторжникамъ“. Къ этимъ чертамъ критикъ относитъ любовь каторжниковъ къ Алею, уваженіе къ старости и честности, выразившееся въ безграничномъ довѣріи къ старику—раскольнику: отвращеніе отъ грубыхъ „разбойническихъ изліяній“, сказавшееся въ протестѣ противъ циническаго разсказа одного изъ каторжниковъ объ убійствѣ ребенка; благодарное отношеніе къ добрымъ начальникамъ, благоговѣйное уваженіе къ святости праздника, любовный дѣлежъ праздничныхъ подаваній, восхищеніе театромъ, тщательный уходъ за больными товарищами и т. д.

Объединяя все эти черты въ одно „господствующее настроеніе“ свѣтлой человѣчности въ темной каторгѣ, Писаревъ, два года спустя уже рѣзко разошедшійся во взглядахъ съ Достоевскимъ по поводу романа „Преступленіе и наказаніе“, не колеблясь истолковываетъ основную стихію „Записокъ“ въ духѣ прогрессивнаго гуманизма. „Если бы я захотѣлъ—говоритъ онъ—приводить здѣсь всѣ хорошія черты, отмѣченныя г. Достоевскимъ въ отдѣльныхъ лично-

<sup>1)</sup> Д. И. Писаревъ. Сочиненія. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 1894, т. 5. Погибшіе и погибающіе (1865 г.) стр. 253—314.

стяхъ, то мнѣ еще долго не пришлось бы кончить. Но я нарочно ограничился только тѣми чертами, которыя относятся къ общей массѣ каторжниковъ, и характеризуютъ собою господствующее настроеніе. Взятая порознь, эти черты очень мелки и незначительны; но если сложить ихъ всѣ вмѣстѣ, и если дополнить ихъ тѣми нравственными свойствами, съ которыми эти мелкія черты неразрывно связаны, то получится общій результатъ, далеко не отвратительный. Говоря о каторгѣ, слѣдуетъ перевернуть извѣстную пословицу: „не мѣсто красить человѣка, а человѣкъ мѣсто“, пословицу, которая, впрочемъ, нигдѣ и никогда не оказывается вѣрною. О каторгѣ можно сказать, что тутъ не люди портятъ мѣсто, а мѣсто портитъ людей. Острогъ ужасенъ не тѣмъ, что въ немъ живутъ ужасные люди, а тѣмъ, что эти люди, совсѣмъ не ужасные, терпятъ въ немъ значительныя лишенія и стѣсненія, которыя притупляютъ ихъ умы и портятъ ихъ характеры. Когда начальству угодно будетъ устранить нѣкоторыя изъ этихъ лишеній, тогда острогъ, превращаясь понемногу въ мастерскую и въ ремесленную школу, утратитъ большую часть своей отвратительности, и начнетъ приносить дѣйствительную пользу тѣмъ заключеннымъ, которымъ не удалось приобрести себѣ на свободѣ ни техническихъ знаній, ни житейской сноровки. Мертвый домъ, описанный г. Достоевскимъ, заключаетъ въ самомъ по себѣ задатки своего усовершенствованія. Эти задатки развернутся, и нравственность арестантовъ улучшится, какъ только имъ дадутъ возможность смѣло и открыто заниматься собственной работою“.

На протяженіи между двумя статьями — А. Милюкова (1861 г.) и Д. И. Писарева (1865 г.)—, выяснявшими основную идею „Записокъ“, та же тема была обработана въ „Иллюстраціи“ 1862 и 1863 гг. Здѣсь въ связи съ основной идеей произведенія намѣчены были уже не административно-юридическія, но скорѣе общественно-психологическія проблемы, вызываемыя фактами преступности въ жизни: „То сожалѣніе и состраданіе, то страхъ и раздраженіе волнуютъ васъ, когда вы читаете эту увлекательную книгу, и не разъ задумываетесь вы надъ загадочною судьбою и природою вашею брата, рус-

скаго человѣка. Что вызываетъ его на преступленіе, какъ проявляется онъ въ преступленіи и послѣ него, какъ къ преступнику относится наше общество?—вотъ задачи, для рѣшенія которыхъ „Мертвый Домъ“ г. Достоевскаго даетъ много драгоцѣннѣйшихъ матеріаловъ. Какъ и во многихъ другихъ явленіяхъ нашего быта, въ своемъ отношеніи къ преступникамъ русскій народъ представляетъ двѣ рѣзкія противоположности. Съ одной стороны является наше, такъ называемое, образованное общество, со своими требованіями объ охранѣ его безопасности, и администрація, удовлетворяющая этимъ требованіямъ по крайнему своему разумѣнію, а съ другой—народъ, руководимый въ своемъ возрѣніи однимъ только чувствомъ. Общество и администрація относятся къ арестантамъ враждебно. (Приводится соотвѣтствующая цитата изъ „Записокъ“ Достоевскаго)... Очень понятно, что при такомъ взглядѣ на преступника, вся система острожной жизни запечатлѣна характеромъ чрезвычайной суровости... Каждый проступокъ взыскивается чрезвычайно строго и вызываетъ новое, сильное тѣлесное наказаніе или продолженіе заключенія. (Цитир. „Записки“)... Нѣтъ сомнѣнія, что суровая система острожного устройства и почти полная невозможность арестанту бѣжать изъ острога обезпечиваютъ общество отъ дальнѣйшихъ покушеній злодѣя на его спокойствіе. Но довольно ли этого? можетъ ли оно дѣйствовать благотворно на его духовное возрожденіе? можетъ ли оно пробудить въ немъ заслуженное нравственное чувство? Наблюденія г. Достоевскаго очень ясно говорятъ противное (Цитир. „Записки“)... А если такъ, то очевидно, что суровое отношеніе общества къ преступнику не имѣетъ достаточныхъ основаній. Не справедливѣ ли отношенія къ каторжникамъ нашего простонародья? Народъ сочувствуетъ тяжелой ихъ долѣ и со всегдашнею своею практичностью прилагаетъ свое сочувствіе къ дѣлу; его подаянія составляютъ постоянный и благодѣтельный для арестантовъ доходъ (Цитир. „Записки“)... У г. Достоевскаго описаны преступленія многихъ арестантовъ: нѣкоторыя изъ нихъ обнаруживаютъ въ преступникѣ какое-то звѣрство, ничѣмъ не объяснимое, или раннее нравственное развраще-

ніе; но есть и такія преступленія, къ которымъ первый толчокъ былъ не грубо эгоистическій, не животный, а напротивъ того, благородный, возвышенный, идеальный. Можно ли, напримѣръ, строго судить преступника, посягнувшаго на жизнь того, кто оскорбилъ честь его жены или дочери? А религиозные фанатики? (Цитир. „Записки“)... Замѣчательно, что большая часть заключенныхъ, совершившихъ преступленіе въ порывѣ негодованія на оскорбленіе ихъ личности, не становятся людьми развратными и неисправимыми преступниками. Въ нихъ во всей живости сохраняется нравственное чувство, какъ это видно изъ обоихъ вышеприведенныхъ примѣровъ. Если же случается, что такіе люди падаютъ нравственно, то уже на каторгѣ, вслѣдствіе долговременнаго общенія съ дѣйствительными злодѣями. Но какъ ни безнравственны отдѣльныя личности, попадающія на каторгу, общій духъ ея всетаки не лишень извѣстныхъ нравственныхъ основаній, въ которыхъ есть своего рода товарищество, есть взаимный подладъ и взаимная охрана; арестанты сплачиваются въ артель, сознающую себя какъ одно цѣлое, въ которой одинъ другого не выдастъ. Арестанты очень цѣнятъ добрыхъ и справедливыхъ начальниковъ, они исполнены уваженія къ докторамъ, которыхъ знаютъ по госпиталю; „отцовъ не надо“, говорятъ они про врачей... Все это доказываетъ, что для преступника возможно нравственное возрожденіе, если только люди, поставленные въ непосредственное сношеніе съ ними, будутъ обращаться съ ними по-человѣчески. Малѣйшій духъ свободы освѣжаетъ ихъ совѣсть и способенъ направить ихъ къ добру“ (Цитир. „Записки“)..<sup>1)</sup>

Такимъ образомъ, сообщая своей грустной повѣсти о каторжной жизни гуманитарное освѣщеніе, Достоевскій выдвинулъ въ русской общественной психикѣ вопросъ о человѣческихъ правахъ преступниковъ, отбывающихъ наказаніе,—вопросъ, до тѣхъ поръ ускользавшій не только отъ формальнаго правосудія, но и отъ вниманія обществен-

<sup>1)</sup> „Иллюстрація“ 1862, № 237. Сентября 20-го. Литературное обозрѣніе. „Записки изъ Мертваго Дома“, соч. Ф. М. Достоевскаго. Стр. 187—190.

ной совѣсти. Этотъ конечный итогъ гуманитарныхъ усилій автора „Записокъ“ былъ резюмированъ тамъ же въ „Иллюстраціи“, но уже въ слѣдующемъ, 1863-мъ, году, такими словами: „Какъ ни тяжелы обстоятельства, тѣсняція людей, но всѣ они, взятыя вмѣстѣ, не могутъ сравниться съ положеніемъ каторжниковъ. Мы видимъ, что у загнанныхъ людей бываютъ отняты иногда всѣ человѣческія права; но всетаки при нихъ остаются хоть права животныя: право переходить съ мѣста на мѣсто и право свободного одиночества или сообщества. Каторжники же не только лишены всѣхъ человѣческихъ, но даже и этихъ животныхъ правъ: заключенные въ четырехъ стѣнахъ, они принуждены жить въ постоянномъ сообществѣ съ людьми, съ которыми вовсе можетъ быть не желали никогда сходиться. Такое положеніе для души можно только сравнить съ отсутствіемъ воздуха для тѣла. Анализъ такого безвыходно-смертельнаго положенія внутренняго міра человѣка, всѣхъ тѣхъ душевнымъ язвамъ и болѣзней, которыя развиваются вслѣдствіе этого,—въ высшей степени любопытенъ, и надо отдать полную справедливость г. Достоевскому:—ему удалось глубоко прослѣдить внутренній міръ каторжниковъ, и „Записки изъ Мертваго Дома“ достойно увѣнчали плодovitую дѣятельность г. Достоевскаго“<sup>1)</sup>.

Признаніе наличности прогрессивно-гуманитарнаго освѣщенія русской жизни въ „Запискахъ“ Достоевскаго не прошло однако вполне единогласно во всѣхъ фракціяхъ критики начала 60-хъ годовъ. Умѣренно-прогрессивно настроенныя въ 60-хъ годахъ „Отечественныя Записки“ дали мѣсто на своихъ страницахъ довольно рѣзкому упреку, въ духѣ радикализма „Современника“ или „Русскаго Слова“, по адресу Достоевскаго въ недостатокъ „философскихъ, политическихъ и общественныхъ интересовъ“, которые, по понятіямъ утилитарной критики даннаго момента, должны лежать въ основѣ обличительнаго творчества, и въ отсутствіи выводовъ общественно-политическаго характера изъ наблюдений надъ жизнью въ каторгѣ. Правда, авторъ по-

<sup>1)</sup> „Иллюстрація“ 1863, № 258. О. М. Достоевскій. Стр. 114.



священной „Запискамъ“ статьи, А. Лѣвивцевъ (=А. В. Эвальдъ), не отрицаетъ того, что Достоевскій въ своихъ „Запискахъ“ коснулся „нетронутаго общественнаго матеріала“ и что благодаря этому онъ, „положительно упавшій въ своемъ литературномъ значеніи послѣ перваго романа, составившаго ему репутацію, вновь поднялся картинами „Мертваго Дома“, описаніемъ жизни ссыльныхъ, крайне поучительной“; въ этомъ отношеніи „Записки изъ Мертваго Дома“ стоятъ, по мнѣнію критика, несравненно выше напр. повѣсти „Село Степанчиково“, отмѣченной „натянутымъ мелодраматизмомъ“ и „фальшивымъ юморомъ“. Но—продолжаетъ критикъ—и произведенія въ родѣ „Записокъ изъ Мертваго Дома“ „полезны одною только своею стороною, частностями, и къ общему они никогда не возвышаются. Гдѣ придется сдѣлать общій выводъ, тамъ они и не удаются. Напримѣръ, вы читаете съ любопытствомъ, страницу за страницю, „Записки изъ Мертваго Дома“ и ничего, кромѣ похвалы, не говорите автору; ничего, кромѣ сочувствія, не питаете къ таланту. Но вотъ вы прочли все произведеніе, начинаете дѣлать выводы, мелочи отбрасываете въ сторону, яркія картины забываете, и ваша мысль упирается въ описанный предметъ, какъ въ какое-то чудовище. Вы спрашиваете: гдѣ причина всѣхъ разнообразныхъ картинъ? Авторъ съ самаго начала поторопился вамъ объяснить, откуда происходятъ всѣ адскія муки, которыя испытываетъ арестантъ: „отъ бездѣйствія, отъ бесполезности работы, отъ принудительности ея“—говоритъ онъ. Мученія такъ велики, что доводятъ до сумасшествія. Но вы припоминаете яркія картины, нарисованныя авторомъ—пьянство, карты, театръ, игры арестантовъ—и видите, что авторъ не умѣлъ сдѣлать вывода изъ своихъ чрезвычайно благотворныхъ наблюденій. Ужасъ, который вы испытывали, когда читали эти картины, необъясненъ... Только-то? думаете вы: „принудительная, бесполезная работа!“ Да что жъ такое была барщина при крѣпостномъ трудѣ? что такое занятіе чиновника, который, какъ бываетъ часто, совершенно машинально отбываетъ свою должность? Можетъ быть, спрашиваете вы, арестанты дѣйствительно

толкутъ воду? Нѣтъ, они строятъ, копаютъ, столярничаютъ... дѣлаютъ все, только не для себя. Мало этого: вы видите, что иногда они и работаютъ усердно, скоро исполняютъ заданный урокъ, чтобы выгадать сколько-нибудь свободнаго времени для своей работы. Читаете дальше, и видите, что острогъ совсѣмъ не такъ грозенъ, какъ кажется; это—еще такое мѣсто, куда по собственному желанію многіе желаютъ попасть, прибавляетъ авторъ. Такъ въ чемъ же состоитъ каторга? Читая рассказъ за рассказомъ, вы ее чувствуете; но авторъ, несмотря на всю силу того впечатлѣнія, которое производятъ его картины, не можетъ подвести имъ одной главной причины. Онъ не задалъ себѣ тѣхъ вопросовъ, которые общественный дѣятель, слѣдящій за труднѣйшей современной задачей—о соотвѣтственности наказаній и преступленій, долженъ имѣть въ виду. Задайся онъ этимъ вопросомъ—и грома матеріала сама собой раздѣлилась бы на части и дала отвѣтъ, чрезвычайно важный для современнаго состоянія нашего общества. Мало того, онъ отвѣтилъ бы своимъ описаніемъ на другіе современные вопросы: гдѣ мы находимся по отношенію къ новѣйшимъ требованіямъ науки объ уголовныхъ наказаніяхъ? какой системы придерживаемся, или еще никакой не усвоили, еще остались на томъ пунктѣ, когда физическая боль, физическое страданіе считались единственнымъ возмездіемъ за преступленія? возмездіе, устрашеніе или исправленіе преступника составляетъ нашу систему? Авторъ и не знаетъ даже, что существуютъ всѣ эти системы. Недостатокъ идеи, слѣдовательно, подрываетъ всю ту полезность, которую несетъ съ собою талантъ, захватывая окружающую жизнь. Далѣе, самъ авторъ понималъ, что нельзя же остановиться на одной картинѣ—нужно ее осмыслить; художество требуетъ типическихъ лицъ, въ которыхъ читатель понималъ бы смыслъ картины; талантъ проситъ образа—и вотъ появляются типическія лица, по мнѣнію автора. Но у этихъ типовъ нѣтъ прошедшаго, то есть авторъ не потрудился органически соединить ихъ съ тою жизнью, въ которой они сдѣлались преступниками. У всѣхъ у нихъ, правда, есть своя краткая исторія, но такая

же темная, какъ исторія происхожденія. Русск. Авторъ прибѣгаетъ къ своимъ апіорическимъ объясненіямъ тамъ, гдѣ должны были говорить факты изъ доострожной жизни. А такъ какъ это требованіе слишкомъ велико, то авторъ начинаетъ сочинительствовать. Онъ забываетъ, что на этомъ посту—онъ общественный служитель, имѣетъ въ виду выгоду общества. Слѣдовательно, самый родъ литературы требуетъ предварительной научной подготовки... Сдѣлавшись обличителемъ, авторъ долженъ быть знакомъ со всею общественною наукою, такъ какъ поэтъ-литераторъ, чтобы не заниматься птичьимъ пѣніемъ, долженъ носить у себя за плечами современные философскіе, политическіе и общественные интересы<sup>1)</sup>.

Этотъ упрекъ, вполне соответствующій утилитарной критикѣ 60-хъ годовъ, по отношенію къ „Запискамъ“ Достоевскаго сильно ослабляется однако уже тѣмъ обстоятельствомъ, что если самъ Достоевскій и не рѣшалъ въ своемъ произведеніи никакихъ опредѣленныхъ философскихъ или общественно-политическихъ вопросовъ, то во всякомъ случаѣ онъ ихъ неизбѣжно возбуждалъ своимъ художественнымъ по формѣ и глубокимъ по содержанію повѣствованіемъ о каторгѣ, что мы и видѣли въ цѣломъ рядѣ вышеприведенныхъ критическихъ статей. По этотъ упрекъ всетаки отчасти можетъ имѣть мѣсто при разборѣ „Записокъ“ Достоевскаго въ связи съ современной ему реформаціонной эпохой русской жизни, всюду искавшей новыхъ формулъ для новой общественности и государственности. Наоборотъ, гораздо менѣе понятенъ другой упрекъ, сдѣланный Достоевскому въ критикѣ, стоявшей ближе къ прогрессивному направленію—именно упрекъ въ излишнемъ увлеченіи прогрессивными тенденціями въ вопросѣ о пенитенціарной системѣ въ Россіи. Въ этомъ упрекнулъ автора „Записокъ“ изъ Мертваго Дома<sup>2)</sup> тотъ же Е. Θ. Заринъ<sup>2)</sup>, который и въ ро-

<sup>1)</sup> „Отеч. Записки“ 1863, т. 146. Февраль. Современная хроника. Русская литература. Недосказанныя замѣтки. Статья А. Лѣвничева (А. В. Эвальдъ). Стр. 193—194.

<sup>2)</sup> „Библіотека для Чтенія“ 1862, Сентябрь. Современная лѣтопись. „Записки изъ Мертваго Дома“ Ф. М. Достоевскаго. 3-й. Стр. 89—119. Та же статья повторена въ сборникѣ „Музей лучшихъ произведеній новѣйшей литературы“ Сиб. 1874. Ч. II. Критическіе очерки произведеній русскихъ романистовъ. Стр. 287 и слѣд.

манѣ „Униженные и оскорбленные“ увидѣлъ пристрастіе Достоевскаго къ фельетонному прогрессу. Говоря о выводахъ, которые „пытается сдѣлать“ Достоевскій „изъ своихъ собственныхъ наблюденій“, критикъ находитъ, что „теоретическія соображенія его вообще слабы и отзываются тѣмъ болѣзненнымъ, расплывающимся гуманизмомъ, изъ котораго никакая правительственная мудрость не въ состояніи извлечь ничего примѣнительнаго къ практикѣ“.

Критику кажется, что по своимъ теоретическимъ соображеніемъ Достоевскій близокъ къ тѣмъ сентиментальнымъ филантропамъ, которые, возводя преступниковъ „въ званіе протестаторовъ“ противъ общественнаго неурядища, сознательно совершающихъ свои злодѣянія, тѣмъ самымъ лишаютъ ихъ „единственнаго шанса на человѣческое участіе“, — именно способности выйти изъ состоянія грубаго невѣжества, дѣлающаго ихъ невольными злодѣями, и исправиться. Подобные „отечественные филантропы“ — а, слѣдовательно, и авторъ „Записокъ изъ Мертваго Дома“, близкій къ нимъ по своему сентиментальному гуманизму, — грѣшатъ въ частности, по мнѣнію г. Зарина, еще и тѣмъ, что „свои субъективныя мысли объ этомъ предметѣ“ (т. е. разбойникахъ-протестаторахъ) приписываютъ поголовно всему русскому народу. „Этотъ народъ, по ихъ мнѣнію, въ продолженіе всей своей исторіи, видѣлъ и продолжаетъ видѣть въ разбойникахъ какихъ-то непризнанныхъ борцовъ, которыхъ, если они упадутъ, онъ будто бы разумѣетъ, какъ несчастныя жертвы какого-то непонятнаго ему правосудія. Для доказательства этого ссылаются на добрыя и столь прославленные чувства русскаго народа вообще ко всякому страданію, на ту всеобщую извѣстную неохоту, съ которою нашъ простолюдинъ вызывается быть доказчикомъ и свидѣтелемъ преступленія, но болѣе всего на наши такъ называемыя разбойничьи пѣсни, въ которыхъ намъ велятъ видѣть не простую свободу народной фантазіи, а именно апофеозу разбойника“.

Наконецъ, усваивая русскому народу свой „болѣзненный гуманизмъ“ въ дѣлѣ оцѣнки преступности и ея представителей, Достоевскій, по мнѣнію г. Зарина, усвоилъ и са-

мимъ разбойникамъ, героямъ его „Записокъ“, по крайней мѣрѣ двѣ точки зрѣнія на преступное дѣяніе, съ которыхъ, какъ самъ авторъ „Записокъ“ выражается, „чуть-ли не придется оправдать самого преступника“. Эти двѣ точки зрѣнія слѣдующія: „Одна, которую можно назвать философскою, состоитъ въ томъ, что человѣкъ признается одушевленной машиной, только обольщающей себя, будто она одарена свободной волей, а на самомъ дѣлѣ дѣйствующей совершенно произвольно, по законамъ строжайшей причинности, и потому, естественно, не подлежащей никакой отвѣтственности... Другая точка зрѣнія..., которую можно назвать соціальною, состоитъ въ томъ, что общество, въ которомъ существуетъ голодъ, невѣжество и неправоправность, само обвиняется во всѣхъ послѣдствіяхъ этихъ великихъ золъ, и въ томъ числѣ и въ преступленіяхъ всякаго рода“. Эти двѣ точки зрѣнія на преступленіе—продолжаетъ критикъ-- „у нашего автора предполагаются извѣстными самимъ разбойникамъ, на которыхъ по преимуществу простираются его наблюденія; эти люди обращаются въ философскихъ и соціальныхъ мыслителей, у нихъ есть счеты и расчеты съ обществомъ; они лишаются своихъ хаотическихъ понятій, своихъ звѣрскихъ позывовъ, своего грубѣйшаго умственного и нравственного помраченія и, вмѣсто всего этого, надѣляются ясными представленіями и опредѣленнымъ родомъ мыслей; ихъ грѣхи тяжкаго невѣдѣнія обращаются въ обдуманныя дѣла; словомъ, для нихъ уничтожается единственная точка зрѣнія, разсуждая съ которой, общество можетъ проникаться къ нимъ милосердіемъ и чувствовать себя обязаннымъ смягчать свои карательныя мѣры, замѣняя ихъ исправительными. Наблюдатель видѣлъ передъ собою фактъ, что эти грѣшники, на его собственныхъ глазахъ, въ продолженіе многихъ лѣтъ, оставались нераскаянными; изъ этого онъ заключилъ, что такое душевное настроеніе они поддерживаютъ въ себѣ аргументами въ пользу своей невинности. Психологія позволяетъ, однако, объяснять подобное душевное состояніе совершеннымъ отупѣніемъ нравственнаго чувства и глубиною паденія, могущаго простираться до

потери всякаго сознанія о добрѣ и злѣ,—и такое оскотинѣніе, безъ сомнѣнія, служить въ большинствѣ случаевъ нераскаянности гораздо вѣроятнѣйшимъ объясненіемъ, чѣмъ теоретическія соображенія, предполагаемыя въ разбойникахъ, о несовершенствахъ общественнаго устройства. Но мы уже сказали, что у нашего автора гораздо важнѣе то, что онъ рассказываетъ, чѣмъ то, что онъ думаетъ, и потому, признавая вполне справедливымъ замѣченный имъ фактъ относительно нераскаянности преступниковъ, мы находимъ совершенно ложнымъ приводимое имъ объясненіе этого факта“.

Вообще г. Зарину кажется страннымъ подыскивать какія-либо философскія или социальныя объясненія къ той „кромѣшной тѣмѣ“, которая наполняетъ каторгу. „И въ этомъ аду,—воскликаетъ онъ—въ этой кромѣшной тѣмѣ, въ этой безднѣ оскотинѣнія и нравственнаго индифферентизма, насъ заставляютъ отыскивать какія то философскія и социальныя убѣжденія для объясненія нераскаянности! и на выдумкѣ этихъ убѣжденій строятъ философію преступления! Нѣтъ тутъ никакихъ убѣжденій, никакихъ расчетовъ съ обществомъ и никакого сознательнаго возстанія противъ него; а есть только одно нравственное одервенѣніе и привычка—до такой степени тупая, что преступленіе представляется поступкомъ не нравственно свободнаго и размышляющаго существа, а скорѣе дѣйствіемъ автомата“...

„Мы опять должны упрекнуть нашего автора—такъ заключаетъ г. Заринъ свою статью<sup>1)</sup>—въ желаніи блеснуть передовымъ взглядомъ, находя у него выходку противъ такъ называемыхъ пенитенціарныхъ тюремъ“. Этотъ передовой взглядъ критикъ считаетъ слишкомъ извѣстной „голословной истиной“ и находитъ, что „голословное осужденіе одной изъ самыхъ дѣйствительныхъ исправительныхъ мѣръ должно казаться какой-то слезливой сантиментальностію“. Впрочемъ, критикъ находитъ у Достоевскаго указанія и на фактическія средства борьбы съ несовершенствами нашей по пре-

---

<sup>1)</sup> „Библіотека для Чтенія“ 1862. Сентябрь. „Записки изъ Мертваго Дома“ О. М. Достоевскаго... Стр. 106—110, 114, 115, 118.

имуществу „карательной“ системы, каковы напр. тяжелая организация каторжной работы и запретъ работы „произвольной“, „осмысленной“; критикъ согласенъ также съ тѣмъ, что карательная система — по разсказу Достоевскаго — не столько „сокращаетъ“, сколько „плодитъ“ преступленія (приводится примѣръ, разсказъ о солдатикѣ-арестантѣ Дутовѣ), и что неудобно группировать людей „неодинаковаго нравственнаго и образовательнаго уровня“ въ общей „казарменной арестантской республикѣ“. Замѣчательно однако, что, несмотря на замѣтную охранительную оппозицію прогрессивному гуманизму „Записокъ“, критикъ не могъ оградить себя отъ обаянія тѣхъ невольныхъ выводовъ, которые настойчиво являлись у каждаго читателя „Записокъ изъ М. Д.“ и въ послѣднихъ строкахъ высказалъ „желаніе, чтобы судьи получили власть оцѣнивать нравственный уровень преступниковъ“. Этими словами г. Заринъ самъ поставилъ крестъ на своихъ предыдущихъ возраженіяхъ противъ болѣзненнаго гуманизма Достоевскаго и вмѣстѣ съ другими критиками призналъ его гуманизмъ здоровымъ и творческимъ.

Подводя итогъ только что разсмотрѣннымъ разнообразнымъ сужденіямъ критики о двухъ крупныхъ произведеніяхъ Ѳ. М. Достоевскаго, относящихся къ началу шестидесятыхъ годовъ, нужно согласиться, что все они сходятся на одномъ, по крайней мѣрѣ, главномъ выводѣ: первоначальный гуманизмъ Достоевскаго, получившій въ сороковыхъ годахъ начало изъ иноземнаго источника, общаго съ русскимъ западничествомъ, кристаллизировался теперь въ болѣе конкретную форму—гуманитарнаго анализа и освѣщенія русской дѣйствительности.

Параллельно съ этимъ частичнымъ видоизмѣненіемъ направленія въ творествѣ Достоевскаго должна была видоизмѣниться и его литературная манера, которую въ сороковыхъ годахъ опредѣляли просто лишь какъ подражаніе гоголевскому „натурализму“. Дѣйствительно, критика не замедлила остановить свое вниманіе на дальнѣйшей эволюціи этого „натурализма“ подѣ своеобразнымъ перомъ Достоевскаго.



Уже въ 1859 году на этотъ счетъ въ общемъ видѣ высказался А. А. Григорьевъ, не благоволившій къ „литературнымъ натуралистамъ“, въ томъ числѣ и къ Достоевскому. Еще въ 1852 году этотъ критикъ говорилъ о Достоевскомъ, что онъ шелъ „по пути“ Гоголя, но „не руководился его свѣтомъ“, и что, поэтому, его герои, Голядкинъ и Прохарчинъ, являются „чудовищами“, „исчадіями, пропитанными зловоніемъ внутренней болѣзни“; при этомъ даже и Макара Дѣвушкина онъ относилъ къ героямъ „зловонныхъ, темныхъ угловъ“<sup>1)</sup>, самый романъ „Бѣдные люди“ называлъ „печальною пѣснью“, повѣсть „Двойникъ“ — „анатомическимъ препаратомъ“<sup>2)</sup>; а въ „натуральной“ манерѣ Достоевскаго видѣлъ „смѣсь грязи съ сантиментальностью; идеализма самаго ребяческаго съ намѣреннымъ углубленіемъ въ анализъ самыхъ ничтожныхъ и бессмысленныхъ подробностей повседневной дѣйствительности“<sup>3)</sup>. Но въ 1859 году А. Григорьевъ по поводу романа „Неточка Незванова“ отмѣчаетъ извѣстный поворотъ въ положительную сторону въ натурализмъ Достоевскаго, „исчерпанномъ и обнаженномъ до скелета“ въ „болѣзненной поэзіи“ „Бѣдныхъ людей“ и въ „тревожной лихорадочности“ „Хозяйки“. Этотъ поворотъ онъ формулируетъ въ слѣдующихъ словахъ: „Поэтъ сантиментальнаго натурализма самъ сдѣлалъ важный шагъ къ выходу изъ него въ развивавшейся все глубже и глубже „Неточкѣ Незвановой“ — и о немъ нельзя поэтому сказать послѣдняго слова“...<sup>2)</sup>

Въ началѣ шестидесятыхъ годовъ мысль о поворотѣ въ „натуральной“ манерѣ Достоевскаго развита была дальше, но въ иномъ отчасти направленіи, чѣмъ у А. Григорьева, которому казалось, что Достоевскій не только ничего не

<sup>1)</sup> „Русская литература въ 1851 году — „Москвит.“ 1852, №№ 1—4—Сочин. Спб. 1876, т. I, стр. 15, 32, 50, 55—56.

<sup>2)</sup> О комедіяхъ Островскаго и ихъ значеніи въ литературѣ и на сценѣ — „Москвит.“ 1855, № 8—Сочин. т. I, стр. 109.

<sup>3)</sup> И. С. Тургеневъ и его дѣятельность (по поводу романа „Дворянское гнѣздо“) — „Русское Слово“ 1859, №№ 4, 5, 6, 8—Сочин. т. I, стр. 350. Характеръ сужденій А. Григорьева о Достоевскомъ въ цитируемыхъ статьяхъ пятидесятихъ годовъ заставляетъ предполагать, что его же перу принадлежитъ и вышеприведенная безъ обозначенія имени автора (стр. 5) статья въ „Моск. Городск. Листкѣ“ 1847 года, гдѣ „натурализмъ“ Достоевскаго разсматривается также въ смыслѣ крайняго подражанія Гоголю.

прибавилъ къ Гоголю, но даже не понялъ и исказилъ его. Въ одномъ общемъ очеркѣ литературной дѣятельности, напечатанномъ въ 1863 году, совершенно опредѣленно указывается то отступленіе отъ гоголевскаго натурализма, которое успѣлъ сдѣлать Достоевскій какъ въ раннихъ своихъ произведеніяхъ, такъ въ особенности въ „Запискахъ изъ „Мертваго Дома“. „Большая часть произведеній г. Достоевскаго—читаемъ въ этомъ очеркѣ—написаны въ сороковые годы во время полного господства натуральной школы; но г. Достоевскій стоитъ совершенно въ сторонѣ отъ этой школы, именно вслѣдствіе той особенности его таланта, о которой мы только что говорили, и можно смѣло сказать, что онъ стоитъ выше натуральной школы по тому глубокому и гуманному взгляду на природу человѣческую, котораго недоставало натуральной школѣ. Натуральная школа главною своею цѣлю имѣла осмѣяніе пошлости и отклоненія человѣка отъ его идеала; но откуда происходитъ эта пошлость, это отклоненіе—натуральная школа не задавала себѣ задачи. Въ самомъ смѣхѣ Гоголя, при всей гениальности этого смѣха, много безчеловѣчнаго. Только въ „Мертвыхъ Душахъ“ началъ чувствовать Гоголь недостатокъ одного смѣха надъ своими героями, попытался встать выше этого смѣха, но попытка ему не удалась. Она повела его къ отрицанію всей прежней дѣятельности его и къ аскетическому самоуничиженію, въ которомъ все-таки не сказалось въ Гоголѣ ничего человѣческаго ни въ отношеніи къ себѣ, ни въ отношеніи къ людямъ. Г. Достоевскій нашелъ болѣе счастливый выходъ изъ безчеловѣчнаго смѣха натуральной школы. Въ то время, какъ послѣдователи Гоголя продолжали подмѣчать смѣшныя стороны людей, показывали пальцами на дырявые сапоги, кривыя ноги какого-нибудь жалкаго чиновника, и, передразнивая его нескладную рѣчь, заливались общимъ смѣхомъ, совершенно какъ уличные мальчишки, завидѣвшіе прохожаго калѣку,—г. Достоевскій обратилъ вниманіе на то, что какъ бы ни были смѣшны и жалки разные люди, а все-таки они прежде всего люди... Не по своей же волѣ они сдѣлались такими жалкими, ничтожными

и гадкими, не по врожденной любви къ грязи и къ пошлости? Что-нибудь да привело ихъ къ такому состоянію, что-нибудь да гнететъ надъ ними, что они не могутъ выйти изъ этого состоянія? Вотъ съ этими-то вопросами и приступилъ г. Достоевскій къ своему психическому анализу, и надо отдать полную справедливость ему, онъ успѣлъ сдѣлать большой шагъ въ разрѣшеніи этихъ вопросовъ<sup>1)</sup>.

Итакъ „натурализмъ“ Достоевскаго—уже не просто копированіе окружающей пошлости, но и анализъ причинъ ея происхожденія; не просто осмѣяніе ничтожнаго и жалкаго человѣка, но и „гуманный взглядъ“ на его „человѣческую природу“,—иначе говоря, „натурализмъ“ Достоевскаго есть не только натурализмъ отрицанія пошлости въ человѣческой жизни, но и натурализмъ утвержденія или признанія наличности идеала даже и въ ничтожныхъ, на первый взглядъ, ея явленіяхъ. Вотъ почему въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, когда эта сторона литературной манеры Достоевскаго стала все болѣе и болѣе опредѣляться, критика увидѣла въ характерѣ его творчества не столько гоголевскій „натурализмъ“, сколько своеобразное соединеніе реалистическаго изображенія жизни съ идеалистическимъ ея пониманіемъ. Въ 1862 году по поводу „формы и изложенія“ „Записокъ изъ Мертваго Дома“ высказано было, между прочимъ, слѣдующее: „Въ нихъ нѣтъ пустыхъ фразъ, ни простого разбора фактовъ, но вездѣ есть взглядъ, мысль, убѣжденія; оттого разсказъ автора такъ живъ, одушевленъ, увлекателенъ, а эпизоды запечатлѣваются въ памяти читателя. Кромѣ того, выборъ фактовъ, способныхъ заинтересовать и тронуть даже самаго равнодушнаго читателя, глубоко-патетическій колоритъ записокъ (sic!)—все это придаетъ „Мертвому Дому“ художественное значеніе, такъ что онъ удовлетворяетъ читателей съ самымъ разборчивымъ вкусомъ, съ самыми строгими требованіями и вмѣстѣ съ тѣмъ съ самымъ противоположнымъ характеромъ: романтика и практика, идеалиста и реалиста“<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> „Иллюстрація“ 1863. № 258. О. М. Достоевскій. Стр. 114.

<sup>2)</sup> „Иллюстрированный Листокъ“ 1862, № 42 Библиогр. фическія и литературныя замѣтки. „Записки изъ Мертваго Дома“. О. М. Достоевскаго. Изданіе второе, 1862 г. Стр. 402.

Этому взгляду на литературную манеру Достоевскаго, какъ на синтезъ реалистическаго и идеалистическаго изображенія жизни, вполне соответствуетъ замѣчаніе А. П. Пятковскаго по поводу его юмора, сдѣланное при разборѣ романа „Униженные и оскорбленные“<sup>1)</sup>. Не соглашаясь съ мнѣніемъ Бѣлинскаго, „утверждавшаго, что въ юморѣ заключается главная сила г. Достоевскаго“, А. П. Пятковский устанавливаетъ, въ связи съ разборомъ романа „Униженные и оскорбленные“, такой взглядъ на юморъ въ творествѣ его автора: „Нѣтъ спора—говорить онъ—, что г. Достоевскій владеетъ и юморомъ, какъ такимъ средствомъ своего таланта, безъ котораго его картины выходили бы черезчуръ вялы и монотонны, но что эта черта не преобладаетъ въ его талантѣ, а составляетъ въ немъ только какъ бы подкладку другой, болѣе теплой и любящей стороны“... „Болѣе теплая и любящая сторона“—это, очевидно, не что иное, какъ идеалистическое отношеніе къ реалистически, и иногда съ извѣстной долей юмора, изображаемой дѣйствительности, даже такой по своему содержанію, которая въ „натуралистъ“-сатирикѣ вызываетъ почти исключительное осмѣяніе или обличеніе.

Конечно, противопоставлять въ этомъ отношеніи идеалиста-Достоевскаго „натуралисту“-Гоголю, всю жизнь страдавшему тоскою по идеалу,—какъ это сдѣлано въ одной изъ вышеприведенныхъ статей,—по меньшей мѣрѣ неудачно; тѣмъ не менѣе извѣстная эволюція въ первоначальномъ „натурализмѣ“ Достоевскаго отчасти по сравненію съ Гоголемъ, но главнымъ образомъ по сравненію съ крайними натуралистами, неудачными подражателями Гоголя, — несомнѣнно совершалась, и критика начала шестидесятыхъ годовъ отмѣтила ее не безъ основанія.

Основныя стихіи своеобразнаго натурализма Достоевскаго, реалистическая и идеалистическая, подмѣченныя критикою при разборѣ романа „Униженные и оскорбленные“ и „Записокъ изъ Мертваго Дома“, получили въ нѣкоторыхъ случаяхъ и болѣе детальное освѣщеніе. Такъ, реалистическая

<sup>1)</sup> „Сѣверная Пчела“ 1861. № 176. Библиографическое обозрѣніе. Сочиненія Ф. М. Достоевскаго... Стр. 715—716.

сторона литературной манеры Достоевского въ вышеуказанной статьѣ А. П. Пятковского разъяснялась слѣдующимъ образомъ: „Читатели, привыкшіе къ краткому и живому разсказу гг. Тургенева и Писемскаго, могутъ здѣсь (т. е. при чтеніи романа „Униженные и оскорбленные“) посѣтовать на нѣкоторую растянутость романа, на утомительное иногда повтореніе одинаковыхъ сценъ и описаній, но мы въ этомъ обиліи психологическихъ подробностей, въ этомъ, такъ сказать, вливающемся анализѣ нравственныхъ мелочей, видимъ существенное достоинство въ талантѣ г. Достоевскаго, достоинство, иногда точно переходящее въ недостатокъ. Въ этомъ случаѣ мы держимся мнѣнія даровитаго автора одной статьи, напечатанной въ „Петербургскомъ Сборникѣ“<sup>1)</sup>, мнѣнія, состоящаго въ томъ, что нынѣ рѣшеніе главнѣйшихъ вопросовъ жизни должно именно перейти въ разнообразный и часто нескладный міръ житейскихъ подробностей. „Естественноиспытатели“, говоритъ онъ, „увидѣли, что не въ палецъ толстыя артеріи и вены, не огромные куски мяса могутъ разрѣшить важнѣйшіе вопросы фізіологіи, а волосяные сосуды, клѣтчатки, волокна—ихъ составъ. Употребленіе микроскопа надобно ввести въ нравственный міръ, надобно разсмотрѣть нить за нитью паутину ежедневныхъ отношеній, которая опутываетъ самые сильные характеры, самыя огненные натуры. Люди никакъ не могутъ заставить себя серьезно подумать о томъ, что они дѣлаютъ съ утра до ночи, объ ежедневныхъ, будничныхъ отношеніяхъ, обо всѣхъ мелочахъ, къ которымъ принадлежатъ семейныя тайны, хозяйственныя дѣла, отношенія къ роднымъ, близкимъ, слугамъ и пр. пр.; объ этихъ вещахъ ни за что въ свѣтѣ не заставишь подумать: онѣ готовы, выдуманы“. „Когда я хожу по улицамъ“, продолжаетъ авторъ, „особенно поздно вечеромъ, когда все тихо, мрачно и только кое-гдѣ свѣтится ночникъ, потухающая лампада, на меня находитъ ужасъ; за каждой стѣной мнѣ мерещится драма, за каждой стѣной виднѣются горькія слезы, слезы, о которыхъ никто не свѣдаетъ, слезы обманутыхъ

<sup>1)</sup> Разумѣется статья Искандера (А. И. Герцена) „Капризы и раздумье“.

надеждъ, слезы, съ которыми утекаютъ не одни юношескія вѣрованія, но всѣ вѣрованія человѣческія, а иногда и самая жизнь“. Вотъ эти-то глухія, подземныя драмы, эти жгучія „несвѣданныя“ слезы воспроизводятся съ мастерскою подробностью нашимъ авторомъ“<sup>1)</sup>).

Къ реализму въ литературной манерѣ Достоевскаго отнесли также „естественность и живость изложенія“, которую критика усматривала тамъ же, въ романѣ, „Униженные и оскорбленные“. Разсказъ ведется такъ—говорить А. Хитровъ по поводу этого произведенія—, что вы не можете заподозрить (sic!) автора въ какой-нибудь выдумкѣ или сказать, что этого быть не можетъ; напротивъ, вы видите какъ будто передъ вашими глазами совершающееся, въ которомъ какъ будто и сами принимаете участіе или по крайней мѣрѣ хотѣли бы принять, и судьба дѣйствующихъ лицъ васъ заинтересовываетъ до того, что вамъ непременно хочется прослѣдить все дѣло до конца, вамъ трудно оторваться отъ чтенія. Въ этомъ отношеніи „Оскорбленные и униженные“ (sic!) также далеко оставляютъ за собой всѣ предыдущія произведенія того же автора“...<sup>2)</sup> Тотъ же критикъ настойчиво указываетъ на реализмъ въ изображеніи дѣйствующихъ въ романѣ лицъ: „Нельзя не обратить дальѣ вниманія и на обрисовку лицъ. Авторъ—удивительный мастеръ оттѣнять характеры выводимыхъ имъ лицъ и класть особый отпечатокъ на cadaго изъ нихъ. класть не съ нѣсколькихъ пріемовъ, а съ одного разу. Герои романа—не какія-нибудь блѣдныя тѣни, но живые люди, говорящіе каждый по своимъ убѣжденіямъ, согласно своему взгляду. Какъ живого вы видите передъ собой и этого несчастнаго Смита, который, кажется вамъ, и теперь еще сидитъ у Миллера, и смотритъ безсмысленно холоднымъ взглядомъ на горячаго нѣмца, доказывающаго свое благородство тѣмъ, что онъ на дворецъ работаетъ; какъ живого вы видите и этого несчастнаго

<sup>1)</sup> „Сѣверная Пчела“ 1861, № 176. Библиографическое обозрѣніе“. Сочиненія Ѳ. М. Достоевскаго... Стр. 715—716.

<sup>2)</sup> „Сынъ Отечества“ 1861, № 37. „Униженные и оскорбленные“. Романъ въ 4-хъ частяхъ. Ѳ. М. Достоевскаго. Стр. 1093—4.

Ихменева, скрывающаго отъ людей свои чувства, а въ тиши плачущаго о своей Наташѣ; такъ и ждете, что явится передъ вами Анна Андреевна и скажетъ: не поставитъ ли самоварчикъ? Такъ и хочется плюнуть вамъ въ это гордое лицо князя, отъ котораго какъ бы дышетъ на васъ его тлетворнымъ дыханіемъ. Такъ и хочется въ то же время сказать слово утѣшенія и этой Наташѣ, отдавшей всей душой этому пустому юношѣ Алешѣ; такъ и хочется указать ей на эту пустоту, раскрыть ей глаза. И Маслобоевъ и Александра Семеновна облечены въ плоть и кровь; вамъ такъ и кажется, что вотъ Маслобоевъ, лишь вы упомянете только при Александрѣ Семеновнѣ о какой-нибудь Нелли, сейчасъ-же обратится къ ней и скажетъ въ объясненіе: „Елена—это маленькая дѣвочка, лѣтъ двѣнадцати, живетъ у такого-то“. Вообще въ этомъ отношеніи есть у автора многія великолѣпныя, мастерскія страницы. Одна сцена—и передъ вами весь чловѣкъ. Не забудемъ при этомъ и того, что характеры, выбранные авторомъ, не изъ легкихъ. Нѣтъ ничего труднѣе, какъ рисовать двуличныхъ людей,—здѣсь нужна большая наблюдательность, большое искусство, чтобы совладать съ дѣломъ. Таковъ именно характеръ князя. Одинъ промахъ—и дѣло испорчено, вышло-бы смѣшное, не то у г. Достоевскаго“...

Впрочемъ, нельзя сказать, что это признаніе умѣнья Достоевскаго реалистически отнестись къ изображаемымъ имъ явленіямъ жизни было единогласнымъ. Въ романѣ „Униженные и оскорбленные“, который Добролюбовымъ въ цитированной выше статьѣ „Забитые люди“ былъ объявленъ, благодаря своей незаконченности въ художественномъ отношеніи, стоящимъ „ниже эстетической критики“<sup>1)</sup>, находили „на каждомъ шагу“ „неестественность положенія“, недостатки въ обрисовкѣ дѣйствующихъ лицъ и вообще различныя „слабыя стороны въ художественной постройкѣ“ романа<sup>2)</sup>, указывали и на нарушеніе художественной мѣры въ изобра-

<sup>1)</sup> „Современникъ“ 1861, т. 89, сентябрь... Русская литература. Забитые люди.. Стр. 114.

<sup>2)</sup> „Русское Слово“ 1861, № 9. Русская литература. „Униженные и оскорбленные“. Романъ Ѳ. Достоевскаго. Статья гр. Г. А. Кушелева-Безбородко. Стр. 35—49.



женіи напр. страданій одного изъ „униженныхъ и оскорбленныхъ“ и на „запутанность въ содержаніи и завязкѣ“<sup>1)</sup>; въ „Запискахъ изъ Мертваго Дома“ видѣли излишнюю „сложность“<sup>2)</sup> и „беспорядочность“<sup>3)</sup> въ изложеніи. Но и эти недостатки, по признанію самыхъ взыскательныхъ критиковъ, не отнимали всетаки у произведеній Достоевскаго того живого интереса, который присущъ всякому художественному разсказу, написанному въ реалистической формѣ.

Другая, идеалистическая, стихія въ литературномъ натурализмѣ Достоевскаго не получила въ разсматриваемый періодъ времени дальнѣйшаго разъясненія. Достойно вниманія въ этомъ отношеніи, впрочемъ, одно замѣчаніе, сдѣланное въ цитированной уже статьѣ Е. Туръ. „Многія страницы (романа „Униженные и оскорбленные“) — читаемъ здѣсь — написаны съ изумительнымъ знаніемъ человѣческаго сердца, другія съ неподдѣльнымъ чувствомъ, вызывающимъ еще болѣе сильное чувство изъ души читателя“. „Неподдѣльное чувство“ — это та именно „теплая и любящая сторона“ творчества Достоевскаго, которая даетъ реальному разсказу идеалистическое осмысленіе.

Такъ крѣпко творчество Ф. М. Достоевскаго и въ своемъ основномъ направленіи и въ своей литературной формѣ. Въмѣстѣ съ ростомъ его самостоятельности и своеобразности слабѣли толки о зависимости его отъ иностранныхъ вліяній: по поводу двухъ только что разсмотрѣнныхъ произведеній въ критикѣ начала шестидесятыхъ годовъ встрѣчается лишь однажды попытка подыскать къ одной изъ героинь романа Достоевскаго западноевропейскій образецъ, но и это сопоставленіе ничѣмъ не обосновывается<sup>4)</sup>.

1) „Русская Рѣчь и Московскій Вѣстникъ“ 1861, № 89. Литературное и ученое обозрѣніе. „Униженные и оскорбленные“, романъ г. Достоевскаго. Статья Е. Туръ. Стр. 575—6.

2) „Иллюстрированный Листокъ“ 1862, № 42. Библиографическія и литературныя замѣтки... Стр. 402—3.

3) „Свѣточъ“ 1861, кн. V. Критическое обозрѣніе. „Записки изъ Мертваго Дома“ Ф. Достоевскаго. Статья А. Милокова. Стр. 27—40.

4) „Русская Рѣчь и Московскій Вѣстникъ“ 1861, № 89. Литер. и учен. обозрѣніе... Статья Е. Туръ, стр. 575: „Неилли сбиваетъ на Миньону Гете“...

### III. Во второй половинѣ шестидесятыхъ годовъ. Отъ прогрессивнаго гуманизма къ консервативнымъ тенденціямъ „почвы“. Отъ натурализма бытописанія къ натурализму психологическихъ изысканій. „Преступленіе и наказаніе“. „Идіотъ“. „Вѣчный мужъ“.

Журналы братьевъ Достоевскихъ „Время“ и „Эпоха“ и ихъ „почвенное“ направление; отношеніе къ нимъ критики. Обостреніе раскола въ сужденіяхъ о Достоевскомъ. Двѣ противоположныя точки зрѣнія на общественную тенденцію въ романѣ „Преступленіе и наказаніе“: романъ Достоевскаго, какъ „оппозиція“ новымъ идеямъ („Современникъ“), какъ „грязенькія писнуаціи“ по адресу русской молодежи („Недѣля“) и какъ противорѣчіе „современнымъ воззрѣніямъ на роль личности въ исторіи“ (Дѣло — Д. И. Писаревъ); романъ Достоевскаго, какъ показатель „шаткости нравственнаго строя“ въ „нигилизмѣ“ эпохи (Н. Н. Страховъ), какъ изображеніе „быта нашего общества“ (С. Я. Капустинъ) и какъ развитіе „сатанинской теоріи“ (А. Лохвицкій). Психологическое истолкованіе романа „Преступленіе и наказаніе“: Раскольниковъ — „больной человѣкъ“ („Русскій Инвалидъ“); Раскольниковъ — „сумасшедшій“ („Гласный Судъ“); Раскольниковъ — „крайній специалистъ“ („Женскій Вѣстникъ“ — С. Я. Капустинъ); Раскольниковъ — сложная психическая организація, образовавшаяся путемъ взаимодействія жизни и теорій, — элементы русской общественности и личной психики Достоевскаго въ характерѣ Раскольникова („Всемірный Трудъ“ — Н. Д. Ахшарумовъ). Дальнѣйшая эволюція въ литературной манерѣ Достоевскаго, какъ разрывъ съ „натурализмомъ“ сороковыхъ годовъ; слѣдствія этого разрыва въ отрицательную сторону — недостатокъ типичности и правдоподобія въ изображеніи дѣйствительности („Современникъ“) и въ положительную сторону — прогрессъ относительно гоголевскихъ взглядовъ, выражающійся въ умѣнii „симпатизировать жизни въ очень низменныхъ ея проявленіяхъ“ и „открывать истинно-человѣческія движенія въ душахъ искаженныхъ и подавленныхъ, повидному, до конца“ („Отеч. Записки“ — Н. Н. Страховъ). „Натурализмъ“ психики общественной и индивидуальной, какъ окончательный результатъ разрыва Достоевскаго съ „натурализмомъ“ бытовой стороны жизни. Примѣненіе психологическаго анализа, какъ отличительнаго, свойственнаго Достоевскому, литературнаго приѣма въ романахъ — „Преступленіе и наказаніе“ („Недѣля“, „Воскресный Досугъ“, „Судебный Вѣст-

никъ“, „Всемирная Иллюстрація“, „Женскій Вѣстникъ“, „Гласный Судъ“, „Идіотъ“ („Голосъ“, „Харьк. Губерн. Вѣдомости“) и „Вѣчный мужъ“ („Голосъ“, „Одесскія Вѣдомости“, „Гражданинъ“). Отрицательныя стороны психологическихъ изысканій Достоевскаго въ романахъ „Идіотъ“ и „Вѣчный мужъ“ („С.-Петербургскія Вѣдомости“—Z).

Въ то время какъ критика почти единогласно старалась прикрѣпить гуманизмъ творчества Достоевскаго къ прогрессу обновлявшейся въ шестидесятыхъ годахъ русской жизни и въ его „натурализмъ“ начинала видѣть живописаніе не только отрицательныхъ сторонъ дѣйствительности, но и положительныхъ,—въ это время въ извѣстной части русской періодической печати складывалось уже то недовѣріе къ Достоевскому, какъ общественному дѣятелю, которое скоро привело къ расколу въ сужденіяхъ о немъ, какъ о писателѣ. Недовѣріе это стало замѣтнымъ съ момента возникновенія въ 1861 году журнала „Время“ и открытыхъ притязаній его сотрудниковъ на „почву“ и „почвенность“ своихъ общественныхъ и литературныхъ тенденцій. Правда, нѣкоторые критики и журналы встрѣтили этотъ органъ братьевъ Достоевскихъ вполне спокойно и благожелательно. Н. Г. Чернышевскій въ „Современникѣ“ замѣтилъ по поводу перваго номера новаго журнала, что „Время“ такъ же мало намѣрено быть сколкомъ съ „Современника“, какъ и съ „Русскаго Вѣстника“, и вмѣстѣ съ пожеланіемъ ему успѣха выразилъ надежду на то, что новый журналъ будетъ выразителемъ „честнаго и независимаго мнѣнія“<sup>1)</sup>. „Русскій Вѣстникъ“, открывая свою полемику съ „Временемъ“, сразу же обнаружилъ у себя общія съ нимъ точки зрѣнія;<sup>2)</sup> такое же отношеніе къ новому журналу высказано было и въ „Сынѣ Отечества“<sup>3)</sup>. Но вообще прогрессивная группа печати отнеслась къ журналу „Время“ иначе. Если не считать вышеприведенной замѣтки Н. Г. Чернышевскаго, то прежде всего въ лагерь противниковъ „Времени“ нужно помѣстить

<sup>1)</sup> „Современникъ“ 1861, т. 85, январь. Новая періодическія изданія: „Время“, журналъ политическій и литературный, № 1. Стр. 83—90—Н. Г. Чернышевскій, Сочин. СПб. 1906. Т. VIII, стр. 66.

<sup>2)</sup> „Русск. Вѣстникъ“ 1861, т. 32, мартъ. Литературное обозрѣніе и замѣтки. Нашъ языкъ и что такое свистуны. Стр. 1—38.

<sup>3)</sup> „Сынъ Отечества“ 1861, № 18. Листокъ. Стр. 548—9.

„Современник“, который выступилъ съ ожесточенными нападками на „почву“ и, понимая подъ нею попытку примирить славянофильство и западничество, заранее признавъ ничтожными замыслы и результаты подобнаго направленія<sup>1)</sup>. Въ противовѣсъ „Времени“ свою особую „почву“ выставилъ „Свѣточъ“<sup>2)</sup>; жестоко посмѣялась подъ „почвенниками“ „Искра“, выступившая съ цѣлымъ рядомъ юмористическихъ статей противъ Н. Н. Страхова, М. М. Достоевскаго и Ѳ. М. Достоевскаго, особенно въ 1863 и въ 1866 годахъ<sup>3)</sup>; въ большинствѣ случаевъ какъ представитель „почвы“ выступивался М. М. Достоевскій, котораго однажды въ „Современникѣ“ назвали „псевдо-Достоевскимъ“ въ противоположность „настоящему Достоевскому, автору „Мертваго Дома“ и „Бѣдныхъ людей“<sup>4)</sup>; но иногда жестокая критика и злая сатира передовой печати направлялась прямо противъ Ѳ. М. Достоевскаго. Эти проницательное отношеніе къ нему, порожденное „Временемъ“, поддержано было „Эпохой“, которая съ 1864 года смѣнила „Время“, и окончательно обострилось съ появленіемъ въ 1866 году романа „Преступленіе и наказаніе“<sup>5)</sup>.

Если вообще въ шестидесятыхъ годахъ съ направленіемъ беллетриста критика старалась посчитаться раньше, чѣмъ съ его литературною манерою, то по отношенію къ

<sup>1)</sup> „Современникъ“ 1861, т. 90, декабрь. О почвѣ (не въ агрономическомъ смыслѣ, а въ духѣ „Времени“). М. Антоновича. Стр. 171—188.

<sup>2)</sup> „Свѣточъ“ 1862, кн. 2. Критическое обозрѣніе. О почвѣ не въ агрономическомъ смыслѣ и не въ духѣ „Времени“, но также и не въ духѣ „Современника“. Стр. 1—26.

<sup>3)</sup> „Искра“ 1863, № 7: Домашній театр „Искры“. Ванна изъ „почвы“ или галлюцинаціи М. М. Достоевскаго. Стр. 105—108. Тамъ же, № 9: Карриатура: Время и Косица. Стр. 125. Тамъ же, № 13: Опытъ словаря псевдонимовъ современной русской литературы. Стр. 195. Тамъ же, № 15. Стр. 220 и 222. Тамъ же, № 16. Стр. 234 и 239. „Искра“ 1866, № 12. Двойникъ. Приключенія Ѳедора Стрижова (Посвящается Ѳ. М. Достоевскому). Стр. 159—162. То же—№ 13, стр. 172—3 и № 14, стр. 184.

<sup>4)</sup> „Современникъ“ 1864, № 5. Современное обозрѣніе. Литературныя мелочи. Стр. 10.

<sup>5)</sup> Романъ напечатанъ былъ сначала въ „Русск. Вѣстникѣ“ 1866, т. 61, январь, стр. 35—120 и февраль, стр. 470—574; т. 62, апрѣль, стр. 606—689; т. 63, июнь, стр. 742—793; т. 64, июль, стр. 263—341 и августъ, стр. 690—723; т. 66, ноябрь, стр. 79—155 и декабрь, стр. 450—488. Отдѣльно вышелъ въ 1867 году въ изданіи А. Базунова, Ѳ. Праца и Я. Вейденштрауха, Спб.

роману „Преступленіе и наказаніе“ это было сдѣлано особенно поспѣшно и настойчиво, такъ какъ уже въ Достоевскомъ-издателѣ „Времени“ и „Эпохи“ подозрѣвали нѣкоторую измѣну прогрессивному теченію русской общественной мысли.

Раньше другихъ выступилъ съ рѣзкими нападками противъ новаго романа Достоевскаго „Современникъ“. Указывая на то, что представители „натурализма“ сороковыхъ годовъ замѣтно уже теряютъ свой авторитетъ и вмѣстѣ съ тѣмъ становятся въ оппозицію новымъ идеямъ общественности и литературы въ томъ ихъ видѣ, какъ ихъ понимали передовые шестидесятники — критикъ говоритъ: „Въ ряды этихъ озлобленныхъ движеніемъ послѣдняго времени видимо хочетъ стать теперь и г. О. Достоевскій новымъ своимъ романомъ“. Въ доказательство этого излагается дальше краткое содержаніе „новаго романа“, именно та часть его, которая содержитъ „преступленіе“. Критикъ обращаетъ особенное вниманіе на то, что Раскольникова привели къ убійденію считать убійство за подвигъ „самые обыкновенные и не разъ уже слышанные имъ — молодые разговоры и мысли“. „Читателю, конечно, любопытно знать, какъ формулировались подобные молодые разговоры и мысли“ — рѣшаетъ критикъ и въ отвѣтъ на этотъ „любопытный“ вопросъ пересказываетъ то мѣсто изъ романа, гдѣ Раскольниковъ подслушиваетъ разговоръ студента и офицера. Считаю подобное повѣствованіе результатомъ тенденціознаго, впаиваго въ заблужденіе, „натурализма“, критикъ заключаетъ: „Вотъ то, что называлось дѣйствительностію на языкѣ натуральной школы: Предъ вами изображается дѣйствительный городъ съ знакомыми вамъ улицами и переулками, харчевнями, трактирами, мостами, домами и т. д., изображаются лица, по наружности похожія на тѣхъ, которыхъ вы встрѣчаете, однимъ словомъ, изображается обстановка всѣмъ знакомая; вы видите героя, который обуревается какою-нибудь страстію: авторъ пыщится (sic!) и напрягаетъ всѣ свои силы, чтобъ изобразить глубину и широту своей страсти. Выходитъ нѣчто дѣтское, неумѣлое, водянисто-реторическое, что показываетъ

въ авторѣ не только недостатокъ наблюдательности, но и недостатокъ собственно художественнаго приѣма и опытности въ изображеніи страсти,—что, наводя страшную скуку на читателя, нисколько не выясняетъ лица героя. Но такое психологическое баловство было въ модѣ и почиталось верхомъ искусства по воззрѣніямъ натуральной школы. И авторъ, въ восторгѣ отъ написанной имъ дребедени, вѣроятно воображаетъ себя знатокомъ чловѣческаго сердца, чуть-чуть не Шекспиромъ. На нашъ взглядъ, авторъ, приступая къ своему роману, если онъ хотѣлъ изобразить дѣйствительное, прежде всего долженъ бы былъ спросить себя: существуетъ ли то, что я хочу описывать и изъяснять? Бывали ли когда-нибудь случаи, чтобы студентъ убивалъ кого-нибудь для грабежа? Если бы такой случай и былъ когда-нибудь, что можетъ онъ доказывать относительно настроенія вообще студенческихъ корпорацій? Въ какихъ состояніяхъ и сословіяхъ не бывало подобныхъ исключительныхъ случаевъ? Изъ какихъ источниковъ могу я удостовѣриться, что студенты убійство изъ грабежа почитаютъ поправленіемъ и направленіемъ природы? Вѣдь если ничего подобнаго, что мнѣ представляется, нѣтъ въ дѣйствительности, то мой романъ на подобную тему будетъ самымъ глупымъ и позорнымъ измышленіемъ, сочиненіемъ самымъ жалкимъ. Если же что-нибудь подобное есть въ дѣйствительности, то тутъ надобно дѣйствовать никакъ не посредствомъ поэзіи, а посредствомъ полиціи наружной или тайной. Какою разумною цѣлію можетъ оправдываться подобный сюжетъ для романа? Нѣкогда Бѣлинскій, разсматривая извѣстное произведеніе г. Достоевскаго „Двойникъ“, приключенія господина Голядкина“, находилъ въ этомъ произведеніи высокія достоинства, но вмѣстѣ съ тѣмъ порицалъ его длинноту и фантастичность. „Фантастическое—говорилъ онъ въ назиданіе г. Достоевскому—въ наше время можетъ имѣть мѣсто только въ домахъ умалишенныхъ, а не въ литературѣ, и находится въ завѣдываніи врачей, а не поэтовъ“. Что сказалъ бы Бѣлинскій объ этой новой фантастичности г. Достоевскаго, фантастичности, вслѣдствіе которой цѣлая корпорація молодыхъ

юношей обвиняется въ повальномъ покушеніи на убійство съ грабежомъ?<sup>1)</sup>

Въ слѣдующей, мартовской, книжкѣ „Современника“ критикъ еще рѣзче настаиваетъ на томъ, что „основу романа г. Достоевскаго“ составляетъ принятое имъ за фактъ и, слѣдовательно, существующее будто бы „въ студенческой корпораціи“ расположеніе къ убійствамъ съ грабежомъ, принципиально въ этой корпораціи оправдываемымъ. Какою, напримѣръ,—разсуждаетъ критикъ—разумною цѣлю можетъ быть оправдано изображеніе молодого юноши, студента, въ качествѣ убійцы, мотивированіе этого убійства научными убѣжденіями и, наконецъ, распространеніе этихъ убѣжденій на цѣлую студенческую корпорацію? Кому оказывается этимъ услуга, если не обскурантамъ, которые въ распространеніи свѣта видятъ причину всякаго зла въ мірѣ? Какое впечатлѣніе и вліяніе можетъ имѣть подобное изображеніе на читающую публику, которая привыкла видѣть въ наукѣ основаніе и залогъ всего лучшаго для своего будущаго?<sup>2)</sup>

Вслѣдъ за „Современникомъ“ высказался противъ направленія новаго романа Достоевскаго журналъ „Недѣля“; здѣсь въ обрисовкѣ художественнаго портрета Раскольникова критика увидѣла не только недовольство автора романа „молодымъ поколѣніемъ“, получившимъ уже къ этому времени кличку „нигилистовъ“, но даже и „грязненькія инсинуаціи по адресу русской молодежи. „Отдавая полную справедливость таланту г. Достоевскаго—читаемъ въ „Недѣлѣ“<sup>3)</sup>, мы не можемъ пройти молчаніемъ тѣхъ грустныхъ симпто-

<sup>1)</sup> „Современникъ“ 1866, т. 112, февраль. Современное обозрѣніе. Журналистика. Стр. 273—277.

<sup>2)</sup> „Современникъ“ 1866, т. 113, мартъ. Русская литература. Журналистика. Стр. 39. Тотъ же упрекъ Достоевскому въ юмористической формѣ см. „Искра“ 1866, № 13, Юмористическій Указатель, стр. 174: „...Разсказываютъ (не ручаюсь впрочемъ за достовѣрность слуха), что г. Погодинъ, путемъ сношеній съ невидимымъ міромъ, при посредствѣ вертящагося стола, узналъ способъ „сдѣлать куньи мордки дороже золота“, что г. Достоевскій этимъ же путемъ входилъ въ сношенія съ надворнымъ совѣтникомъ, проглоченнымъ въ Пассажѣ крокодиломъ, и узналъ отъ этого совѣтника, что любимымъ предметомъ бесѣды въ студенческихъ кружкахъ служитъ оправданіе убійства для грабежа (см. „Преступленіе и Наказаніе“, романъ Ѳ. Достоевскаго въ „Русскомъ Вѣстникѣ“)...

<sup>3)</sup> „Недѣля“ 1866, № 5. Литературныя замѣтки. Стр. 72—74.



мовъ, которые въ послѣднемъ его романѣ обнаруживаются съ особенною силою. Съ г. Достоевскимъ случилось то же, что и со многими другими писателями послѣдняго времени; превознесенный въ началѣ преувеличенными похвалами, впослѣдствіи онъ подвергся незаслуженнымъ нападкамъ. Фетъ, Майковъ, Соллогубъ и Тургеневъ подвергнулись той же участи. Изъ нихъ Фетъ, оставивъ почти совершенно литературу, занялся сельскимъ хозяйствомъ. Майковъ лишь изрѣдка вдохновляется совершающимися въ настоящее время событіями и при томъ событіями самаго невиннаго свойства; классическую же свою лиру, какъ кажется, навсегда на чердакъ забросилъ. Соллогубъ слагаетъ теперь мнимо-сатирическія вирши на нигилистовъ, а Тургеневъ, пообщавъ многимъ журналамъ по повѣсти, замолкъ совершенно. Что же касается г. Федора Достоевскаго, то онъ лично далеко не подвергается такимъ яростнымъ нападкамъ, какъ упомянутые нами выше писатели. Насмѣшки сыпались преимущественно на покойнаго его брата Михаила Достоевскаго, бывшаго редактора журнала „Время“, выродившагося потомъ въ „Эпоху“ и, дѣйствительно, дававшего обильную пищу сатирѣ своимъ пустословіемъ; само собой разумѣется, что г. Ф. Достоевскому, какъ сотруднику братнинаго журнала, тоже подчасъ доставалось, но всетаки это по нашему не (можетъ служить) извиненіемъ крутому повороту назадъ, совершенному впослѣдствіи авторомъ „Мертваго дома“, нѣкогда считавшимся мученикомъ убѣжденій, нисколько не похожихъ на проводимыя имъ въ „Крокодилѣ“<sup>1)</sup> и въ послѣднемъ его романѣ „Преступленіе и наказаніе“. Какъ бы то ни было, г. Ф. Достоевскій въ настоящую минуту недоволенъ молодымъ поколѣніемъ. Это бы еще ничего. Въ поколѣніи этомъ, дѣйствительно, есть недостатки, заслуживающіе порицанія, и выводить ихъ наружу вполне похвально, конечно если дѣло ведутъ честно, не бросая камня изъ-за

<sup>1)</sup> Т-е. „Необыкновенное событіе или пассажъ въ Пассажѣ, справедливая повѣсть о томъ, какъ одинъ господинъ, извѣстныхъ лѣтъ и извѣстной паружности, пассажнымъ крокодиломъ былъ проглоченъ живьемъ, весь безъ остатка, и что изъ этого вышло. Семеномъ Стрижовымъ доставлено. Ф. Достоевскаго. („Эпоха“ 1865, № 2, февраль, стр. 1—40).

угла. Такъ поступилъ Тургеневъ, изобразившій (впрочемъ, весьма неудачно) недостатки молодого поколѣнія въ своемъ романѣ „Отцы и Дѣти“, но г. Тургеневъ велъ дѣло на чистоту, не прибѣгая къ грязненькимъ инсинуаціямъ. Онъ просто обвѣшалъ своего Базарова всѣми недостатками, которые по его мнѣнію присущи молодому поколѣнію, и вывелъ его на судъ общественный. Нѣкоторые за это автора похвалили; большинство же осыпало бранью и насмѣшками; но никто не можетъ сказать, чтобы г. Тургеневымъ руководили нечистыя побужденія. Онъ поступилъ, правда, безтактно, за что и понесъ достойное наказаніе, но онъ шелъ прямо, открыто къ своей цѣли. Не такъ поступаетъ г. Ө. Достоевскій въ своемъ новомъ романѣ. Онъ не говоритъ прямо, что либеральныя идеи и естественныя науки ведутъ молодыхъ людей къ убійству, а молодыхъ дѣвицъ къ проституціи, а такъ, косвеннымъ образомъ, даетъ это почувствовать; а какъ нѣкоторые господа „съ негодованіемъ“ отрицаютъ подобное обвиненіе, то мы долгомъ считаемъ указать на факты, послужившіе намъ основаніемъ къ нелестному заключенію о прямотѣ автора „Крокодила“. Факты эти слѣдующіе: въ новомъ романѣ его воръ и убійца—студентъ; это бы еще ничего, это можно приписать случайности; студентъ такой же человѣкъ, какъ и всякій другой,—почему же и ему не заниматься воровствомъ и убійствомъ, если другіе этимъ занимаются; къ тому же бываютъ такія побудительныя причины... Какія же однако причины, что именно подстрекнуло студента Раскольникова къ ограбленію и убійству закладчицы и ея сестры? Подстрекнулъ его къ этому студентъ (опять студентъ! что за страшное стеченіе случайностей!), излагавшій предъ своимъ пріятелемъ теорію, что убивать злыхъ старухъ для блага человѣчества—дѣло совершенно похвальное. Обратимъ вниманіе читателя также на слѣдующее обстоятельство. Авторъ передъ тѣмъ, какъ пустить „по желтому билету“ едва грамотную Соню, дочь пьянюшки Мармеладова, даетъ ей прочесть, что бы вы думали? Поль-де-Кока? Баркова? нѣтъ—физиологію Льюиса (!!!). Тутъ авторъ, обыкновенно столь вѣрный художественной

правдѣ, не отступилъ даже предъ очевидной необразованностью дѣвушки, все образованіе которой, по собственнымъ словамъ его, „остановилось на Кирѣ Персидскомъ“. Онъ даетъ читать ученое сочиненіе, въ которомъ она не въ состояніи понять ни бельмеса. Поэтому мы совѣтуемъ г. Достоевскому бросить ложную стыдливость и поставить точку на і; въ этомъ отношеніи ему хорошимъ образцомъ можетъ служить г. Ключниковъ, весьма эффектно изобразившій въ лицѣ гимназиста Коли (въ романѣ „Марево“) всю „пагубу нынѣшней системы воспитанія“...

Вооружаясь противъ Раскольниковъ, какъ пародіи на передовую русскую молодежь шестидесятыхъ годовъ, критика, истолковавшая романъ Достоевскаго въ этомъ смыслѣ, тѣмъ самымъ защищала эту молодежь отъ „грязненькихъ инсинуаций“. Но передовой печати предстояло еще взять на себя защиту и тѣхъ философскихъ и научныхъ идей, которыя, какъ многимъ казалось, были умышленно скомпрометтированы въ романѣ Достоевскаго „теоріей“ Раскольниковъ. На защиту не столько молодежи, сколько передовыхъ идей своего времени, всталъ Д. И. Писаревъ<sup>1)</sup>. Не считаясь, какъ онъ заявляетъ, съ направленіемъ Достоевскаго, Писаревъ желаетъ въ своемъ разборѣ романа „Преступленіе и наказаніе“ только прослѣдить отраженіе дѣйствительной жизни въ данномъ художественномъ произведеніи, поскольку оно, не представляя клеветы на жизнь, остается ей вѣрнымъ. Такой анализъ романа позволяетъ ему заключить, что Раскольниковъ прежде всего—человѣкъ, „задавленный обстоятельствами“, страдающій подъ гнетомъ крайней бѣдности, „утомленный мелкой и неудачной борьбой за существованіе“, поэтому безысходная бѣдность и „изнурительная апатія“, а вовсе не теоріи или какія-либо философскія обобщенія, вызвали въ немъ „тупое страданіе“, „неясную тревогу“ и затѣмъ „дикую мысль“ о преступленіи. Однимъ

<sup>1)</sup> „Дѣло“ 1867, № 5. Будничныя стороны жизни. Стр. 1—26 и „Дѣло“ 1868, № 8. Борьба за существованіе. Стр. 1—33. Обѣ статьи подъ однимъ общимъ заглавіемъ см. Сочин. Д. И. Писарева, изд. Ф. Павленкова, Спб. 1894. Т. VI. Борьба за жизнь. Стр. 283—344.

словомъ, Раскольниковъ—это печальный продуктъ непосильной борьбы за существованіе. „Раскольниковъ находится въ такомъ положеніи, при которомъ всѣ лучшія силы человѣка поворачиваются противъ него самого и увлекаютъ его въ безнадежную борьбу съ обществомъ. Самыя святыя чувства и самыя чистыя стремленія, тѣ чувства и стремленія, которыя обыкновенно поддерживаютъ, ободряютъ и облагораживаютъ человѣка, становятся вредными и разрушительными страстями, когда человѣкъ лишается возможности доставлять имъ правильное удовлетвореніе. Раскольникову хотѣлось во что бы то ни стало поконить и лелѣять свою старую мать, доставлять ей тѣ скромныя удобства жизни, которыя были ей необходимы, избавлять ее отъ томительныхъ заботъ о кускѣ насущнаго хлѣба; ему хотѣлось далѣе, чтобы сестра его была ограждена въ настоящемъ отъ дерзостей разныхъ Свидригайловыхъ, а въ будущемъ отъ участи, постигшей Соню Мармеладову, или отъ необходимости выйти замужъ безъ любви за какого-нибудь деревяннаго человѣка, подобнаго господину Лужину. Самый строгій моралистъ не найдетъ въ этихъ желаніяхъ ничего предосудительнаго или нескромнаго; самый строгій моралистъ даже похвалитъ Раскольникова за эти желанія и пожелаетъ, въ интересахъ его собственнаго нравственнаго совершенствованія, чтобы Раскольниковъ, въ теченіе всей своей жизни, постоянно любилъ мать и сестру и самымъ ревностнымъ образомъ, не жалѣя силъ и энергій, заботился объ ихъ участи. Моралистъ нашелъ бы даже по всей вѣроятности, что Раскольниковъ поступилъ бы очень дурно, если бы сбавилъ что-нибудь изъ своихъ требованій, потому что сбавлять нечего, и всякая сбавка сопряжена съ очевиднымъ и неизбѣжнымъ ущербомъ для человѣческаго достоинства его матери и его сестры. Но эти требованія остаются законными, разумными и похвальными только до тѣхъ поръ, пока у Раскольникова имѣются матеріальныя средства, которыми онъ дѣйствительно можетъ поконить свою мать и спасти отъ безчестія свою сестру. Пока Раскольниковъ обезпеченъ имѣніемъ, капиталомъ или трудомъ, до тѣхъ поръ ему предоставляется полное право

и на него даже налагается священная обязанность любить мать и сестру, защищать ихъ отъ лишеній и оскорбленій и даже въ случаѣ надобности принимать на самого себя тѣ удары судьбы, которые предназначаются имъ, слабымъ и безотвѣтнымъ женщинамъ. Но какъ только матеріальныя средства истощаются, такъ тотчасъ же вмѣстѣ съ этими средствами у Раскольникова отбирается право носить въ груди человѣческія чувства, такъ точно какъ у обанкротившагося купца отбирается право числиться въ той или другой гильдіи. Любовь къ матери и къ сестрѣ, желаніе покоить и защищать ихъ становятся противузаконными и противуобщественными чувствами и стремленіями съ той минуты, какъ Раскольниковъ превратился въ голоднаго и оборваннаго бѣдняка. Кто не можетъ по-человѣчески кормиться и одѣваться, тотъ не долженъ также думать и чувствовать по-человѣчески. Въ противномъ случаѣ человѣческія мысли и чувства разрѣшатся такими поступками, которые произведутъ неизбежную коллизію между личностью и обществомъ. Попавши въ свое исключительное положеніе, Раскольниковъ очутился на распутьѣ, очень похожемъ на то распутье, о которомъ говорится въ сказкахъ, и въ которомъ одна дорога обѣщаетъ гибель коню, другая—всаднику, а третья—обонмъ. Раскольникову казалось, что ему надо или отказаться отъ всего, что было ему дорого и свято въ себѣ самомъ и въ окружающемъ мірѣ, или вступить за свою святыню въ отчаянную борьбу съ обществомъ, въ такую борьбу, въ которой уже невозможно будетъ разбирать средствъ“...

Понятенъ отсюда выводъ, который дѣлаетъ Писаревъ по поводу отношенія теоріи Раскольникова къ его преступленію. Онъ думаетъ, что „теоретическія убѣжденія Раскольникова не имѣли никакого замѣтнаго вліянія на совершеніе убійства“. Что касается самой „теоріи“ Раскольникова, то она, по мнѣнію Писарева, „не имѣетъ ничего общаго съ тѣми идеями, изъ которыхъ складывается міросозерцаніе современно развитыхъ людей“, и во всякомъ случаѣ не стоитъ на высотѣ „современныхъ“ воззрѣній на роль личности въ исторіи. „Мнѣ кажется, говорить критикъ, что Раскольниковъ

не могъ заимствовать свои идеи ни изъ разговоровъ съ своими товарищами, ни изъ тѣхъ книгъ, которыя пользовались и пользуются до сихъ поръ успѣхомъ въ кругу читающихъ и размышляющихъ молодыхъ людей. Въ настоящее время нѣтъ ни одного замѣчательнаго мыслителя или свѣдущаго историка, который бы думалъ и доказывалъ публично, что какія бы то ни было личныя дарованія могутъ замедлить или ускорить, или поворотить назадъ, или свернуть въ сторону естественное теченіе историческихъ событій. Чѣмъ внимательнѣе вглядываются изслѣдователи въ смыслъ и послѣдовательное развитіе историческихъ фактовъ, тѣмъ сильнѣе и окончательнѣе убѣждаются они въ томъ, что отдѣльная личность, какими бы громадными силами она ни была одарена, можетъ сдѣлать какое-нибудь прочное дѣло только тогда, когда она дѣйствуетъ заодно съ великими общими причинами, то есть съ характеромъ, образомъ мыслей и насущными потребностями данной націи. Когда она дѣйствуетъ наперекоръ этимъ общимъ причинамъ, то ея дѣло погибаетъ вмѣстѣ съ нею или даже при ея жизни. Когда же она, въ своей дѣятельности, соображается съ духомъ времени и народа, тогда она дѣлаетъ только то, что сдѣлалось бы непременно и помимо ея воли, что настоятельно требуется обстоятельствами минуты, и что, при ея отсутствіи или бездѣйствіи, было бы въ свое время выполнено такъ же удовлетворительно какою-нибудь другой личностью, сформировавшейся при тѣхъ же вліяніяхъ и воодушевленной тѣми же стремленіями. Человѣчество, по мнѣнію всѣхъ новыхъ и новѣйшихъ мыслителей, развивается и совершенствуется вслѣдствіе коренныхъ и неистребимыхъ свойствъ своей собственной природы, а никакъ не по милости остроумныхъ мыслей, зарождающихся въ головахъ немногихъ избранныхъ гениевъ. Человѣчество, по мнѣнію тѣхъ же мыслителей, состоитъ изъ множества отдѣльныхъ личностей, очень неодинаково одаренныхъ природой, но ни одна изъ этихъ личностей, какими бы богатыми дарами ни осыпала ее природа, не имѣетъ разумаго основанія думать, что ея голова заключаетъ въ себѣ будущность всей ея породы, или

по крайней мѣрѣ всей ея націи. Ни одна изъ этихъ личностей, какъ бы она ни была гениальна, не имѣетъ разумаго основанія, во имя этой будущности или во имя своей гениальности, разрѣшать себѣ такіе поступки, которые вредятъ другимъ людямъ и вслѣдствіе этого считаются непозволительными для обыкновенныхъ смертныхъ. Чтò хорошо въ простомъ человѣкѣ, то хорошо и въ гениі; чтò дурно въ первомъ, то дурно также и въ послѣднемъ. Многое можетъ быть объяснено и даже оправдано силою тѣхъ страстей, которыя возбуждаются въ гениальномъ человѣкѣ ожесточеніемъ великой борьбы; но если, поддаваясь вліянію этихъ страстей, гениальный человѣкъ раздавилъ то, чтò могло и должно было жить, то историкъ въ этомъ рѣзкомъ и насильственномъ поступкѣ увидитъ всетаки проявленіе слабости, которое должно служить людямъ поучительнымъ предостереженіемъ, а никакъ не выраженіе гениальности и силы, долженствующее вызвать въ другихъ людяхъ восторженное соревнованіе. Словомъ, съ точки зрѣнія тѣхъ мыслителей, которыхъ произведенія господствуютъ надъ умами читающаго юношества, дѣленіе людей на гениевъ, освобожденныхъ отъ дѣйствія общественныхъ законовъ, и на тупую чернь, обязанную раболѣпствовать, благоговѣть и добродушно покоряться всякимъ рискованнымъ экспериментамъ, оказывается совершенной нелѣпостью, которая безвозвратно опровергается всей совокупностью историческихъ фактовъ. Знакомясь съ произведеніями этихъ мыслителей и приучаясь смотрѣть на вещи съ ихъ точки зрѣнія, Раскольниковъ отнялъ бы у себя всякую возможность проводить натянутыя параллели между уголовными преступниками и великими людьми. Онъ убѣдился бы въ томъ, что эти параллели не принесутъ ни малѣйшей пользы уголовнымъ преступникамъ, во первыхъ потому, что величіе тѣхъ великихъ людей, которые если бѣ и имѣли съ преступниками нѣкоторыя точки соприкосновенія, само по себѣ очень сомнительно, а во вторыхъ потому, что тѣ стороны, которыми эти сомнительно великіе люди соприкасаются съ уголовными преступниками, всетаки составляютъ въ ихъ біографіяхъ самыя темныя и грязныя



пятна. Читая мыслящих историковъ или разсуждая объ историческихъ фактахъ съ умными и работающими студентами-товарищами, Раскольниковъ въ особенности убѣдился бы въ томъ, что люди, подобные Ньютону и Кеплеру, никогда не пользовались кровопролитіемъ, какъ средствомъ популяризировать свои доктрины, никогда не были поставлены въ необходимость устранять какихъ-нибудь обскурантовъ, мѣшавшихъ распространенію ихъ идей, даже никогда не могли бы попасть въ такое странное и унижительное положеніе, если бы даже для нихъ нарочно была придумана и устроена какая-нибудь самая неправдоподобная комбинація“.

Такимъ образомъ теорія Раскольникова—думаетъ Писаревъ—возникла въ его умѣ совершенно независимо отъ передовыхъ идей эпохи и построена имъ „исключительно для того, чтобы оправдать въ собственныхъ глазахъ мысль о быстрой и легкой наживѣ“<sup>1)</sup>, явившуюся въ свою очередь послѣдствіемъ тяжелыхъ лишеній и изнурительной съ ними борьбы. Совершивши преступленіе безъ всякаго идейнаго обоснованія, Раскольниковъ испытываетъ и страдація душевныя такого же безъидейнаго свойства, потому что они исходятъ не изъ угрызений совѣсти и раскаянія, а изъ „страха уголовного наказанія“, изъ „страха презрѣнія со стороны близкихъ людей“, изъ „необходимости таиться и притворяться на каждомъ шагу въ сношеніяхъ со всѣми людьми безъ исключенія“ и изъ „яснаго предчувствія того обстоятельства, что всѣ эти подвиги притворства окажутся рано или поздно совершенно бесполезными“<sup>2)</sup>.

Такъ отставала передовая печать свою идеологию и вѣрующую въ нее молодежь отъ покушеній автора романа „Преступленіе и наказаніе“. Наиболѣе авторитетный голосъ, раздавшійся изъ другого лагеря, примкнувшаго къ тенденціи Достоевскаго, принадлежалъ Н. Н. Страхову. Подобно другимъ представителямъ умѣренно-прогрессивнаго и консервативнаго теченій эпохи, онъ увидѣлъ въ Раскольниковѣ не пародію на молодежь, но показатель дѣйствительнаго въ ея средѣ

<sup>1)</sup> Сочин. VI, стр. 331.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 342.

духовнаго шатанія. „Шаткость нравственнаго строя—говорить онъ—, обнаруживающаяся въ нѣкоторыхъ явленіяхъ нашего общества—вотъ тема новаго романа „Преступленіе и наказаніе“. Это, конечно, всѣ знаютъ и понимаютъ. Общество съ изумленіемъ увидѣло, какъ художникъ уяснялъ ему явленія, которыя въ то же время совершались въ дѣйствительности, передъ глазами всѣхъ“<sup>1)</sup>. Развивая дальше свой основной взглядъ на романъ Достоевскаго<sup>2)</sup>, критикъ приходитъ къ заключенію, что Достоевскій, дѣйствительно, изобразилъ въ лицѣ Раскольникова нигилиста, но не въ томъ карикатурномъ видѣ, въ какомъ обыкновенно въ то время рисовали нигилизмъ. „Читатели привыкли видѣть въ нигилистахъ... людей скудоумныхъ и скудосердечныхъ, людей, лишенныхъ ясной силы ума и живой сердечной теплоты“... Нигилисты, какъ литературные портреты, обыкновенно возбуждали „только насмѣшку и негодованіе“. Достоевскій отнесся къ нигилизму иначе. „Онъ очевидно взялъ задачу сколь возможно глубже, задачу болѣе трудную, чѣмъ осмѣиванье безобразій натуръ пустыхъ и малокровныхъ. Его Раскольниковъ хотя страдаетъ юношескимъ малодушіемъ и эгоизмомъ, но представляетъ намъ человѣка съ задатками твердаго ума и теплаго сердца. Это не фразеръ безъ крови и безъ нервовъ, это—настоящій человѣкъ. Этотъ юный человѣкъ тоже строитъ теорію, но теорію, которая, именно въ силу его большей жизненности и большей силы ума, гораздо глубже и окончательнѣе противорѣчитъ жизни, чѣмъ, напримѣръ, теорія объ обидѣ, наносимой дамъ цѣлованіемъ ея руки, или другія подобныя. Въ угоду своей теоріи онъ также ломаетъ свою жизнь; но онъ не впадаетъ въ смѣшное безобразіе и нелѣпости; онъ совершаетъ страшное дѣло, преступленіе. Въмѣсто комическихъ явленій, передъ нами совершается траги-

<sup>1)</sup> „Отеч. Записки“ 1867, т. 170, февраль. Наша изящная словесность. Полное собраніе сочиненій Ф. М. Достоевскаго. Изданіе Стелловскаго. Т. I. 1865. Т. II. 1866. „Преступленіе и наказаніе“. Русскій Вѣстникъ. 1866. Стр. 544—566.

<sup>2)</sup> „Отеч. Записки“ 1867, т. 171, мартъ, стр. 325—340, апрѣль, стр. 514—527. Наша изящная словесность. „Преступленіе и наказаніе“. Романъ въ шести частяхъ съ эпилогомъ. Ф. М. Достоевскаго. Изданіе исправленное. Два тома. Спб. 1867.

ческое, то есть явленіе болѣе человѣческое, достойное участія, а не одного смѣха и негодованія. Затѣмъ разрывъ съ жизнью, въ силу самой своей глубины, возбуждаетъ страшную реакцію въ душѣ юноши. Между тѣмъ какъ прочіе нигилисты спокойно наслаждаются жизнью, не цѣлуя рукъ у своихъ дамъ и не подавая имъ салоповъ, и даже гордясь этимъ, Раскольниковъ не выноситъ того отрицанія инстинктовъ человѣческой души, которое довело его до преступленія, и идетъ въ каторгу. Тамъ, послѣ долгихъ лѣтъ испытанія, онъ вѣроятно обновится и станетъ вполне человѣкомъ, то есть теплою, живою человѣческою душою. Итакъ авторъ взялъ натуру болѣе глубокую, приписалъ ей болѣе глубокое уклоненіе отъ жизни, чѣмъ другіе писатели, касавшіеся нигилизма. Цѣль его была—изобразить страданія, которыя терпитъ живой человѣкъ, дойдя до такого разрыва съ жизнью. Совершенно ясно, что авторъ изображаетъ своего героя съ полнымъ состраданіемъ къ нему. Это не смѣхъ надъ молодымъ поколѣніемъ, не укоры и обвиненія, это—плачъ надъ нимъ. Несчастный убійца теоретикъ, этотъ честный убійца, если можно только сопоставить эти два слова, выходитъ тысячекратно несчастнѣе простыхъ убійцъ. Ему было бы несравненно легче, если бы онъ совершилъ убійство изъ гнѣва, изъ ревности, изъ корысти, изъ какихъ хотите житейскихъ побужденій, но не изъ теоріи“.

Изображая „нигилиста несчастнаго, нигилиста глубоко человѣчески-страдающаго“, Достоевскій, по мнѣнію Страхова, „взялъ нигилизмъ въ самомъ крайнемъ его развитіи, въ той точкѣ, дальше которой уже почти некуда идти“, и, такимъ образомъ, „получилъ возможность стать къ цѣлому явленію въ совершенно правильныя отношенія“. „Пусть читатель переберетъ... всѣ хорошо ему знакомыя формы нигилизма. Молодая дѣвушка обрѣзываетъ свою великолѣпную косу и надѣваетъ синія очки. Со стороны безобразно, а между тѣмъ она очень довольна собою, какъ будто надѣла нарядъ красивѣе того, который прежде носила. Она бросаетъ романы и читаетъ „Физиологію обыденной жизни“ Льюиса. Сначала она запинается, но дѣлаетъ надъ собою усиліе и принимается

свободно толковать о пятнахъ и мочевыхъ органахъ. Что же? Ощущается новое удовольствіе. Пойдемъ далѣе—дѣвушка уходитъ отъ родителей и совершенно теоретически отдается нѣкоторому юношѣ, чуждому предразсудковъ и толкующему ей о необходимости завести на какомъ-нибудь необитаемомъ островѣ новое человѣчество. Или бываетъ иначе. Братъ дѣвушки самъ устраиваетъ ея гражданскій бракъ съ пріятелемъ. Точно также на основаніи теоріи мужъ бросаетъ жену, жена мужа, или устраивается коммуна, въ которой случается, что одинъ мужчина имѣетъ связь съ двумя женщинами, краснорѣчиво проповѣдывая имъ, что ревность—фальшивое чувство. И что же? Вся эта ломка самихъ себя, все это искаженіе жизни совершается совершенно хладнокровно. Всѣ довольны и счастливы, смотря на себя съ великимъ уваженіемъ и гонять отъ себя всякія нелѣпыя чувства, мѣшающія людямъ идти по пути прогресса. Спрашивается, какимъ же образомъ можно отнестись къ этимъ людямъ? Всего легче смѣяться надъ ними и презирать ихъ. Такъ какъ они сами упорно выдаютъ себя за какихъ-то счастливицевъ, то общество не чувствуетъ въ себѣ никакого позова пожалѣть ихъ—скорѣе оно бываетъ расположено видѣть въ этомъ безстрастномъ и холодномъ коверканьи своей и чужой жизни присутствіе какихъ-нибудь темныхъ страстей, напримѣръ, сластолюбія. Между тѣмъ, въ сущности, вѣдь, ихъ слѣдуетъ пожалѣть. Вѣдь, нѣтъ никакого сомнѣнія, что душа у нихъ всетаки просыпается съ своими вѣчными требованіями. Притомъ не всѣ же они пусты и сухи. Есть, конечно, и между ними люди, въ которыхъ эта ломка своей природы отзовется долгими неизгладимыми страданіями. И, слѣдовательно, ко всѣмъ имъ, ко всей этой сферѣ кажущихся счастливицевъ, устраивающихъ свою жизнь на новыхъ основаніяхъ, можно обратиться со словами любящей Сони: „Что вы, что вы надъ собой сдѣлали?“ Отъ дѣвушки, изъ теоріи обстригающей себѣ косу, до Раскольниковова, изъ теоріи убивающаго старуху, разстояніе велико, но всетаки эти явленія однородны. Вѣдь и косы жалко, такъ какъ же не пожалѣть погубившаго себя Раскольникова? Сожа-

лѣніе—вотъ то отношеніе, въ которое авторъ сталъ къ нигилизму,—отношеніе, почти новое, а въ такой силѣ, въ какой оно здѣсь является, никѣмъ еще неразвитое“.

Такое отношеніе къ нигилизму снимаетъ—по мнѣнію Страхова—съ автора „Преступленія и наказанія“ всякое обвиненіе „въ какомъ-то желаніи опозорить наше молодое поколѣніе, поголовно обвинить его въ покушеніяхъ на убійство“. „Всѣ привыкли къ старому отношенію, всѣмъ извѣстно, что нигилисты и нигилистки бросаютъ своихъ родныхъ, теряютъ своихъ женъ, лишаются своихъ кость и своей дѣвичьей чести и т. д. не только безъ горя и печали, но совершенно хладнокровно и даже съ гордостью и торжествомъ. И вотъ въ романѣ Достоевскаго многимъ мерещится точно такое же изображеніе, то есть какъ будто нѣкто совершаетъ убійство, считая себя правымъ, и, слѣдовательно, хладнокровно и оставаясь вполне спокойнымъ. Такъ, вѣроятно, совершали фанатики свои поджоги и свои тайныя убійства. Отъ этого-то такіе поджоги и убійства и могли быть весьма часты, могли совершаться множествомъ людей. Есть ли же что-нибудь подобное въ романѣ г. Достоевскаго? Вся сущность романа заключается въ томъ, что Раскольниковъ, хотя и считаетъ себя правымъ, но совершаетъ свое дѣло не хладнокровно, и не только не остается спокойнымъ, а подвергается жестокимъ мукамъ. Если прямо держаться романа, то окажется, что преступленіе изъ теоріи несравненно тяжелѣе для преступника, чѣмъ всякое другое, что душа человѣческая менѣе всего можетъ выносить подобное уклоненіе отъ своихъ вѣчныхъ законовъ“.

Обращаясь затѣмъ къ „теоріи“ Раскольникова, критикъ, въ противоположность Д. И. Писареву, находитъ, что она въ своихъ главныхъ пунктахъ, особенно въ своемъ отношеніи къ исторіи человѣчества и къ роли личности въ историческомъ порядкѣ вещей, не только вполне соотвѣтствуетъ извѣстной группѣ современныхъ идей, но даже развиваетъ ихъ далѣе въ томъ же самомъ направленіи. „Читатели, конечно, хорошо знаютъ эти отрицанія правды и смысла въ исторіи, тотъ взглядъ на историческія явленія, по которому

всѣ они происходили отъ насилія, опиравшагося на заблужденія. Этотъ взглядъ, взглядъ просвѣщеннаго деспотизма, породилъ на западѣ Европы огромныя революціи и до сихъ поръ порождаетъ тамъ людей, которые разрѣшаютъ себѣ всѣ средства, чтобы измѣнить ходъ всемірной исторіи; которые считаютъ себя въ правѣ помогать мѣста законодателей и учредителей новаго разумнаго порядка вещей. Эти люди уже не живутъ подъ какимъ-нибудь авторитетомъ, потому что сами поставляютъ себя авторитетомъ для чело-вѣчества. Они, подобно Раскольникову, желали бы, если бы могли, „взять все за хвостъ и стряхнуть къ чорту“. Но эти люди дѣйствуютъ, считая своею цѣлью благо чело-вѣчества, и они имѣютъ дѣло съ исторіей народовъ. Поэтому, съ одной стороны, ихъ усилія получаютъ характеръ безко-рыстія, самоотверженія, съ другой стороны—ихъ дѣятель-ность никогда не бываетъ удачною. Исторія ихъ не слушается, и идетъ своимъ порядкомъ. Глупые народы не понимаютъ того блага, которое имъ предлагаютъ умные люди. Подъ вліяніемъ эгоизма молодости Раскольниковъ сдѣлалъ еще одинъ шагъ на пути этихъ мнѣній. Этотъ-то шагъ и со-ставляетъ ту мысль, которая, по его словамъ, „выдумалась у него одного и которой никто никогда еще не выдумывалъ“. Такимъ образомъ, онъ дошелъ до третьяго и послѣдняго пункта своей теоріи“. Третій пунктъ теоріи—это приложеніе ея къ дѣлу „измѣненія своей личной судьбы и судьбы своихъ близкихъ“; средствомъ для этого дѣла Расколни-ковъ избралъ „убійство принципа“. „Вотъ самая суть пре-ступленія. Это—убійство принципа. Не три тысячи рублей тянули Раскольникова; странно сказать, между тѣмъ вѣрно—что, если бы эти деньги могли достаться ему черезъ воров-ство, плутовство въ карты или другое мелочное мошенниче-ство, онъ едва ли бы на него рѣшился. Его тянуло убить принципъ, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ покушается на самую жизнь своей души; но убивши, онъ по страшнымъ мукамъ своимъ понялъ, какое преступленіе онъ совершилъ“.

Отмѣчая, такимъ образомъ, въ лицѣ Раскольникова извѣстное типическое явленіе изъ жизни русской молодежи

60-х годовъ, Страховъ вмѣстѣ съ тѣмъ указываетъ въ этомъ характерѣ и такія черты, которыя свойственны не одной только молодежи, но и вообще нашей общественной психикѣ. „Раскольниковъ—говоритъ онъ—есть истинно-русскій чело-вѣкъ именно въ томъ, что дошелъ до конца, до края той дороги, на которую его завелъ заблудшій умъ. Эта черта русскихъ людей, черта чрезвычайной серьезности, какъ бы религіозности, съ которою они предаются своимъ идеямъ, есть причина многихъ нашихъ бѣдъ. Мы любимъ отдаваться цѣльно, безъ уступокъ, безъ остановокъ на полдорогѣ; мы не хитримъ и не лукавимъ сами съ собою, а потому и не терпимъ мировыхъ сдѣлокъ между своею мыслью и дѣй-ствительностью. Можно надѣяться, что это драгоценное, великое свойство русской души когда-нибудь проявится въ истинно-прекрасныхъ дѣлахъ и характерахъ. Теперь же, при нравственной смутѣ, господствующей въ однихъ частяхъ нашего общества, при пустотѣ, господствующей въ другихъ, наше свойство доходить во всемъ до краю—такъ или иначе—портитъ жизнь и даже губитъ людей. Одно изъ самыхъ печальныхъ и характеристическихъ явленій такой гибели и хотѣлъ изобразить намъ художникъ“<sup>1)</sup>.

Помимо Н. Н. Страхова никто не обставилъ съ такой полнотой защиту основной идеи романа „Преступленіе и наказаніе“ противъ нападокъ прогрессивной печати<sup>2)</sup>. Но Страховъ всетаки въ этомъ отношеніи не стоитъ одиноко. Почти одновременно съ нимъ С. Я. Капустинъ въ „Женскомъ Вѣстникѣ“ охарактеризовалъ Раскольникова какъ извѣстный продуктъ современной ему жизни. „Раскольниковъ—говоритъ онъ—есть только естественное произведеніе быта нашего общества; и онъ до поры до времени не отдѣлялся отъ всѣхъ насъ, старыхъ и молодыхъ, собственно потому;

<sup>1)</sup> „Отеч. Записки“ 1867, т. 171, апрѣль. Наша изящная словесность. „Преступленіе и наказаніе“. Романъ въ шести частяхъ съ эпилогомъ Ф. М. Достоевскаго. Изданіе исправленное. Два тома. Спб. 1867. Статья вторая и послѣдняя. Стр. 527.

<sup>2)</sup> Основныя положенія статей Страхова о романѣ „Преступленіе и наказаніе“ вскорѣ же вошли въ краткомъ изложеніи въ „Курсъ исторіи русской литературы“ К. Петрова (ср. изд. 7-е, Спб. 1871, § 337, стр. 310—311).



что не являлось еще вызывающих къ дѣйствию условий; когда же они сложились, то дурные принципы, наслѣдованные отъ прадѣдовъ и прямо исходящія изъ борьбы нашей другъ съ другомъ, перешли у него въ страсть, и тогда-то и сдѣлалось для него возможнымъ собственными руками убить старуху“<sup>1)</sup>.

Нѣсколько позже противъ „сатанинской теоріи“ Раскольникова высказался А. Лохвицкій въ „Судебномъ Вѣстникѣ“. Онъ считаетъ ее индивидуализаціей взглядовъ, существовавшихъ издавна и не составляющихъ поэтому „мрачнаго произведенія нашего времени“ по преимуществу. „Теорія Раскольникова, въ ея общемъ видѣ, не имѣетъ значенія новости, но онъ все-таки придалъ ей нѣкоторыя черты индивидуальности, взятая изъ его времени, его круга и его личности. Она состоитъ въ томъ, что преступленія нѣтъ, сильному все разрѣшается... Основное начало теоріи Раскольникова: нѣтъ права, нѣтъ нравственности, нѣтъ закона, все это только предрассудки, созданные для господства надъ массой; въ мірѣ существуетъ только сила; поскольку есть у человѣка сила, постольку онъ и можетъ все приносить въ жертву для достиженія своей цѣли... Раскольниковъ по теоріи ни социалистъ, ни коммунистъ; онъ смѣется надъ социалистами, — добрые люди, думаютъ о благѣ будущихъ поколѣній, — нѣтъ, ему хочется самому пожить всласть: жизнь дается только разъ, — а пожить всласть это значить „устранить препятствія“ для достиженія того, что пріятно“...<sup>2)</sup> Эта старая теорія, параллели которой критикъ усматриваетъ еще въ нѣкоторыхъ философскихъ школахъ классической древности, въ отдѣльных своихъ частяхъ свойственна не только такимъ своеобразнымъ индивидуумамъ, какъ Раскольниковъ, но и другимъ, зауряднымъ, представителямъ современной культурной жизни, взятой въ ея отрицательныхъ сторонахъ. Такъ, по мнѣнію критика, „Свидригайловъ“ вполне удовлетворяетъ

<sup>1)</sup> „Женскій Вѣстникъ“ 1867, № 5. Критика и библіографія. По поводу романа „Преступленіе и наказаніе“. Стр. 10—11.

<sup>2)</sup> „Судебный Вѣстникъ“ 1869, № 83. Уголовные романы. Преступленіе и наказаніе. Соч. Ф. Достоевскаго. Стр. 1—3.

идеалу теоріи Раскольникова. Онъ именно „устраняетъ препятствія“ даже кровавымъ преступленіемъ для удовлетворенія своей страсти, не задавая себѣ вопроса, имѣетъ ли онъ право или нѣтъ“<sup>1)</sup>. Точно также „Лужинъ слѣдуетъ той же теоріи; осрамить дѣвушку ему нужно было для достиженія своего завѣтнаго благополучія—женитьбы на сестрѣ Раскольникова; онъ тоже „устраняетъ препятствія“, только не доходитъ до убійства, а ограничивается клеветой“<sup>1)</sup>. Но прикрѣпляя „теорію“ Раскольникова къ „быту нашего общества“, какъ это дѣлаетъ С. Я. Капустинъ, г. Лохвицкій, подобно Н. Н. Страхову, понимаетъ сущность романа Достоевскаго какъ торжество нравственной природы человѣка надъ „сатанинской теоріей“ въ такомъ человѣкѣ, который, какъ Раскольниковъ, не можетъ на всю жизнь „остаться злодѣемъ“. „Раскольниковъ не хотѣлъ сознать всей чудовищности своей теоріи; онъ предался въ руки правосудія по другому чувству—изъ презрѣнія къ себѣ. Но внутри его, помимо еще его сознанія, природа говорила другое; человѣкъ, который имѣлъ столько великодушія къ несчастнымъ Мармеладовымъ и Сонѣ, который рыдалъ у ногъ матери передъ сдачей себя на каторгу, такой человѣкъ не могъ остаться злодѣемъ; болѣзнь на каторгѣ окончательно сорвала завѣсу съ глазъ: онъ увидѣлъ всю мерзость своей сатанинской теоріи“<sup>2)</sup>.

Объ только что разсмотрѣнныя точки зрѣнія на романъ Достоевскаго, высказанныя критикою двухъ противоположныхъ лагерей, касались почти исключительно общественной тенденціи романа и, слѣдовательно, не исчерпывали всесторонне его содержанія. Дѣйствительно, рядомъ съ статьями прогрессивнаго и консервативнаго характера романъ „Преступленіе и наказаніе“ уже въ 1867 году вызвалъ и такія критическія статьи, которыя, не прикрѣпляя Раскольника къ опредѣленному моменту русской жизни, заинтересовались по преимуществу психологической стороною даннаго единичнаго явленія или типа.

<sup>1)</sup> „Судебный Вѣстникъ“ 1869, № 83. Уголовные романы. Преступленіе и наказаніе. Соч. Ф. Достоевскаго. Стр. 2—3.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 3.

Въ хронологическомъ порядкѣ впервые такой откликъ на романъ мы находимъ въ „Русскомъ Инвалидѣ“ 1867 года. Здѣсь Раскольниковъ понятъ былъ не какъ типическое, но именно какъ единичное, даже уродливое, явленіе человѣческой психики, во всякомъ случаѣ не имѣющее ничего общаго съ пародіей на молодое поколѣніе. Защищая Достоевскаго противъ упрековъ въ „намѣреніи опозорить молодое поколѣніе“, критикъ „Русскаго Инвалида“ говоритъ<sup>1)</sup>: „Раскольниковъ—больной человѣкъ; это первая, повихнувшаяся натура, помѣшавшаяся на мысли о томъ, что убить старуху-процентщицу—вовсе не преступленіе. Какъ скоро родилась въ немъ эта мысль, онъ развивалъ ее послѣдовательно, необыкновенно логически и привелъ въ исполненіе тогда уже, когда мысль сдѣлалась для него очевидною истиной. Но когда голова старалась оправдать разными софизмами совершенное преступленіе, вся природа убійцы возмущалась, и началась та ужасная душевная мука, которую вынести было труднѣе каторги. Болѣзненно направленная, извращенная мысль встрѣтилась въ Раскольниковѣ съ любящею, сильною природою. Повихнувшаяся голова старалась все оправдать, подсказывала, что награбленные деньги послужатъ, такъ сказать, фондомъ къ будущему счастью убійцы и всѣхъ тѣхъ, кого онъ хотѣлъ облагодѣтельствовать, но первый же шагъ словно опрокидывалъ всю эту пирамиду ловко подобранныхъ софизмовъ, и убійца старается отдѣлаться отъ всего, что взято имъ на мѣстѣ преступленія. Душевные муки убійцы изображены авторомъ романа во многихъ мѣстахъ такъ мастерски, такъ горячо, что ни одинъ читатель, какъ бы ни былъ онъ равнодушенъ къ поэтическимъ произведеніямъ, не могъ бы не увлечься этими страницами,—не могъ бы не признать за ними глубокой правды, яркой изобразительности“. Охарактеризовавъ дальше Раскольникова со стороны „разлада между головою и сердцемъ“, критикъ заключаетъ: „Раскольниковъ вовсе не типъ, не воплощеніе какого-нибудь направленія, какого-нибудь склада мыслей,

<sup>1)</sup> „Русскій Инвалидъ“ 1867, № 63, 4 марта. Журнальныя и библиографическія замѣтки. А. И.—нѣ. Стр. 3.

усвоенныхъ множествомъ. Картаваго человѣка, хромого человѣка, одноглазаго человѣка—мы не считаемъ за типы, а считаемъ физическими уродами; людей съ *idée fixe* мы не считаемъ за типы, потому что это явленіе болѣзненное и крайне разнообразное въ своихъ проявленіяхъ; общей черты тутъ схватить невозможно, потому что тутъ многое зависитъ отъ индивидуальности, отъ обстоятельствъ, такъ или иначе сложившихся. Если же Раскольниковъ не типъ, онъ и представлять собою ничего не можетъ, и нѣтъ никакого повода думать, чтобы авторъ хотѣлъ кого-нибудь оклеветать, хотѣлъ навязать молодежи „поголовное стремленіе къ убійству съ грабежемъ“, какъ выразился одинъ критикъ въ началѣ прошлаго года“. Въ частности, по вопросу о такъ называемой „теоріи“ Раскольникова критикъ думаетъ, что „...нельзя объяснить преступленія Раскольникова матеріализмомъ, потому что этотъ матеріализмъ, это невѣріе—въ немъ тоже напускъ, скорѣе слѣдствіе *idée fixe*, чѣмъ послѣдняя могла быть слѣдствіемъ матеріализма; съ выздоровленіемъ, съ любовью, и матеріализмъ проходитъ у Раскольникова, и вѣра начинаетъ прокрадываться въ его сердце. Такимъ образомъ, съ уничтоженіемъ причины уничтожаются и послѣдствія. Кто внимательно прочтетъ романъ, для того ясны будутъ причины, побудившія Раскольникова на преступленія (*sic!*); причины эти чисто-индивидуальнаго свойства, а вовсе не изъ тѣхъ, которыя носятся въ воздухѣ“. Чисто-психологическій интересъ характера Раскольникова, по мнѣнію критика, еще болѣе разъясняется при сравненіи исторіи Раскольникова съ такимъ аналогичнымъ фактомъ, какъ „дѣло“ студента Данилова, въ которомъ истолкователи общественной тенденціи романа хотѣли видѣть реальную параллель къ художественному образу, нарисованному Достоевскимъ. Критикъ „Русскаго Инвалида“ думаетъ иначе: Раскольниковъ—своеобразная и къ тому же больная психическая организація, и отъ Данилова отличается такъ же, какъ единичный фактъ отличается отъ зауряднаго массоваго явленія. „Странное дѣло: незадолго до появленія „Преступленія и наказанія“ въ Москвѣ совершено убійство; почти

такое же, какое описывает г. Достоевскій, и также молодымъ образваннымъ человѣкомъ. Мы говоримъ объ убійствѣ Попова и служанки его Нордманъ,—убійствѣ, подробности котораго читатели недавно имѣли случай читать<sup>1)</sup>. Раскольниковъ убиваетъ старуху, потомъ Лизавету, которая нечаянно входитъ въ незапертую дверь. Даниловъ убилъ Попова, потомъ Нордманъ, которая вернулась изъ аптеки, войдя также въ незапертую дверь. Если вы сравните романъ съ этимъ дѣйствительнымъ происшествіемъ, болѣзненность Раскольникова бросится въ глаза еще ярче. Убійца Попова и Нордманъ велъ себя вовсе не такъ, какъ велъ себя Раскольниковъ, и тотчасъ послѣ преступленія, и во время слѣдствія. Честная, добрая природа Раскольникова постоянно проявлялась сквозь болѣзненную рефлексію и давила ее почти противъ его воли,—внутренній голосъ заставилъ Раскольникова принести повинную, хотя онъ всячески старался увѣрить себя, что онъ совершилъ вовсе не преступленіе, а чуть ли не доброе дѣло; убійца Попова и Нордманъ сплетаетъ невѣроятныя происшествія, отличается хладнокровіемъ и лежитъ въ самыя торжественныя минуты. Тутъ не было никакой давящей рефлексіи, никакой *idée fixe*, а просто такое же черное дѣло, какъ и всѣ дѣла подобнаго рода“...

Въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи психологическая оцѣнка характера Раскольникова выразилась еще въ болѣе крайнихъ сужденіяхъ. Такъ, въ одной статьѣ, напечатанной въ газетѣ „Гласный Судъ“ двѣ недѣли спустя послѣ только что цитированной статьи „Русскаго Инвалида“, „больной человѣкъ“, Рас-

<sup>1)</sup> По свидѣтельству Н. Н. Страхова убійство Попова и Нордманъ совершено дня за два или за три до появленія „Преступленія и наказанія“ („Биографія, письма и замѣтки изъ записной книжки Ф. М. Достоевскаго“, Спб. 1883, стр. 290). По сообщенію одной газетной статьи, первыя главы романа Достоевскаго „были написаны и сданы въ редакцію „Русскаго Вѣстника“ прежде, чѣмъ Даниловъ совершилъ свое преступленіе и прежде, вѣроятно, чѣмъ онъ даже задумалъ его; окончаніе же романа, его роковая развязка (признаніе Раскольникова и его осужденіе) появились въ печати почти одновременно съ процессомъ Данилова и его осужденіемъ“ („Голосъ“ 1867, № 67. Библиографія. Стр. 3). Такимъ образомъ, тутъ наблюдается интересное совпаденіе фабулы романа съ реальнымъ фактомъ изъ жизни, которое самъ Достоевскій, по свидѣтельству Страхова, склоненъ былъ приписывать своей „художественной проницательности“ („Биографія, письма и замѣтки“..., стр. 290).

кольниковъ, признается уже просто „сумасшедшимъ“. Не усматривая въ Раскольниковѣ „типа“, т. е. „воплощенія какого-нибудь опредѣленнаго направленія, усвоеннаго обществомъ“, критикъ находитъ въ лицѣ этого героя лишь ненормальное психическое явленіе. „У него (т. е. у Достоевскаго)—говоритъ онъ—герой вышелъ просто-напросто сумасшедшій человѣкъ, или, скорѣе, бѣлогорячечный, который, хотя и поступаетъ какъ будто бы сознательно, но, въ сущности, дѣйствуетъ въ бреду, потому что въ эти моменты ему представляется все въ иномъ видѣ... У Раскольникова—все признаки бѣлой горячки; ему только все кажется; дѣйствуетъ онъ совершенно случайно, въ бреду. Не уходи дворникъ изъ дому и не попадись Раскольникову на глаза топоръ,—онъ, быть можетъ, просто бы побѣжалъ вдоль по каналу и бултыхнулся бы съ какого-нибудь моста въ воду, какъ это нерѣдко дѣлаютъ бѣлогорячечные. Топоръ дворника является во всей этой исторіи болѣе самостоятельнымъ лицомъ, чѣмъ самъ Раскольниковъ. Такихъ господъ, какъ Раскольниковъ, обыкновенно отправляютъ въ больницу, боясь держать на квартирѣ, и, случись это въ дѣйствительности,—съ нимъ бы такъ и поступили“. Переходя въ свою очередь къ сравненію Раскольникова съ Даниловымъ, критикъ такъ же, какъ было уже установлено „Русскимъ Инвалидомъ“, не находитъ никакого сходства между „произведеніемъ болѣзненно-настроеннаго воображенія“ съ одной стороны и „живою, хотя и печальною, дѣйствительностью“ съ другой: „Досужіе люди толкуютъ, что будто бы раскольниковское дѣло, описанное въ романѣ Достоевскаго, напоминаетъ собою уголовное дѣло о Даниловѣ, рѣшенное въ Московскомъ окружномъ судѣ. Конечно, думать можетъ каждый, что хочетъ, но только, по моему, сходства между этими двумя дѣлами нѣтъ ни малѣйшаго, кромѣ развѣ того, что дѣйствующими лицами въ обоихъ случаяхъ являются студенты университета. Раскольниковъ—человѣкъ дикій, больной, бѣлогорячечный, однимъ словомъ, воспроизведеніе больной, тоже отчасти горячечной фантазіи; Даниловъ же—красивый франтъ, не имѣющій съ университетскими товарищами ровно ничего общаго и постоянно вращающійся

между женщинами, ювелирами и ростовщиками. Раскольниковъ убиваетъ старуху единственно только потому, что дворника не было дома, а топоръ лежалъ подъ лавкой; онъ глупѣйшимъ манеромъ зарываетъ захваченныя вещи гдѣ-то вблизи зданія министерства государственныхъ имуществъ у Синяго моста и потомъ опять бѣжитъ, сомнѣваясь, на яву онъ сдѣлалъ преступленіе, или все это видѣлъ въ бѣло-горячечномъ бреду,—Даниловъ же дѣйствуетъ вовсе не такъ. Этотъ красивый салонный франтъ дѣйствуетъ очень основательно, и если бы не несчастная рана на рукѣ,—Богъ знаетъ, открылось ли бы что-нибудь; вѣроятно же, что нѣтъ. Даниловъ—человѣкъ практическій, созрѣвшій съ двадцати, а, можетъ быть, и съ пятнадцати лѣтъ; на господъ этого сорта университетъ можетъ имѣть такое же вліяніе, какъ на гуся вода, т. е. самое поверхностное. Это одна изъ тѣхъ, довольно часто встрѣчающихся у насъ личностей, для которыхъ юности не существовало; они уже съ десятилѣтняго возраста начинаютъ приучаться на елкахъ къ изысканнымъ свѣтскимъ манерамъ и волокитству. Иначе ничѣмъ нельзя объяснить желанія красоваться на скамьѣ подсудимыхъ и убійственнаго хладнокровія, съ какимъ выслушалъ этотъ изящный господинъ приговоръ суда, хотя и смягченный, но въ сущности вовсе не мягкій. Однимъ словомъ, Даниловъ столько же похожъ на Раскольникова, сколько живая, хотя и печальная дѣйствительность можетъ походить на произведеніе болѣзненно-настроеннаго воображенія<sup>1)</sup>.

Такое простое рѣшеніе—ссылкой на сумасшествіе—психологической загадки, скрытой въ характерѣ Раскольникова, однако не всѣхъ, повидимому, удовлетворило, кто подходилъ къ роману съ психологической мѣркой. Въ вышеприведенной статьѣ „Женскаго Вѣстника“ С. Я. Капустинъ, рѣшая ту же загадку, обратилъ вниманіе на противорѣчивое смѣшеніе въ образѣ Раскольникова сумасшествія и гениальности, гуманнаго чувства къ людямъ и непосредственнаго приложенія преступной теоріи къ дѣйствительности—и пред-

<sup>1)</sup> „Гласный Судъ“ 1867, № 159, марта 18-го. Замѣтки и разныя извѣстія. „Преступленіе и наказаніе“. Стр. 3.

лагалъ для объясненія этого противорѣчія считать Раскольника „крайнимъ специалистомъ“, т. е. человѣкомъ, сосредоточившимъ все свои духовныя силы на одной идеѣ или на одной цѣли въ ущербъ нормальному состоянію своей психики. (На такой выводъ могло навести критика одно замѣчаніе самого Достоевскаго, опредѣлившаго состояние своего героя передъ преступленіемъ слѣдующими словами (ч. I, гл. 3): „Такъ бываетъ у иныхъ мономановъ, слишкомъ на чемъ-нибудь сосредоточившихся“). Это объясненіе, по мнѣнію г. Капустина, особенно приложимо къ поведенію Раскольника послѣ преступленія: „Мы нашли, что онъ просто крайній специалистъ, поставившій себѣ задачею: скрывать слѣды своихъ дѣйствій, не захотѣвшій знать ни о чемъ больше, упустившій изъ виду, что цѣль эта не достижима собственно потому, что она обуславливаетъ жизнь и дѣятельность ненормальную, несвойственную человѣческой природѣ. Жизнь, подъ постояннымъ дѣйствіемъ страха и тайны, ненавистна человѣку потому, что они прямо вліяютъ на разрушеніе каждаго шага въ жизни, заставляя въ одно и то же время преслѣдовать двѣ цѣли: главную и побочную, и парализируя нормальное отправленіе сердца, а слѣдовательно и мозга“<sup>1)</sup>.

Какъ ни примитивны были эти первоначальныя психологическія изысканія критики въ художественныхъ глубинахъ романа „Преступленіе и наказаніе“, они всетаки направляли въ эту сторону вниманіе изслѣдователей Достоевскаго и до извѣстной степени подготовляли тѣ болѣе или менѣе удачныя попытки проникновенія въ психологію его творчества, которыя мы встрѣчаемъ въ критикѣ нашихъ дней<sup>2)</sup>. Въ этомъ отношеніи особеннаго вниманія заслуживаетъ статья Н. Д. Ахшарумова<sup>3)</sup>, болѣе другихъ, только что цитированныхъ авторовъ, овладѣвшая психологической точкой зрѣнія на характеръ

<sup>1)</sup> „Женскій Вѣстникъ“ 1867, № 7. Критика и библіографія. По поводу романа г. Достоевскаго „Преступленіе и наказаніе“. Стр. 13.

<sup>2)</sup> Ср. Д. Мережковский, „Л. Толстой и Достоевскій“, 2 тт. 3-е и 4-е изд. Спб. 1909; А. Л. Волынский, „О. М. Достоевскій“, 2-е изд. Спб. 1909; Л. Шестовъ, „Достоевскій и Нитше“, 2-е изд. Спб. 1909 и др. соч.

<sup>3)</sup> „Всемирный Трудъ“ 1867, мартъ. Критика: „Преступленіе и наказаніе“, романъ О. М. Достоевскаго. Стр. 125—156.



Раскольниковъ. Подобно Писареву, Ахшарумовъ считаетъ исходной причиной напряженнаго нравственнаго состоянія Раскольниковъ его нищету, съ которой неизбежно, по его мнѣнію, бываютъ связаны для „человѣка извѣстнаго круга и воспитанія“ и муки оскорбленнаго самолюбія; подобно Писареву же, Ахшарумовъ думаетъ, что свою „теорію“ Раскольниковъ создалъ въ зависимости отъ своего безвыходнаго положенія, приспособивъ ее къ „нравственнымъ мученіямъ нищеты“, чтобы оправдать „свое спешное отвращеніе къ обыкновенной дорогѣ“ и свою иллюзію выдѣлиться изъ толпы и признать себя „за единицу другого порядка“; впрочемъ, въ основаніи теоріи Раскольниковъ Ахшарумовъ, вопреки Писареву, видитъ „общіе взгляды, успѣвніе уже приобрѣсть всѣ свойства авторитета, взгляды, конечно, выработанные не имъ, но которые приходились ему съ руки“. Нравственныя мученія нищеты, обостренные теоретическими выводами, сложились для Раскольниковъ въ то напряженное психическое состояніе, которое привело его къ преступленію. Въ этомъ психическомъ состояніи критикъ особенно тщательно разсматриваетъ постепенный переходъ Раскольниковъ отъ мысли къ дѣлу, отъ теоріи къ практикѣ. „Творческій процессъ мысли—говоритъ онъ—, посредствомъ котораго она зарождаетъ дѣло, начинается нечувствительно, безсознательно, но чѣмъ далѣе онъ подвигается, тѣмъ менѣе отъ нея зависитъ остановить его и истребить зародышъ въ зернѣ. Онъ крѣпнеть, растетъ, перетягиваетъ въ себя всѣ силы матеріи, наконецъ, отдѣливъ себя отъ нея, какъ нѣчто самостоятельное, становится властелиномъ ея, подчиняетъ ее себѣ совершенно. Нѣчто подобное произошло и съ Раскольниковымъ. Блудливое любопытство нужды и отсутствіе всякихъ другихъ занятій заставляли его сперва играть съ этимъ зародышемъ мысли, какъ съ страшной игрушкой, и онъ такъ привыкъ къ этой игрѣ, такъ былъ убѣжденъ, что это только игра и что изъ мысли не выйдетъ дѣла, что незамѣтно втянулся въ эту игру до того, что сталъ чувствовать, наконецъ, какъ роли перемѣнились, и то, чѣмъ онъ забавлялся, овладѣвъ имъ, стало его давить и тянуть къ себѣ, и онъ самъ сталъ

игрушкою у него въ рукахъ. Тогда-то онъ струсилъ и сталъ закрывать глаза, чтобы не видѣть произрожденія своей мысли, но оно было въ немъ, и онъ видѣлъ его, не могъ не видѣть его ежеминутно. Оно выросло, и всѣ члены его были развиты, готовы къ дѣйствию. Онъ самъ способствовалъ этому, самъ все придумалъ и подготовилъ давно. Топоръ выбранъ былъ какъ орудіе, и гдѣ его взять рѣшено. Петля подъ пальто, подъ лѣвою мышкою, чтобы привѣситъ и скрыть топоръ, также была придумана; иголки и нитки, чтобы пришить ее, были давно уже приготовлены и лежали на столѣ, въ бумажкѣ. Въ маленькой щели, между его „турецкимъ“ диваномъ и поломъ, приготовленъ и спрятанъ былъ мнимый закладъ. Дѣло дошло, наконецъ, до того, что и обманывать себя далѣе было уже невозможно;—съ ужасомъ онъ убѣдился, что это ужъ болѣе не простая фантазія, а положительный и серьезный умыселъ. Онъ былъ отвратителенъ для Раскольникова, но Раскольниковъ ужъ не могъ отъ него отказаться надолго, не могъ оттолкнуть его отъ себя, и только пятился отъ него, колебался въ мучительной нерѣшимости, трусилъ, дрожалъ“...

Такимъ образомъ сущность психологическаго анализа въ приложеніи къ характеру Раскольникова выражается, по мнѣнію г. Ахшарумова, въ разсказѣ Достоевскаго—разсказѣ правдивомъ и согласномъ съ живой, не выдуманной дѣйствительностью—въ слѣдующемъ видѣ: Раскольниковъ—„это слабый, болѣзненно-впечатлительный и задавленный обстоятельствами юноша, подъ вліяніемъ раздраженной мысли вообразившій себя титаномъ и самъ, на каждомъ шагѣ, инстинктивно чувствующій свою ошибку, но не имѣющій силы освободиться изъ-подъ обаятельнаго вліянія. Заносчивый и блудливый, но ограниченный умъ его, на первой попыткѣ выбиться изъ рутинны, на первыхъ шагахъ къ самостоятельному развитію, увязъ въ кругу узкой, парадоксальной теоріи, и до конца не могъ выбиться изъ нея, до конца не могъ сбросить съ себя это иго“.

Образованію такой психической организаціи, какъ Раскольниковъ, могли способствовать также и причины, ле-

жавшія въ условіи его личной жизни, т. е. причины характера общественнаго. Такихъ причинъ г. Ахшарумовъ, желающій личную психику Раскольникова поставить въ связь съ нѣкоторыми общественно-психологическими явленіями русской дѣйствительности,—указываетъ двѣ: 1) возникновеніе у насъ пролетаріата, но „не въ сплошной и безчисленной массѣ неразвитыхъ людей: фабричныхъ работниковъ и батраковъ, безземельныхъ, кочующихъ земледѣльцевъ“, а „въ небольшихъ, разбросанныхъ кучкахъ учившейся или даже учащейся молодежи“ (обучающихся много, а потребность въ нихъ все та же самая,—„предложеніе, какъ говорить въ политической экономіи, перевѣсило спросъ“); 2) „свойство нашего умственнаго развитія“, которое „не изъ жизни у насъ родилось и не на почвѣ ея взросло, а пересажено къ намъ урывками и въ неполномъ видѣ изъ дальнихъ краевъ, изъ другого климата“ (много „тенденцій, взглядовъ, системъ“—и недостатковъ „здраваго смысла“) <sup>1)</sup>.

Наконецъ, г. Ахшарумовъ вноситъ еще одну подробность въ свои психологическія наблюденія надъ Раскольниковымъ: отмѣчая, подобно другимъ критикамъ, въ его характерѣ противорѣчивое сочетаніе нѣжнаго лиризма и жестокости, высокой поэзіи и грязной дѣйствительности, критикъ относитъ это противорѣчіе на счетъ субъективнаго участія высокихъ настроеній и думъ самого Достоевскаго въ созданіи сложной психики его героя. „Мы должны допустить, что авторъ сдѣлалъ ошибку, не отдѣливъ достаточно ясною чертой себя отъ своего созданія. Онъ былъ, какъ говорили у насъ во время оно, недостаточно объективенъ. Его собственный, мѣстами высоко-лирическій, мѣстами неподражаемо-юмористическій взглядъ на Раскольникова и на его поступокъ, въ жару увлеченія нечувствительно ускользнулъ отъ него, перешелъ къ Раскольникову и съ свойственною этому послѣднему дерзостью усвоенъ былъ имъ. Очень полезно для того, чтобы лучше понять изображаемое лицо, поставить себя, какъ говорится, на мѣстѣ его, войти въ его положеніе

<sup>1)</sup> „Всемирный Трудъ“ 1867, мартъ. Критика. „Преступленіе и наказаніе“, романъ Ф. М. Достоевскаго. Стр. 155—6.

и пережить его собственнымъ сердцемъ; но сердце сердцу рознь. Того, что чувствовалъ бы такой поэтъ, какъ г-нъ Достоевскій, если бы онъ какимъ-нибудь колдовствомъ могъ очутиться дѣйствительно въ положеніи Раскольниковъ, того не могъ, даже и приблизительно, чувствовать настоящій Раскольниковъ, а если бы могъ, то онъ никогда не сдѣлалъ бы такой мерзости. Это была ошибка,—ошибка существенная, и разъ убѣдясь въ ней, не трудно себѣ объяснить, какія она имѣла послѣдствія. Анализъ, въ основѣ своей глубоко-вѣрный, получилъ ложный оттѣнокъ, и этотъ ложный оттѣнокъ явился вокругъ головы Раскольниковъ какою-то блѣдною ореолою падшаго ангела, которая вовсе ему не къ лицу. Что это былъ за человѣкъ въ сущности, объ этомъ не трудно составить себѣ понятіе, стоитъ только припомнить двѣ, три черты. Вспомнимъ, напримѣръ, какъ онъ унижался передъ полиціей или хотъ то, что во все время слѣдствія ему не случалось ни разу даже и пожалѣть, что другихъ, невинныхъ людей, держать изъ-за него въ острогѣ, что они лѣзли въ петлю отъ ужаса и что ихъ могутъ сослать на каторгу. Это ему казалось естественно, и онъ этому былъ даже радъ, боялся только, чтобъ истина, наконецъ, не открылась. И такой человѣкъ, едва успѣвъ вынырнуть изъ кровавой лужи, въ которую онъ окунулся, вдругъ поднимаетъ голову и смотритъ на все съ высоты неприступной. На сердцѣ у него всемірное горе, на языкѣ язвительная сатира; это уже не мальчикъ, не доучившійся въ школѣ и съ голодухи озлобленный, а со злости додумавшійся до чортиковъ,—это Гамлетъ или Фаустъ, человѣкъ совершенно зрѣлый и эстетически развитой!...“ Въ такихъ чертахъ отмѣчаетъ критикъ присутствіе въ романѣ Достоевскаго элементовъ собственной авторской психики и собственного авторскаго міросозерцанія, считая ихъ ошибочно внесенными въ характеръ главнаго героя. Впослѣдствіи, въ критикѣ нашихъ дней, эта субъективная стихія „ошибокъ“ сдѣлалась однако главнымъ предметомъ вниманія изслѣдователей, потому что по ней именно стали изучать величавыя духовныя исканія самого Достоевскаго, вложенныя имъ въ думы и рѣчи его героевъ.

Обостреніе общественной тенденціи и психологических изысканій въ творчествѣ Достоевскаго, отмѣченное съ разныхъ точекъ зрѣнія критикою шестидесятихъ годовъ, сопровождалось соотвѣтствующей эволюціей и въ его художественныхъ приѣмахъ. Прежде всего становилось яснымъ, что онъ порываетъ съ тѣмъ „натурализмомъ“ сороковыхъ годовъ, съ которымъ, по наблюденію А. Григорьева, онъ началъ расходиться уже въ концѣ перваго періода своей литературной дѣятельности<sup>1)</sup>. Этотъ разрывъ Достоевскаго съ литературной манерой, его воспитавшей, одни поняли какъ поворотъ къ худшему, другіе—какъ ростъ его художественнаго дарованія въ положительную сторону.

Первая точка зрѣнія высказана была тамъ же, гдѣ сущность романа „Преступленіе и наказаніе“ истолкована была какъ оппозиція Достоевскаго прогрессивному теченію русской общественности шестидесятихъ годовъ. Достоевскій—читаемъ въ „Современникѣ“—былъ въ 40-хъ годахъ „одинъ изъ лучшихъ представителей образовавшейся тогда такъ называемой натуральной школы“. Значеніе этой школы было въ томъ, что она „только дѣйствительное признала достойнымъ художественнаго изображенія“; недостатки ея заключались въ копированіи дѣйствительности и въ смѣшеніи дѣйствительности въ смыслѣ „отдѣльныхъ, исключительныхъ фактовъ“ съ „дѣйствительностью, имѣющею широкое основаніе въ жизни, или разумное *raison d'être*“ (Приводится въ примѣръ странный выборъ героя въ „Двойникѣ“ Достоевскаго). Въ шестидесятихъ годахъ „поэты натуральной школы, за исключеніемъ немногихъ, оказались несостоятельными для воспріятія воззрѣній послѣдняго времени на искусство“<sup>2)</sup>. Подъ „несостоятельностью“ натурализма сороковыхъ годовъ по отношенію къ „воззрѣніямъ послѣдняго времени на искусство“, повидимому, надо понимать недостатокъ въ немъ типичности и правдоподобія въ изобра-

<sup>1)</sup> „Русское Слово“ 1859, №№ 4, 5, 6, 8; И. С. Тургеневъ и его дѣятельность (по поводу романа „Дворянское гнѣздо“) = Сочин., Спб. 1876, т. I. отд. третій, II; о Достоевскомъ на стр. 350-й.

<sup>2)</sup> „Современникъ“ 1866, т. 112, февраль. Журналистика. „Преступленіе и наказаніе“, романъ г. Ф. Достоевскаго. Стр. 273.

женіи дѣйствительности, что замѣчается—по мнѣнію автора цитируемой статьи—и у Достоевскаго. „...Отъ каждаго художественнаго произведенія требуется, чтобы оно давало намъ типы, т. е. изображало такія явленія, которыя имѣютъ не только достаточное число представителей для себя въ дѣйствительности и потому допускаютъ возможность типическаго построенія, но и настолько близки намъ въ своихъ индивидуумахъ, что мы не затруднимся увидѣть въ типахъ знакомыя намъ черты послѣднихъ. Изъ сказаннаго намъ видно, какъ не совмѣстно съ понятіемъ истиннаго искусства изображеніе явленій одиночныхъ, исключительныхъ, никому не извѣстныхъ, тѣмъ болѣе измышленіе для поэтическаго изображенія явленій вовсе не существующихъ, такихъ, напримѣръ, какъ представляетъ собою студентъ Раскольниковъ въ новомъ романѣ г. Достоевскаго“... Къ „несостоятельности“ натуралистовъ тотъ же критикъ относитъ также и ихъ претензіи вмѣсто типовыхъ сторонъ жизни, взятой въ ея „основахъ“, изображать или даже копировать грубую и неприкрашенную, быющую на эффектъ, дѣйствительность: „Что же сказать о художественномъ тактѣ поэта, который процессъ чистаго, голаго убійства съ грабежомъ беретъ темою для своего произведенія и самый актъ убійства передаетъ въ подробнѣйшей картинѣ со всѣми малѣйшими обстоятельствами? Въ художественномъ отношеніи—повторяемъ—даже въ художественномъ отношеніи это—чистая пелѣность, для которой не можетъ быть найдено никакого оправданія ни въ лѣтописяхъ древняго, ни въ лѣтописяхъ новаго искусства. Къ чести натуральной школы должно впрочемъ сказать, что г. О. Достоевскій представлялъ собою въ ней едва ли не единственный примѣръ подобнаго свирѣпаго баловства искусствомъ“<sup>1)</sup>...

Другая точка зрѣнія на переломъ въ „натурализмъ“ Достоевскаго высказана была Н. Н. Страховымъ<sup>2)</sup>. Не от-

<sup>1)</sup> „Современникъ“ 1866, т. 113, мартъ. Журналистика. Еще нѣсколько словъ о новомъ романѣ г. О. Достоевскаго. Стр. 40.

<sup>2)</sup> „Отеч. Записки“ 1867, т. 170, февраль. Наша изысканная словесность. Полное собраніе сочиненій О. М. Достоевскаго. Изд. Стелловскаго. Т. I. 1865. Т. II. 1866. „Преступленіе и наказаніе“. Русскій Вѣстникъ. 1866. Стр. 548—556.

риция того, что произведенія Достоевскаго страдают извѣстными недостатками—„многословіемъ, частыми повтореніями, однообразіемъ языка дѣйствующихъ лицъ, даже отсутствіемъ правды, т. е. лицами сочиненными, не имѣющими въ себѣ ничего дѣйствительнаго“—, критикъ однако видитъ постепенный ростъ въ его художественномъ творествѣ, заключающійся, какъ онъ выражается, въ „прогрессѣ относительно гоголевскихъ взглядовъ“. Этотъ „прогрессъ“ Достоевскаго-художника сравнительно съ художникомъ-Гоголемъ характеризуется, по мнѣнію Страхова, его „способностью къ очень широкой симпатіи, умѣньемъ симпатизировать жизни въ очень низменныхъ ея проявленіяхъ, проникательностью, способною открывать истинно-человѣческія движенія въ душахъ искаженныхъ и подавленныхъ, повидимому, до конца“. „Борьба между тою искрой Божіею—продолжаетъ критикъ—, которая можетъ горѣть въ каждомъ человѣкѣ, и всякаго рода внутренними недугами, одолеваящими людей—вотъ постоянная тема его произведеній. Работая на такую тему, онъ, конечно, имѣлъ возможность изощрить свою симпатію до чрезвычайной тонкости и чуткости“. Нетрудно видѣть, что художественная „симпатія“ творческой манеры Достоевскаго есть то именно, что въ 1861 году А. П. Пятковский назвалъ „другой, болѣе любящей стороною“ его таланта; иначе говоря—„симпатія“ есть непрерывно развивающійся натурализмъ „утвержденія“ (стр. 77), признающій наличность идеала даже въ ничтожныхъ и пошлыхъ, на первый взглядъ, явленіяхъ жизни. Страховъ не только отмѣтилъ ростъ этой стороны въ творествѣ Достоевскаго, но даже предугадалъ и то ея толкованіе, которое выдвинуто на первый планъ критикою нашихъ дней: борьба между „искрой Божіею“ и „внутренними недугами“ въ человѣкѣ—это то, что впоследствии названо было однимъ изъ истолкователей Достоевскаго „борьбой безсильнаго сознанія съ всепильною безсознательною душою“ или „отношеніемъ между человѣкомъ и Богомъ—между личной волей и абсолютнымъ духомъ міра“<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> А. Л. Волынский, О. М. Достоевскій. Критическія статьи. 2-е изд. Спб, 1909. Стр. 11 и 365.

Объ эти точки зрѣнія на эволюцію „натурализма“ въ литературной манерѣ Достоевскаго, несмотря на свое видимое противорѣчіе, взаимно дополняютъ другъ друга: по одному взгляду выходитъ, что Достоевскій порвалъ съ наиболѣе цѣнными традиціями „натуралистовъ“ сороковыхъ годовъ—изображать по преимуществу внѣшнюю дѣйствительность въ правдоподобныхъ типовыхъ ея проявленіяхъ; по другому—что онъ вмѣсто изображенія внѣшней дѣйствительности выдвинулъ свою особую художественную задачу—изученіе духовной природы человѣка не только въ ея отрицательныхъ—какъ это наблюдается у „натуралистовъ“—, но и въ положительныхъ—и по преимуществу въ положительныхъ—сторонахъ. Соединяя вмѣстѣ объ точки зрѣнія, можно сказать, что Достоевскій въ изучаемый моментъ сдѣлалъ въ своей литературной манерѣ переходъ отъ натурализма внѣшняго бытописанія къ натурализму психологическихъ изысканій. Такая художественная задача однако можетъ быть направлена и на отдѣльныхъ людей и на цѣлое человѣческое общество. Въ обоихъ случаяхъ авторъ можетъ—по выраженію Страхова—„симпатизировать какому-нибудь несчастному событію, нравственному потрясенію, внезапному упадку силъ и т. п.“ Поэтому своеобразная художественная манера Достоевскаго, раскрывающая объ стихіи человѣчности—и „искру Божію“ и „внутренніе недуги“, сводится къ анализу или психики общественной или психики индивидуальной. По поводу разсказа „Вѣчный мужъ“ это развѣтвленіе литературной манеры Достоевскаго на два вида было формулировано нѣсколько позже, въ 1872 году, такъ: Произведенія Достоевскаго „распадаются на два разряда: одни горячо касаются какого-нибудь общественнаго вопроса; другія чужды всѣхъ подобныхъ вопросовъ, а имѣютъ предметомъ исключительно внутренній міръ души человѣческой. Первыя могутъ подлежать разнымъ взглядамъ и разнообразной оцѣнкѣ, смотря по направленію, которымъ одушевленъ или котораго держаться считаетъ обязанностію критикъ. Но на оцѣнку вторыхъ, по неизмѣнности законовъ души человѣческой, не должны-бы, какъ кажется, дѣйствовать никакія случайныя



вліянія, и въ ней могли-бы сойтись всѣ одаренные здравымъ пониманіемъ люди"...<sup>1)</sup> Въ всякомъ случаѣ, въ обоихъ „разрядахъ“ произведеній, главное мѣсто занимаетъ психологическій анализъ, сдѣланный въ художественной формѣ.

Этотъ приѣмъ Достоевскаго, отчасти отмѣченный и критикою сороковыхъ годовъ, теперь настойчиво подчеркивается, какъ отличительный признакъ его литературной манеры. По отношенію къ роману „Преступленіе и наказаніе“ это дѣлается въ критикѣ всѣхъ оттѣнковъ и настроеній. Въ „Недѣлѣ“ въ 1866 году читаемъ: „Главной видимою цѣлью авторъ поставилъ себѣ психологическій анализъ преступленія, причинъ къ нему ведущихъ и его послѣдствій. Эту задачу г. Достоевскій выполнилъ блистательно, съ потрясающей душу правдой. Читатель шагъ за шагомъ слѣдитъ, какъ преступная мысль, случайно запавшая въ голову молодого человѣка, убитаго безвыходно ницетою, растетъ, развивается, преслѣдуетъ этого несчастнаго, какъ кошмаръ, и, наконецъ, даетъ ему въ руки топоръ—орудіе убійства. Сюжетъ далеко не новый, но кажется совершенно новымъ, благодаря той поразительной правдѣ и отчетливости, съ которыми авторъ, имѣвшій случай близко наблюдать преступниковъ, анализируетъ припадки полусумасшествія, подъ вліяніемъ котораго его Раскольниковъ, почти безсознательно, совершаетъ убійство и потомъ инстинктивно, движимый чисто животнымъ чувствомъ самосохраненія, старается скрыть слѣды преступленія“<sup>2)</sup>. Въ „Воскресномъ Досугѣ“ за тотъ же годъ Достоевскій по своей манерѣ анализировать человѣческую психику рѣзко ограничивается отъ другихъ русскихъ писателей: „Талантъ Ѳ. М. Достоевскаго развился рельефно, и главная сторона и свойства его таковы, что онъ рѣзко отличается отъ дарованій другихъ нашихъ писателей. Предоставивъ имъ внѣшній міръ человѣческой жизни: обстановку, въ которой дѣйствуютъ ихъ герои, случайныя внѣшнія обстоятельства и т. п., Достоевскій углубляется во внутренній

<sup>1)</sup> „Гражданинъ“ 1872, № 7, 14 февраля. „Вѣчный мужъ“. Разсказъ Ѳедора Достоевскаго. Стр. 262—264.

<sup>2)</sup> „Недѣля“ 1866, № 5. Литературныя замѣтки. Стр. 72—74.

міръ чело́вѣка, внимательно слѣдитъ за развитіемъ его характера и своимъ глубоко-основательнымъ, но безпощаднымъ анализомъ выставяетъ передъ читателемъ всю его внутреннюю, духовную сторону—его мозгъ и сердце, умъ и чувства. Этотъ анализъ и отличаетъ его отъ всѣхъ другихъ писателей и ставитъ на почетное и видное мѣсто въ русской литературѣ. Въ произведеніяхъ его нѣтъ тѣхъ случайныхъ обстоятельствъ, управляющихъ ходомъ дѣйствія, которыя произведеніямъ другихъ писателей придаютъ часто какой-то водевильный характеръ, гдѣ все зависитъ отъ непредвидѣннаго сцѣпленія обстоятельствъ; напротивъ, у Достоевскаго вездѣ сохраняется строгая послѣдовательность, гармонія произведенія не нарушается никакими бьющими на эффектъ сценами, и всѣ поступки дѣйствующихъ лицъ приведены въ строгую систему, вполне зависятъ отъ ихъ характеровъ и гармонируютъ съ ними<sup>1)</sup>. Въ цитированной уже выше статьѣ А. Лохвицкаго, помѣщенной въ „Судебномъ Вѣстникѣ“ за 1869 годъ, за Достоевскимъ признается первенство, даже по сравненію съ нѣкоторыми западноевропейскими романистами, въ умѣнн анализировать преступника; его психологическій анализъ названъ „великимъ“, „глубокимъ“, полнымъ „потрясающей вѣрности“<sup>2)</sup>. Въ томъ же году одинъ изъ журналовъ помѣщаетъ Достоевскаго въ число „первоклассныхъ нашихъ литературныхъ дѣятелей“ именно за его „тонкій психическій анализъ“: „Болѣе глубокаго анализа трудно представить себѣ. Сюжетъ романа („Преступленіе и наказаніе“) какъ нельзя болѣе соотвѣтствуетъ возможности выказать эту сторону его таланта. Замкнутая въ себѣ, душа героя романа проходитъ черезъ множество перипетій, и ходъ мыслей, ощущеній ведетъ ее послѣдовательно къ страшному концу. Чтобы понять, до какой поразительной вѣрности доходитъ этотъ анализъ, стоитъ только вспомнить напр. сонъ Раскольниковъ передъ преступленіемъ! Всѣ вышеозначен-

<sup>1)</sup> „Воскресный Досугъ“ 1866, № 164, апрѣля 10-го. Федоръ Михайловичъ Достоевскій. Стр. 214.

<sup>2)</sup> „Судебный Вѣстникъ“ 1869, № 1, января 1-го. Уголовные романы. „Преступленіе и наказаніе“. Ф. Достоевскаго. Стр. 1. Тамъ же, № 83, апрѣля 15-го. Стр. 1.

ныя достоинства заставляют причислить Ф. М. Достоевскаго къ числу первоклассныхъ нашихъ литературныхъ дѣятелей“.....<sup>1)</sup>

Ростъ литературной манеры Достоевскаго въ сторону, главнымъ образомъ, художественнаго анализа психики общественной и индивидуальной проявляется и на впечатлѣніяхъ его читателей, такъ или иначе отражавшихъ въ своихъ толкахъ воздѣйствіе романа „Преступленіе и наказаніе“ на общественное сознаніе. „Романъ этотъ,—говоритъ С. Я. Капустинъ— возбуждаетъ въ обществѣ толки самые разнообразныя. Приводимъ здѣсь главные изъ нихъ, которые чаще другихъ привелось намъ слышать:—„Что можно сказать особеннаго на эту избитую тему?“—говорятъ, пробѣжавши первыя страницы романа, люди, начитавшіеся вдоволь судебно-уголовныхъ процессовъ и романовъ на подобныя темы.—„Какъ жалко этого молодого человѣка (преступника),—онъ такой образованный, добрый и любящій, и вдругъ рѣшился сдѣлать такой ужасный поступокъ“,—отзываются люди, обыкновенно съ жаромъ читающіе всякаго рода романы и не размышляющіе о томъ, для чего они пишутся.—„Фу... какое скверное и мучительное впечатлѣніе остается послѣ этой книги!“.... говорятъ, бросая ее, люди, доказывающіе этими самыми словами, что ни одно слово романа не оставлено ими безъ вниманія, и что мысли, возбужденныя имъ, тяжело западаютъ въ голову, несмотря на все желаніе отъ нихъ отдѣлаться“...<sup>2)</sup> Последнее—„мучительное“—впечатлѣніе вызывалось, конечно, изощреннымъ до тонкости психологическимъ анализомъ. Самое слово „анализъ“ въ приложеніи къ творчеству Достоевскаго вошло въ обиходъ широкой читающей публики, повидимому, именно благодаря роману „Преступленіе и наказаніе“. Среди разнообразныхъ, и иногда странныхъ, толковъ по поводу этого романа разговоры объ удивительномъ „анализѣ“ занимали первое мѣсто. „Начало

<sup>1)</sup> „Всемирная Иллюстрація“ 1869, № 52, декабря 20-го. Краткій біографическій очеркъ замѣчательнѣйшихъ дѣятелей изъ бывшихъ воспитанниковъ Николаевской Инженерной Академіи и Училища. Стр. 411.

<sup>2)</sup> „Женскій Вѣстникъ“ 1867, № 5. Критика и бібліографія. По поводу романа г. Достоевскаго „Преступленіе и наказаніе“. Стр. 1—2.

этого романа—свидѣтельствуешь одинъ изъ современниковъ—надѣлало много шуму, въ особенности въ провинціи, гдѣ всѣ подобнаго рода вещи принимаются, отъ скуки, какъ-то ближе къ сердцу. Главнѣйшимъ образомъ заинтересовала всѣхъ не литературная сторона романа, а, такъ сказать, тенденціозная: вотъ, молъ, студентъ вѣдь старуху-то зарѣзалъ, слѣдовательно тутъ тово, что-нибудь да не даромъ! А тутъ, какъ разъ кстати, появилась и извѣстная рецензія, въ „Современникѣ“, которая, надобно правду сказать, много дала „Русскому Вѣстнику“ новыхъ читателей. О новомъ романѣ говорили даже шопотомъ какъ о чемъ-то такомъ, о чемъ вслухъ говорить не слѣдуетъ. Даже уѣздныя барыни и барышни, которыхъ, повидимому, исключительно только занимали стуколка да рамсъ,—и тѣ пустились толковать о новомъ романѣ. Съ этого именно времени научное слово „анализъ“ получило право гражданства въ провинціальномъ обществѣ, которое прежде его совсѣмъ не употребляло—и новое слово, какъ видно, пришлось по вкусу. Только, бывало, и слышишь толки: Ахъ, какой глубокий анализъ! Удивительный анализъ!... О, да!—подхватывала другая барыня, у которой и самой уже возбудилось желаніе пустить въ дѣло это новое словечко,—анализъ, дѣйствительно, глубокий, но только знаете ли что?—прибавляла она таинственно,—говорять, анализъ-то потому и вышелъ очень тонкій, что сочинитель самъ былъ... при этомъ дама наклонялась къ уху своей удивленной слушательницы... Неужели?... Ну да, зарѣзалъ, говорятъ, или что-то въ родѣ этого“...<sup>1)</sup>

„Психологическій анализъ“, въ приложеніи къ явленіямъ жизни личной или общественной, со времени романа „Преступленіе и наказаніе“ сдѣлался, такимъ образомъ, какъ въ критикѣ, такъ и въ читающемъ обществѣ излюбленной формулой для опредѣленія литературной манеры Достоевскаго. Это замѣтно сказалось въ сужденіяхъ критики о двухъ ближайшихъ по времени къ роману „Преступленіе и наказаніе“ его произведеніяхъ—„Идіотъ“ и „Вѣчный мужъ“.

<sup>1)</sup> „Гласный Судъ“ 1867, № 159, марта 18-го. Замѣтки и разныя извѣстія. „Преступленіе и наказаніе“. Стр. 3.

Первое изъ названныхъ произведеній не вызвало большого оживленія въ печати. Но и изъ тѣхъ немногихъ отзывовъ критики, которыми встрѣченъ былъ романъ въ 1868 году<sup>1)</sup>, ясно, что въ немъ критика искала главнымъ образомъ свойственнаго Достоевскому художественнаго анализа, въ которомъ видѣла средство къ раскрытію тайниковъ духовной природы человѣка,—въ данномъ случаѣ высокой нравственной красоты въ лицѣ „одного изъ малыхъ сихъ“—князя Мышкина. Такъ именно встрѣчены были первыя главы романа въ „Голосѣ“: „Изъ романовъ—говорится здѣсь—, которыми думали щегольнуть первыя книжки нашихъ журналовъ на 1868 годъ, особенное вниманіе останавливаетъ на себѣ „Идіотъ“ О. М. Достоевскаго. Произведеніе это помѣщается въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ и обѣщаетъ быть (оно еще не окончено) интереснѣе романа „Преступленіе и наказаніе“, помѣщеннаго въ томъ же журналѣ за минувшій годъ, хотя и страдаетъ тѣми же недостатками—нѣкоторою растянутостью и частыми повтореніями какого-нибудь одного и того же душевнаго движенія. Герой романа—какой-то князь Мышкинъ, больной, слабый, тщедушный, простой, незлобивый, безтактный, но понятливый, даровитый, наблюдательный, чрезвычайно способный на тонкій анализъ, какъ собственнаго своего, такъ и чужихъ характеровъ. Типъ этотъ въ такомъ широкомъ размѣрѣ встрѣчается, можетъ быть, въ первый еще разъ въ нашей литературѣ, но въ жизни онъ далеко не новость. Мы безпрестанно, сплошь и рядомъ, встрѣчаемъ людей, которыхъ общество клеймитъ позорнымъ именемъ дураковъ и идіотовъ, и которые, однако, по достоинствамъ ума и сердца, стоятъ несравненно выше своихъ надменныхъ хулителей. Вся вина этихъ людей въ отсутствіи житейскаго такта: они, какъ дѣти, неспособны на самую невинную ложь; они не умѣютъ ни лавировать, ни примѣняться къ людямъ или къ обстоятельствамъ; они не знаютъ, что можно сказать и о чемъ слѣдуетъ промолчать; они спѣшатъ высказать все, что знаютъ и чувствуютъ, и съ тою же легкостью, съ какою раскрываютъ передъ всѣми свою

<sup>1)</sup> Романъ „Идіотъ“ напечатанъ въ „Русск. Вѣстникѣ“ 1868, янв.—дек.

душу и свои убѣжденія, не задумаются открыть (разумѣется, въ простотѣ сердца, не преднамѣренно) и чужую тайну. Такою чрезмѣрною откровенностью и простосердечіемъ Мышкины вредятъ и себѣ, и другимъ, и въ то время, какъ пные, не имѣя ни убѣжденій, ни собственныхъ взглядовъ, но отлично умѣя во-время вторить чужимъ взглядамъ, составляютъ себѣ репутацію умныхъ и дѣльных людей, очень часто добираясь, сверхъ того, путемъ пронырства и лакейства, до болѣе или менѣе высокихъ общественныхъ положеній, Мышкины, гораздо болѣе способные и умные, съ глубокими убѣжденіями, съ трезвымъ, хотя и нѣсколько отвлеченнымъ взглядомъ на жизнь, остаются въ тѣни и сливаются за дураковъ и идіотовъ! Безусловно оправдать ихъ нельзя, такъ какъ и самъ Христосъ заповѣдалъ ученикамъ своимъ съ голубиною кротостью соединять змѣиную мудрость; но г. Достоевскій счумѣлъ сдѣлать своего князя Мышкина чрезвычайно симпатичнымъ характеромъ, представивъ его совершеннымъ ребенкомъ, чрезвычайно знающимъ и способнымъ, но, все-таки, ребенкомъ, „единнымъ отъ малыхъ сихъ“...<sup>1)</sup>

Въ другомъ отзывѣ, посвященномъ первой части романа „Идіотъ“, „тонкій анализъ душевныхъ движеній“ также понимается какъ умѣнье Достоевскаго раскрывать вообще „нравственный міръ человѣка, что въ данномъ произведеніи провѣряется не только на характерѣ Мышкина, этого „младенчески непрактичнаго человѣка... со всею прелестью правды и нравственной чистоты“, но и на цѣломъ рядѣ дѣйствующихъ лицъ, поставленныхъ въ такое положеніе, „въ которомъ они легко раскрываютъ свое я“: „Новый романъ Достоевскаго „Идіотъ“, первая часть котораго появилась въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ за этотъ годъ, даетъ намъ все то, чего мы привыкли ожидать отъ произведеній Достоевскаго. Съ первыхъ же строкъ читатель заинтересованъ рассказомъ и, чѣмъ далѣе онъ вчитывается, чѣмъ сильнѣе растетъ его интересъ. Предъ читателемъ проходитъ рядъ

<sup>1)</sup> „Голосъ“ 1868, № 47, февраля 16-го. Библиографія и журналистика. „Идіотъ“, романъ Ф. М. Достоевскаго. Стр. 1.

людей дѣйствительно живыхъ, вѣрныхъ той почвѣ, на которой они выросли, той обстановкѣ, при которой слагался ихъ нравственный міръ, и при томъ лицъ не одного какого-нибудь кружка, а самыхъ разнообразныхъ общественныхъ положеній и степени умственного и нравственного развитія, людей симпатичныхъ и такихъ, въ которыхъ трудно подмѣнить хоть-бы слабые остатки человѣческаго образа, наконецъ, несчастныхъ людей, изображать которыхъ авторъ особенно мастеръ. Къ этому присоединяется мѣткая обрисовка дѣйствующихъ лицъ, не оставляющая въ читателѣ недоумѣнія, тонкій анализъ душевныхъ движеній, вовсе не утомительный, умѣнье автора создавать для каждаго лица такое положеніе, въ которомъ онъ (sic!) легко раскрываетъ свое я, и, наконецъ, прекрасное изложеніе. Герой романа князь Мышкинъ—прототипъ человѣка непрактическаго. Это—младенецъ, съ необыкновенною человѣчностью, богатыми силами ума и сердца, и въ то же время совершенно неумѣющій принаравливаться къ людямъ и обстоятельствамъ. Дѣтская откровенность, прямота, искренность—отличительныя его черты. Такими качествами онъ возбуждаетъ къ себѣ любовь дѣтей до того, что они переносятъ свое расположеніе даже и на тѣхъ, кого онъ любитъ; но, разумѣется, съ этими качествами въ жизни далеко не уѣдешь. Для людей, по уму и нравственной порядочности стоящихъ неизмѣримо ниже этого младенца, но богатыхъ житейскою выдержкою, онъ идіотъ. Авторъ въ своемъ разсказѣ выбралъ какъ нельзя болѣе удачный пріемъ, дающій ему возможность безъ всякаго затрудненія изображать фізіономію выводимыхъ имъ лицъ. Въ круговоротѣ жизни, въ который авторъ бросаетъ своего героя,—на идіота не обращаютъ вниманія; когда же при столкновеніи съ нимъ (?) личность героя высказывается во всей ея нравственной красотѣ, впечатлѣніе, наносимое ею, такъ сильно, что сдержанность и маска спадаетъ съ дѣйствующихъ лицъ, и нравственный ихъ міръ рѣзко обозначается. Вокругъ героя и при сильномъ съ его стороны участіи развивается ходъ событій, исполненный драматизма. Трудно, на основаніи одной только части романа, судить,

что авторъ задумалъ сдѣлать изъ своего произведенія, но его романъ, очевидно, задуманъ широко, по крайней мѣрѣ этотъ типъ младенчески непрактичнаго человѣка, но со всею прелестью правды и нравственной чистоты, въ такихъ широкихъ размѣрахъ впервые является въ нашей литературѣ<sup>1)</sup>...

Такая же психологическая тайна раскрывалась передъ современнымъ читателемъ и въ рассказѣ „Вѣчный мужъ“<sup>2)</sup>. Тонкій и детальный анализъ человѣческой души, свойственный перу Достоевскаго, критика отмѣтила и въ этомъ произведеніи. Вотъ нѣсколько строкъ изъ статьи „Голоса“, посвященной рассказу „Вѣчный мужъ“: „Что можетъ быть обыкновеннѣе исторіи человѣка, который женится; женившись, онъ становится совершеннымъ рабомъ своей жены... овдовѣвъ-же, спѣшить вновь жениться, на новое рабство... что можетъ быть, повторяемъ, обыкновеннѣе этой исторіи? А между тѣмъ —такова уже особенность таланта г. Достоевскаго—онъ рассказываетъ эту обыкновенную исторію, со всею ея реальными и всеневными, повидимому, ничтожнѣйшими подробностями, такимъ образомъ, что воображеніе читателя постоянно возбуждено, и какая-то таинственность, какая-то тайна кроется во всѣхъ этихъ кажущихся пошлостяхъ жизни“<sup>3)</sup>. Въ этомъ рассказѣ—развиваетъ ту же тему одна провинціальная газета—, г. Достоевскій съ удивительною силою хватается за больныя мѣста человѣческаго сердца и мрачнымъ свѣтомъ освѣщаетъ въ немъ темные и далекіе уголки, укрываемые обыкновенно каждымъ старательно отъ постороннихъ нескромныхъ взглядовъ. На одномъ изъ такихъ мѣстъ мы позволимъ себѣ остановить вниманіе читателя. Мы съ вами, читатель, безъ сомнѣнія благороднѣйшіе люди; въ нашемъ прошедшемъ нѣтъ ничего такого, что заставляло бы насъ краснѣть или терзаться; но, какъ извѣстно, на свѣтѣ есть люди и неблагородные; есть даже люди такъ себѣ (и въ большинствѣ мы принадлежимъ къ разряду этихъ людей), пользующіеся репутаціею людей порядочныхъ, но которые

1) „Харьковскія Губернскія Вѣдомости“ 1868, № 41, апрѣля 18-го. Письма о русской журналистикѣ „Идіотъ“. Романъ Достоевскаго К. стр. 167—8.

2) Рассказъ „Вѣчный мужъ“ напечатанъ въ „Зарѣ“ 1870, янв.—февр.

3) „Голосъ“ 1870, № 79. Библіографія и журналистика. Стр. 2.



вдругъ, въ иную свѣтлую или, если хотите, мрачную минуту, заглянувъ поглубже въ свою душу, открываютъ въ своемъ прошедшемъ нѣкоторыя дѣянiя, которые хотя и не осуждаются, а иногда даже и одобряются снисходительнымъ общественнымъ мнѣнiемъ, но которые въ этотъ моментъ представляются человѣку съ нѣкоторой особенной точки зрѣнiя. Г. Достоевскiй заглядываетъ въ человѣческую душу въ подобный интересный моментъ и сообщаетъ намъ по истинѣ художественно и по истинѣ поучительныя вещи<sup>1)</sup>. Оба главныхъ героя разсказа „Вѣчный мужъ“, т. е. Вельчаниновъ и Трусоцкiй, „разоблачаютъ“—читаемъ въ „Гражданинѣ“ за 1872 годъ—„свои души до ихъ послѣднихъ темныхъ закоулковъ, до того, что въ прозрачной дали ясно рисуются не только ихъ прошлое, но и будущее“. Здѣсь же критикъ отмѣчаетъ проникновенiе Достоевскаго въ тайну дѣтской психики, особенно такихъ дѣтей, которыя отличаются необычной духовной организацiей: „...Не помнимъ, чтобы у кого-нибудь, кромѣ Диккенса и Ѳ. Достоевскаго, встрѣчали мы такое чудное изображенiе дѣтей, и именно такихъ дѣтей, о которыхъ простые люди обыкновенно говорятъ: „такiя дѣти не живутъ“! Къ такимъ дѣтямъ принадлежатъ Павелъ Домби и Лиза Трусоцкая, хотя они во многомъ совсѣмъ не похожи другъ на друга и хотя на перваго положено авторомъ несравненно больше красокъ, чѣмъ на вторую“<sup>2)</sup>.

Это углубленiе Достоевскаго въ анализъ человѣческой психики, доходившее иногда, какъ казалось нѣкоторымъ его критикамъ, до излишней вычурности и даже фантастичности, не избѣгло уже въ шестидесятихъ годахъ рѣзкаго осужденiя, первые признаки котораго наблюдались, впрочемъ, еще въ критикѣ сороковыхъ годовъ. Въ виртуозности его психологическаго анализа видѣли своего рода измѣну натуральной или реальной манерѣ воспроизведенiя и освѣщенiя окружающей дѣйствительности.

<sup>1)</sup> „Одесскiя Вѣдомости“ 1870, № 63, 21-го марта. Журналистика. Стр. 216. Подп. Л.

<sup>2)</sup> „Гражданинъ“ 1872, № 7. Февраля 14-го. „Вѣчный мужъ“. Разсказъ Ѳедора Достоевскаго. Стр. 262—264.

Такъ въ рядѣ статей В. П. Буренина, помѣщенныхъ въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“<sup>1)</sup>, отмѣчаются въ данномъ направленіи нѣкоторыя отрицательныя — съ точки зрѣнія критика — стороны литературной манеры Достоевскаго. Критикъ находитъ, что въ романѣ „Идіотъ“ авторъ дѣлаетъ какъ своего героя, такъ и окружающихъ его лицъ „въ нѣкоторомъ родѣ аномаліями среди обыкновенныхъ людей“; что „разсказъ г. Достоевскаго имѣетъ характеръ нѣкоторой фантазмагоріи“ и отличается „неестественностью и сказочностью“; что въ произведеніи г. Достоевскаго есть „цѣлыя страницы буквально непонятныя“. „Особенно непріятно — говоритъ онъ — дѣйствуетъ въ романѣ г. Достоевскаго то, что онъ выводитъ на сцену большое количество лицъ молодого поколѣнія и почти всеѣмъ этимъ лицамъ навязываетъ какіе-то искаженные, изуродованные, если можно такъ выразиться, припадочные характеры. Молодежь, дѣйствующая въ „Идіотѣ“, это — какая-то клика, состоящая изъ раздраженныхъ нравственно субъектовъ. Всѣхъ этихъ молодыхъ людей корчитъ и коробитъ, кого отъ самолюбія, кого отъ низости собственной души, кого, наконецъ, просто отъ физическихъ недуговъ, — всеѣ они говорятъ — точно бредятъ, всеѣхъ ихъ авторъ романа заставляетъ дѣйствовать нервически-болѣзненно, съ тайной задней мыслью опозорить какія-то ихъ стремленія, очевидно, непріятныя автору. Если бъ хотя на одну минуту можно было вообразить себѣ, что подобные характеры взяты изъ дѣйствительности, то можно почувствовать не только сожалѣніе, но даже отвращеніе къ жизни, гдѣ юноши въ ранніе и лучшіе годы вырабатываютъ въ себѣ такіа больныя, старчески-разслабленныя и растлѣнныя души; но такъ какъ всеѣ помянутые характеры суть чистѣйшіе плоды субъективной фантазіи романиста, то, разумѣется, приходится только сожалѣть о несчастномъ настроеніи этой фантазіи.“

Подобный же упрекъ дѣлаетъ критикъ Достоевскому и по поводу повѣсти „Вѣчный мужъ“: „Въ новомъ своемъ произведеніи даровитый авторъ „Записокъ изъ Мертваго Дома“

<sup>1)</sup> „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1868, №№ 53, 92, 250. Журналистика. Z.

играетъ отчасти на тѣхъ же болѣзненно-фантастическихъ мотивахъ, которые такъ нравились ему всегда и которыми въ послѣднемъ своемъ романѣ „Идіотъ“ онъ окончательно сокрушилъ читателей. Въ сороковыхъ годахъ подобныя болѣзненные повѣсти технически именовались „психологическимъ развитіемъ“ и пользовались успѣхомъ публики; но проникательный Бѣлинскій уже и тогда пріискалъ для такихъ повѣстей опредѣленіе болѣе сообразное и мѣткое, охарактеризовавъ ихъ названіемъ „нервической чепухи“ (смотри письмо Бѣлинскаго къ покойному Боткину). Въ наше время повѣсти этого рода потеряли всякій кредитъ и правятся развѣ только особеннымъ любителямъ болѣзненной „фальшивой психологій“. „Вѣчный мужъ“ начатъ очень ловко, хотя по всѣмъ правиламъ рутины: таинственностью, которая, потонувъ воображеніе читателя на двадцати страницахъ, благополучно разъясняется на двадцать первой. Послѣ таинственности слѣдуютъ „нервическіе“ діалоги двухъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ, въ которыхъ авторъ играетъ психологическими мотивами съ искусствомъ, хорошо изученнымъ не только имъ самимъ, но даже и читателями его прежнихъ произведеній. Затѣмъ выступаетъ на сцену одно изъ любимѣйшихъ лицъ г. Достоевскаго—преждевременно развитый, болѣзненный ребенокъ-дѣвочка, и вокругъ этого лица устранивается драма по обычному рецепту“...<sup>1)</sup>

Впрочемъ, устанавливая наличность крайностей въ литературной манерѣ Достоевскаго, критикъ не отрицаетъ того умѣнья анализировать необычныя душевныя явленія, которое за Достоевскимъ въ это время признавалось, какъ его индивидуальная особенность. По поводу первой части романа „Идіотъ“ онъ говоритъ, что она „читается необыкновенно легко, и въ нѣкоторыхъ эпизодахъ ея чувствуется та сила и живость болѣзненныхъ представленій и образовъ, которою невольно затрагивается чувствительность нервныхъ читателей“; критикъ также допускаетъ, что „можетъ быть, въ описаніи тѣхъ дикихъ ощущеній, какія авторъ навязываетъ

<sup>1)</sup> „С-Петербургскія Вѣдомости“ 1870, № 31. Журналистика. Z.

своему больному герою, много истины". Кроме того, по мнѣнію г. Буренина, дарованіе Достоевскаго обнаруживается мѣстами „въ полной силѣ“ и въ повѣсти „Вѣчный мужъ“...

Это дарованіе—склонность къ анализу психики въ ея индивидуальномъ или общественномъ значеніи. „Натурализмъ“ Достоевскаго, односторонне-подражательный въ сороковыхъ годахъ, въ началѣ шестидесятыхъ годовъ развился въ гармонизацію идеалистической и реалистической стихій художественнаго творчества, а въ описываемый моментъ, сохраняя за собою этотъ гармоничный двусторонній характеръ, сосредоточился со всею силою на психологическомъ анализѣ жизни массовой и индивидуальной.

---

#### IV. Въ первой половинѣ семидесятыхъ годовъ. Консервативныя тенденціи „почвы“ въ оппозиціи къ „западническому прогрессу“. Внѣшній литературный шаблонъ и внутренняя психологическая правда. „Бѣсы“. „Подростокъ“.

Окончательный разрывъ Достоевскаго съ „западническимъ прогрессомъ“ и отношеніе къ этому разрыву критики. Романъ „Бѣсы“, какъ оппозиція „западническому прогрессу“. Сужденія о романѣ въ прогрессивной печати: романъ „Бѣсы“, какъ образецъ реакціонной беллетристики въ духѣ „катковской программы“ („Дѣло“—Д. Д. Минаевъ); „Бѣсы“, какъ тенденціозно-благонамѣренное изображеніе въ карикатурномъ видѣ „новыхъ людей“ и „начинаній“ эпохи („Дѣло“—П. Н. Ткачевъ); „нервическая фантазія“ на реальной основѣ „нечаевского процесса“, ложное пониманіе „духа времени“ и антиингилистическія „тенденціи à la Стебницкій“ въ романѣ „Бѣсы“ („С.-Петербургскія Вѣдомости“—В. П. Буренинъ); „госпиталь“ въ романѣ „Бѣсы“, „рекомендуемый за собраніе людей новаго времени“, и „скотный дворъ Авгія“, изображающій „молодую Россію“ („Виржевыя Вѣдомости“, „Голосъ“, „Сынъ Отечества“, „Искра“, „Одесскій Вѣстникъ“); „Бѣсы“, какъ проявленіе „желчной ненависти“ и „зависти“ „ко всему молодому, живому, свѣжему, сильному“ („Новое Время“—А. С.) и какъ показатель „паденія писателя“ и „паденія человѣка“ („Сіяніе“). Защита романа „Бѣсы“ въ консервативной критикѣ: „Бѣсы“, какъ изображеніе „отрицающихъ, безпорядочныхъ и безпутныхъ силъ“ „подполья нашей интеллигенціи“ („Русскій Міръ“ и „Русскій Вѣстникъ“—В. Г. Авсеѣнко); „Бѣсы“, какъ „богатый матеріалъ для уразумѣнія современныхъ явленій“ („С.-Петербургскія Вѣдомости“—Вс. С. Соловьевъ). Общественно-психологическая сторона романа „Бѣсы“: происхожденіе „подполья нашей интеллигенціи“ и характеръ еѣ „постоянной умственной работы“ („Русскій Вѣстникъ“ и „Русскій Міръ“—В. Г. Авсеѣнко); ненормальныя условія развитія русской интеллигенціи, какъ причины ея болѣзни, изображенной въ романѣ „Бѣсы“, и основной мотивъ болѣзненной психики героевъ романа („Дѣло“—П. Н. Ткачевъ). Субъективная сторона романа „Бѣсы“: „психіатрическіе субъекты“ романа, какъ носители собственной „нравственной задачи“ автора; Шатовъ, какъ выразитель „кровныхъ, задушевныхъ мыслей“ Достоевскаго; основная идея „Бѣсовъ“ въ освѣщеніи „теоріи г. Достоевскаго-Шатова“ („Отечественныя Записки“—

Н. К. Михайловскій). Общій характеръ сужденій критики о романѣ „Подростокъ“. Общественно-психологическій интересъ романа „Подростокъ“ для современной ему эпохи (Вс. С. Соловьевъ, Н. Гребцовъ и др.); романъ „Подростокъ“ какъ матеріалъ для исторіи русской интеллигенціи (П. Н. Ткачевъ); психика молодого поколѣнія въ романѣ „Подростокъ“; субъективное освѣщеніе Достоевскимъ вопроса о воспитаніи. Эволюція литературной манеры Достоевскаго въ романахъ „Бѣсы“ и „Подростокъ“. Склонность къ шаблону во внѣшней сторонѣ разсказа и характеристикъ (Н. К. Михайловскій, П. Н. Ткачевъ, В. П. Буренинъ и др.). Дальнѣйшее развитіе анализа внутренней жизни чело-вѣка до степени высокой психологической правды и особенности манеры Достоевскаго анализировать движенія чело-вѣческой души (А. М. Скабичевскій, В. С. Соловьевъ, В. П. Буренинъ и др.). Образцы художественной законченности въ романахъ „Бѣсы“ и „Подростокъ“ (В. Г. Авсеенко, В. П. Буренинъ, А. М. Скабичевскій).

Разрывъ Ѳ. М. Достоевскаго съ „западническимъ прогрессомъ“ казался послѣ появленія романа „Преступленіе и наказаніе“ настолько несомнѣннымъ, что объ этомъ говорили не только во враждебной, но и въ дружественной ему критикѣ. „Наше словесное художество“—говоритъ Н. Н. Страховъ въ 1871 году—„не ладитъ съ нашимъ западническимъ прогрессомъ“ Въ подтвержденіе этой мысли онъ приводитъ произведенія Тургенева, Гончарова, Л. Толстого и Достоевскаго, какъ автора „Преступленія и наказанія“. Русская художественная литература, по его мнѣнію, обыкновенно внушаетъ „вольномудство относительно Европы и теплое отношеніе къ русской жизни“<sup>1)</sup>. Это „вольномудство относительно Европы“, о которомъ Н. Н. Страховъ говоритъ одобрительно, въ другомъ лагерѣ критики, претендовавшемъ на служеніе „западническому прогрессу“, ставилось Ѳ. М. Достоевскому въ тяжкую вину, понимаемую какъ измѣна прежнимъ его прогрессивнымъ убѣжденіямъ.

Такое настроеніе по отношенію къ нему особенно рѣзко обозначилось съ появленіемъ въ печати романа „Бѣсы“<sup>2)</sup>. Уже съ первыхъ же главъ романа Достоевскій былъ зачисленъ прогрессивной критикой въ ряды реакціонныхъ

<sup>1)</sup> „Заря“ 1871, январь. Критика. Взглядъ на нынѣшнюю литературу. Н. Н. Страховъ. Стр. 23.

<sup>2)</sup> Романъ „Бѣсы“ печатался въ „Русск. Вѣстникѣ“ 1871 г. за январь, февраль, апрѣль, июль, сентябрь, октябрь и ноябрь мѣсяцы (части первая и вторая) и 1872 г. за ноябрь и декабрь мѣс. (часть третья).

беллетристовъ. „Кто бы могъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ— читаемъ въ „Дѣлѣ“ 1871 года—искать какой-нибудь родственной связи между произведеніями автора „Мертваго Дома“ и издѣліями творца романа „Некуда!“? Трудно было не только заподозривать ихъ въ солидарности, но болѣе чѣмъ невѣроятно было бы встрѣтить ихъ имена на страницахъ одного и того же журнала. Но тѣ времена прошли: наступили дни вавилонскаго смѣшенія принциповъ, людей, понятій, цинической откровенности и открытаго ренегатства въ ту или другую сторону. Наѣздники, являвшіеся нѣкогда подъ прикрытіемъ псевдонимовъ Никитъ Безрыловыхъ, Стебницкихъ, П. Нескажусъ и Незнакомцевъ<sup>1)</sup>, перестали стѣсняться и сбросили свои псевдонимныя маски. Для чего стѣсняться? Передъ кѣмъ? Что за китайскія церемоніи? И, дѣйствительно, всѣ перестали церемониться. Люди, привыкающіе ко всему на свѣтѣ, привыкли мало-по-малу и къ литературной кадрили „Русскаго Вѣстника“,—кадрилли, состоящей изъ гг. Ключникова и Писемскаго, Достоевскаго и Лѣскова. Два послѣдніе романиста до такой степени окатковились, что въ повѣйшихъ своихъ романахъ „Бѣсы“ и „На ножахъ“ слились въ какой-то единый типъ, въ гомункула, родившагося въ знаменитой чернилицѣ (sic) редактора „Московскихъ Вѣдомостей“... Несомнѣнно, что „Бѣсы“ и „На ножахъ“ прочитаны многими читателями, но также несомнѣнно, что большинству читателей неизвѣстенъ пріемъ или ключъ къ этому назидательному чтенію. „Каждую книгу надо умѣть читать“, говоритъ Паскаль, и эта чрезвычайно простая истина не всѣмъ легко дается, какъ кажется по первому взгляду. Одного автора нужно читать черезъ строчку, другого между строкъ, третьяго, какъ на примѣръ, г. Фета, удобнѣе читать снизу вверхъ и т. д. Пріемы различны и разнообразны. Съ особымъ ключомъ нужно подходить и къ новому роману г. Лѣскова-Достоевскаго-Стебницкаго. Мы говоримъ „къ роману“, потому что въ сущности „Бѣсы“ и „На ножахъ“ есть одно цѣльное произведеніе,

<sup>1)</sup> Никита Безрыловъ и П. Нескажусъ=А. Ф. Писемскій, Стебницкій—Н. С. Лѣсковъ, Незнакомецъ=А. С. Суворинъ.

хоть и писанное разными авторами, но авторами, сросшимися и слившимися нераздѣльно въ оркестръ г. Каткова. Рецептъ для поглощенія этого романа слѣдующій. Такъ какъ „Бѣсы—На ножжахъ“ есть не что иное, какъ иллюстрація къ передовымъ статьямъ „Московскихъ Вѣдомостей“, переданнымъ въ формѣ діалоговъ и приправленнымъ нервно-болѣзненнымъ анализомъ Ѳ. Достоевскаго и видоковскою пронзительностью автора „Некуда“, то ихъ нужно принимать въ себя, какъ лѣкарство, черезъ часъ по ложкѣ, попеременно то того, то другого, то третьяго. Итакъ, читатель, проглоти сперва столбецъ „Московскихъ Вѣдомостей“, закуси его главой изъ „Бѣсовъ“ и сгryзи въ заключеніе нѣсколько страницъ „На ножжахъ“. Совершая постепенно такую умственную трапезу, твой умъ просвѣтлѣетъ, двуликій воспитанникъ журнальнаго катковскаго ликея г. Лѣсковъ-Достоевскій-Стебницкій явится передъ твоими внутренними очами въ своемъ настоящемъ свѣтѣ. „Бойся и оглядывайся!“ кричитъ читателямъ каждая страница романа „Бѣсы—На ножжахъ“, и его герои, какъ воспроизведеніе живыхъ современныхъ типовъ, выступаютъ передъ робкими зрителями въ качествѣ ехидныхъ злодѣевъ, умопотрясателей и изверговъ „новой идеи“, порожденныхъ будто бы сокрушительнымъ духомъ времени. Герои „Бѣсовъ“ и „На ножжахъ“, если вѣрять въ ихъ художественную правду, если вѣрять, что они живьемъ взяты изъ русской жизни, дѣйствительно, могутъ запугать воображеніе довѣрчивыхъ замосковскихъ подписчиковъ „Русскаго Вѣстника“. Они, пожалуй, готовы думать, что авторы съ натуры „свои портреты пишутъ“ и невольно содрогаются. Посмотрите, въ самомъ дѣлѣ, что за герои у г. Достоевскаго-Лѣскова! Одинъ возводитъ самоубійство въ принципъ, другой („новый человекъ“, замѣтьте!) съ апломбомъ воруетъ деньги, третій отравляетъ богатаго наслѣдника, четвертый состоитъ въ одно и то же время въ амплуа радикальнаго писателя, ростовщика, поджигателя и шпіона... Что за ядовитость! каждая глава романа есть новая мерзость, новый ужасъ, идущіе crescendo; къ счастью для читателей, эти ужасы отличаются такимъ пересоломъ, такимъ уродо-



ваніемъ дѣйствительности, что подъ конецъ становятся смѣшны по своей карикатурности. Усердствуя въ исполненіи катковской программы, изображая какихъ-то невозможныхъ монстровъ, художники, по заказу сшивающіе свои романы, достигаютъ совсѣмъ не той цѣли, которой они добивались. Усердіе вещь хорошая, думаетъ читатель, но только въ извѣстныхъ границахъ. Не совсѣмъ-то практично,

За тѣмъ, чтобы смѣшить народъ,

Усердно жертвовать затылкомъ.

А у такихъ дѣятелей, какъ г. Стебницкій-Достоевскій, усердіе все преодолагаетъ, даже... здравый смыслъ<sup>1)</sup>.

Когда новый романъ Достоевскаго былъ законченъ печатаніемъ, радикальная критика журнала „Дѣло“, въ лицѣ одного изъ крайнихъ своихъ представителей, П. Н. Ткачева, обрушилась на него самымъ беспощаднымъ и крикливымъ способомъ<sup>2)</sup>. Этимъ романомъ—думаетъ критикъ--Достоевскій окончательно подтвердилъ совершенный имъ еще раньше, напр. въ романѣ „Преступленіе и наказаніе“, „актъ публичнаго самозаушенія“. Къ своему „покаянію“ и „отреченію“ отъ прежнихъ увлеченій Достоевскій подошелъ постепенно: „Началь онъ, разумѣется, тихонько и исподволь съ гг. Стрехова, Аполлона Григорьева..., а кончилъ Менцерскимъ, „Гражданиномъ“ и „Бѣсами“... „Стоитъ только припомнить все, что писалъ г. Достоевскій, въ качествѣ публициста, въ журналѣ своего покойнаго брата, стоитъ вспомнить, какая тенденція была приписана къ роману „Преступленіе и наказаніе“ и какъ многимъ „Бѣсы“ позаимствовались отъ „Некуда“, стоитъ, наконецъ, припомнить фельетоны „Гражданина“, и мы безъ труда поймемъ, почему г. Достоевскій прослылъ за „кающагося и отрекающагося“... Тенденція романа „Бѣсы“, какъ понимаетъ ее г. Ткачевъ, „благонамѣренна“ и направлена непосредственно противъ „новыхъ людей“ и „начинаній“, т. е. противъ „движенія“ 60-70-хъ го-

<sup>1)</sup> „Дѣло“ 1871, ноябрь. Невинныя замѣтки. L'homme qui rit (=Д. Д. Минаевъ). Стр. 57—59.

<sup>2)</sup> „Дѣло“ 1873, № 3, стр. 151—179 и № 4, стр. 359—381. Больные люди. („Бѣсы“, романъ Федора Достоевскаго. Въ трехъ частяхъ. Спб. 1873). П. Н. (=П. Н. Ткачевъ).

довъ. „Помимо детальныхъ подробностей, авторъ преслѣдуетъ въ романѣ какую-то не то благонамѣренную, не то мистическую тенденцію; тенденція эта, въ короткихъ словахъ, формулируется такимъ образомъ: всѣ эти ваши, тамъ, „мечтанія“, „начинанія“, „новые люди“ и т. п.— все это не болѣе, какъ бѣсы, вышедшіе изъ больной Россіи и, подобно евангельскимъ бѣсамъ, перешедшіе въ свиней, т. е. въ „мечтающихъ юношей“. „Юношамъ“, обороченнымъ въ „свиней“, ничего, разумѣется, болѣе не остается, какъ „броситься со скалы въ море“ и потонуть, т. е. говоря не метафорически, а юридически, окончить жизнь самоубійствомъ или подпасть подъ дѣйствіе нѣкоторыхъ статей уголовного кодекса... Такъ просто, такъ удивительно просто формулируетъ „Бѣсъ“ г. Достоевскаго свои отношенія къ окружающей его современности“...

Критикъ, правда, согласенъ съ тѣмъ, что „и наследственныя предрасположенія, и внѣшняя обстановка, и характеръ воспитанія“ могли способствовать „развитію психическихъ аномалій“ среди „новыхъ людей“ данной эпохи въ русской жизни,—однако онъ находитъ, что Достоевскій, изображая людей больныхъ, тенденціозно сгустилъ краски и „новыхъ людей“ представилъ сумасшедшими до карикатурности. „Въ „Бѣсахъ“ авторъ представляетъ намъ цѣлую галерею помѣшанныхъ юношей: Верховенскаго, Ставрогина (сыновей), Шатова, Кириллова, Шигалева, но ни въ одномъ изъ нихъ вы не увидите ни образа, ни подобія живого человека,—это какіе-то манекены, и къ каждому манекену нашить ярлыкъ съ означеніемъ характера бреда, которымъ онъ одержимъ. Одинъ бредитъ (въ буквальномъ смыслѣ этого слова) проектомъ будущаго соціальнаго устройства, по которому все человѣчество должно быть раздѣлено на двѣ неравныя части: одна десятая получаетъ свободу личности и безграничное право надъ остальными девятью десятыми, а эти послѣдніе превращаются въ какихъ-то вьючныхъ животныхъ; и путемъ длиннаго ряда перерожденій достигаютъ состоянія первобытной райской невинности. Другой бредитъ теоріею самоубійства; третій бредитъ теоріею „самого г. Достоевскаго,

изложенною въ „Гражданинѣ“, о „народѣ-богоносцѣ“—теорію, которая отождествляетъ понятіе о Богѣ съ понятіемъ о національности. Четвертый бредитъ теорію какого-то разрушенія, долженствующаго произойти при помощи всеобщаго разврата, оглупѣнія, мошенничества и подставного Ивана Царевича. Пятый ничѣмъ особеннымъ не бредитъ, но развратничаетъ до самозабвенія, кусается и выкидываетъ всевозможныя эксцентрическія штучки. За вычетомъ бреда, манекены г. Достоевскаго ничѣмъ особеннымъ другъ отъ друга не отличаются: Шатова не распознаешь отъ Кириллова, Верховенскаго отъ Ставрогина и т. п. Ихъ бредъ не находится ни въ какой логической связи и съ ихъ характерами, да и характеровъ-то у нихъ никакихъ нѣтъ. Шатовъ и Кирилловъ въ сферы своего бреда совсѣмъ какъ бы не существуютъ; Верховенскій сколько-нибудь своеобразенъ только въ своей фанатической исповѣди Ставрогину. Но эта исповѣдь нимало не гармонируетъ съ общимъ характеромъ героя, выкроеннаго по шаблону лѣсковскихъ нигилистовъ. Ставрогинъ—это какое-то блѣдное воплощеніе какой-то мистической теоріи о характерѣ „русскаго человѣка“, подробно излагаемой авторомъ въ фельетонахъ „Гражданина“. Съ точки зрѣнія этой теоріи русскій человѣкъ, съ одной стороны, постоянно хочетъ дерзнуть, съ другой стороны,—дерзнувъ, стремится къ смиренному покаянію и самоубиенію. Такого-то, на все дерзающаго и кающагося, человѣка тѣсится г. Достоевскій изобразить въ взбалмошномъ сынкѣ Варвары Петровны. Впрочемъ, моментъ покаянія оттѣненъ весьма слабо. Ставрогинъ, хотя и терпѣливо, сноситъ плюхи „за грѣхи свои“, но вообще кается не особенно усердно. За это авторъ истомляетъ его внутренними страданіями, доводитъ до отчаянія и заставляетъ повѣситься. Но, независимо отъ полнаго отсутствія художественности въ изображеніи характеровъ „юныхъ безумцевъ“, субъективизмъ автора съ особою рельефностью высказывается въ содержаніи того бреда, который онъ влагаетъ въ уста своихъ манекеновъ“...

Такимъ образомъ г. Ткачевъ въ окончательномъ выводѣ приходитъ къ заключенію, что Достоевскій въ романѣ „Бѣсы“

изобразилъ не просто „больныхъ людей“, но даже карикатуры на нихъ. „Если беллетристы“—сверстники г. Достоевскаго—говорить онъ—сочиняли карикатуры на здоровыхъ людей „новаго“ (теперь-то, впрочемъ, стараго) поколѣнія, то авторъ „Бѣсовъ“ написалъ карикатуру на больныхъ людей того-же поколѣнія“...

Это истолкованіе романа „Бѣсы“—съ точки зрѣнія передовой печати—въ различныхъ оттѣнкахъ и варіаціяхъ обошло почти все не только радикальные, но и умѣренно-прогрессивные органы общественной и литературной мысли 70-хъ годовъ. Нѣсколько особое мѣсто, впрочемъ, заняла въ данномъ вопросѣ критика „Отечественныхъ Записокъ“, гдѣ Н. К. Михайловскій, какъ будетъ показано ниже, выступилъ съ анализомъ основной мысли романа „Бѣсы“ и идеологій самого Достоевскаго; зато умѣренно-прогрессивныя „С.-Петербургскія Вѣдомости“, „Новое Время“, „Голосъ“ и нѣкоторыя другія изданія начала 70-хъ годовъ дали на своихъ страницахъ дальнѣйшее, не всегда умѣренное, развитіе ожесточенныхъ выступленій радикальной печати противъ тенденцій Достоевскаго.

Особеннаго вниманія въ этомъ отношеніи заслуживаютъ статьи В. П. Буренина въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“. Признавая за романомъ „Бѣсы“ извѣстную реальную основу въ смыслѣ связи между изображаемымъ въ романѣ „тайнымъ обществомъ“ и дѣйствительнымъ фактомъ русской жизни—„нечаевскимъ процессомъ“, критикъ однако склоненъ думать, что эта реальная основа густо задернута „нервической фантазіей“ автора, а русская дѣйствительность искажена, кромѣ того, ложнымъ пониманіемъ „духа времени“ той эпохи, которую Достоевскій въ своемъ романѣ описываетъ. „Надо замѣтить—говоритъ критикъ—, что г. Достоевскій, сочиняя это общество <sup>1)</sup>, воспользовался кой-какими внѣшними фактами нечаевского общества: у него главный руководитель собирается принести въ жертву одного отставнаго члена, на манеръ того, какъ былъ убитъ Ивановъ <sup>2)</sup>; нѣкоторые члены

<sup>1)</sup> Т. е. „тайное общество“.

<sup>2)</sup> Одинъ изъ „нечаевцевъ“.

общества тяготятся своей ролью, сознавая бесплодность и дикость его цѣлей; наконецъ, общество имѣетъ связи съ Internationale и является съ мошенниками, въ родѣ того „лихого разбойничьяго люда“, о которомъ упоминается въ нечаевскихъ прокламаціяхъ. Встрѣчаются также указанія и на нѣкоторыя детали, очевидно взятые изъ дѣйствительности. Такъ, напримѣръ, одинъ изъ членовъ говоритъ про своихъ товарищей: „О, у нихъ все смертная казнь и все на предписаніяхъ, на бумагахъ съ печатями, три съ половиной человѣка подписываютъ“; или: „Всѣ они, отъ неумѣнья вести дѣло, ужасно любятъ обвинять въ шпіонствѣ“ и т. п. Впрочемъ, кажется, только этими признаками и ограничивается, покуда, сходство созданнаго авторомъ общества съ тѣми данными дѣйствительности, которыя выяснились въ недавнемъ процессѣ. Во всемъ остальномъ г. Достоевскій придерживается своей нервической фантазіи и, сообразно съ ея указаніями, создаетъ личности героевъ общества“. Остановившись дальше въ частности на характерахъ Шатова и Кириллова, критикъ дѣлаетъ такое заключеніе объ ихъ соответствіи „духу времени“: „...Каждый, кто только вникнетъ хотя немного въ духъ времени, подъ вліяніемъ котораго складываются характеры современныхъ героевъ, не обинуясь скажетъ, что въ мотивахъ умоповрежденія Кириллова нѣтъ ни малѣйшаго слѣда этого духа времени. Молодое поколѣніе чуждо мистицизма. Только мистическому воображенію г. Достоевскаго, воспитанному на туманныхъ теоріяхъ сороковыхъ годовъ, могутъ казаться существеннымъ и характернымъ признакомъ нашего времени какія-то болѣзненные вожделѣнія, доходящія до обоготворенія пауковъ; но кто къ стремленіямъ нашего времени прилагаетъ не столь субъективную и болѣе внимательную оцѣнку, тотъ, конечно, признаетъ, что они свободны отъ примѣси такихъ вожделѣній... Навязывать современнымъ юношамъ склонность къ теоріямъ, основаннымъ на обобщеніяхъ съ мистической подкладкой,—значитъ не разумѣть времени. Вопреки шатовской теоріи, современный юноша только про реальную науку и твердитъ, только ее и признаетъ первенствующей силой въ развитіи націи. Писатель,

который этого не знает и не видит, трудится все надъ изображеніемъ героевъ нашихъ дней: онъ искажаетъ дѣйствительность и создаетъ лица не изъ живого матеріала, даннаго наблюденіемъ и изученіемъ, а изъ фантастическихъ субъективныхъ призраковъ собственнаго воображенія...<sup>1)</sup>

Въ слѣдующемъ, 1872-мъ, году В. П. Буренинъ настойчиво подчеркиваетъ по поводу романа „Бѣсы“ налпчность у Достоевскаго „тенденцій à la г. Стебницкій, проскальзывающихъ въ его романъ довольно нецеремонно“. „Я знаю—дѣлаетъ критикъ оговорку—, что никто г. Достоевскаго не приравниваетъ къ автору „На ножахъ“. Г. Достоевскій— крупный литературный талантъ (едва ли не самый крупный послѣ г. Тургенева), и, что бы онъ ни писалъ, пишетъ вслѣдствіе искренняго и глубокаго убѣжденія; г. Стебницкій, напротивъ, склеиваетъ свои безконечные романы чисто ремесленнымъ образомъ, угождая худшимъ инстинктамъ толпы. Повторяю: между г. Достоевскимъ и авторами въ родѣ г. Стебницкаго лежитъ цѣлая бездна. Это несомнѣнно. Но тѣмъ болѣе жаль, тѣмъ менѣе понятно, ради чего г. Достоевскій забѣгаетъ на ту дорожку, по которой развязно и свободно разгуливаютъ авторы „Некуда“, „Марева“, „Не-марева“ и т. п. Вотъ хотя бы, напримѣръ, въ седьмой и восьмой главѣ „Бѣсовъ“ талантливый авторъ столько напустилъ стебницизма, что за него совѣстно. Я уже говорилъ какъ-то читателямъ, что въ романѣ г. Достоевскаго фигурируетъ тайное общество. Въ седьмой главѣ изображается сходка или засѣданіе членовъ этого общества. Г. Достоевскій относится вообще съ негодованіемъ, сатирически къ героямъ выставляемаго имъ кружка. По всей вѣроятности, подобныя засѣданія и сходки дѣйствительно представляютъ много пищи для сатиры. Но на что же, на кого же обрушиваетъ свою сатиру г. Достоевскій? На восемнадцатилѣтняго гимназиста и юную студентку, которая намѣревается путешествовать по всѣмъ университетскимъ

<sup>1)</sup> „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1871, № 250. Журналистика. Нѣчто о „новыхъ“ типахъ въ романѣ г. Достоевскаго „Бѣсы“. Свойство г. Достоевскаго навязывать личностямъ молодого поколѣнія стремленія, отнюдь не современныя и имъ чуждыя... З. (=В. П. Буренинъ). Стр. 1—2.

городамъ, чтобы „принять участіе въ страданіяхъ бѣдныхъ студентовъ и возбудить ихъ къ протесту“. Несчастный бессмысленный гимназистъ и бѣдная дѣвочка „отдѣляются“ нашимъ даровитымъ авторомъ съ усердіемъ и выходятъ у него, дѣйствительно, крайне забавными. Но кому придется въ голову изливать ядовитую сатиру на гимназистовъ и дѣвочекъ? Кому, кромѣ г. Ключникова, который рѣшился на то едва ли не первый въ нашей литературѣ? кому, кромѣ г. Стебницкаго?... Тенденція осмѣиванія недоросковъ обоого пола въ романахъ только странна—не болѣе; но г. Достоевскій проявляетъ, и другія, уже не столь невинныя, тенденціи. Въ восьмой главѣ „Бѣсовъ“ у него главный коноводъ тайнаго общества высказываетъ свою задушевную теорію о томъ, какимъ образомъ онъ пуститъ „смуту“ по Россіи и совершитъ радикальный переворотъ. Теорія коновода нелѣпа, дика, безобразна, все, что хотите. И между тѣмъ г. Достоевскій дѣлаетъ недвусмысленныя намеки на то, что къ этой теоріи приурочивается такъ называемое прогрессивное стремленіе современной жизни. По моему мнѣнію, то мѣсто романа, гдѣ даровитый авторъ высказываетъ устами своего героя эту милую мысль, такъ любопытно, что достойно быть цитированнымъ во всей его неприкосновенности. Вотъ это мѣсто (Цитируются слова Петра Верховенскаго объ организаціи „смуты“ изъ главы VIII-ой второй части романа)... Что вы скажете, читатель, объ этомъ монологѣ, въ которомъ аномаліи современнаго развитія приурочены столь искусно къ общему настроенію жизни, въ которомъ ясно говорится, что это настроеніе вполне благопріятствуетъ самымъ возмутительнымъ агитаторскимъ каверзамъ! Вы скажете, что это горячечный бредъ дикаго героя романа „Бѣсовъ“ и что авторъ не отвѣчаетъ за этотъ бредъ. Да, но дѣло однакоже въ томъ, что въ этомъ бредѣ дѣлаются такіа указанія..., которыя, очевидно, сочувственны автору, выражаютъ уже не бредъ, а его собственное мнѣніе. Дѣло въ томъ, что подобныя указанія возбуждаютъ полнѣйшее удовольствіе и даже злорадный восторгъ ретроградовъ, вѣчно и огульно недовольныхъ всѣмъ новымъ. Дѣло въ томъ, что эти господа могутъ для своихъ цѣлей цитировать

подобные монологи романа въ подтвержденіе своихъ мыслей о всеобщемъ растлѣніи современнаго русскаго общества; они могутъ съ полнымъ правомъ сказать: „Вотъ, посмотрите, какою является эта жизнь въ безпристрастномъ воспроизведеніи художника, вотъ какихъ героевъ можетъ порождать она и вотъ какія надежды давать этимъ героямъ своими яко бы прогрессивными сторонами и явленіями“ <sup>1)</sup>...

Спустя еще годъ тотъ же критикъ произнесъ рѣшительный приговоръ надъ романомъ „Бѣсы“ и окончательно опредѣлилъ его мѣсто среди современной ему тенденціозной беллетристики консервативнаго лагеря. „По своему духу—говоритъ онъ—„Бѣсы“ принадлежатъ къ довольно многочисленной категоріи російскихъ романовъ, въ которыхъ изобличаются язвы разныхъ зловредныхъ лжеученій, какъ извѣстно, слившіяся (въ воображеніи нашихъ беллетристовъ) въ одну общую страшную язву нигилизма. Основная задача романа г. Достоевскаго по виѣшнему содержанію сводится къ изображенію одного изъ послѣднихъ такъ называемыхъ подпольныхъ движеній, а по внутренней тенденціи—къ уясненію и разоблаченію той растлѣнной и каверзной сущности, какую предполагаетъ тутъ авторъ. Насколько справедливо или нѣтъ послѣднее предположеніе г. Достоевскаго—объ этомъ я не буду говорить, такъ какъ это завело бы насъ слишкомъ далеко; замѣчу одно: цѣль, которую поставилъ себѣ авторъ въ „Бѣсахъ“, могла бы быть достигнута имъ тогда только, когда бы онъ представилъ помянутое движеніе извѣстнымъ частнымъ явленіемъ, порожденнымъ общими причинами, и указалъ въ художественномъ разсказѣ эти причины. Но въ томъ-то и дѣло, что явленіе, воспроизводимое авторомъ, представляется въ романѣ исключительнымъ, аномальнымъ... Задумавъ изобразить помянутое „подпольное“ движеніе, нашъ авторъ для такого изображенія предпринимаетъ нижеслѣдующее: онъ выставляетъ одного совершеннѣйшаго негодяя (даже „мерзавца“, какъ титуруетъ его лицо, устами котораго ведется повѣствованіе „Бѣсовъ“),

<sup>1)</sup> „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1872, № 15. Журналистика. Появленіе снова „Бѣсовъ“ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, („Русскій Вѣстникъ“, ноябрь). З. Стр. 2.



нѣсколькихъ полунегодяевъ и полуидіотовъ и принуждаетъ ихъ продѣлывать разныя исторіи и раздражаться различными, довольно нелѣпыми разсужденіями политическаго и моральнаго характера. Фактическія подробности „исторій“ и нѣкоторыя разсужденія отчасти заимствованы изъ одного недавняго процесса, отчасти созданы собственной фантазіей г. Достоевскаго, иногда разыгрывающейся съ цѣлью усилить гнусность поведенія и убѣжденій негодяя, полунегодяевъ и полуидіотовъ, иногда безъ всякой цѣли, единственно ради болѣзненно-мистическихъ капризовъ и бредней автора. Весьма вѣроятно, что на святой Руси существуютъ, какъ случайныя аномаліи, негодяи, полунегодяи и полуидіоты, въ родѣ выставляемыхъ авторомъ; но ихъ существованіе отнюдь не можетъ и не должно имѣть никакого важнаго значенія, отнюдь не можетъ быть причиною движенія, даже самаго „подпольнаго“ изъ подпольныхъ, самаго мизернаго изъ мизерныхъ... Разъ ставъ въ фальшивое положеніе, по неволѣ придется на фальшивомъ основаніи строить цѣлый рядъ небылицъ. Г. Достоевскій доказываетъ это какъ нельзя лучше въ своемъ романѣ. Вся сочиненная имъ сумасшедшая компанія, въ составѣ которой онъ, во всякомъ случаѣ, думаетъ видѣть нѣсколькихъ представителей извѣстной части молодого поколѣнія,—вся эта компанія является собраніемъ мистиковъ социалистическаго оттѣнка... Молодежь наша больна многимъ, но отъ мистицизма она, кажется, свободна. Даже въ той формѣ, которая наиболѣе могла бы быть привлекательна для молодежи,—въ формѣ социалистической, мистицизмъ чуждъ ей совершенно. Теоріи социалистовъ сороковыхъ и тридцатыхъ годовъ, окрашенныя иногда колоритомъ мечтательной таинственности,—эти теоріи далеко не составляютъ фонда убѣжденій и стремленій современной молодежи, какъ старается изобразить авторъ „Бѣсовъ“. Молодежь вовсе не стремится къ созерцанію тѣхъ отдаленныхъ и широкихъ горизонтовъ, какіе открываетъ ей полумечтательный социализмъ сороковыхъ годовъ, столь любезный болѣзненной фантазіи г. Достоевскаго. Авторъ „Бѣсовъ“, витая воображеніемъ въ тѣхъ „политическихъ“ кружкахъ, въ которыхъ онъ вращался реально

тридцать лѣтъ тому назадъ, видить современные кружки въ томъ же освѣщеніи, приписываетъ современнымъ кружкамъ склонность къ такимъ заоблачнымъ нелѣпостямъ, которыя, конечно, дороги и важны были въ свое время, но въ наши дни утратили значеніе и кажутся нѣсколько смѣшными. Г. Достоевскій забылъ слова поэта:

„Вѣкъ иной, иныя птицы,  
И у нихъ иныя пѣсни“.

„Птицы“ настоящаго времени, или, точнѣе сказать, птенцы, очень мало интересуются полумистическими писателями, въ родѣ Сень-Симона и Фурье, и вовсе не на ихъ твореніяхъ воспитываютъ свои идеалы; они поютъ совсѣмъ не тѣ пѣсни, какія, быть можетъ, распѣвалъ во дни оныя г. Достоевскій съ своими сверстниками. Пѣсни новѣйшихъ птенцовъ отзываются скорѣе практическимъ, чѣмъ идеалистическимъ характеромъ. Разумѣется, птенцамъ не нужна наивная вѣра въ разныя фантазіи реформаціоннаго характера; но въ этой вѣрѣ совсѣмъ нѣтъ того мистическаго склада, какой господствовалъ у птенцовъ предшествовавшаго поколѣнія. Напротивъ, я думаю, что вѣра новѣйшихъ птенцовъ скорѣе окрашена слишкомъ яркимъ реальнымъ колоритомъ, препятствующимъ имъ видѣть „далекія перспективы“ и сообщающимъ ихъ стремленіямъ вообще нѣкоторую узкость. Г. Достоевскій, увлекаясь праздными совѣтами субъективной фантазіи и игнорируя дѣйствительность, не захотѣлъ сообразить всего этого и выставилъ современныхъ птенцовъ по сущности идеалистами сороковыхъ годовъ. Это съ его стороны ошибка, быть можетъ, намѣренная, но всетаки ошибка, и грубость этой ошибки бросается въ глаза съ перваго раза, несмотря на то, что г. Достоевскій придалъ фальшивой сущности птенцовъ, имъ изображенныхъ, нѣкоторыя формы современности, позаимствованныя имъ, какъ я уже говорилъ, отъ репортеровъ и даже отчасти отъ г. Стебницкаго<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1873, № 6. Журналистика. „Вѣсы“. Романъ Ф. Достоевскаго. З. Стр. 1—2.

Послѣ такого исчерпывающаго обличенія консервативной тенденціи романа „Бѣсы“, какое развернуто было съ одной стороны въ „Дѣла“ (П. Н. Ткачевъ), съ другой—въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“ (В. П. Буренинъ) на прострaнствѣ 1871—1873 гг.,—другимъ органамъ печати, претендовавшимъ на прогрессивную программу, оставалось только варіировать отдѣльные мотивы этого обличенія. Особенно охотно усвоила журнальная и газетная критика мысль о томъ, что Достоевскій въ своемъ романѣ изобразилъ почти исключительно ненормальныхъ въ психическомъ отношеніи людей. Эта мысль развивается нерѣдко съ большою рѣзкостью и даже карикатурно. Въ статьѣ „Биржевыхъ Вѣдомостей“ за 1872 годъ, посвященной роману „Бѣсы“, критикъ предлагаетъ сравнить „изображеніе бѣднымъ Авксентіемъ Ивановичемъ (Поприцинымъ) товарищества для распространенія по всему міру магометанства съ шигалевщиной, открытіемъ г. Достоевскаго“, и находить, что „трудно рѣшить, что правдоподобнѣе—магометанство ли... или шигалевщина“; вообще въ романѣ „Бѣсы“, тогда еще не оконченномъ, критикъ, заранѣе видитъ „госпиталь“, „рекомендуемый (конечно, для желающихъ) за собраніе людей новаго времени“<sup>1)</sup>.

Эта тема о „госпиталѣ“ въ романѣ „Бѣсы“ получила болѣе детальную обработку въ „Голосѣ“ за 1873 годъ. Считая романъ Достоевскаго литературнымъ „курьезомъ“, по содержанію цѣликомъ взятымъ „изъ стенографическихъ отчетовъ готовыхъ героевъ и готовыхъ рѣчей“ („нечаевского“ процесса), критикъ главный „курьезъ“ романа видитъ въ томъ, что почти всѣ герои его или съ ума сходятъ, или просто идиотствуютъ, или рѣжутъ другъ друга, или, наконецъ, сами стрѣляются и вѣшаются. Есть въ романѣ герой, губернаторъ—онъ съ ума сходитъ; есть тамъ еще одинъ герой, отставной профессоръ сороковыхъ годовъ—онъ также сходитъ съ ума и умираетъ; главный герой, сынъ отставного профессора—сводитъ всѣхъ съ ума и убиваетъ безъ всякой причины одного полуидіота и другого полного идиота; другой главный герой—

<sup>1)</sup> „Биржевыя Вѣдомости“, 1872, № 83. Журналистика и библиографія. „Бѣсы“, романъ Ф. Достоевскаго. М. Н. Стр. 1.

женится на идиоткѣ и ни съ того, ни съ сего вѣшается; идиотка жена и братъ ея идиотъ—зарѣзаны каторжникомъ, который, въ свою очередь, найденъ убитымъ на большой дорогѣ; прекрасная героиня романа—нѣсколько разъ сходитъ съ ума, а затѣмъ убита народомъ; къ одному герою, послѣ трехлѣтней разлуки, прѣзжаетъ жена и рождаетъ ему, черезъ нѣсколько часовъ по прѣздѣ, ребенка, который, вмѣстѣ съ матерью, нѣсколько дней спустя, умираетъ; въ городѣ, гдѣ совершаютъ свои подвиги „бѣсы“, прѣзжаютъ „знаменитый“ литераторъ и не менѣе „знаменитый“ агитаторъ—и оба съ ума сходятъ. Словомъ, что ни герой, то сумасшедшій, убійца, самоубійца“ <sup>1)</sup>).

Подобное усвоеніе всему русскому обществу психики „нечаевского“ дѣла вплоть до обращенія русской интеллигенціи въ сплошную „госпиталь“ заставляеть другого критика поставить по поводу романа „Бѣсы“ цѣлый рядъ недоумѣнныхъ вопросовъ: „...За свое-ли дѣло взялся г. Достоевскій? И гдѣ основаніе дѣлать такое приложение? Не черезъ край ли ужъ хватилъ онъ въ своемъ усердіи обличить? Не сфальшивилъ-ли онъ, представивъ Россію какой-то недужной и одержимой бѣсами? Есть у нея свои язвы, свои болѣзни, являются среди русскаго общества Каракозовы, Нечаевы и имъ подобные, и, конечно, выражаютъ собой его болѣзнь, но вѣдь болѣзнь болѣзни рознь. Мы спрашиваемъ только одно: даютъ-ли право эти Каракозовы и Нечаевы заподозрѣвать все общество въ серьезной язвѣ и заразѣ? Не суть-ли они проявленія лишь мѣстной болѣзни, болѣзни только нѣкоторыхъ членовъ? Мы утверждаемъ послѣднее, послѣ того какъ на судѣ выяснилось дѣло нечаевское, и стало ясно, какъ здраво и съ какимъ негодованіемъ все русское общество отнеслось къ этому дѣлу и его „безумному представителю“ <sup>2)</sup>.

Дальнѣйшее развитіе той же темы приводило уже не столько къ обличенію, сколько къ карикатурѣ. Примѣры—въ „Искрѣ“ и въ „Одесскомъ Вѣстникѣ“. „Бѣсы“—читаемъ въ „Искрѣ“ 1873 года—„оставляютъ точно такое же крайне

<sup>1)</sup> „Голосъ“ 1873, № 18. Литературные и общественные курьезы.

<sup>2)</sup> „Сынъ Отечества“ 1873, № 40. Библиографическая замѣтка. Стр. 2.

тяжелое впечатлѣніе, какъ посѣщеніе дома умалишенныхъ, въ которомъ любознательный зритель въдоволь наглядѣлся разныхъ дикушинокъ: и титулярныхъ совѣтниковъ, воображающихъ себя испанскими королями, и дѣйствительныхъ статскихъ, считающихъ себя, болѣе уже основательно, клопами и тараканами. Впечатлѣніе до крайности тяжелое и, вмѣстѣ съ тѣмъ, бесполезное, потому что не специалистъ ничего ровно не пойметъ и не уяснитъ себѣ въ этой белибердѣ... Главный герой романа—Николай Всеволодовичъ Ставрогинъ еще въ юность неоднократно былъ уличаемъ въ явное упомишательствѣ, а въ болѣе зрѣломъ возрастѣ болѣзнь эта въ немъ усилилась... Маменька Ставрогина съ ея устарѣвшимъ любимцемъ, Степаномъ Трофимовичемъ,—тоже изображены людьми, одержимыми такъ называемымъ мирнымъ или спокойнымъ упомишательствомъ... Герои романа: Кирилловъ и Шатовъ—люди безспорно помѣшанные, въ особенности Кирилловъ. Даже такія видныя особы, какъ начальникъ губерніи (нѣмецъ Лембоке),—и тотъ оказался сумасшедшимъ, что видно изъ показанія губернаторскаго кучера... Писатель Кармазиновъ выставленъ если не помѣшаннымъ, то совершеннѣйшимъ дуракомъ, въ чемъ самъ читатель легко можетъ убѣдиться“...<sup>1)</sup> „Одесскій Вѣстникъ“ еще больше стущаетъ краски въ этой картинѣ сумасшества по роману „Бѣсы“. „Романистъ, по фамиліи Достоевскій,—говорится здѣсь—родиль литературнаго уродъ, которому при крещеніи дано было имя „Бѣсы“, и который представляетъ собою слѣдующія интеллектуально-аномальныя особенности: уродъ представляетъ большія неровности въ своемъ характерѣ, онъ бываетъ то уныль, то слишкомъ экзальтированъ, зачастую впадаетъ въ мистическое расположеніе мыслей и въ паническій страхъ; чрезвычайно безпокоенъ, то и дѣло бѣгаетъ взадъ и впередъ, размахиваетъ руками, о чемъ-то сокрушается, чему-то радуется, невнятно бормочетъ, издаетъ жалобный крикъ: „ай, ай, ай“ и проч., хотя въ окружающихъ обстоятельствахъ никакого раздражителя не усматривается. Уродъ обнаруживаетъ недостатокъ гнбкости въ чле-

<sup>1)</sup> „Искра“, 1873, № 6. „Бѣсы“ Федора Достоевскаго. Стр. 5—6.

нахъ, угловатость въ постановкѣ тѣла и походкѣ и отсутствіе игры въ лицевыхъ мускулахъ. По прочтеніи „Бѣсовъ“ я обратился къ одному одесскому доктору съ вопросомъ, что это за случай литературной аномаліи.— „Это—объяснить мнѣ докторъ — случай мрачнаго помѣшательства — melancholia. Представляемый романомъ нравственныя ощущенія, характеризующія этотъ типическій видъ мрачнаго помѣшательства, могутъ быть обобщены терминомъ: „болѣзненное опасеніе“, или, какъ его еще называютъ, melancholia agitans. Я недавно имѣлъ случай наблюдать меланхолика съ такимъ же болѣзненнымъ опасеніемъ, имѣющаго много общаго съ „Бѣсами“ г. Достоевскаго“... „Г. Достоевскій—продолжаетъ критикъ—смотритъ на молодую Россію, какъ на какой-то скотный дворъ Авгія. Пародируя Лукіана въ „Жизнеописаніи Алексѣя (sic!) Абонотехейскаго“<sup>1)</sup>, онъ чуть-чуть не говоритъ: „Я наберу нѣсколько корзинокъ нечистотъ, которыя позволяютъ судить читателю о томъ, какое громадное количество навоза произвела наша молодежь“. Что же общаго между нашею молодежью и нѣсколькими корзинами нечистотъ, представляемыми романомъ? Общаго, конечно, ничего нѣтъ: „корзинку нечистотъ“ авторъ принялъ за „громадное количество навоза“, за нашу „соціальную язву“, и пошелъ, и пошелъ“...<sup>2)</sup>

Нѣсколько особнякомъ въ этой группѣ статей прогрессивной печати, посвященныхъ обличенію и высмѣиванію романа „Бѣсы“, стоитъ „Новое Время“, гдѣ по адресу Достоевскаго направлено даже обвиненіе въ „желчной ненависти“ и „зависти“ „ко всему молодому, живому, свѣжему, сильному“. „Несмотря на запутанность, сбивчивость, неясность и какую-то болѣзненную поспѣшность въ изложеніи“, разсуждаетъ критикъ „Новаго Времени“, „главная идея романа проскальзываетъ достаточно ясно, чтобы можно было указать на нее. Сопоставляя, какъ и въ „Идіотѣ“, два поколѣнія, старое и молодое, авторъ съ какой-то желчной ненавистью и, что хуже всего, съ намѣреннымъ желаніемъ исказить основныя черты

<sup>1)</sup> Критикъ имѣетъ въ виду, конечно, „діалогъ“ Лукіана Ἀλέξανδρος ἢ Γερδομάντις (Абонотехейскій отъ Ἀβώνου τεῖχος, — ср. гл. 9 и 10 „діалога“).

<sup>2)</sup> „Одесскій Вѣстникъ“ 1873, № 19. Очерки современной журналистики. С. Г.—В. (=С. Т. Герцъ-Виноградскій). Стр. 73—74.

типа, изображаетъ всё, такъ сказать, безобразія этого послѣдняго. Онъ ясно даетъ понять, что хотя первое и не лишено было многихъ слабостей и недостатковъ, тѣмъ не менѣе насколько оно было выше и человѣчнѣе своихъ потомковъ!— Параллель эта особенно ясна при очеркѣ характеровъ отца и сына Верховенскихъ, хотя, помимо желанія автора, мы все-таки склонны гораздо болѣе симпатизировать безнравственному, положимъ, но умному, энергичному и упорно стремящемуся къ своей цѣли сыну, чѣмъ дряблему, безхарактерному приживальщику-отцу. У одного есть, по крайней мѣрѣ, цѣль въ жизни, какова бы она ни была, а другой только хнычетъ и киснетъ на чужихъ хлѣбахъ... Вообще, грустно сознаться, но *veritas et omnia veritas*: въ каждой строчкѣ романа „Бѣсы“ среди болѣзненной и порой даже бессмысленной суетни, которой наполнены его страницы, сквозитъ какое-то отчаянное сознание своего безсилія и вмѣстѣ съ тѣмъ слѣпая, неумолимая зависть. Да, читатель, зависть, какъ ни грустно намъ указывать на это, зависть ко всему молодому, живому, свѣжему, сильному! Мысль: „мы, дескать, сошли со сцены, мы никуда не годимся“—такъ и шипитъ изъ каждого слова, изъ каждой сцены разбираемаго нами романа. Она-то и заставляетъ уважаемаго когда-то нашей публикой писателя унижаться до недостойныхъ инсинуаций. Это же самое чувство побудило его, очевидно, излить свою желчь и на ветерана нашей литературы Тургенева, котораго онъ, очевидно, изображаетъ въ „Бѣсахъ“ подъ именемъ Кармазина и выставляетъ въ особенно смѣшномъ видѣ на устроенномъ губернаторшей литературномъ чтеніи, гдѣ тотъ со скандаломъ проваливается съ своей бездѣлушкой „Мерси“ (ясный намекъ на „Довольно“ Тургенева). Общее впечатлѣніе, оставляемое романомъ „Бѣсы“, увы! самое печальное и тяжелое, такъ какъ является невольное сознание въ почти окончательной уtratѣ таланта Ѳ. Достоевскаго, пріобрѣтшаго себѣ такую заслуженную извѣстность среди нашей русской читающей публики. Послѣ „Бѣсовъ“ намъ остается только поставить крестъ на этомъ писателѣ и считать его дѣятельность законченною<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> „Новое Время“ 1873, № 16. Журналистика. „Русскій Вѣстникъ“ (ноябрь и декабрь). „Вѣсы“. Ѳ. Достоевскаго. А. С. Стр. 1.

Дѣйствительно, послѣ такого ожесточеннаго развѣичанія прежняго Достоевскаго оставалось только констатировать фактъ паденія его таланта и пропѣть отходную ему, какъ писателю. Критика не остановилась и передъ подобнымъ приговоромъ. Такова именно статья, помѣщенная въ „Сіаніи“ за 1873 годъ. „Если вы имѣли терпѣніе—говорится здѣсь—дочитать до конца это произведеніе нашего, когда-то чрезвычайно популярнаго, беллетриста, то, кромѣ чувства досады и даже сильнѣе его, вы почувствуете сожалѣніе, можетъ даже грусть.. Вамъ будетъ больно видѣть паденіе писателя, безъ сомнѣнія талантливаго, и паденіе человѣка въ этомъ романѣ, украшавшемъ собою въ прошломъ году страницы „Русскаго Вѣстника“. Теперь литературѣ особенно нужны талантливые и честные дѣятели, а передъ вами еще утрата.. Кто не помнитъ, какое производили впечатлѣніе первыя произведенія г. Достоевскаго! Объ нихъ и по поводу ихъ писались критическія статьи, типы его подвергались тщательному анализу, лучшая часть литературы невольно отдавала ему дань уваженія. Теперь же... теперь достаточно небольшого библиографическаго отзыва для „сочиненій“ г. Достоевскаго, написанныхъ размахисто, отчасти по пословицѣ—„не любо не слушай, а вратъ не мѣшай“, густыми красками и кистью малера (sic!), а не художника. Если же изрѣдка и посвящать еще г. Достоевскому довольно обширную статью, то развѣ для того, чтобы яснѣе показать плачевные результаты ренегатства, особенно рѣзко отдѣлать его прежнюю дѣятельность отъ настоящей и въ концѣ концовъ признать его „больнымъ“, а его образы—произведеніями болѣзненно-разстроеннаго воображенія; да и то еще вопросъ: не составляютъ ли подобныя длинныя статьи „по старой памяти“ ошибки?—Пожалуй, „игра не стоитъ свѣчъ“? Да, волей-неволей приходится признать, что съ романомъ „Преступленіе и наказаніе“ мы разстались съ прежнимъ г. Достоевскимъ, которому могли сочувствовать и о которомъ должны были говорить. Теперь мы имѣемъ дѣло съ совершенно другимъ человѣкомъ. Къ нему критика можетъ отнестись лишь равнодушно или съ презрѣніемъ и съ сожалѣніемъ. Единственное не совсѣмъ пріятное оправданіе



его, да и то лишь въ виду прежнихъ заслугъ, извѣстныхъ слова: „не вѣдаютъ то, что творять“... Въ виду ужасовъ и нелѣпостей, измышляемыхъ всеми этими господами, въ виду ихъ безцеремоннаго обращенія съ печатнымъ словомъ и тѣхъ клеветъ, которыя они взводятъ на все молодое и живое, ихъ остается лишь спросить словами поэта, да и то обращаясь въ третьемъ лицѣ, ибо имѣть дѣло съ подобными господами не всегда пріятно:

Съ кого они портреты пишутъ?

Гдѣ разговоры эти слышутъ?...

Все это положительно неизвѣстно. А, между тѣмъ, чего только, какихъ „происшествій“ и „ужасовъ“ нѣтъ въ романахъ этихъ „сочинителей“! И пожары, и убійства, и сѣти интригъ, и политическая агитація, и разбойники, и разные „тайные агенты“, и чуть даже не сходки и митинги—ну, словомъ все „исчадія революціи“. Помилосердуйте, господа!... И ничего еще не сказали специально относящагося къ „Бѣсамъ“, такъ сильно смущавшимъ г. Достоевскаго. Впрочемъ, послѣ всего сказаннаго нечего и говорить о нихъ. Развѣ можно только прибавить, что въ нихъ есть все „эффекты“ и „махинаціи“, все небылицы и ужасы и нѣтъ, по обыкновенію, только одного: истины, справедливости и жизненной правды“..<sup>1)</sup>

Защита романа „Бѣсы“ въ противоположномъ лагерѣ критики велась очень вяло. Это станетъ вполне понятнымъ, если принять во вниманіе, что тенденція романа проведена дѣйствительно рѣзко и что авторъ самъ, какъ онъ говоритъ о томъ въ письмахъ 1870 года, писалъ „вещь тенденціозную“ и хотѣлъ „высказаться погорячѣ“, „вполнѣ открыто и не заигрывая съ молодымъ поколѣніемъ“<sup>2)</sup>, и тѣмъ самымъ парализовалъ попытки сочувствующей ему печати снять съ его романа обвиненіе въ излишней тенденціозности. Но попытки

<sup>1)</sup> „Сіяніе“ 1873, № 15. Новыя книги. Бѣсы. Романъ Федора Достоевскаго. Въ трехъ частяхъ. Спб. 1873. Стр. 239—240.

<sup>2)</sup> Біографія, письма и замѣтки изъ записной книжки Ф. М. Достоевскаго. Спб. 1883. Письма Ф. М. Достоевскаго къ разнымъ лицамъ. Стр. 231 и 236: письма къ А. Н. Майкову отъ 25 марта (6 апрѣля) и 15 (27) декабря 1870 года изъ Дрездена.

въ этомъ направленіи всетаки были сдѣланы <sup>1)</sup>. Такъ въ 1872 году на поддержку романа „Бѣсы“ выступилъ „Русскій Міръ“. Считаю Степана Трофимовича Верховенскаго яркимъ выразителемъ поколѣнія сороковыхъ годовъ, критикъ въ окружающей его молодежи склоненъ вмѣстѣ съ авторомъ романа видѣть выраженіе современнаго ему нигилистическаго движенія, порожденнаго отчасти „слабыми сторонами людей сороковыхъ годовъ“. „Это—стадо“—говоритъ онъ—, „народившееся отъ стараго бѣса сороковыхъ годовъ и снабженное всѣми свойствами стаднаго существованія. Оно простерло неизмѣримо дальше элементы скептицизма и безпорядочности, являющіеся въ натурѣ Степана Трофимовича лишь въ видѣ зародышей; оно отрицаетъ не только то, что отрицалъ Степанъ Трофимовичъ, но и его самого. Всѣ эти отрицающія, безпорядочныя и безпутныя силы, накопившіяся въ обществѣ, среди котораго происходитъ дѣйствіе романа, ищутъ только удобнаго случая, чтобъ прорваться. Случай представляется въ формѣ нелѣпаго праздника, затѣяннаго губернаторшей „въ пользу гувернантокъ“. Разражается величайшій скандалъ, карикатурный, невозможный, но весьма ярко выражающій идею автора. Среди нелѣпой сатурналии, подготовленной „бѣсенятами“, раздается рѣчь маньяка, заѣзжаго петербургскаго профессора, принявшаго участіе въ литературномъ чтеніи“... (Цитируется соотвѣтствующее мѣсто изъ главы I-й третьей части романа)<sup>2)</sup>. Но въ слѣдующемъ году тотъ же критикъ вноситъ въ свое толкованіе романа „Бѣсы“ существенное разъясненіе въ томъ смыслѣ, что дѣйствіе романа, вопреки Достоевскому, претендующему на изображеніе „цѣлой Россіи“, нужно считать „до крайности

<sup>1)</sup> Въ числѣ этихъ попытокъ въ настоящей главѣ не помѣщаются извѣстныя лекціи о Достоевскомъ О. О. Миллера, появившіяся сначала въ „Недѣлѣ“ 1874 г. (№№ 20 и 22), а потомъ перепечатанныя въ книгѣ того же года „Публичныя лекціи Ореста Миллера“ (Русская литература послѣ Гоголя. Десять лекцій. Спб. 1874. Достоевскому посвящены лекціи III-я и IV-я),—на томъ основаніи, что окончательная редакція очерковъ О. Миллера относится къ позднѣйшему времени и подлежитъ разсмотрѣнію во второй части обзора критики о Достоевскомъ.

<sup>2)</sup> „Русскій Міръ“ 1872, № 315. Очерки текущей литературы. Бѣсы и бѣсенята въ послѣдней части романа г. Достоевскаго. А. О. (=В. Г. Авсеенко).

микроскопичнымъ“, т. е. вмѣщающимъ въ своихъ рамкахъ далеко на всѣ „язвы и міазмы“, а лишь „одну изъ множества болячекъ“, которыми страдаетъ русская жизнь. „Что современная Россія“—говоритъ критикъ по поводу извѣстнаго сравненія Россіи съ бѣсами, „выходящими изъ больного и входящими въ свиней“, вложеннаго Достоевскимъ въ качества идеи романа въ уста Степана Трофимовича Верховенскаго (часть третья, глава VII)—„полна накопившихся изъ вѣка въ вѣкъ „язвъ, міазмъ и нечистотъ“—къ этому сознанию пришли люди всѣхъ партій и оттѣнковъ. Что между замѣтными современными дѣятелями существуетъ категорія людей, которымъ весьма приличествуетъ наименованіе бѣсенятъ и о которыхъ весьма утѣшительно думать, что ихъ ждетъ участь евангельскаго свиного стада—объ этомъ также, вѣроятно, никто не будетъ спорить, кромѣ развѣ самихъ „просящихъ“, чтобъ имъ позволено было войти въ свиней. Но насколько первое есть результатъ второго, т. е. насколько язвы и нечистоты, накопившіяся въ Россіи, обязаны своимъ происхожденіемъ дѣятельности бѣсенятъ—это вопросъ, на который едва ли можно отвѣчать простымъ утвержденіемъ. Язвы и недуги современной Россіи—это такая обширная область, на которой будущіе (а можетъ быть, говоритъ Степанъ Трофимовичъ, и настоящіе) обитатели свиного стада образуютъ только одну изъ множества болячекъ. Болячка эта, конечно, заражаетъ весь организмъ; но и кругомъ нея есть множество другихъ, тоже весьма злокачественныхъ болячекъ, и если организмъ замѣтно страдаетъ, то никакъ нельзя сказать, какая именно болячка производитъ главную боль. Такимъ образомъ уже изъ тѣхъ строкъ, которыми авторъ формулируетъ свою идею, видно, что идея эта понята имъ самимъ довольно односторонне, что онъ прицѣпился за цѣлое, категорію подпольныхъ дѣятелей за цѣлое общество. Оттого происходитъ, что въ теченіе цѣлаго романа, на каждой страницѣ, читателю дается почувствовать что-то чрезвычайно общее и широкое, какъ бы долженствующее обнять цѣлую Россію, со всѣми ея „язвами и міазмами“, а между тѣмъ на самомъ дѣлѣ дѣйствіе романа до крайности микроскопично

и возвращается въ такомъ подпольномъ мірѣ, съ которымъ сотни тысячъ людей даже никогда въ свой вѣкъ и не столкнутся“...

Автору романа „Бѣсы“—по мнѣнію критика—, постоянно кажется, будто онъ изображаетъ всю Россію, со всѣми ея язвами и недугами, тогда какъ онъ только расковыриваетъ одну изъ ея болячекъ. Что такое въ самомъ дѣлѣ эти Верховенскіе, Ставрогины, эти Виргинскіе, Шатовы, Лебядкины, Липутины, всѣ эти полу-дѣйствительныя, полу-сочиненныя лица, которыми авторъ окружилъ единственное во всемъ романѣ живое лицо, своего героя, своего бѣса-отца, бѣса сороковыхъ годовъ—Степана Трофимовича? Представляютъ ли они собою типы, преобладающіе хотя бы въ одномъ только учащемся поколѣніи современной Россіи? участвуютъ ли они рѣшительнымъ образомъ въ движеніи жизни? воплощаются ли въ нихъ тѣ стремленія, идеи, даже тотъ *modus vivendi*, съ которыми мы встрѣчаемся среди текущей дѣйствительности? выражаютъ ли они собою господствующее направленіе господствующихъ слоевъ общества, которое одно только можетъ дать уловившему его автору право сказать, что въ его эпопеѣ отразилась вся современная жизнь, со всѣми ея язвами и недугами? Очевидно, что кучка людей, не приспособившихся ни съ какой стороны къ дѣйствительной жизни, людей съ полу-нормальной умственной организаціей, думающихъ по законамъ какой-то своей, недоступной обыкновенному человеку, логики, говорящихъ какимъ-то сочиненнымъ языкомъ, какимъ, кромѣ нихъ не говоритъ ни одинъ смертный, и устраивающихъ въ заоблачномъ городѣ революціонное общество—кучка такихъ людей, конечно, не можетъ представлять собою современной Россіи, такъ точно, какъ и несравненно болѣе удавшееся автору лицо Степана Трофимовича, несмотря на его жизненность и правдивость, не можетъ имѣть мѣста между дѣятелями сегодняшняго общественнаго движенія. Говоря о первыхъ частяхъ „Бѣсовъ“, мы уже указывали на то, что многія подробности этого романа напоминаютъ, какъ отдаленный оригиналъ, послужившій автору темой для романа—извѣстное нечаевское дѣло. Въ послѣд-

нихъ главахъ авторъ уже совсѣмъ приблизился къ своему оригиналу, и убійство Шатова обставлено подробностями, до такой степени вѣрными обвинительному акту, что насчетъ цѣлей автора не можетъ быть никакого сомнѣнія. Но эта немаскированная ссылка на дѣйствительный фактъ, оправдывая до извѣстной степени автора въ неестественности и ненормальности нарисованной имъ картины (потому что природа, какъ свидѣтельствуется судебная хроника, производитъ иногда неестественные и ненормальные характеры), съ другой стороны совершенно опровергаетъ претензію автора отразить въ выведенномъ имъ на сцену подпольномъ муравейникѣ „всю Россію, всѣ ея язвы, міазмы, нечистоты, накопившіяся въ ней отъ вѣка“...<sup>1)</sup>

Совершенно въ томъ же направленіи и тѣмъ же критикомъ (т. е. В. Г. Авсе́нко) проведена была защита романа „Бѣсы“ и въ „Русскомъ Вѣстникѣ“. Не находя въ романѣ вообще Россіи, взятой въ ея цѣломъ, критикъ видитъ въ немъ изображеніе „подполья нашей интеллигенціи“,—этого „вполнѣ патологическаго“ явленія, „порожденнаго безпочвенностію нашей цивилизаціи отъ вчерашняго числа и язвою полуобразованности“. Считая Достоевскаго сатирикомъ этого „подпольнаго міра интеллигенціи“, критикъ выдвигаетъ, какъ особенно важный пунктъ романа, указаніе на господство въ обществѣ „разныхъ людшекъ“, на „безпринципность“ даннаго времени и на наличность въ русской жизни „рыхлой, лишенной упругости сопротивленія, общественной среды“. „Въ этомъ пунктѣ“—говоритъ онъ—„романъ „Бѣсы“ очень близко соприкасается съ послѣдними произведеніями г. Писемскаго, которымъ мы посвятили нашу предыдущую статью („Практическій нигилизмъ“, — „Русскій Вѣстникъ“, іюль). Оба писателя изображили намъ двѣ различныя стороны того умственнаго и нравственнаго броженія, которое воцарилось въ нашемъ обществѣ, какъ результатъ извѣстнаго движенія

<sup>1)</sup> „Русскій Міръ“ 1873, № 5. Очерки текущей литературы. Евангельское повѣствованіе о бѣсахъ въ примѣненіи къ явленіямъ современной русской жизни.—Идея романа „Бѣсы“ г. Достоевскаго.—Подпольный муравейникъ „дѣятелей“, изображенный въ этомъ романѣ.—Насколько въ этомъ муравейникѣ отражается „всѣ“ Россія... А. О. (=В. Г. Авсе́нко).

шестидесятихъ годовъ. Мы видѣли темное подполье, съ „послѣдними корчами подъ свалившимся и наполовину придавившимъ камнемъ“, и широкую арену практической жизни, усвоившую изъ нигилистической доктрины то, что наиболѣе оказалось съ руки матеріальнымъ стяжаніемъ и житейской безпринципности. Какъ ни далеко разошлись между собою, повидимому, эти теченія, оба писателя согласно указываютъ ихъ точку отпавленія. „Вѣкъ безъ идеаловъ, безъ чаяній, безъ надеждъ“, говоритъ г. Писемскій въ заключительныхъ строкахъ комедіи „Ваалъ“. „Не надо науки, не надо образованности, не надо высшихъ способностей!“ восклицаетъ Петръ Степановичъ въ романѣ „Бѣсы“. И тамъ, и здѣсь—отсутствіе идеаловъ, непаивсть къ идеаламъ, протестъ противъ духовнаго неравенства; протестъ ординарныхъ умовъ противъ болѣе развитыхъ организацій—вотъ исходный пунктъ броженія, грозящаго обществу общимъ пониженіемъ интеллектуальнаго и нравственнаго уровня. Дѣйствительно, подъ видимыми успѣхами того матеріальнаго прогресса, которымъ такъ кичатся ординарные, средніе умы, наше время таитъ въ себѣ симптомы внутренняго упадка. Наболѣе опаснымъ изъ этихъ симптомовъ слѣдуетъ почитать то, что самое пониманіе положенія вещей все болѣе и болѣе утрачивается, что теряется сознаніе различія между матеріальными результатами цивилизаціи и внутреннею, движущею ея силою<sup>1)</sup>.

Болѣе вѣское слово въ пользу романа „Бѣсы“ сказано было нѣсколько позже, въ 1875 году. Оно принадлежитъ Вс. С. Соловьеву, едва ли не раньше другихъ увидѣвшему въ романѣ „богатый матеріалъ для уразумѣнія современныхъ явленій“. Статья В. С. Соловьева посвящена собственно роману „Подростокъ“, но въ своей вводной части она касается и романа „Бѣсы“. „Г. Достоевскій“—говоритъ онъ—, „несмотря на безспорный и выходящій изъ ряду талантъ, признаваемы за нимъ даже его литературными врагами, не можетъ назваться любимцемъ русской читающей публики, значительная

<sup>1)</sup> „Русскій Вѣстникъ“ 1873, т. 106, августъ. Общественная психологія въ романѣ „Бѣсы“, романъ Федора Достоевскаго. Въ трехъ частяхъ. С.-Петербургъ. 1873. Г. (=В. Г. Авсеенко). Стр. 829—830.

часть которой просто-напросто боится его романовъ. Читатель, принимаясь за романъ, въ большинствѣ случаевъ ищетъ въ немъ легкаго, занимательнаго чтенія, иногда извѣстнаго рода тенденціи, развитія какой-нибудь модной идейки; не прочь онъ, пожалуй, даже отъ драматическаго содержанія, лишь бы драма была въ мѣру и не слишкомъ разстраивала она нервы. Это и понятно: человѣкъ усталъ отъ дневныхъ дѣлъ и заботъ своихъ, ему хочется отдохнуть, развлечься, стряхнуть съ себя хоть минутно пыль своей дѣйствительности, часто очень некрасивой—и онъ идетъ къ писателю за развлеченіемъ, а не за тяжелой работой для мысли, за впечатлѣніями болѣе или менѣе легкими, скользящими, а не подавляющими. Г. Достоевскій не можетъ удовлетворить этимъ требованіямъ. Съ первыхъ же страницъ схватываетъ онъ читателя и увлекаетъ противъ воли въ свое мрачное царство, гдѣ собрано все, что только есть темнаго, больного, мучительнаго, безобразнаго въ нашей общественной и личной жизни. Онъ вскрываетъ такую глубину человѣческаго я и освѣщаетъ въ ней такія явленія, что иногда, дѣйствительно, морозъ подираетъ по кожѣ; онъ находитъ выраженіе самымъ неуловимѣйшимъ ощущеніямъ и мыслямъ. Въ этомъ удивительномъ схватываніи и выраженіи неуловимыхъ, но, тѣмъ не менѣе, безспорно существующихъ явленій внутренняго міра человѣка и заключается вся мощь таланта г. Достоевскаго; въ направленіи этого тончайшаго анализа, имѣющаго дѣло почти исключительно съ темными и болѣзненными проявленіями человѣческой и общественной жизни, и выражается односторонность его таланта. Впечатлѣніе, оставляемое многими изъ его повѣстей и романовъ, можно сравнить съ тяжелымъ сновидѣніемъ, обусловленнымъ какимъ-нибудь особеннымъ состояніемъ организма: грезится что-то огромное, сложное, иногда съ несмѣтнымъ количествомъ лицъ или событій; все перепутано, все крутится, несется въ какомъ-то вихрѣ, и надо всеѣмъ этимъ царить одно мучительное, давящее и необычайно сильное ощущеніе. Проснешься—даже не помнишь подробностей этого сна; но испытанное въ немъ ощущеніе сохранилось всецѣло, и никогда его не забудешь. Подобное впечатлѣніе, разумѣется, помимо

мыслей, ими вызванныхъ, оставляютъ, главнымъ образомъ, послѣднія произведенія г. Достоевскаго, всего же болѣе романъ „Бѣсы“. Здѣсь авторъ нѣсколько отходитъ отъ своего исключительно субъективнаго взгляда въ анализѣ внутренняго міра отдѣльнаго человѣка и подвергаетъ анализу тѣ явленія современной общественной жизни, которыя представляются ему странными и безобразными. Что не выдуманы имъ эти явленія, а дѣйствительно существуютъ—въ этомъ долженъ убѣдиться каждый зрячій человѣкъ, не ограничивающій свой кругозоръ тѣсными рамками той сферы, въ которой онъ постоянно вращается. Напрасно авторъ статьи „Русская литература въ 1874 году“, помѣщенной въ 4. № „Недѣли“, говоря объ изданіи журнала „Время“, редакторомъ котораго былъ г. Достоевскій, замѣчаетъ, между прочимъ, слѣдующее: „...Сопоставляя это общаніе съ именемъ г. Достоевскаго, славу котораго въ то время составляли не „Бѣсы“, а „Бѣдные люди“ и потомъ „Записки изъ Мертваго Дома“, общество встрѣтило новый журналъ съ замѣтнымъ сочувствіемъ“... Исторія нашей литературы доказываетъ, что сочувствіемъ или несочувствіемъ читателей не всегда еще можно измѣрять значеніе и достоинство литературнаго просвѣщенія (sic! произведенія?), и намъ кажется, что „Бѣсы“, дѣйствительно, встрѣченные весьма многими съ какимъ-то недоумѣніемъ; несмотря на это, все же представляютъ одно изъ крупнѣйшихъ и замѣчательнѣйшихъ явленій современной литературы. Въ романѣ много неяснаго и безпорядочнаго, и онъ напоминаетъ, какъ мы уже сказали, впечатлѣніе тяжелаго сна; но всѣ эти недостатки порождаются сущностью той задачи, которую взялъ на себя авторъ. Человѣкъ, окруженный атмосферой, въ которую медленно проникаютъ міазмы, не замѣчаетъ существованія этихъ міазмовъ, и если даже оно ему доказано, то нужно необыкновенно развитое обоняніе и много усилій, чтобъ уловить ихъ. Авторъ „Бѣсовъ“ живетъ въ нашей атмосферѣ, и только необычайная чуткость его таланта позволяетъ ему замѣчать окружающіе насъ міазмы. Спѣша уловлять ихъ и подвергать анализу, онъ весь отдается этой работѣ и вотъ почему не всегда можетъ удовлетворять



нѣкоторымъ условіямъ, требуемымъ отъ романиста. Только спокойный взоръ человѣка, находящагося внѣ нашей атмосферы, въ извѣстномъ отдаленіи отъ нашей эпохи, увидитъ итогъ современныхъ явленій, ихъ результаты, и найдетъ въ твореніяхъ г. Достоевскаго богатый матеріалъ для уразумѣнія этихъ явленій. Поэтому намъ кажется, что вполне вѣрная и безпристрастная оцѣнка „Бѣсовъ“ возможна только въ будущемъ<sup>1)</sup>.

Спокойная оцѣнка романа „Бѣсы“, какъ матеріала для „уразумѣнія современныхъ явленій“, наступила однако гораздо раньше, чѣмъ это предполагалъ В. С. Соловьевъ; и по странному совпаденію она высказана была именно въ той радикальной части критики, гдѣ романъ подвергнутъ былъ безпощадному обличенію. Здѣсь поставлены были два, такъ сказать, нейтральныхъ вопроса, стоящіе внѣ споровъ объ узкой тенденціозности Достоевскаго, именно одинъ вопросъ объ общественно-психологической сторонѣ романа „Бѣсы“, а другой—о субъективной его сторонѣ.

Первый вопросъ отчасти рѣшается въ цитированной выше статьѣ В. Г. Авеѣнко, который тоже ищетъ въ романѣ Достоевскаго „общественной психологіи“; но для него „подполье нашей интеллигенціи“, изображенное Достоевскимъ, является просто продуктомъ „полуобразованности“ и „нравственнаго и житейскаго разгильдяйства“ и не нуждается въ болѣе тщательномъ анализѣ со стороны причинъ, его породившихъ; впрочемъ, самъ онъ оговаривается въ другой своей статьѣ, помѣщенной въ „Русскомъ Мірѣ“, что герои романа „Бѣсы“, эти обитатели „подпольнаго міра“ русской интеллигенціи, „при всей своей взбалмошности и даже глупости... заняты постоянной умственной работой“, такъ какъ „ихъ постоянно преслѣдуетъ стремленіе додуматься до чего-то оригинальнаго, новаго, высшаго въ сравненіи съ тѣмъ, что они предполагаютъ въ окружающей ихъ дѣйствительности“. „Даже такой—поясняетъ критикъ—полупо-

<sup>1)</sup> „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1875, № 32. Наши журналы. *Sine ira* (=Вс. С. Соловьевъ). Ту же мысль о „будущей“ оцѣнкѣ романовъ „Бѣсы“ и „Подростокъ“ В. С. Соловьевъ повторилъ въ журн. „Нива“ 1878, № 1. Федоръ Михайловичъ Достоевскій. Стр. 2—3.

мѣшанный фанатикъ, какъ Шигалевъ, и тотъ гнушается фурьеризма и обыкновенныхъ, испытанныхъ средствъ революціи и изобрѣтаетъ собственную систему—шигалевщину... Другое лицо, маньякъ Кирилловъ, тоже притянутый къ муравейнику и его подпольной организаціи, еще яснѣе выражаетъ присущее всѣмъ этимъ людямъ стремленіе до чего-нибудь додуматься, что-нибудь выжать изъ своего хилаго ума"...<sup>1)</sup>

Характеръ этой умственной работы и связанной съ нею психики героев романа „Бѣсы“ обстоятельно разъясняетъ съ историко-общественной точки зрѣнія другой изъ цитированныхъ выше критиковъ, П. Н. Ткачевъ. Относясь вообще отрицательно къ роману Достоевскаго, критикъ однако заставляетъ себя „въ кучѣ всякой лжи и фантастическихъ вымысловъ“ отыскивать „зернушки такъ-называемой жизненной правды“ и находить ихъ, главнымъ образомъ, въ общественно-психологической сторонѣ романа, „больные“ герои котораго представляются ему естественнымъ продуктомъ ненормальныхъ условій въ исторіи развитія русской интеллигенціи. „Мы видѣли уже—говоритъ онъ—, что ложно и вымысленно въ изображеніи больныхъ людей молодого поколѣнія, выведенныхъ г. Достоевскимъ. Ложны ихъ характеры, вымысленно содержаніе ихъ бреда. Посмотримъ теперь, что у него—истинно и реально“... „Истиннымъ и реальнымъ“, по мнѣнію критика, надо признать какъ самый фактъ болѣзни русской интеллигенціи, такъ и ту основную причину, которая вызвала это общественно-психологическое явленіе. „Развитіе новыхъ интеллектуальныхъ потребностей, новыхъ кругозоровъ мысли съ одной стороны, а съ другой—невозможность дать возбужденной потребности надлежащее удовлетвореніе, проявить свои новыя мысли въ соотвѣтствующей имъ дѣятельности,—безъ сомнѣнія, должно было крайне вредно отразиться на психическомъ организмѣ этихъ людей. Конечный результатъ мысли—цѣлесообразная дѣятельность; въ дѣятельности она находитъ и свое высшее

<sup>1)</sup> „Русскій Міръ“ 1873, № 5. Очерки текущей литературы... А. О. (=В. Г. Авеѣнко). Стр. 2.

проявленіе, и свою повѣрку, и матеріаль для дальнѣйшаго развитія. Мысли, не завершающіяся дѣятельностью, мысли бездѣятельныя, очень скоро вырождаются и становятся болѣзненными мыслями.. Лишенная возможности реагировать на внѣшній міръ, (идея) уходитъ въ себя и давитъ всею своею тяжестью на внутренній міръ человѣка, угнетаетъ его, подчиняетъ его своему деспотическому игу. Она, говоря словами одного изъ дѣйствующихъ лицъ „Бѣсовъ“, съѣдаетъ человѣка. Человѣкъ, поѣдаемый идеею, относится къ ней, въ свою очередь, совершенно пассивно и, такъ сказать, страдательно; его нельзя назвать фанатикомъ идеи,—съ этимъ понятіемъ у насъ невольно сочетается представленіе объ активности, объ энергическомъ обнаруженіи идеи во внѣшнемъ мірѣ, о цѣлесообразной дѣятельности. Но тутъ нѣтъ ничего подобнаго: тутъ полная бездѣятельность. Въ одномъ только отношеніи этотъ „съѣдаемый идеею“ человѣкъ похожъ на фанатика: онъ такъ же, какъ и послѣдній, одностороненъ и исключителенъ... Такова въ общихъ чертахъ исторія умственного вырожденія людей, у которыхъ самыя любимыя, заветныя и дорогія идеи поражены роковымъ безспіемъ,—людей, которые и не смѣютъ, и не умѣютъ открыть доступъ своему идеалу во внѣшній міръ—въ міръ широкой, практической дѣятельности. Такова была и исторія помѣшательства Шатова, Кириллова, Шигалева... Правда, авторъ, совершенно неспособный войти во внутренній міръ незнакомой ему жизни, ни единымъ словомъ не касается этой исторіи; онъ представляетъ намъ только окончательный результатъ и людей, съѣдаемыхъ идеею“... Переходя затѣмъ къ основному мотиву, отъ котораго отправляется въ своемъ развитіи болѣзненная психика героевъ романа „Бѣсы“, критикъ опредѣляетъ его слѣдующими чертами: „Устранимъ на время содержаніе идей, развиваемыхъ „больными“ г. Достоевскаго, и посмотримъ на вызвавшій ихъ мотивъ. У всѣхъ у нихъ онъ одинаковъ; у всѣхъ у нихъ была одна и та же исходная точка—это желаніе принести людямъ возможно-большую пользу... У каждого изъ нихъ, какъ хочетъ показать авторъ, благородная и безкорыстная идея жить на пользу ближнихъ,

всецѣло посвятить себя служенію ихъ интересамъ, выродилась въ какую-нибудь узенькую и нелѣпую идейку, деспотически овладѣвшую ихъ существомъ,—идейку, на алтарѣ которой они самымъ добросовѣстнымъ образомъ сжигаютъ свою жизнь... Вырожденіе идеи разумной и плодотворной въ идею безумную и нелѣпую здѣсь вызывалось роковою необходимостью, всею совокупностью тѣхъ внутреннихъ и вѣшнихъ условій, подѣ влияніемъ которыхъ развила и сформировалась его умственная жизнь... Однако общія черты процесса вырожденія и тутъ остаются тѣ же: не имѣя возможности перевести свою идею въ дѣло, не умѣя и не смѣя отыскивать для нея какое-нибудь дѣйствительное удовлетвореніе, они начинаютъ приискивать для нея какое-нибудь мнимое, фантастическое удовлетвореніе. Результатомъ такого исканія и является безумная идея, и они отдаются этой идеѣ всеѣмъ своимъ тѣломъ и всею своею душою, потому что она примиряетъ ихъ съ печальною необходимостью жить идеею и ничего не мочь сдѣлать для этой идеи<sup>1)</sup>.

Другой нейтральный вопросъ, связанный съ анализомъ содержанія романа „Бѣсы“, именно вопросъ о субъективной сторонѣ романа, рѣшенъ былъ до извѣстной степени Н. К. Михайловскимъ<sup>2)</sup>. Считая такихъ героев романа „Бѣсы“, какъ Ставрогинъ, Шатовъ, Петръ Верховенскій, Кирилловъ, Шигапелевъ, „исключительною собственностью г. Достоевскаго“ (т. е. не „взятыми на прокатъ у гг. Стебницкихъ и Ключниковыхъ“, подобно другимъ образамъ того же романа), Н. К. Михайловскій именно въ кругу этихъ дѣйствующихъ лицъ видитъ обнаруженіе субъективныхъ взглядовъ самого автора: по его мнѣнію, въ этомъ романѣ Достоевскій употребляя свой обычный пріемъ, рѣшаетъ при помощи своихъ

<sup>1)</sup> „Дѣло“ 1873, № 4. Современное обозрѣніе. Больные люди („Бѣсы“, романъ Федора Достоевскаго. Въ трехъ частяхъ. Спб. 1873). П. Н. (=И. Н. Ткачевъ). Стр. 376—380.

<sup>2)</sup> „Отечественныя Записки“ 1873, т. 206, февраль. Литературныя и журнальныя замѣтки. „Цурриры“ „Гражданина“.—Отчего г. Достоевскій не пользуется темами, подходящими къ его таланту, и беретъ неподходящія.—Комментаріи къ „Бѣсамъ“.—„Дневникъ Писателя“—Власы и citoyens du monde civilisé.—Тѣхъ ли и всѣхъ ли бѣсовъ нарисовалъ г. Достоевскій? Н. М. Стр. 314—343.

„психіатрическихъ субъектовъ“ извѣстную „нравственную задачу“. Задача эта захватываетъ кругъ религіозныхъ и социальныхъ вопросовъ, обвѣянныхъ свойственнымъ Достоевскому мистицизмомъ. „...Мы видимъ—говоритъ критикъ—небольшую группу излюбленныхъ авторомъ героевъ, молодыхъ людей, занимающихся разрѣшеніемъ религіозныхъ вопросовъ, въ которыхъ для нихъ кульминируется вся злоба дня. „Вы атеисты?“—Да. „Вѣруете вы сами въ Бога?“—Я вѣрую въ Россію, я вѣрую въ ея православіе... Я вѣрую въ тѣло Христова. Я вѣрую, что новое пришествіе совершится въ Россіи.— „А въ Бога? въ Бога?“—Я... Я буду вѣровать въ Бога. „Вы стали вѣровать въ будущую вѣчную жизнь?“—Нѣтъ, не въ будущую вѣчную, а въ здѣшнюю вѣчную... Онъ придетъ, и имя ему челоѣкобогъ.— „Богочелоѣкъ?“—Челоѣкобогъ, въ этомъ разница.— „Ужъ не вы ли и лампадку зажигаете?“—Да, это я зажигаю.— „Увѣровали?“— „Богъ—необходимъ, а потому долженъ быть, по я знаю, что его нѣтъ и не можетъ быть“. Вотъ вопросы и отвѣты, имѣющіе мѣсто между тремя самыми видными изъ излюбленныхъ героевъ г. Достоевскаго. Изъ этого источника берутъ начало и ихъ социальные теоріи“...

Избравъ фабулой для своего романа извѣстное „нечаевское дѣло“, Достоевскій, по мнѣнію Михайловскаго, не имѣлъ никакого основанія группировать около этого дѣла „людей, проникнутыхъ мистицизмомъ“, а потому слѣдуетъ признать, что герои романа „Бѣсы“, составляющіе „исключительную собственность“ автора, надѣлены и его собственными „эксцентрическими идеями“. Носителемъ этихъ идей по преимуществу является Шатовъ, возрѣнія котораго, совпадающія съ „кровными, душевными мыслями г. Достоевскаго“, сводятся, по мнѣнію Михайловскаго, къ слѣдующему: „Вѣками сложилась русская почва и русская правда, сложились извѣстныя понятія о добрѣ и злѣ. Петровскій переворотъ раздѣлилъ народъ на двѣ части, изъ которыхъ одна, меньшая, чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе теряла смыслъ русской правды, а другая, большая, только слегка подернулась этимъ движеніемъ. Когда первая часть, меньшинство, образованные

классы обратили наконецъ свое вниманіе на большинство, на народъ, обратились къ нему даже съ любовью и желаніемъ добра, они уже не понимали его. Если они и любили народъ, то не этотъ, который тутъ, возлѣ нихъ реально существовалъ, а народъ идеальный, созданный ихъ воображеніемъ по западно-европейскимъ образцамъ. А любить идеальный народъ, любить „общечеловѣка“, значить презирать или ненавидѣть народъ, существующій въ дѣйствительности. Этого мало. По мѣрѣ удаленія отъ народной правды, народныхъ понятій о добрѣ и злѣ, образованные *citoyens du monde* теряли всякое чутье въ различеніи добра и зла, потому что въ народныхъ преданіяхъ нѣтъ почвы для такого различенія, на него неспособны ни разумъ ни наука. А между тѣмъ нѣкоторые, по крайней мѣрѣ, тянутся къ этому различенію, и вотъ они мечутся, ищутъ и ничего не находятъ, а назадъ вернуться уже не могутъ. Они и погибнуть. Можетъ быть, они увлекутъ за собой временно и народъ, можетъ быть уже и увлекаютъ, но въ концѣ концовъ Власы <sup>1)</sup> скажутъ свое слово и спасутъ себя и насъ“.

Эта „теорія г. Достоевскаго-Шатова“ объясняетъ—такъ думаетъ Михайловскій—и основную идею „Бѣсовъ“, стоящую въ то же время въ связи съ „нѣкоторыми любопытными соображеніями“ въ „Дневникѣ Писателя“. Въ идеѣ романа—такъ же, какъ и въ теоріи Шатова—критикъ видитъ субъективную его сторону. „Бѣсоватый больной (такъ формулируетъ Михайловскій идею „Бѣсовъ“) — это Россія, въ которую вселились бѣсы, въ точности неизвѣстно когда. Бѣсы—это утрата способности различать добро и зло. Стадо свиней, пасущееся недалеко,—это оторванные отъ народной почвы *citoyens du monde*, это „мы, мы и тѣ, и Петрушка et les autres avec lui“. Всѣ они сохранили въ себѣ одну черту русскаго народнаго характера,—потребность дерзости, жажду отрицанія и разрушенія. Весь романъ представляетъ рядъ болѣе или менѣе дерзкихъ выходовъ и подвиговъ отрицанія

<sup>1)</sup> Ср. „Дневникъ Писателя“ 1873, V, „Власть“ („Гражданинъ“ 1873, № 4): „Я все же того мнѣнія, что вѣдь послѣднее! слово скажутъ они же, вотъ эти самые разные „Власы“, кающіеся и не кающіеся“...

и разрушенія, совершаемыхъ разными типами *citoyen'* овъ. Одинъ пускаетъ мышь въ кіоту образа, другой надругается надъ самыми святыми чувствами, третій хѣритъ всю вѣковую русскую исторію, четвертый безцѣльно и бессмысленно оскорбляетъ людей, пятый объявляетъ себя богомъ, шестой проповѣдуетъ всеобщій развратъ и проч. и проч. Все это совершается въ силу особенной черты русскаго характера, заставившей и дерзостнаго мужика, Власа, покушаться на разстрѣліаніе причастія. Но изъ Власа бѣсъ забвенія границъ добра и зла немедленно выходитъ, Власъ не теряетъ чувства грѣха и жаждетъ искупленія, страданія. *Citoyen'* ы неспособны къ этому. Отрицая, разрушая, дерзая, не только въ силу народной безсознательной особенности, а и во имя чуждыхъ, общечеловѣческихъ идеаловъ, они не чувствуютъ грѣха, они гордятся имъ, а если и чувствуютъ, то не въ силахъ понести искупающее страданіе. Они вѣшаютъ, стрѣляются, окунаются въ омутъ разврата и подлости, впадаютъ въ систематическое, хроническое преступленіе, словомъ, такъ или иначе, одолѣваемые вселившимся въ нихъ бѣсомъ, бросаются со скалы въ море и тонутъ. Возврата, спасенія нѣтъ даже для Шатова, который съ болѣзненною ясностью сознаетъ ужасъ своего положенія“.

Попытки болѣе спокойнаго отношенія къ роману „Бѣсы“, сдѣланныя, какъ мы видѣли, даже въ прогрессивной критикѣ, получили дальнѣйшее развитіе въ примѣненіи къ роману „Подростокъ“, близко стоящему по содержанію къ „Бѣсамъ“. Этотъ романъ<sup>1)</sup>, конечно, тоже вызвалъ нѣкоторый обмѣнъ двухъ крайнихъ точекъ зрѣнія, прогрессивной и консервативной. Такъ, провинціальная печать еще разъ повторила по адресу Достоевскаго обвиненіе въ оклеветаніи русской молодежи: „Въ чемъ-же идея романа?“ спрашиваетъ критикъ „Одесскаго Вѣстника“ и отвѣчаетъ: „Да въ томъ же, въ чемъ и идея „Вѣсовъ“. Г. Достоевскій продолжаетъ и въ этомъ романѣ смотрѣть на молодую Россію, какъ на какой-то скотный дворъ Авгія, запруженный нечистотами“... Герой

<sup>1)</sup> „Подростокъ“ былъ напечатанъ впервые въ „Отеч. Зап.“ 1875 года за мѣсяцы—январь, февраль, апрѣль, май, сентябрь, ноябрь, декабрь.

„Подростка“, по мнѣнію критика,—„нравственный уродъ“, который „уже съ первыхъ страницъ романа отталкиваетъ васъ отъ себя своимъ нравственнымъ безобразіемъ“... <sup>1)</sup> И вообще—заключаетъ критикъ—„мы присутствуемъ въ „Подросткѣ“,—такъ же, какъ и въ „Идіотѣ“ и въ „Бѣсахъ“ того же автора,—при изображеніи не дѣйствительности, а чего-то такого, что кажется ходящимъ вверхъ ногами“... Поэтому „весь романъ г. Достоевскаго можетъ быть названъ беллетристической психіатріей, или лучше психіатрической беллетристикой. И конечно, каждый изъ насъ предпочтетъ самую плохую специальную книжку о психіатріи хорошему психіатрическому роману, а таковымъ романъ г. Достоевскаго далеко не представляется“ <sup>2)</sup>. Точно также, по мнѣнію критика „Кіевскаго Телеграфа“, Достоевскій, возводя въ своемъ романѣ „образъ помѣшаннаго въ типъ“ въ то же время тенденціозно „нападаетъ исключительно на нигилистическое проявленіе эгоизма, имъ только занимается и совершенно не касается той сферы, гдѣ этотъ эгоизмъ проявляется болѣе несомнѣнно, болѣе грубо и рельефно, и при томъ въ болѣе широкихъ размѣрахъ“... Критикъ думаетъ даже, что, по мнѣнію Достоевскаго, этотъ „всепоглощающій“ эгоизмъ служить „подкладкою въ убѣжденіяхъ и дѣйствіяхъ тѣхъ, которые считаютъ себя героями и мучениками за правду“; такимъ образомъ тенденціозная идея романа сводится къ тому, чтобы подчеркнуть „весь вредъ“ современной жизни не тамъ, гдѣ слѣдуетъ, а именно въ молодомъ поколѣніи. „Общество, правда, утопаетъ въ эгоизмѣ—такъ разсуждаетъ, по пониманію критика, въ своемъ романѣ Достоевскій—, но это не бѣда; жизнь есть всегда борьба добра и зла, и только бы зло не могло взять перевѣса, все будетъ обстоять благополучно. А въ обществѣ противовѣсъ имѣется—это спасительныя традиціи добраго стараго времени. Въ молодомъ-же поколѣніи основы не признаются, ибо вѣры нѣтъ, и вотъ тутъ-то эгонистическій духъ времени вступаетъ во всѣ свои

<sup>1)</sup> „Одесскій Вѣстникъ“ 1875, № 36. Литературныя и общественныя замѣтки. Новый романъ г. Достоевскаго Z. Z.—Z. Стр. 2.

<sup>2)</sup> Тамъ же, № 58. Продолженіе той же статьи. Стр. 1.



права и производитъ свое разрушительное дѣйствіе. Посмотрите только, какъ этотъ духъ времени ломаетъ въ молодыхъ людяхъ все прекрасное, чѣмъ снабдила ихъ добрая русская природа, и какъ опустошительно онъ воздѣйствуетъ черезъ нихъ на все мирно окрестъ процвѣтающее благосостояніе!...<sup>1)</sup> Въ противоположномъ лагерѣ критики была, въ свою очередь, поддержана тенденція Достоевскаго изобразить дѣйствительное „подполье русской интеллигенціи“ вообще и „исчадіе общества“ въ лицѣ героя романа въ частности<sup>2)</sup>.

Но виѣ этихъ нѣсколькихъ примѣровъ „Подростокъ“ не вызвалъ такого рѣзкаго обостренія мнѣній въ критикѣ, какъ это наблюдалось при появленіи романа „Бѣсы“. Наоборотъ, большинство отзывовъ критики сошлись теперь на признаніи общественно-психологическаго интереса этого романа примѣнительно, главнымъ образомъ, къ современной ему русской жизни<sup>3)</sup>. На эту тему прежде другихъ вы-

<sup>1)</sup> „Кіевскій Телеграфъ“ 1875, № 19. Журнальное обозрѣніе. Отечественныя Записки. Январь. „Подростокъ“, романъ Ф. Достоевскаго. Т. Л. К. Стр. 1. Черезъ годъ въ томъ же журналѣ высказана была (см. ниже. стр. 170—171) уже совсѣмъ иная точка зрѣнія на тотъ же романъ.—Такое же отрицательное отношеніе къ роману „Подростокъ“ см. „Иллюстрированная Недѣля“ 1875, №№ 7, 10, 14, 19, 22, 39, 49. Петербургскія письма. Въ слѣдующемъ году то же періодическое изданіе, полемизируя съ „Русскимъ Міромъ“, гдѣ велась защита романа „Подростокъ“, прямо указывало, ссылаясь на Н. М. (Михайловскаго?), на то, что въ „Подросткѣ“ авторъ клеветаетъ на русскую молодежь („Иллюстр. Газета. Иллюстр. Недѣля“ 1876, № 3—стр. 22, № 5—стр. 39. Петербургскія письма).

<sup>2)</sup> „Русскій Миръ“ 1875, № 27. Очерки текущей литературы. Новогодняя книжка „Отечественныхъ Записокъ“... А. О. (=В. Г. Авсе́нко). „Русскій Вѣстникъ“ 1876. Январь. Литературное обозрѣніе. А. (=В. Г. Авсе́нко). Стр. 505—508. Ср. также „Моск. Вѣдомости“ 1875, № 291. Литературная кунсткамера. Страничка. Здѣсь романъ „Подростокъ“ разсматривается, какъ иллюстрація вреднаго увлеченія западной культурой: „подростокъ“ стыдится матери и благоговѣетъ передъ французомъ Тушаромъ.

<sup>3)</sup> Это относительное согласіе критики 70-хъ годовъ въ отзывахъ, посвященныхъ „Подростку“, объясняется прежде всего усиленіемъ въ ней объективности сужденій, въ значительной степени утерянной въ предыдущемъ десятилѣтіи, а вмѣстѣ съ тѣмъ и развитіемъ серьезнаго вниманія къ творчеству Достоевскаго. Но, можетъ быть, въ этомъ отношеніи имѣло значеніе и частное обстоятельство,—именно то, что „Подростокъ“ появился на страницахъ передового журнала „Отеч. Записки“ и этимъ нѣсколько сблизилъ критику съ позиціи. (Ср. оговорку, сдѣланную по этому поводу Н. К. Михайловскимъ—„Отеч. Зап.“ 1875, т. 218, янв. „Записки профана“, стр. 157-8—, недоумѣніе по тому же поводу, выраженное въ „Новомъ Времени“ 1875, № 55—Письма о текущей литературѣ и еще кое о чемъ. Экзе́ (=А. П. Чебышевъ-Дмитріевъ?)—и въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ 1876, № 1—Литературное обозрѣніе. Стр. 499 А—всѣнко—, и замѣчаніе объ отношеніи редакціи „Отеч. Зап.“ къ „Подростку“ Достоевскаго въ „С-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“ 1875, № 32—Наши журналы, *Sine ira*—В. С. Соловьевъ).

сказался В. С. Соловьевъ въ той же статьѣ, въ которой онъ выдвинулъ серьезное значеніе романа „Бѣсы“, какъ матеріала для „уразумѣнія современныхъ явленій“. „Являются новые люди, сложные люди—говорить онъ о „подросткѣ“ и окружающей его средѣ—, и рядомъ съ этими людьми оказываются порождающіе ихъ или порождаемые ими, новые, непреложно существующіе, тяжелые признаки времени. Слѣдя за тѣмъ, какъ нарождаются, развиваются и превращаются во что-то огромное и мучительное эти безобразные признаки времени, невольно спрашиваешь себя: что же это, наконецъ, такое? ужъ не сонъ-ли это, не болѣзненная-ли грѣза?! Но это не сонъ и не грѣза, это жизнь, въ которую прорвалось откуда-то тлетворное, заражающее, мутящее мысль и чувство дуновение. Много порождаетъ оно невиданныхъ и неслыханныхъ доселѣ явленій; нѣкоторыя изъ нихъ остаются незамѣченными, на нихъ обращаютъ мало вниманія, не хотятъ придать имъ особеннаго значенія; но другія бросаются прямо въ глаза, кричатъ ежедневно, кричатъ со столбцовъ каждой газеты. Возьмемъ одинъ изъ самыхъ выдающихся, самыхъ безобразныхъ признаковъ нашего времени—постоянно возростающія, проникающія во всѣ слои общества, самоубійства. У насъ уже до того доходить, что и на самоубійства почти перестаютъ обращать вниманіе, разговоры объ этомъ предметѣ становятся уже не интересными, тема ихъ не поражающей, не новой, „не либеральной“ (да, „не либеральной“—не мы выдумали и примѣнили къ данному случаю это нелѣпное опредѣленіе)—а, между тѣмъ, ежедневно кто-нибудь себя убиваетъ... (Приводится рассказъ изъ романа о самоубійствѣ Оли) <sup>1)</sup>. Такимъ образомъ В. С. Соловьевъ признаетъ—какъ онъ выражается въ другой своей статьѣ, посвященной тому же роману,—„дѣйствительность болѣзненныхъ явленій“, изображенныхъ въ „Подросткѣ“, хотя и не распространяетъ ихъ на все русское общество <sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> С. Петербургскія Вѣдомости 1875, № 58. Наши журналы. Sine ira—В. С. Соловьевъ. Стр. 1. Начало статьи—въ № 32-мъ, гдѣ передается содержаніе первыхъ главъ романа и характеризуется на основаніи ихъ герой—„подростокъ“.

<sup>2)</sup> „Русскій Міръ“ 1875, № 181. Русскіе журналы. В. С.

Эти „болѣзненные явленія“ охватываютъ извѣстный кругъ молодежи, вырастающей въ ненормальныхъ условіяхъ и заранѣе осужденной на „безповоротное паденіе“, которое нерѣдко готовятъ разные сознательные негодяи-шантажисты, эксплуатирующіе жалкую, хотя еще и не безнадежно погибшую, молодежь для своихъ гнусныхъ цѣлей: „О. М. Достоевскій выводитъ на сцену жалкихъ юношей, лишенныхъ благотворнаго вліянія и поддержки. Въ нихъ есть еще и иногда проявляются наружу хорошіе инстинкты; но приманки праздной, беспорядочной жизни оказываютъ могучее давленіе на слабую волю. Вотъ что одинъ изъ этихъ потерянныхъ мальчиковъ говоритъ про другого: „Вы не повѣрите, какъ Андреевъ несчастенъ. Онъ проѣлъ и пропилъ приданое своей сестры, да и все у нихъ проѣлъ и пропилъ въ тотъ годъ, какъ служилъ, и я вижу, что онъ теперь мучается. А что онъ не моется—это онъ съ отчаянья. И у него ужасно странныя мысли: онъ вамъ вдругъ говоритъ, что и подлець, и честный—это все одно и нѣтъ разницы, и что не надо ничего дѣлать, ни добраго, ни дурного, или все равно—можно дѣлать и доброе и дурное, а что лучше всего лежать, не снимая платья по мѣсяцу, пить да ѣсть, да спать—и только. Но повѣрьте, что это онъ—только такъ. И знаете, я даже думаю, что онъ теперь накуралесилъ потому, что захотѣлъ совсѣмъ покончить съ Ламбертомъ (эксплуаторъ шантажниковъ). Онъ еще вчера говорилъ. Вѣрите ли, онъ иногда ночью, или когда одинъ долго сидитъ, то начинаетъ плакать, и, знаете, когда онъ плачетъ, то какъ-то особенно, какъ никто не плачетъ: онъ зареветъ, ужасно зареветъ, и это, знаете, еще жалче.... И къ тому же, такой большой и сильный и вдругъ—такъ совсѣмъ зареветъ. Какой бѣдный, не правда ли? Я его хочу спасти, а самъ—я такой скверный, потерянный мальчишка, вы не повѣрите!..“ Этотъ мальчикъ признается дальше, что онъ рѣшительно ни въ чемъ себя удержать не можетъ и на все готовъ, чтобъ только обѣдать по ресторанамъ и имѣть лишнія деньги. И вотъ такія жалкія, испорченныя, но еще не вполне безнадежныя дѣти попадаютъ въ руки сознательныхъ уже негодаевъ, которые ихъ эксплуатируютъ и за вкус-

ный обѣдъ наталкиваютъ на самое гнусное преступленіе, какое только выдвинуто подонками современнаго общества. Такіе юноши могутъ имѣть только два исхода—или окончательное, безповоротное паденіе, или самоубійство, превратившееся въ ежедневный, никого не смущающій фактъ. Шантажъ—явленіе такого рода, на которое нельзя не обратить особеннаго вниманія. Даже трудно высчитать и предвидѣть всѣ ужасныя послѣдствія, могущія произойти отъ этой язвы. Только крайнее разложеніе французскаго общества послѣднихъ лѣтъ Второй Имперіи способно было выдумать и создать подобную гнусность, до сихъ поръ еще неизвѣстную исторіи и не предусмотрѣнную ни однимъ закономъ. Какъ же мыслящему человѣку и писателю не указывать на нее и не требовать отъ общества самаго серьезнаго отношенія къ такому вопросу? Мы высоко цѣнимъ чуткость таланта Ф. М. Достоевскаго, постоянно подмѣчающаго каждое ядовитое испареніе, появляющееся въ общественной атмосферѣ и отравляющее слабыя побѣги молодой жизни<sup>1)</sup>.

Впрочемъ не одну только молодежь изобразилъ Достоевскій: онъ—какъ находить одинъ изъ провинціальныхъ обозрѣвателей романа—нарисовалъ вообще современныя „жизненные явленія“ и нарисовалъ „правдиво, безъ утрировки, безъ искаженія въ ту или другую сторону, смотря по симпатіямъ автора, безъ умалчиванья о колющей глаза правдѣ“. Поэтому по роману Достоевскаго можно вообще „судить жизнь“, но по преимуществу „міръ, описываемый г. Достоевскимъ—такъ называемый „культурный слой“. Самъ Достоевскій (такъ разсуждаетъ критикъ)—„одинъ изъ лучшихъ и умнѣйшихъ сторонниковъ культурнаго слоя“, и, слѣдовательно, „предполагать, что авторъ пересолнилъ именно въ осужденіе, а не въ оправданіе его (т. е. культурнаго слоя),—у насъ, по меньшей мѣрѣ, нѣтъ основаній“. Скорѣе можно думать, что авторъ отнесся къ нему „нѣсколько пристрастно“, но „для насъ это все равно, такъ какъ въ романѣ достаточно черныхъ красокъ для самаго беспощаднаго осужденія „слоя“. Охарактеризовавъ затѣмъ, въ лицѣ Версилова, Анны Андреевны Версиловой,

<sup>1)</sup> „Русскій Міръ“ 1875, № 237. Русскіе журналы. Новыя главы романа „Подростокъ“. В. С. Стр. 2.

„подростка“, Ламберта и др., изображенный въ романѣ „бедламъ“, критикъ заключаетъ: „Весь романъ построенъ на двухъ пружинахъ: страсти къ наживѣ и любовной, и обѣ эти страсти доходятъ въ людяхъ этого слоя до маніи, до какого-то дикаго остервенѣнія“. Правда, — оговаривается критикъ — и „въ здоровомъ обществѣ“ существуютъ „эти двѣ страсти“, но тутъ есть еще и „любовь къ людямъ и религія“; „въ здоровомъ обществѣ трудъ—основа жизни, а религія—регуляторъ ея“; въ обществѣ романа „Подростокъ“ этого нѣтъ, потому что „культурной слой“, „изображаемый г. Достоевскимъ“, представляетъ собою „міръ праздности и грубаго матеріализма“<sup>1)</sup>. И хотя въ основѣ своей романъ отличается „патологическимъ характеромъ“, однако онъ не утрачиваетъ тѣмъ самымъ своей связи съ реальною жизнью, потому что онъ какъ разъ соответствуетъ „нашему времени“, „столь богатому всевозможными патологическими проявленіями“<sup>2)</sup>. Иначе говоря, „Достоевскій, подвергнувъ своему вѣрному психическому анализу больного, изломаннаго субъекта, взятаго изъ дѣйствительной жизни, раскрываетъ передъ нами страшную картину изъ будничной жизни“<sup>3)</sup>, въ особенности картину „современнаго умственнаго состоянія того общества, которое принято называть интеллигенціей“<sup>4)</sup>.

При такомъ согласномъ признаніи за романомъ „Подростокъ“ современнаго общественно-психологическаго интереса, критика естественно должна была по поводу этого произведенія такъ же, какъ и по поводу романа „Бѣсы“, задаться вопросомъ и о томъ, въ какой степени изображенная Достоевскимъ въ „Подросткѣ“ картина русской общественной жизни проливаетъ свѣтъ на самую исторію русской интеллигенціи. Этотъ вопросъ примѣнительно къ „Подростку“

<sup>1)</sup> „Кіевскій Телеграфъ“ 1876, № 6. Журнальное обозрѣніе. „Подростокъ“. Романъ Ѳ. Достоевскаго. Н. Гребцовъ. Стр. 1—2.

<sup>2)</sup> „Пчела“ 1876, № 1. Русская журналистика. Итоги прошедшаго года... „Подростокъ“. П. В—б—ъ. Стр. 9.

<sup>3)</sup> „Новороссійскій Телеграфъ“ 1875, № 43. Журналистика. Отечественныя Записки. Январь 1875 г.—„Подростокъ“, романъ. Часть первая. Ѳ. Достоевскаго. Стр. 1.

<sup>4)</sup> „Гражданинъ“ 1876, № 4. Новыя русскія книги.—Подростокъ, романъ Ѳ. М. Достоевскаго. 3 книги. Изданіе Кехрибарджи. 1876. Стр. 121.

поставленъ былъ тѣмъ же лицомъ, которымъ онъ былъ приложенъ и къ роману „Бѣсы“, именно П. Н. Ткачевымъ<sup>1)</sup>. Раздѣляя „забитыхъ людей“, издавна выводимыхъ въ романахъ Достоевскаго, на три послѣдовательныя категоріи—„униженныхъ“, „ожесточенныхъ“ и „идейныхъ“, критикъ видитъ послѣднюю категорію, главнымъ образомъ, въ романахъ „Преступленіе и наказаніе“ и „Подростокъ“. Выведенные въ „Подросткѣ“ „идейные люди“ представляютъ собою, какъ думаетъ критикъ, извѣстную ступень въ исторіи развитія той части русской интеллигенціи, которую Достоевскій избралъ предметомъ своего анализа еще съ сороковыхъ годовъ. „Идейные люди“ вырабатывались и развивались—говоритъ г. Ткачевъ—на той же почвѣ, которая вырастила Дѣдушкиныхъ, Голядкиныхъ, Прохарчиныхъ и т. п. Они состоятъ съ ними въ самомъ близкомъ родствѣ, они родные братья Ивановъ Петровичей (герой „Униженныхъ и оскорбленныхъ“, отъ лица котораго ведется разсказъ), законныя дѣти Ихменевыхъ, Свидригайловыхъ, Версипловыхъ и иныхъ представителей поколѣнія „отцовъ“. Не радостно проходило дѣтство этихъ дѣтей подъ кровомъ ихъ разоренныхъ, ожесточенныхъ и „униженныхъ и оскорбленныхъ“ родителей. Они росли въ загонѣ; съ самыхъ раннихъ лѣтъ имъ приходилось быть невольными свидѣтелями униженія ихъ отцовъ; на ихъ глазахъ оплевывались и оскорблялись самыя святыя права и человѣческія чувства... Мало того, имъ самимъ не разъ доводилось подвергаться этому процессу оплеванія и пассивно подчиняться господ-

<sup>1)</sup> „Дѣло“ 1876, № 5, стр. 307-320 и № 6, стр. 1-22. Современное обозрѣніе. Литературное поучи. „Подростокъ“, романъ въ 3-хъ частяхъ, Ѳ. Достоевскаго. Отеч. зап. 1875. П. Никитинъ (=П. Н. Ткачевъ). Впрочемъ, развитая въ статьяхъ П. Н. Ткачева мысль о типѣ „подростка“, какъ о дальнѣйшемъ моментѣ въ эволюціи „забитыхъ людей“ Достоевскаго, высказана была въ видѣ общаго положенія годомъ раньше. Такъ, въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“ 1875 г. (№ 272. Литературная лѣтопись. „Подростокъ“, романъ Ѳ. Достоевскаго. В. М.—В. В. Марковъ. Стр. 2). находимъ слѣдующее соображеніе о характерѣ „подростка“: „Судя по первой части (романа), можно было ожидать, что г. Достоевскій, въ лицѣ своего подростка, намѣренъ изобразить одного изъ тѣхъ униженныхъ и оскорбленныхъ, встрѣчающихся въ его прежнихъ романахъ, только съ другими чертами,—которые, среди тяжелыхъ, выпавшихъ имъ на долю случайностей жизни, болѣзненно мечтаютъ о независимости, ради огражденія своей личности отъ посягательствъ и обидъ, и которымъ чудится, что вездѣ ждутъ ихъ презрѣніе, опасности и преслѣдованія“...

ству бессмысленной, дикой силы. Прежде, чѣмъ они начали что-нибудь понимать, прежде, чѣмъ они начали мыслить, они уже были озлоблены и ожесточены. Озлобленный, „униженный и оскорбленный“ ребенокъ—всегда эгоистъ. Они и были эгоистами, они и выросли эгоистами, эгоизмъ навсегда остался выдающеюся и наиболѣе существенною чертою ихъ характера. Ну что же могло выйти изъ подобныхъ подростковъ? Повидимому—копіи отцовъ, вторыя изданія Дѣвушкиныхъ, Голядкиныхъ, Свидригайловыхъ, Рогожиныхъ, Ихменевыхъ и ихъ близнецовъ. Разумѣется, такъ бы и случилось, такъ бы и должно было случиться, если бы нѣкоторыя постороннія обстоятельства не вмѣшались въ дѣло и не внесли нѣкоторой смуты, хаоса и взаимнаго недоразумѣнія въ темный и таинственный міръ забитыхъ людей. Вѣковѣчные устои ихъ жизни на минуту пошатнулись, почва заколебалась подъ ихъ ногами. Каждый почувствовалъ себя какъ будто независимѣе, а въ то же время и беспомощнѣе. Начались сомнѣнія и вопросы: „Да какъ же теперь быть? Да что же изъ этого выйдетъ? Да неужели же и взаправду приходитъ конецъ всему тому, къ чему такъ и привыкли и о чемъ уже такъ давно перестали думать „униженные и оскорбленные?“ Явился спросъ на мысль. Сознавалась необходимость приспособиться къ новымъ формамъ жизни, къ новымъ условіямъ житейской обстановки. И какъ разъ въ эту-то, можно сказать, роковую минуту дѣти Версиловыхъ, Ихменевыхъ и др. вступали въ тотъ возрастъ, который, изъ всѣхъ человѣческихъ возрастовъ, отличается наибольшею воспримчивостію, наибольшею „отзывчивостію“ на всѣ впечатлѣнія внѣшняго міра. Само собою понятно, для нихъ не могло пройти безслѣдно то, что смутило даже ихъ отцовъ. Имъ пришлось задуматься, задуматься крѣпко о самихъ себѣ,—о чемъ никогда не задумывались ихъ родители. Такимъ образомъ, ихъ развитіе получило неожиданный толчокъ, выбившій ихъ изъ обыкновенной колеи, заставившій ихъ рано встать на собственные ноги и прокладывать себѣ новые, еще непроторенные пути. Въ сущности же новые пути мало чѣмъ отличались отъ старыхъ, но всетаки они требовали нѣкоторыхъ особыхъ приспособленій;

явилась необходимость въ нѣсколько иной дрессировкѣ, чѣмъ та, чрезъ которую проходили отцы. Дрессировка была неумѣлая, такъ сказать, пробная, а потому нѣтъ ничего удивительнаго, что многіе изъ нихъ даже поотстали отъ отцовъ по части цѣлостности и законченности характера. Въ жизнь имъ, дѣйствительно, пришлось вступать какими-то неоперившимися подростками. Однако уже и въ этихъ неоперившихся подросткахъ можно было прослѣдить двѣ господствующія черты отцовскаго типа, на которыя я указывалъ выше. Въ характерѣ однихъ ясно обрисовывалась наслѣдственная приниженность и забитость, ищущая отрады и утѣшенія въ уединенномъ созерцаніи своего реального ничтожества въ настоящемъ и своего возможнаго возвышенія въ будущемъ. Въ характерѣ другихъ на первый планъ выступало то злобно-эгоистическое ожесточеніе, которое нерѣдко приводило отцовъ къ самымъ возмутительнымъ и самымъ безмысленнымъ злодѣйствамъ. Но у дѣтей эти черты значительно видоизмѣнились. Дикая разнузданность темныхъ эгоистическихъ инстинктовъ приняла видъ болѣе благообразный, но за то и болѣе омерзительный. Разгулъ озлобленной натуры, безумные порывы „униженнаго и оскорбленнаго“ человѣка выродились въ холодный, расчетливый развратъ, въ самую ординарную нравственную испорченность. Свидригайловы и Рогожины заставляють васъ по временамъ содрогаться; Ламберты и Тришатовы внушаютъ къ себѣ одно лишь презрѣніе, и даже не презрѣніе, а какое то гадливое... сожалѣніе. Нравственные безумцы выродились въ нравственныхъ идіотовъ. Этого требовали новыя условія жизни; заурядное мошенничество, „пакостничанье“ изъ-за угла, „потихоньку и понемножку“, стало теперь дѣломъ болѣе выгоднымъ и менѣе опаснымъ сравнительно съ „злудѣйскими“ чудодѣйствіями „широкихъ натуръ“. Широкихъ натурамъ пришлось сократиться. Дѣти это уразумѣли и сократились.. по крайней мѣрѣ, на первое время. Не меньшей метаморфозѣ подверглась и другая типическая черта забитыхъ людей. Мечты отцовъ оказались уже совсѣмъ неутѣшительными для дѣтей; горизонтъ ихъ мысли настолько расширился, что Дѣвушкинская философія перестала ихъ



удовлетворять; она годилась только до тѣхъ поръ, пока „устои жизни“ были настолько тверды и непоколебимы, что въ голову забитыхъ людей и мысли даже не могло запасть о ихъ переходномъ состояніи и тлѣнности... Утративъ вѣру (подорванную въ нихъ самою жизнію) почти во все то, во что вѣрили ихъ отцы, они не могли успокоиться на ихъ философіи и, подобно имъ, примириться съ житейскими невзгодами и вообще со всею массою разныхъ „прижимокъ“, оскорбленій и униженій. Отсюда само собою понятно, что ихъ „идеи“ должны были рѣзко отличаться отъ ребяческихъ фантазій ихъ отцовъ“.

Къ сожалѣнію, Достоевскій—какъ думаетъ критикъ—проглядѣлъ это отличіе,—потому его „подростокъ“ живетъ той же идеей „обогащенія“ и „накопленія“, какой живетъ и окружающая его среда „отцовъ“. Впрочемъ, есть извѣстная характерная особенность въ отношеніи „подростка“ къ этой общей идеѣ данного момента, указывающая съ одной стороны на его связь съ категоріями „забитыхъ людей“ прежней формации, а съ другой—съ новыми идейными потугами той же „забитой“ интеллигенціи, поскольку онѣ проявляются въ извѣстной части русской молодежи, современной роману „Подростокъ“. По поводу перваго пункта связи характера „подростка“ съ исторіей русской интеллигенціи критикъ разсуждаетъ такъ: „Всѣ (за исключеніемъ развѣ самаго ничтожнаго меньшинства) гоняются за деньгами, за богатствомъ, за „наживою“; исканіе богатства—это одинъ изъ самыхъ всеобщихъ и самыхъ могущественныхъ двигателей человѣческой дѣятельности. Анна Андреевна (законная дочь Версилова, слѣдовательно, сестра по отцѣ, Подростка) и князя Сокольскіе, и Катерина Николаевна, и самъ Версильовъ, и Ламберты, и Тришатовы, и Стебельковы—всѣ они одержимы желаніемъ заполучить побольше денегъ и разбогатѣть. Подростокъ въ этомъ случаѣ законный сынъ своей среды, онъ воплощаетъ въ себѣ ея самый насущный интересъ, ея господствующую идею. Однако Анна Андреевна, князь Сокольскій, Стебельковъ, Тришатовъ, Ламбертъ etc. дѣйствуютъ, такъ сказать, безсознательно; пріобрѣтеніе денегъ—это для нихъ не от-

влеченная, теоретическая идея, какъ у Подростка, а простой, малоосмысленный эгоистическій интересъ, выгода; они не пытаются даже идеализировать этой выгоды, они не скрываютъ и не прячутъ ея, какъ нѣчто святое, заветное,—напротивъ, они открыто ее заявляютъ, какъ вещь самую обыкновенную, всеѣмъ извѣстную и для всеѣхъ понятную. Они не подходятъ къ ней разными извилинами и окольными путями; они идутъ прямо, не слишкомъ задумываясь передъ средствами. Нужно продать себя—они съ удовольствіемъ себя продадутъ, какъ дѣлаетъ Анна Андреевна; требуется поддѣлать фальшивый вексель или акціи—они поддѣлаютъ, подобно Стебелькову; нужно, чтобъ выманить деньги, пуститься въ шантажъ—они займутся шантажомъ (Ламбертъ, Тришатовъ) и т. п. Болѣе хищные изъ нихъ не отступятъ передъ открытымъ грабежомъ и убійствомъ, если обстоятельства и сила характера выведутъ ихъ на большую дорогу. Но человѣкъ забитый и запуганный никогда не рѣшится практиковать этихъ нелегальныхъ и нерѣдко черезчуръ смѣлыхъ средствъ. Онъ будетъ собирать по грошамъ, собирать на основаніи такихъ-то и такихъ-то статей закона, прятать собранное и мало-по-малу скапливать свой, собственнымъ трудомъ, законно приобрѣтенный капиталецъ. Въмѣсто того, чтобы дерзновенно запускать лапу въ карманъ ближняго, онъ будетъ не допивать, не доѣдать, лишитъ себя всего необходимаго... „Не задолго до французской революціи, разсуждаетъ Подростокъ,—явился въ Парижъ нѣкто Лоу и затѣялъ одинъ въ принципѣ гениальный проектъ. Весь Парижъ взволновался, акціи Лоу покупались на расхватъ, до давки... Въ домъ, въ которомъ была подписка, сыпались деньги, какъ изъ мѣшка, но и дома, наконецъ, не достало... подписка перешла, наконецъ, на улицу, но негдѣ было писать. Тутъ одному горбуну предложили уступить на время свой горбъ, въ видѣ стола, для подписки на немъ акцій. Горбунъ согласился... Нѣкоторое время спустя, все обанкротилось, все лопнуло, вся идея полетѣла къ чорту, и акціи потеряли всякую цѣну. Кто же выигралъ? Одинъ горбунъ, именно потому, что бралъ не акціи, а наличные луидоры“. Ну-съ,

воскликаетъ нашъ забытый идейный человѣкъ,—я вотъ и есть тотъ самый горбунъ!“ Дѣлать изъ своей спины подставку, на которой совершаются тысячныя и миллионныя аферы, и получить за это нѣсколько лундировъ, но налицыми,—таково, по мнѣнію забытыхъ людей, вѣрнѣйшее и удобнѣйшее средство зашибить себѣ копейку. Имъ не нужно ни предпріимчивости, ни отваги, ни находчивости, ни даже ума; имъ нужно одно только терпѣніе, гибкость спины и ничѣмъ непоколебимая выносливость. Такъ именно и понималъ это дѣло Аркадій Макаровичъ. Путь наживы представлялся ему не иначе, какъ путемъ „схимническихъ подвиговъ“ и аскетическаго самоистязанія. И какъ только „идея“ западала въ его голову, онъ сейчасъ же началъ готовить себя къ схимничеству и производить надъ собою различныя аскетическіе эксперименты... Но если для опредѣленія натуры забитаго человѣка въ высшей степени характерною чертою является его взглядъ относительно того, какъ „капиталь пріобрѣсти“, то не менѣе характерную черту представляютъ также и его мечты о томъ, какъ онъ будетъ пользоваться этимъ пріобрѣтеннымъ капиталомъ. Зачѣмъ и во имя чего обрекаетъ онъ себя на жизнь аскета? Съ какою цѣлью подготавливаетъ онъ себя къ „подвигамъ схимничества“? Можетъ быть, онъ хочетъ на время только помучить свою плоть, чтобы потомъ сторицею вознаградить себя за все свои лишенія? Можетъ быть, онъ не болѣе, какъ хитрый и расчетливый эгоистъ? Можетъ быть, имъ руководятъ соображенія въ родѣ слѣдующихъ: „потерплю, помучаюсь, сокращусь до поры, до времени, но ужъ зато потомъ, когда сдѣлаюсь Ротшильдомъ, тутъ-то я развернусь, тутъ-то я покажу всѣмъ этимъ людишкамъ, которые теперь издѣваются надо мною, топчутъ меня въ грязь, какъ я силенъ и могучъ; я заставлю ихъ пресмыкаться передо мною, лизать мои руки... я отомщу имъ—хотя бы даже своимъ великодушіемъ—за все, за все“... Дѣйствительно, такъ разсуждаютъ очень многіе изъ забытыхъ людей... Но это еще не самые забытые люди, въ нихъ еще живетъ желаніе протеста, можетъ быть дикаго, безсмысленнаго, однако, всетаки про-

теста... Люди же совсѣмъ забытые не могутъ даже и этого: они до такой степени ушли внутрь себя, что ихъ уже оттуда ничѣмъ не выгонишь. Дайте имъ деньги, силу, могущество — они не воспользуются ими; они откажутся отъ власти, и съ руками, полными золота, будутъ жить нищими. „Будь только у меня могущество—разсуждалъ Подростокъ—, мнѣ и не понадобится оно вовсе; увѣряю, что самъ, по своей волѣ, займу вездѣ послѣднее мѣсто. Будь я Ротшильдъ, я бы ходилъ въ старенькомъ пальто и съ зонтикомъ. Какое мнѣ дѣло, что меня толкаютъ на улицѣ, что я принужденъ перебѣгать въ припрыжку по грязи, чтобы меня не раздавили извозчики. Сознаніе, что это я, самъ Ротшильдъ, даже веселило бы меня въ ту минуту. Я знаю, что у меня можетъ быть обѣдъ, какъ ни у кого, и первый въ свѣтѣ поваръ; съ меня довольно, что это я знаю. Я съѣмъ кусокъ хлѣба и ветчины, и буду сытъ моимъ сознаніемъ“. Пусть надъ ними смѣются и топчутъ ихъ въ грязь—они не станутъ протестовать, съ нихъ вполне достаточно одного сознанія, что они могутъ сдѣлать. „О, мечтаетъ идейный человѣкъ— пусть обижаетъ меня этотъ нахаль генераль на станціи, гдѣ мы оба ждемъ лошадей; если бы зналъ онъ, кто я, онъ побѣждалъ бы самъ ихъ запрягать и выскочилъ бы сажать меня въ скромный тарантасъ... О, пусть, пусть эта страшная красавица..., ... дочь этой пышной и знатной аристократки, случайно встрѣтись со мною на пароходѣ или гдѣ-нибудь, коснется и, вздернувъ носъ, съ презрѣніемъ удивляется, какъ смѣлъ попасть въ первое мѣсто, рядомъ съ нею, этотъ скромный и плюгавый человѣчекъ съ книжкою или газетою въ рукахъ! Но если бы только она знала, кто сидитъ подлѣ нея!“... Вникните же въ душевное состояніе человѣка, способнаго разсуждать такимъ образомъ. Онъ такъ освоился съ своимъ „униженнымъ“, затертымъ положеніемъ, что въ его головѣ даже и мысли не является высвободиться изъ него. Онъ можетъ себя представить Ротшильдомъ, но Ротшильдомъ забытымъ, „униженнымъ и оскорбленнымъ“, гордымъ однимъ только внутреннимъ сознаніемъ, что я, молъ, всетаки Ротшильдъ! Богатство и сила нужны ему не для того, чтобы

дѣйствительно, реально отстаивать свои человѣческія права, а только для того, чтобы имѣть право сказать себѣ: „могъ бы я воспользоваться всѣми этими правами, да самъ не хочу!..“

Второй пунктъ связи „подростка“ съ исторіей развитія русской интеллигенціи, именно близость его къ современнымъ роману „идейнымъ“ представителямъ русской молодежи, разъясняется у г. Ткачева слѣдующимъ образомъ: „Однако позвольте, замѣтитъ читатель,—вы представляете душу забитаго идейнаго человѣка въ такихъ черныхъ краскахъ, что самъ собою навязывается вопросъ: если это правда, то чѣмъ же тогда отличается этотъ идейный человѣкъ отъ какого-нибудь безыдейнаго Ламберта, Тришатова, даже Стебелькова? Неужели только тѣмъ, что онъ болѣе ихъ забить, что онъ менѣе ихъ способенъ на активный протестъ—тотъ единственно доступный имъ протестъ, который выражается у нихъ въ формѣ грубаго и хищнаго стяжанія?“ Нѣтъ, это не совсѣмъ или, лучше сказать, это совсѣмъ не такъ. У Подростка есть идея, и какая бы ни была эта идея, а все-же она ставитъ его неизмѣримо высоко сравнительно съ разными Ламбертами, Стебельковыми и Тришатовыми; она свидѣтельствуетъ о человѣчности его натуры, она—та „Божія искра“, которая выдѣляетъ его изъ толпы безыдейныхъ, пресмыкающихся рабовъ. Подумайте-ка, въ самомъ дѣлѣ, почему это онъ, забитый подростокъ, могъ развиваться до „идеи“, а какой-нибудь Ламбертъ не могъ? Оба они воспитывались подъ давленіемъ болѣе или менѣе тождественныхъ условій, учились даже въ одномъ и томъ же пансіонѣ, у „толстенькаго французика“ Тушара. Жизненные факты, съ которыми имъ приходилось сталкиваться, должны были оставлять въ ихъ душѣ почти одинаковыя слѣды, почти однородныя впечатлѣнія. Мало того, эти одинаковыя впечатлѣнія привели ихъ къ выводу болѣе или менѣе одинаковому: „стремись къ богатству, въ немъ все твое спасеніе“. Но вотъ тутъ-то и начинается различіе: у одного этотъ выводъ остается на степеніи полубезсознательнаго, почти инстинктивнаго, мало осмысленнаго влеченія; у другого онъ претворяется въ идею, въ принципъ, въ теорію; одинъ всецѣло отдается теченію своихъ эгоисти-

ческих похотей и вожделѣній; другой—ставить на ихъ мѣсто идею, и ей старается подчинить свою жизнь, свою дѣятельность. Разница огромная, но чѣмъ же она обуславливается, отъ чего зависитъ? Мнѣ кажется, отъ двухъ причинъ: во-первыхъ, отъ большей впечатлительности или, выражаясь словами г. Достоевскаго, большей „отзывчивости“ идейныхъ людей; во-вторыхъ, отъ преобладанія у нихъ интеллектуальной стороны надъ чувственною, аффективною. Это преобладаніе и эта отзывчивость находятся между собою въ тѣсной связи и составляютъ одну изъ выдающихся особенностей забытыхъ людей этой категоріи“...

Критикъ находитъ и еще одинъ пунктъ родства „подростка“ съ общей психикой русскаго интеллигентнаго типа, независимо отъ ея современнаго или уже пережитого состоянія,—онъ указываетъ на примѣрѣ „подростка“ общую невыдержанность и непослѣдовательность „нашихъ идейныхъ людей изъ забытыхъ“: ихъ „идею“ обыкновенно постигаетъ „роковая судьба“ не столько благодаря внѣшнимъ препятствіямъ, сколько въ силу ихъ впечатлительности, чувствительности, слабодушія, нравственной распушенности. „Подростокъ“ сначала находится, повидимому, всецѣло во власти своей идеи: „онъ гордится ею, воскуряетъ ей еміамы, ищетъ въ ней защиты и утѣшенія отъ житейскихъ невзгодъ“... Но это увлеченіе не такъ прочно, какъ это кажется на первый взглядъ. „Чуть только онъ наталкивается на какой-нибудь фактъ, способный въ данный моментъ произвести на него сильное впечатлѣніе, это впечатлѣніе, хоть бы оно и совершенно не гармонировало съ „идеєю“, сейчасъ же заслоняетъ послѣднюю и пріобрѣтаетъ рѣшительное господство въ его душѣ. Рѣшаетъ онъ, напримѣръ, что для осуществленія „идеи“ ему необходимо копить деньги и избѣгать всякихъ излишнихъ расходовъ. Прекрасно. Онъ начинаетъ копить, скопилъ даже малую толику, и вдругъ все это пошло прахомъ, и пришлось начинать процессъ „самоистязанія“ и копленія сызнова. Угораздило кого-то подбросить ребенка къ Николаю Семеновичу, у котораго онъ жилъ въ послѣднее время въ Москвѣ. Николай Семеновичъ рѣшилъ отослать

подкидыша въ воспитательный домъ. Будущій Ротшильдъ воспротивился: онъ внезапно почувствовалъ приливъ какой-то материнской нѣжности къ младенцу; онъ ни за что не захотѣлъ разстаться съ нимъ. А такъ какъ Николай Семеновичъ, хотя и не былъ одержимъ идеею сдѣлаться Ротшильдомъ, но, тѣмъ не менѣе, былъ весьма расчетливъ, то онъ и отказался самымъ категорическимъ образомъ принять къ себѣ „Божію благодать“. Тогда Аркадій Макаровичъ, не долго думая, торжественно заявилъ, что онъ самъ берется платить за ребенка. Дѣйствительно, онъ потратилъ на него половину скопленнаго капитала и, вѣроятно, потратилъ бы и весь, если бы ребенокъ, сжалившись надъ того слабодушіемъ, не умеръ во-время. „Изъ исторіи съ Риночкою (такъ звали ребенка) я убѣдился, сознается Подростокъ,—что никакая идея не въ силахъ увлечь, по крайней мѣрѣ, меня до того, чтобы я не остановился вдругъ передъ какимъ-нибудь подавляющимъ фактомъ и не пожертвовалъ ему разомъ всею тѣмъ, что уже годами труда сдѣлалъ для идеи“. По пріѣздѣ въ Петербургъ, „подавляющихъ фактовъ“ явилось такъ много, „остановки“ повторялись такъ часто и были такъ продолжительны, что „идея“ совершенно стушевалась. Одинъ разъ только, въ первые дни по пріѣздѣ, онъ попытался кое-что сдѣлать для ея осуществленія: сходилъ на аукціонъ, купилъ тамъ старенькій альбомъ за два рубля пять копеекъ и тутъ же перепродалъ его какому-то господину, у котораго съ этимъ альбомомъ были связаны нѣжныя воспоминанія, за десять рублей; выгодная сдѣлка привела его въ неописанный восторгъ: нажить за одинъ разъ семь рублей девяносто пять копеекъ—это было дебютъ весьма удачный. Однако онъ не поощрилъ его на дальнѣйшіе подвиги. Напротивъ, не смотря на то, что обстоятельства сложились весьма благоприятно для осуществленія его „идеи“, что ему представлялись случаи поживиться не какими-нибудь жалкими семью рублями, а цѣлыми тысячами, онъ ни разу не пожелалъ воспользоваться этими случаями, и не только ничего не предпринималъ для своего обогащенія, но всеми силами самъ старался разорить себя. Чуть только завелись у него деньги.

онъ, вмѣсто того, чтобы пускать ихъ въ выгодные коммерческіе обороты или „копить“, сталъ ихъ проматывать, завелъ себѣ лихача, началъ франтить, таскаться по ресторанамъ и игорнымъ домамъ, проигрывалъ огромные кушны въ рулетку (хотя рулетка и вообще азартныя игры совсѣмъ не входили въ его планы обогащенія) и вообще велъ себя, какъ самый легкомысленный и безпечный шалопаѣ. Мечты объ аскетической жизни, о кускѣ черстваго хлѣба, объ обѣдахъ черезъ два дня (это для экономіи), о маленькомъ, грязномъ углѣ—мечты, которыя недавно еще наполняли его душу восторгомъ, разлетѣлись въ прахъ при первомъ столкновеніи съ возможностью кутить у Бореля, кататься на рысакахъ, играть въ рулетку и т. п. А что же „идея“? „Идея“ потомъ, ждала; все, что было, было лишь „уклоненіемъ въ сторону;“ почему же не повеселиться? утѣшаетъ онъ себя. „Вотъ тѣмъ-то и скверна моя „идея“, сознается онъ далѣе,—что допускаетъ всѣ уклоненія“...

Сравнительно спокойное отношеніе къ роману „Подростокъ“ выдвинуло и еще одну точку зрѣнія въ оцѣнкѣ этого произведенія, отчасти уже приложенную къ характеру Раскольникова въ романѣ „Преступленіе и наказаніе“: именно, на ряду съ истолкованіемъ по роману общественной психики въ исторической послѣдовательности ея развитія, сдѣланы были попытки разъясненія на основаніи характера „подростка“ нѣкоторыхъ—какъ типическихъ, такъ и единичныхъ—явленій душевной жизни молодого поколѣнія вообще, безъ прикрѣпленія ихъ къ данному историческому моменту. Въ этомъ отношеніи нѣкоторые критики романа ограничивались замѣчаніемъ, что „подростокъ“—„ненормальный человѣкъ и даже психически разстроенный“<sup>1)</sup>. Другіе объясняли эту психическую аномалію „болѣзненными уклоненіями отъ нормальнаго нравственнаго здоровья“<sup>2)</sup>. Третьи находили въ романѣ послѣдствія неправильнаго воспитанія, наблюдаемаго въ интеллигентномъ классѣ общества, гдѣ развиваются не

<sup>1)</sup> „Тифлисскій Вѣстникъ“ 1876, № 192. Замѣтки о журналахъ. Э. С. Стр. 2.

<sup>2)</sup> „Новости“ 1875, № 31. Новости русской литературы. „Подростокъ“, романъ г. Достоевскаго.. Новый Критикъ. (=И. А. Кузевскій). Стр. 1.



мускулы, а, главнымъ образомъ, нервы, и, слѣдовательно, воспитывается, между прочимъ, въ молодомъ человѣкѣ самолюбіе и стремленіе стать выше другихъ <sup>1)</sup>). Подтвержденіе этого послѣдняго наблюденія надъ психикой молодежи по роману Достоевскаго критика видѣла въ нѣкоторыхъ мѣстахъ автобіографіи „подростка“. „Повидимому—разсуждаетъ критикъ „Новостей“—въ этихъ „запискахъ юноши“ авторъ хотѣлъ отчасти показать, какъ иногда молодость, скорая на рѣшенія, бываетъ несправедлива къ старости: старый вопросъ о молодомъ и старомъ поколѣніи. Читая романъ, всякій изъ насъ невольно вспомнитъ тѣ несправедливости, которыя онъ оказывалъ въ двадцать лѣтъ своимъ старикамъ, такъ безкорыстно и тепло любившимъ его. Рѣдкій (я не говорю про людей систематически и хорошо воспитанныхъ)—рѣдкій изъ насъ, окончивши курсъ въ гимназій, не считалъ себя великимъ человѣкомъ, не стремился къ величію и не бодался, какъ козелъ. „Подростокъ“ г. Достоевскаго тоже стремится къ величію: у него есть идея, онъ хочетъ быть Ротшильдомъ“... (Слѣдуетъ изложеніе содержанія первой части романа <sup>2)</sup>).

Анализируя дальше послѣдствія ложно направленнаго воспитанія, насколько они выразились въ романѣ Достоевскаго, критика обратила вниманіе, въ частности, на двѣ черты изъ области переживаній ненормально сложившагося дѣтства — „задавленную любовь“ и „раннюю озлобленность“, — черты, обусловливающія наличность въ обществѣ „массы задумывающихся и рано озлобленныхъ дѣтей“. „Г. Достоевскій въ своемъ романѣ или длинной повѣсти „Подростокъ“ — читаемъ въ журналѣ „Дѣтскій Садъ“ <sup>3)</sup> — указываетъ на одну изъ печальныхъ сторонъ современнаго общества: на массу задумывающихся и рано озлобленныхъ дѣтей. Можно приписывать это явленіе той или другой причинѣ, можно не соглашаться

<sup>1)</sup> „Биржевыя Вѣдомости“ 1875, № 35. Мысли по поводу текущей литературы. Нѣчто о романахъ г. Достоевскаго вообще.— „Подростокъ“, романъ г. О. Достоевскаго, часть первая. Заурядный читатель (= А. М. Скабичевскій)

<sup>2)</sup> „Новости“ 1875, № 65. Новости русской литературы. Три новыхъ романа... „Подростокъ“, романъ О. М. Достоевскаго... Стр. 2.

<sup>3)</sup> „Дѣтскій Садъ“ 1876, № 9. Смѣсь. „Подростокъ“ Достоевскаго. Стр. 457—462.

на счетъ средствъ, которыми оно должно быть устранено, но не признать его невозможно. Пистолетные выстрѣлы, которыми въ разныхъ мѣстахъ нашей великой, и малой, и бѣлой Россіи и принадлежащихъ ей областяхъ разсчитываются съ опостылѣвшей имъ жизнью подростки, почти дѣти,—страшное свидѣтельство ненависти къ жизни, которая можетъ жить только въ рано озлобленныхъ душахъ. Г. Достоевскій, въ героѣ своей повѣсти, даетъ глубоко вѣрный психическій анализъ душевной жизни рано озлобленнаго подростка. Хотя положеніе героя его исключительно, но въ немъ есть и многія общія стороны, уясняющія и общественное печальное явленіе. (Излагается краткая исторія и характеристика „подростка“)... Въ даровитыхъ и сильныхъ дѣтскихъ и юношескихъ натурахъ задавленная любовь высказывается мистицизмомъ, мечтами облагодѣтельствовать весь міръ, осушить всѣ слезы; а ранняя озлобленность въ дѣтствѣ—дикими вспышками и также, когда проснется мысль, мечтами о ломкѣ для пересозданія всего общества. Но подростокъ былъ натурой очень дюжинной, онъ былъ, какъ самъ отзывался о себѣ: ординарная посредственность,—и онъ составилъ себѣ особый планъ, создалъ свою идею, которая спасла его отъ разныхъ увлеченій. Хотя подростокъ годами лепѣлъ эту идею и звалъ ее своей, но она была вовсе не его идеей, т. е. не оригинальнымъ созданіемъ его міра, а просто отравой миазмами, носившимися въ воздухѣ, и которые онъ вдохнулъ въ себя. Подростокъ затѣялъ стать Ротшильдомъ и это процессомъ копленія денегъ, и Ротшильдомъ не ради наслажденій, которыя покупаются золотомъ, а ради сознанія той силы, которую даетъ оно... Но какъ безхарактерный подростокъ, онъ не выдерживаетъ до конца искуса, котораго требовала отъ него идея. Онъ могъ выносить страшныя лишенія ради этой „идеи“, пока не увидѣлъ соблазновъ столицы; но разъ увидѣлъ ихъ, онъ окунулся въ омутъ всевозможныхъ увеселеній, доставляемыхъ сѣверной Пальмирой, и идея была забыта“...

Для спасенія подобныхъ подростковъ, „выросшихъ въ озлобленія и рано задумывавшихся надъ жизнью“, нужны—думаетъ критикъ—люди въ родѣ выведеннаго въ романѣ

„странника и богомола Макара Иваныча“, „которые всю жизнь свою проявляли бы „душевное благообразие“, т. е. правду, честность, человечность“. Такие только люди могут—такъ понимаетъ критикъ субъективное отношеніе Достоевскаго къ вопросу о воспитаніи молодежи—благоотворно вліять на молодежь, учить ее и удовлетворить ея „потребность руководящей нити въ жизни“: „Подростки видятъ изрѣдка Версиловыхъ и постоянно Здравомысловъ, въ родѣ автора поучительнаго письма, содержащаго мораль повѣсти; умѣренныхъ и аккуратныхъ Молчалиныхъ, (которые) хотя и опрятнѣе Грибоѣдовскаго героя, но также держатся благоразумной пословицы: „моя хата съ краю“. Чтобы имѣть вліяніе на молодежь, нужно имѣть самому руководящую нить жизнь, нужно душевное благообразие, которое эту руководящую нить видитъ въ идеѣ правды, долга человечности, и не допускаетъ разлада между словомъ и дѣломъ. У г. Достоевскаго этимъ душевнымъ благообразіемъ надѣленъ одинъ Макаръ Ивановичъ изъ героевъ, а изъ героинь—Софья и дочь ея. Руководящая нить жизни героинь—чисто женская любовь, вся жизнь ихъ отдана любимому человѣку,—душевное благообразие очень дешеваго сорта. Душевное благообразие Макара Ивановича постановило цѣль не отъ міра сего, но и въ этой цѣли видна болѣе широкая натура. Макару Ивановичу нужно спасеніе всей братіи. Макаръ Ивановичъ изболѣлъ душой о горѣ и неправдѣ міра, и ищетъ спасенія тамъ, гдѣ онъ по уровню своего образованія могъ искать его. Для спасенія подростковъ нужны люди такіе же цѣльные, какъ и Макаръ Ивановичъ, но которые показали бы примѣръ душевнаго благообразія отъ міра сего“.

Таковы были разнообразныя сужденія критики первой половины 70-хъ годовъ о романахъ „Бѣсы“ и „Подростокъ“. Несмотря на свою пестроту, они позволяютъ однако заключить, что въ эту пору въ Достоевскомъ съ одной стороны рѣзко обозначилось отрицательное отношеніе къ крайностямъ передового движенія эпохи, съ другой—сталъ окончательно складываться положительный процессъ собственнаго авторскаго строительства въ области идеала. Оба эти явленія, ка-

сающіяся эволюціи идей Достоевскаго, повліяли и на дальнѣйшее развитіе его литературной манеры. Рѣзкій разрывъ съ аномаліями современнаго ему прогресса, въ томъ видѣ, какъ онъ самъ ихъ понималъ, невольно заставлялъ его смотрѣть на окружающую русскую жизнь съ предвзятой точки зрѣнія и направлялъ его литературную манеру отъ объективнаго изображенія дѣйствительности къ тому тенденціозно-шаблонному письму, которое свойственно было вообще тенденціозной беллетристикѣ этой эпохи. Твореніе же собственнаго идеала, наоборотъ, заставляло его, удаляясь отъ обыденныхъ житейскихъ картинъ, заниматься тѣми именно явленіями человѣческой психики, въ которыхъ онъ видѣлъ матеріалъ для новаго созиданія жизни, и погружаться при этомъ въ такой добросовѣстный и тщательный анализъ, который все чаще и чаще выросталъ до проникновенной психологической правды. Такимъ образомъ Достоевскій въ эту пору еще меньше становился бытописателемъ внѣшней жизни, потому что начиналъ рисовать ее даже шаблонно, и еще больше дѣлался натуралистомъ-психологомъ, потому что изучалъ человѣческую психику въ высшей степени детально какъ матеріалъ для уясненія не только внутреннихъ основъ окружающей его жизни, но и своего собственнаго къ ней отношенія.

Первый пунктъ въ области эволюціи литературной манеры Достоевскаго за данные годы, именно его склонность къ шаблону въ разсказѣ и характеристикахъ, отмѣченъ былъ въ цѣломъ рядѣ критическихъ отзывовъ, посвященныхъ романамъ „Бѣсы“ и „Подростокъ“. „Мы найдемъ въ „Бѣсахъ“ — говоритъ Н. К. Михайловскій — нѣсколько фигуръ, сдѣланныхъ очень топорно и вовсе г. Достоевскому не принадлежащихъ. Эти молодые люди, говорящіе: „нынче нѣтъ привидѣній, а естественныя науки“, дѣвушки, развѣзжающія изъ города въ городъ, „чтобы заявить о страданіяхъ несчастныхъ студентовъ и возбудить ихъ повсемѣстно къ протесту“, и т. п. Эти шаблонные образы, играющіе въ романѣ послѣднюю роль, авторомъ не продуманы и не почувствованы, и взяты на прокатъ у гг. Стебницкихъ и

Ключниковых"...<sup>1)</sup> Самый рассказ въ романѣ „Бѣсы“ шаблонно построенъ, по мнѣнію П. Н. Ткачева, на сыромъ матеріалѣ газетныхъ корреспонденцій и стенографическихъ отчетовъ и представляетъ собою простое переписываніе „судебной хроники“<sup>2)</sup>. По выраженію В. П. Буренина, романъ „Бѣсы“ написанъ „по обычному рецепту“, составленному уже раньше авторомъ, въ томъ смыслѣ, что „вмѣстѣ съ живыми лицами“ здѣсь выступаютъ „куклы и надуманныя фигурки“, а „рассказъ тонетъ въ массѣ ненужныхъ причитаній, исполненныхъ нервической злости на многое, что вовсе не должно бы вызывать злости“; критикъ думаетъ при этомъ, что если бы романъ „Бѣсы“ ограничивался только своей „фантазмагорической стороною“, т. е. не шелъ дальше „куколъ и ходячихъ фантазій автора“, то „его тогда можно было бы причислить къ категоріи разныхъ лубочныхъ издѣлій, надъ которыми можно только смѣяться“<sup>3)</sup>. Съ точки зрѣнія шаблонности романъ „Бѣсы“ представлялся нѣкоторымъ критикамъ даже своего рода „литературнымъ курьезомъ“ съ „готовыми героями“ и „готовыми рѣчами“, взятыми „цѣликомъ“ изъ готовыхъ „стенографическихъ отчетовъ“ по „дѣлу Нечаева“<sup>4)</sup>. Подобнымъ же образомъ и въ романѣ „Подростокъ“ критика склонна была видѣть „непобѣдимую и ничѣмъ не оправдываемую привычку“ Достоевскаго строить свой рассказъ по извѣстному шаблону, въ частности — „вклеивать въ романы уголовщину и вводить въ нихъ героевъ той или другой изъ нашихъ россійскихъ „causes célèbres“<sup>4)</sup>.

Подчеркивая такъ настойчиво все болѣе и болѣе развивающуюся шаблонность рассказа у Достоевскаго, критика однако не ограничивала ростъ его литературной манеры развитіемъ только этой ея стороны. Наоборотъ, по поводу романовъ „Бѣсы“ и „Подростокъ“ было неоднократно замѣчено ихъ рецензентами, что рядомъ съ шаблонностью виѣшней фабулы

<sup>1)</sup> См. цитированныя выше статьи въ „Отеч. Зап.“ и въ „Дѣло“.

<sup>2)</sup> См. цитир. выше статьи въ „Спб. Вѣд.“ 1871, № 65 и 1873, №№ 6 и 13.

<sup>3)</sup> „Голосъ“ 1873, № 18 и „Сынъ Отеч.“ 1873, № 40 — цитир. выше статьи.

<sup>4)</sup> „Иллюстрированная Недѣля“ 1875, № 49. Петербургскія письма.  
Стр. 779.

все больше и больше крѣпнеть и изощряется и тотъ, свойственный Достоевскому, психологическій анализъ, который на грубомъ фонѣ тенденціознаго литературнаго шаблона позволяетъ автору вырисовывать самые тонкіе психологическіе узоры. Такимъ образомъ въ Достоевскомъ-писателѣ жили въ эту пору какъ бы два различныхъ мастера слова: одинъ изъ нихъ грубыми мазками набрасывалъ по шаблонному трафарету общую картину жизни, а другой мелкой кистью выписывалъ на ней тончайшія детали человѣческой психики. Эту мысль—о двухъ художникахъ въ одномъ Достоевскомъ или о „двухъ двойникахъ“ въ немъ—подробно развилъ въ „Биржевыхъ Вѣдомостяхъ“ 1876 года А. М. Скабичевскій („Заурядный читатель“). „Г. Достоевскій—говоритъ онъ—при всѣхъ своихъ психическихъ анализахъ очень любитъ выставять въ своихъ романахъ факты болѣзненнаго раздвоенія (примѣры)... Эта любовь г. Достоевскаго къ двойникамъ, по моему мнѣнію, существуетъ не даромъ. Мнѣ кажется, что въ самомъ г. Достоевскомъ, какъ писателѣ, сидятъ два двойника... Когда вы читаете любой романъ г. Достоевскаго, вы постоянно видите передъ собою двухъ писателей: одинъ изъ нихъ представляется вамъ крайне нервно-раздраженнымъ, желчнымъ экстазикомъ и къ тому же резонеромъ, впадающимъ то въ самый безнадежный, мрачный скептицизмъ, въ которомъ вы не видите и тѣни хотя малѣйшей вѣры въ человѣка, то напротивъ того въ мистическій бредъ не то въ славянофильскомъ духѣ, не то въ духѣ переписки съ друзьями Гоголя. Этотъ-то господинъ именно и смотритъ на весь міръ, какъ на домъ сумасшедшихъ, и въ подобномъ Бедламѣ у него нѣтъ друзей своихъ: скептически относясь ко всѣмъ молодымъ побѣгамъ жизни, опошляя и окарикатуривая ихъ, онъ самыми злыми сарказмами осыпаетъ и людей своего поколѣнія, безпощадно изображая ихъ подчасъ въ такомъ жалкомъ и безобразномъ видѣ, въ какомъ не изображали этихъ людей самые ихъ заклятые обличители. Какъ художникъ и романистъ, этотъ писатель крайне небреженъ, иногда высказываетъ и поразительную неумѣлость. Онъ любитъ измышлять хитросплетенные, запутанные сюжеты

для своихъ романовъ (примѣры)... При страсти къ изображенію психіатрическихъ и экстатическихъ явленій, писатель этотъ не ограничивается анализомъ грезъ и психическихъ пертурбацій своихъ героевъ; но вы встрѣчаете цѣлыя сцены и главы, въ которыхъ герои говорятъ и дѣйствуютъ и которыя поражаютъ васъ своею фантастическою необычайностью и такимъ страннымъ колоритомъ, точно какъ будто дѣйствіе романа совершается совсѣмъ не въ той жизни, въ средѣ которой вы живете, а на какой-то иной планетѣ, въ иныхъ фантазмагорическихъ условіяхъ, Богъ вѣсть въ какія — не то въ прошедшія, не то въ будущія времена. Прибавьте къ этому ко всему тяжелый и нестройный слогъ и любовь къ длиннымъ отвлеченнымъ разсужденіямъ самаго туманнаго свойства. Вотъ вамъ одинъ изъ двойниковъ, составляющихъ г. Достоевскаго. Но рядомъ съ нимъ существуетъ другой совершенно противоположныхъ свойствъ: это гениальный писатель, котораго слѣдуетъ поставить не только на одномъ ряду съ первостепенными русскими художниками, но и въ числѣ самыхъ первѣйшихъ гениевъ Европы нынѣшняго столѣтія. Въ противоположность своему нервному, желчному собрату, писатель этотъ исполненъ того высокаго объективнаго спокойствія, какое бываетъ присуще только гениамъ первой величины и которое, сказать къ слову, не слѣдуетъ смѣшивать съ художественнымъ индифферентизмомъ, бывшимъ предметомъ поклоненія эстетиковъ тридцатыхъ годовъ. Это объективное спокойствіе нисколько не мѣшаетъ поэту относиться съ живымъ интересомъ ко всѣмъ вопросамъ времени; напротивъ того, способствуетъ къ правильному обсужденію ихъ съ высшихъ точекъ зрѣнія. Это мы видимъ и на томъ самомъ писателѣ, о которомъ идетъ рѣчь. Въ немъ нѣтъ и тѣни той узкой тенденціозности, какая преобладаетъ у его собрата, а между тѣмъ образы его, представляя самыя существенныя, завѣтныя, роковыя тайники жизни, имѣютъ глубокое современное значеніе. Въ строкахъ этого писателя вы и тѣни не видите того большого скептицизма и желчнаго раздраженія, какъ у его двойника; напротивъ того, онъ проникнутъ глубокою любовью къ человѣчеству, и хотя бы

изображали мрачныя и ужасныя явленія жизни,—вы видите въ нихъ не отчаяніе или ненависть, не злобную улыбку мизантропа, а величественную скорбь художника-мыслителя о несовершенствахъ человѣчества, достойнаго лучшей участи. Въ противоположность своему хитроумному собрату, писатель этотъ крайне наивенъ и простъ, но здѣсь передъ вами наивность и простота гения. Когда вы читаете его, васъ прежде всего поражаетъ, что какія это самыя заурадные, самыя обыденныя черты жизни беретъ онъ; но чѣмъ болѣе вдумываетесь вы, тѣмъ болѣе поражаетъ васъ общечеловѣческое, глубокое, существенное значеніе этихъ чертъ. Задачи гения заключаются вовсе не въ томъ, чтобы выдумать что-либо позамысловатѣе; напротивъ того, заставить васъ глубоко вникнуть въ то, что примелькалось передъ вашими глазами до такой степени, что вы перестали обращать вниманіе на это. Прибавлю къ этому всему, что въ противоположность своему двойнику, въ романахъ котораго выводятся люди луны, Марса или какой иной невѣдомой планеты, писатель, о которомъ я говорю, при всемъ своемъ общечеловѣческомъ значеніи, вполне народенъ,—народенъ не въ томъ вульгарномъ значеніи этого слова, чтобы онъ хорошо изображалъ мужиковъ, но въ высшемъ смыслѣ усвоенія существенныхъ чертъ духа и характера русскаго народа, какъ проявляются онѣ во всѣхъ его слояхъ. Къ величайшему сожалѣнію, писатель этотъ не отличается плодovitостью и пишетъ очень мало. Каждый романъ г. Достоевскаго представляетъ по толстому тому, но въ этомъ томѣ дай Богъ, чтобы набралось пять—десять страничекъ, принадлежащихъ перу великаго писателя, о которомъ мы говоримъ. Участіе его въ этихъ романахъ ограничивается обыкновенно вставкою двухъ—трехъ эпизодовъ, не имѣющихъ иногда никакой связи съ общимъ развитіемъ романа, или же обработкою двухъ—трехъ сценъ въ самомъ сюжетѣ. Во всякомъ случаѣ присутствіе этого писателя рѣзко сказывается каждый разъ и не затеривается въ массѣ страницъ, а напротивъ того ярко блеститъ на темномъ фонѣ того или другого романа; по прошествіи извѣстнаго времени вы забываете обыкновенно весь романъ, но



нѣсколько строкъ его, отмѣченныя гениемъ этого писателя, врѣзаются въ нашу память и остаются въ ней, какъ все художественно сильное<sup>1)</sup>...

Разъясняя въ Достоевскомъ этого „другого писателя“, освѣщающаго свою современность „съ высшихъ точекъ зрѣнія“ и проникающаго въ „самые существенные, завѣтные, роковые тайники жизни“, критика дала рядъ интересныхъ попытокъ охарактеризовать сущность его психологическаго анализа. „Его цѣль“, говоритъ объ этомъ анализѣ Вс. С. Соловьевъ,—„указать на болѣзненные явленія общества, высказать свои мысли и взгляды на эти явленія, представить по возможности полный и глубокий анализъ движеній души, больной недугами нашего времени, а иногда и души, ищущей правды и свѣта. Вотъ область, въ которой работаетъ талантъ Ф. М. Достоевскаго и въ которой у него нѣтъ соперника. Почти каждая глава, каждый эпизодъ представляютъ собою въ высшей степени интересный психологической этюдъ, и такимъ образомъ форма романа, въ которую облечены эти этюды и изслѣдованія, является какъ бы случайной—и не въ ней вовсе дѣло“<sup>2)</sup>... „Полный и глубокий анализъ“, въ частности, проявляется, по выраженію В. П. Буренина, „въ глубокомъ проникновеніи въ сущность мотивовъ человѣческихъ дѣйствій и побужденій“<sup>3)</sup>; поэтому талантъ Достоевскаго, какъ думаетъ В. Г. Авсѣенко, особенно силенъ „въ изображеніи частныхъ, преимущественно когда такую частностью служатъ болѣзненные явленія человѣческой души“<sup>4)</sup>, и естественнымъ слѣдствіемъ этой особенности дарованія Достоевскаго является—по наблюденію другого критика—то, что его творчество совершается „путемъ подробной, медленной и мельчайшей работы“<sup>5)</sup>: авторъ описываетъ даже „самыя мелкія, крошечныя тревоженія“, даже „мелочную борьбу каж-

<sup>1)</sup> „Вирж. Вѣдом.“ 1876, № 8. Мысли по поводу текущей литературы. О г. Достоевскомъ вообще и романъ его „Подростокъ“. Заурядный читатель (= А. М. Скабичевскій). Стр. 1.

<sup>2)</sup> „Русскій Міръ“ 1875, № 237. Русскіе журналы... Стр. 2.

<sup>3)</sup> „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1871, № 250. Журналистика... Стр. 1.

<sup>4)</sup> „Русскій Міръ“ 1873, № 5. Очерки текущей литературы... Стр. 2.

<sup>5)</sup> „Сынъ Отечества“ 1875, № 116. Русская литература. „Подростокъ“ Ф. Достоевскаго. Стр. 2.

даго ничтожнаго индивидуума“,—такъ сказать, „интересы и потребности“ „червяка“, но „чѣмъ больше вчитываешься въ его произведенія, тѣмъ рельефнѣе выступаютъ художественныя красоты его обработки, тѣмъ живѣе, интереснѣе становятся его лица“<sup>1)</sup>.

Анализированиѣ мелочей и частныхъ не исключаетъ однако, по наблюденіямъ критики, возможности въ творествѣ Достоевскаго и цѣлыхъ художественныхъ образовъ, обработанныхъ также детально и въ томъ же психологическомъ направленіи. Такую художественную законченность критика видѣла напр. въ фигурѣ одного изъ дѣйствующихъ лицъ романа „Бѣсы“—Степана Трофимовича Верховенскаго. „Типъ безалабернаго — разсуждаетъ объ этомъ художественномъ образѣ В. Г. Авсѣенко<sup>2)</sup>—,очень самонадѣяннаго и притомъ ни къ чему не годнаго человѣка, какихъ производили въ минувшіе годы знаменитые московскіе „кружки“, выдержанъ г. Достоевскимъ въ лицѣ своего героя съ такою послѣдовательностью и полнотою, что ему, конечно, суждено стать рядомъ съ самыми яркими типами, созданными русской художественной литературой. Этотъ, въ сущности очень хорошій, человѣкъ, но слишкомъ уже охмѣлѣвшій отъ гегелевской философіи и вообще московской науки сороковыхъ годовъ, почувствовавшій въ себѣ высшаго человѣка и до шутовства всю жизнь носившійся съ этимъ сознаніемъ—что, впрочемъ, не мѣшало ему въ то же время всячески страдать и мучиться отъ сомнѣній въ самомъ себѣ—этотъ образованный и даже неглупый человѣкъ (онъ иногда кажется глупымъ, но это происходитъ не отъ недостатка ума, а отъ шутовскаго направленія его) является въ жизни неизмѣримо ниже даже какого-нибудь вѣчно пьянаго капитана Лебядкина и поминутно нуждается въ состраданіи и снисхожденіи. Жизнь его складывается самымъ безалабернымъ образомъ, какъ складывалась она у большей части такъ называемыхъ высшихъ натуръ, вышедшихъ изъ московскихъ кружковъ временъ гегелизма. Тутъ и неудавшійся романъ съ женщиной, остави-

<sup>1)</sup> „Новости“ 1875, № 120. Журналистика. М. В.

<sup>2)</sup> Русскій Міръ“ 1872, № 315. Очерки текущей литературы..

вшій въ сердцѣ пепелъ и руины, и полусомнительное существованіе безъ опредѣленныхъ занятій и на чужой счетъ, и заносающаяся до какого-то безпутства рѣчь, и невинность души самая дѣтская, и вѣчные, никогда ничѣмъ не кончающіеся сборы сдѣлать что-то замѣчательное, большое, что-то разъяснить, обобщить и подвести подъ высшій взглядъ "... „Надо отдать полную справедливость г. Достоевскому (разъясняетъ В. П. Буренинъ значеніе того же объективно-художественнаго портрета): онъ производитъ разоблаченіе своего героя съ безпощадностью и безпристрастіемъ тѣмъ болѣе изумительными, что самъ онъ принадлежитъ къ поколѣнію и періоду нашего развитія, породившему тряпичные типы, подобные Степану Верховенскому. Ни одной псевдогеронической, красивой и поэтической по внѣшности и гнилой по сущности, черты авторъ не оставляетъ въ своемъ героѣ безъ выясненія ея въ настоящемъ свѣтѣ. Онъ проникаетъ своей художественной наблюдательностью, своимъ безподобнымъ аналитическимъ инстинктомъ въ самыя сокровенныя глубины бѣднаго Донъ-Кихота нашихъ дней, этого выдохшагося либерала съ романтической подкладкой“<sup>1)</sup>...

Иногда эту художественную законченность критика находила и въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ эпизодахъ и сценахъ разсматриваемыхъ романовъ Достоевскаго. Такъ, въ романѣ „Подростокъ“ въ этомъ отношеніи отмѣчены были А. М. Скабичевскимъ два эпизода: „самоубійство Оли“ и „воспоминаніе героя разказа о посѣщеніи его матерью въ пансіонѣ Тушара“. По поводу второй сцены критикъ говоритъ слѣдующее: „Подумай, читатель, какъ проста и заурядна эта сцена, самая обыденная сцена изъ нашей жизни, но въ то же время какимъ глубокимъ трагизмомъ проникнута она. Это сцена изъ чисторусскаго быта, но какое широкое общечеловѣческое значеніе имѣетъ она! Эта несчастная мать, жертва барской прихоти, являющаяся украдкой взглянуть на своего сына, жалкая, подавленная судьбой и людьми, робѣющая передъ мальчикомъ, котораго она носила въ своей утробѣ и вскормила своею

<sup>1)</sup> „С.-Петербург. Вѣдом.“ 1873. № 13. Журналистика. „Вѣсы“, романъ г. О. Достоевскаго. З. Стр. 1.

грудью; низкокланяющаяся ему въ сознаніи своей мнимой вины передъ нимъ, заключающейся въ томъ, что она разъ въ жизни осмѣлилась любить; этотъ несчастный мальчикъ наконецъ, котораго степъ опредѣлилъ въ лучший пансіонъ, думая, что этимъ исполнилъ весь свой нравственный долгъ; мальчикъ въ своемъ лакейскомъ обезличеніи стыдящійся своей горемычной матери и потомъ въ горькую минуту жизни въ сознаніи своего одиночества и безпомощности рыдающій надъ платочкомъ, оставленнымъ ему ею,—согласитесь, что отъ такой сцены не отказались бы ни Диккенсъ, ни Викторъ Гюго“...<sup>1)</sup>

Такимъ образомъ, несмотря на внѣшнюю шаблонность разсказа, своеобразные приемы творчества Достоевскаго все болѣе и болѣе крѣпли. За немногими исключеніями<sup>2)</sup>, критика уже не поднимала вопроса о подражательномъ его „натурализмѣ“ и вообще о какихъ бы то ни было на него вліяніяхъ, и о Достоевскомъ окончательно складывалось представленіе, какъ о мастерѣ слова, детально работающемъ надъ деталями человѣческой психики въ цѣляхъ раскрытія ея сокровенной сущности и освѣщенія ея свѣтомъ внутренней правды самого писателя.

---

<sup>1)</sup> „Бирж. Вѣдом.“ 1876, № 8. Мысли по поводу текущей литературы. О г. Достоевскомъ вообще и романѣ его „Подростокъ“. Заурядный читатель. Стр. 1.

<sup>2)</sup> Ср. напр. разсужденія В. Г. Авсеенко о крайнемъ натурализмѣ въ романѣ „Подростокъ“, гдѣ изображаются „грязь“ и „печистыя явленія“ безъ соблюденія извѣстныхъ границъ „приличія и вкуса“ („Русскій Міръ“ 1875, №№ 27 и 55. Очерки текущей литературы... и „Русскій Вѣстникъ“ 1876, янв. Литературное обозрѣніе...).

## V. Во второй половинѣ семидесятыхъ годовъ. Оппозиціонный консерватизмъ въ процессѣ собственнаго идеальнаго строительства на „почвѣ“. Простота литературной формы и величіе проникающей ее идеи „Дневникъ Писателя“ 1876—1877 годовъ.

Періодъ идеальнаго строительства „на почвѣ“ въ литературной дѣятельности Достоевскаго. „Дневникъ Писателя“, какъ выраженіе этого строительства. Двойственное отношеніе къ „Дневнику Писателя“ критики разныхъ лагерей (Л. К. Панютинъ, П. Д. Боборыкинъ, А. М. Скабичевскій, Н. А. Куцевскій, Вс. С. Соловьевъ, В. П. Буренинъ, Н. Н. Полевой и др.). Признаніе важности этого изданія для процесса постепеннаго выясненія идеологій Достоевскаго. Отдѣльные пункты этой идеологій передъ судомъ критики: разрывъ Достоевскаго съ западническимъ гуманизмомъ или „измѣна знаменн“ (Г. А. Ларошъ, А. М. Скабичевскій); его славянофильскій мистицизмъ (Н. Н. Ткачевъ и др.); Россія и Европа, славянство и вселенское въ идеологій Достоевскаго; возвращенія Достоевскаго къ русской интеллигенціи и въ частности къ русской молодежи (А. М. Скабичевскій, В. П. Буренинъ и др.); его народолюбіе (В. С. Соловьевъ, А. М. Скабичевскій и др.); женскій вопросъ въ пониманіи Достоевскаго; характеръ націонализма Достоевскаго и вопросъ о его „шовинизмѣ“ и „юдофобіи“. „Два двойника“ въ „Дневникѣ Писателя“. Художественная часть „Дневника“, какъ выраженіе „свѣтлаго двойника“ писателя. Мелкіе рассказы и воспоминанія въ „Дневникѣ“ и отношеніе къ нимъ критики (А. М. Скабичевскій, П. Д. Боборыкинъ, Н. Н. Ткачевъ и др.). Развитие литературной манеры Достоевскаго въ этихъ художественныхъ миниатюрахъ: простота литературной формы и величіе идеи, ее проникающей. „Мальчикъ у Христа на елкѣ“, „Кроткая“, „Мужикъ Марей“ и другіе рассказы, какъ иллюстрація развитія творчества Достоевскаго въ данномъ направленіи.

Послѣ того рѣзкаго отрицанія „западническаго прогресса“, которое Достоевскій конкретно выразилъ въ романахъ „Преступленіе и наказаніе“, „Бѣсы“ и „Подростокъ“, долженъ былъ наступить процессъ утвержденія его личнаго идеала на мѣстѣ отвергнутыхъ имъ прогрессивныхъ крайностей, выработанныхъ, по выраженію одного изъ его истолкователей, русскою интеллигентною „полуобразованностью“ или

русскимъ „интеллигентнымъ подпольемъ“ на протяженіи между сороковыми и семидесятыми годами. Иначе говоря, консервативная тенденція „почвы“ изъ періода разрушенія „нигилистическихъ“ надстроекъ надъ русской жизнью должна была перейти въ періодъ собственнаго „почвеннаго“ строительства или, по крайней мѣрѣ, укрѣпленія въ русской дѣйствительности ея исконныхъ и здоровыхъ, съ точки зрѣнія „почвы“, устоевъ. Этому строительству посвящена была значительная часть „Дневника Писателя“, особенно за 1876 и 1877 годы <sup>1)</sup>. Современная критика это понимала совершенно ясно и поэтому къ „Дневнику Писателя“, претендовавшему не только на обличеніе чужого, но и на созиданіе своего, относилась еще взыскательнѣе, чѣмъ къ только что разсмотрѣннымъ романамъ Достоевскаго.

Уже въ 1873 году по поводу статей Достоевскаго, помѣщенныхъ подъ общимъ заглавіемъ „Дневникъ Писателя“ въ „Гражданинѣ“, было замѣчено, что Достоевскій крупный романистъ, но что въ то же время, какъ публицистъ, философъ, моралистъ, онъ — „ужасенъ, нѣтъ, больше, чѣмъ ужасенъ — онъ невмѣняемъ по отношенію къ здравому смыслу и логикѣ“, потому что онъ „проводитъ свою философію и свою мораль“ „не чрезъ процессъ мышленія, а чрезъ процессъ, если можно такъ выразиться, нервическаго выкликанія“ <sup>2)</sup>. Нѣкоторымъ казалось страннымъ самое участіе Достоевскаго въ такомъ изданіи, какъ „Гражданинъ“. „Дивныя дѣла творятся на святой Руси!“ восклицаетъ по этому поводу Л. К. Панютивъ въ „Голосѣ“. „Авторъ „Мертваго Дома“ поступаетъ редакторомъ „Гражданина“ и печатаетъ въ немъ „Дневникъ Писателя“, подписывая его своимъ именемъ“... Къ этому восклицанію г. Панютивъ прибавляетъ выразительное соображеніе, что Достоевскій больной человѣкъ, и что это видно по его портрету, выставленному „въ настоящее

<sup>1)</sup> „Дневникъ Писателя“ печатался сначала въ „Гражданинѣ“ 1873 г. №№ 1—4, 6, 8, 10, 13, 18, 21, 25, 29, 32, 35, 50, потомъ выходилъ отдѣльно въ 1876 и 1877 гг. съ января по декабрь, въ 1880 г. за августъ и въ 1881 году за январь.

<sup>2)</sup> „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1873, № 20. Журналистика. — Очистительное значеніе каторги и первически-выкликательные фельетоны г. О. Достоевскаго. Z (=В. П. Буренинъ).

время“ въ Академіи Художествъ; этимъ соображеніемъ критикъ, повидимому, и хочетъ объяснить то обстоятельство, что Достоевскій „неожиданно очутился въ компаніи князя Мещерскаго и г. Асоченскаго“<sup>1)</sup>).

Когда съ 1876 года „Дневникъ Писателя“ сталъ выходить самостоятельно, онъ на первыхъ же порахъ въ большинствѣ случаевъ былъ рѣзко осужденъ за свое общее направленіе. Въ разсужденіяхъ Достоевскаго, несмотря на ихъ высоко-гуманитарный характеръ, увидѣли безсистемность, безпринципность и отсутствіе опредѣленнаго міросозерцанія. Такъ, по поводу первыхъ трехъ номеровъ „Дневника“ за 1876 годъ въ „Молвъ“ на ряду съ похвалами „человѣчности“ Достоевскаго находимъ подобные именно упреки: „У г. Достоевскаго нѣтъ никакой системы философскаго мышленія. У него нѣтъ и рѣзко опредѣленныхъ соціально-политическихъ принциповъ. Такіе люди весь свой вѣкъ живутъ настроеніями, подъ вліяніемъ извѣстнаго рода общихъ идей и стремленій эпохи. Но что въ немъ есть несомнѣнно, это—человѣчность, облакающаяся въ идеалистическія формы. Иногда она черезчуръ расплывается, но въ большинствѣ случаевъ остается весьма искренней, теплой, а подчасъ и поэтичной. Примѣромъ такой человѣчности, такого нравственнаго протеста можетъ служить въ 3-мъ номерѣ его „Дневника“ характеристика, сдѣланная имъ процессу Кронеберга и защитительной рѣчи г. Спасовича. Изъ всего, что было по этому поводу сказано въ нашей прессѣ, страницы, написанныя г. Достоевскимъ, выдѣляются по яркости и теплотѣ чувства и по оригинальности манеры, которой онъ, какъ извѣстно, часто злоупотребляетъ. Весьма жаль, конечно, что такой крупный талантъ, какъ г. Достоевскій, лишенъ опредѣленнаго міровоззрѣнія, что онъ во многихъ взглядахъ своихъ ушелъ отъ научно-философской основы, за которую каждый изъ насъ долженъ держаться; но въ немъ, какъ въ публицистѣ, мы не можемъ не цѣнить того тона, которымъ

<sup>1)</sup> „Голосъ“ 1873, №№ 14 и 21. Листокъ. Нилъ Адмирари (=Л. К. Панютичъ). Выпады противъ Достоевскаго, а иногда Достоевскаго и кн. Мещерскаго см. также „Голосъ“ 1873, №№ 18, 25, 32, 60, 74 (Литературные и общественные курьезы) и „Голосъ“ 1873, № 210 (Московскія замѣтки).

веденъ до сихъ поръ его „Дневникъ Писателя“. Тонъ этотъ рѣзко отличается отъ полемическаго задора, отъ личностей, какими переполнена наша журнальная и газетная публицистика. О комъ бы и о чемъ бы онъ ни говорилъ, вы чувствуете, что для него дѣло стоитъ выше личностей, что онъ въ состояніи и къ противникамъ отнестись съ нѣкоторой мягкостью, что онъ и въ антипатичныхъ сторонахъ жизни старается усмотрѣть что-нибудь доброе и только временно извращенное, пошедшее по дурной дорогѣ. Такіе приемы—величайшая рѣдкость въ настоящую минуту, и если „Дневникъ Писателя“ поддержитъ себя на такой же нравственной высотѣ тона, онъ, даже и при всѣхъ отрицательныхъ сторонахъ своего содержанія, поможетъ хотя сколько-нибудь расчищенію воздуха, которымъ наша пресса дышетъ съ нѣкотораго времени“<sup>1)</sup>.

Почти одновременно съ этой полу-похвальной, полу-обличительной рецензіей по поводу „Дневника Писателя“ вопросъ о его общемъ направленіи получилъ подъ перомъ П. Д. Боборыкина еще болѣе отрицательное истолкованіе. Считая самое изданіе такого журнала, какъ „Дневникъ Писателя“, своеобразнымъ предпріятіемъ, Боборыкинъ не увѣренъ однако въ его успѣхѣ именно въ силу „отсутствія міровоззрѣнія“ у его автора-издателя. „Попытка, въ самомъ дѣлѣ“, говоритъ онъ, „оригинальная; предсказать же ей успѣхъ или неуспѣхъ я, конечно, не берусь, но позволю себѣ одно замѣчаніе: если въ „Дневникѣ“ г. Достоевскаго будетъ преобладать публицистическій характеръ, то можно апіорически положить, что авторъ врядъ ли выскажетъ въ немъ что-нибудь новое, что-нибудь такое, чего онъ не могъ или не хотѣлъ высказать, когда былъ во главѣ еженедѣльнаго журнала „Гражданинъ“. У насъ очень мало обращаютъ вниманія на отсутствіе міровоззрѣнія, а какое воззрѣніе имѣетъ авторъ „Подростка“? Сказать это очень затруднительно. Можно только намѣтить всѣ тѣ странности, какія заключаютъ его взгляды по разнымъ вопросамъ, интересую-

<sup>1)</sup> „Молва“ 1876, № 16. Литература и журнализмъ. „Дневникъ Писателя“ О. М. Достоевскаго. Стр. 304.



щимъ нашу интеллигенцію. Тѣхъ же странностей слѣдуетъ ожидать и въ „Дневникѣ“. Этотъ даровитый романистъ прошелъ черезъ множество жизненныхъ испытаній, но его развитіе имѣло характеръ скорѣе регрессивный, чѣмъ прогрессивный. Увлеченія молодости, доставшіяся ему горькою цѣною, привели его къ такой смѣси туманнаго идеализма и почвеннаго мистицизма, которая вырыла между нимъ и стремленіями молодыхъ генерацій огромную и глубокую яму. Этого не слѣдуетъ забывать и отрицать этого нельзя“.....<sup>1)</sup>

При такомъ отношеніи къ основному характеру „Дневника“ нѣкоторымъ критикамъ казалось, что это изданіе Достоевскаго „изобилуетъ, рядомъ съ мѣткими наблюденіями и искрами самаго сердечнаго гуманизма, пристрастными и даже, можно сказать, дикими измышленіями и выводами“<sup>2)</sup>. Другіе высказывали сожалѣніе, что Достоевскій наполняетъ свой „Дневникъ“ „мистико-фантастическими разсужденіями“ и „высокопарно-туманными фразами“, забывая въ то же время „о своемъ истинномъ призваніи изобразителя русской жизни“<sup>3)</sup>. Для третьихъ „многія мысли и положенія“ „Дневника“ представлялись совершенно „странными“ и отзывались „болѣзненно-настроеннымъ воображеніемъ“<sup>4)</sup>. Наконецъ, въ лучшемъ случаѣ, вопросы, поднятые авторомъ „Дневника“, признавались маловажными и оцѣнивались, какъ „всѣмъ перетертыя и перемолотыя ветхости, ни къ чему не ведущія“<sup>5)</sup>.

Въ отвѣтъ на эту рѣзкую оцѣнку „Дневника“ сочувствующая Достоевскому печать стремилась разъяснить его читателямъ положительную роль его новаго изданія въ дѣлѣ постепеннаго построения его собственнаго идеала жизни. Въ такихъ случаяхъ подчеркивалась обыкновенно самостоя-

<sup>1)</sup> „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1876, № 11. Воскресный фельетонъ. П. Боборыкинъ.

<sup>2)</sup> „Сынъ Отечества“ 1876, № 29. Петербургскія замѣтки. „Дневникъ Писателя“ г. Достоевскаго. Стр. 2.

<sup>3)</sup> „Виржевыя Вѣдомости“ 1877, № 68. Мысли по поводу текущей литературы... Заурядный читатель (==А. М. Скабичевскій). Стр. 2.

<sup>4)</sup> „Иллюстрированная Газета. Иллюстрированная Недѣля“ 1876, № 7. Петербургскія шпешма. Стр. 55.

<sup>5)</sup> „Новости“ 1876, № 38. Новости русской литературы. „Дневникъ Писателя“, № 1.—„Мальчикъ съ ручкой“—Причины оскуднѣній.—Школы и г. Достоевскій въ роли Кифы Мокиевича. Новый Критикъ (==П. А. Кушчевскій). Стр. 1.

тельность Достоевскаго въ сужденіяхъ, его искренность и честность, чуткое отношеніе къ вопросамъ общественной жизни, широкій захватъ ихъ и вѣрный анализъ. „Ө. М. Достоевскій—говорить въ 1876 году о „Дневникѣ“ В. С. Соловьевъ—принадлежитъ къ числу весьма немногихъ нашихъ писателей, оставшихся вполне самостоятельными и не примкнувшихъ ни къ какому литературному лагерю. Онъ писалъ и въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, и въ „Гражданинѣ“, и въ „Отечественныхъ Запискахъ“ — журналахъ съ различными направленіями—и никогда не дѣлалъ ни малѣйшей уступки духу литературной партіи, всегда оставался самимъ собою, чрезвычайно искреннимъ и безупречно-честнымъ писателемъ, стоящимъ выше всякихъ личныхъ интересовъ и побужденій, прикрываемыхъ литературною формою... Глубоко талантли- вый художникъ-психологъ, чутко прислушивающійся ко всѣмъ явленіямъ современной общественной жизни и обладающій необыкновеннымъ умѣньемъ схватывать ихъ, такъ сказать, налету и подвергать тонкому и вѣрному анализу,—начинаетъ, не стѣсняемый ничьею хозяйскою рукой, бесѣдовать съ русскимъ обществомъ. Такая бесѣда, по меньшей мѣрѣ, должна быть чрезвычайно интересна. Авторъ начерталъ себѣ самую широкую программу,—онъ говоритъ обо всемъ, что только, по тѣмъ или другимъ причинамъ, оказываетъ на себѣ его вниманіе: опытъ его жизни и вся его умственная и нравственная дѣятельность въ теченіе дня, недѣли, мѣсяца—вотъ содержаніе „Дневника“. Намъ кажется, что дальѣйшее разсужденіе о значеніи такого изданія совершенно излишне“<sup>1)</sup>... Два года спустя тотъ же критикъ, возвращаясь опять къ „Дневнику Писателя“, подчеркнул уже и нѣкоторые, вполне опредѣлившіеся, положительные, результаты двухлѣтней работы Достоевскаго надъ этимъ изданіемъ въ смыслѣ, по крайней мѣрѣ, установленія связи между самимъ писателемъ и постепенно оцѣнивающимъ его, какъ замѣчательнаго публициста, молодымъ поколѣніемъ. „Въ послѣдніе два года—говоритъ критикъ—Өедоръ Михай-

<sup>1)</sup> „Русскій Міръ“ 1876, № 38. Современная литература. „Дневникъ Писателя“ Ө. М. Достоевскаго. Вс. С.—въ. Стр. 1.

ловить занятъ былъ исключительно своимъ „Дневникомъ Писателя“, который представляетъ собою до сихъ поръ еще невиданное явленіе въ нашей литературѣ. Эти ежемѣсячныя бесѣды писателя о самыхъ интересныхъ и жгучихъ вопросахъ текущей жизни съумѣли сильно подѣйствовать, въ особенности на наше молодое поколѣніе, которое съ каждымъ днемъ больше и больше начинаетъ цѣнить Достоевскаго, какъ публициста. Многія изъ высказанныхъ имъ мыслей получаютъ огромное вліяніе на иные молодые умы и приносятъ большую пользу. Никто не умѣетъ такъ говорить съ нашей молодежью, какъ Достоевскій; онъ относится къ ея ошибкамъ и нравственнымъ болѣзнямъ не тономъ строгаго учителя и карателя, а тономъ любящаго отца, страдающаго страданіями дѣтей своихъ. Только такое отношеніе къ молодости, ея ошибкамъ и заблужденіямъ и можетъ принести пользу,—и эта заслуга Достоевскаго такъ велика, что поспорить съ его заслугами какъ художника-романиста<sup>1)</sup>.

Въ этомъ же году подвелъ итоги „Дневнику“ В. П. Буренинъ, встрѣтившій въ свое время фельетоны Достоевскаго въ „Гражданинѣ“ 1873 года очень рѣзкою замѣткою. Интересъ этого второго отзыва Буренина о „Дневникѣ“ Достоевскаго заключается однако не въ томъ только, что критикъ измѣнилъ свое отношеніе къ писателю, а и въ томъ, что онъ раскрылъ неоспоримое значеніе этого изданія Достоевскаго, независимо отъ журнальных партій и ихъ тенденцій. „Дневникъ“ г. Достоевскаго—говоритъ В. П. Буренинъ—былъ такимъ оригинальнымъ и, главное, такимъ глубоко-искреннимъ изданіемъ, что онъ приобрѣлъ себѣ самыя живыя симпатіи не только у читателей, но даже и среди нашихъ журнальных котерій, которыя любятъ называть себя партіями. Несмотря на парадоксальность многихъ воззрѣній высокодаровитаго писателя, въ его „Дневникѣ“, въ продолженіе двухлѣтняго срока, было высказано много своеобразныхъ, вѣрныхъ и

<sup>1)</sup> „Иива“ 1878, № 1. Федоръ Михайловичъ Достоевскій. Вс. Соловьевъ. Стр. 2—3. На роль „Дневника“ въ смыслѣ установленія „нравственной связи“ между авторомъ и читателями указываетъ также, между прочимъ, и „Донская Пчела“ 1878, № 11 (Ф. М. Достоевскій и его „Дневникъ Писателя“. Иванъ-да-Марья—И. Ф. и М. Тхоржевскіе?).

иногда необыкновенно глубоких, свѣтлыхъ и мѣткихъ мыслей и наблюдений и притомъ высказано такой задушевной, убѣждающей, горячей рѣчью. Безъ всякаго сомнѣнія, въ нашей періодической литературѣ немного насчитывается изданій, могущихъ по внутреннему интересу конкурировать съ этимъ маленькимъ журналомъ, издававшимся однимъ лицомъ, безъ помощи какихъ бы то ни было сотрудниковъ. Всѣ, кто читалъ „Дневникъ“,—а его читали очень и очень многие: онъ имѣлъ замѣчательный успѣхъ—конечно пожалѣютъ о томъ, что авторъ прекращаетъ свою задушевную и симпатичную періодическую бесѣду о различныхъ вопросахъ и явленіяхъ современной дѣйствительности. Впрочемъ, это невольное сожалѣніе до нѣкоторой степени можетъ быть утѣшено „твердой надеждой“ высокодаровитаго писателя возобновить „Дневникъ“ черезъ годъ и отчасти умѣрено его заявленіемъ о томъ, что въ настоящій годъ отдыха онъ займется художнической работой. Что будетъ результатомъ этой работы—крупный ли романъ или небольшое произведеніе, удачная или неудачная вещь, но во всякомъ случаѣ, конечно, это будетъ вещь, если не въ цѣломъ, то долею необыкновенно оригинальная, захватывающая такія стороны русской жизни и русскихъ характеровъ, какія никто, кромѣ г. Достоевскаго, услѣдить не можетъ, и притомъ выражающая ихъ такъ нервно и прочувствованно, какъ не умѣетъ выражать положительно никто изъ пишущихъ теперь беллетристовъ... Я началъ рѣчь о „Дневникѣ“ г. Достоевскаго отнюдь не для того, чтобы дѣлать оцѣнку этого періодическаго изданія: мнѣ просто хотѣлось помянуть добрымъ словомъ двухлѣтнюю журнальную дѣятельность автора, такъ какъ я, на ряду со многими другими читателями, очень цѣнилъ одно высокое и рѣдкое въ нашей журналистикѣ качество этой дѣятельности: ея смѣлую искренность, правдивость и самостоятельность. Я не раздѣляю многихъ славянофильскихъ и особенно мистическихъ взглядовъ и парадоксовъ г. Достоевскаго; но мнѣ всегда ужасно нравилось и нравится въ немъ то, что онъ высказывается прямо, отъ души, безъ псевдо-либеральной боязни показаться отсталымъ человѣкомъ, отступникомъ про-

свѣщеннаго европезма. Мнѣ всегда нравилось въ немъ то, что какія бы идеи онъ ни выражалъ—хотя бы даже и противорѣчація такъ называемому либеральному направленію—, въ его рѣчи слышалось слово непоколебимо честнаго и убѣжденнаго писателя. И больше всего мнѣ нравилось то, что онъ постоянно говорилъ „свои“ слова, а не занятія на прокатъ, не навѣянныя, не рутинныя фразы. У насъ въ теперешней журнальной литературѣ очень мало людей, которые бы, по выраженію Бернѣ, писали „сокомъ своихъ нервовъ и кровью своего сердца“. Авторъ „Дневника“ принадлежитъ къ такимъ людямъ. Большая часть теперешнихъ публицистовъ, критиковъ, беллетристовъ—эхо; самостоятельныхъ „голосовъ“ между ними съ огнемъ поискать. Авторъ „Дневника“ принадлежитъ къ числу „голосовъ“. А вѣдь, собственно говоря, только „голоса“ и важны и въ журналистикѣ, и въ художественной литературѣ. Самое звонкое, самое разнообразное и ловкое журнальное эхо не стоитъ самаго тихаго и бѣднаго діапазономъ, но живого голоса. Голосъ, какъ бы онъ ни былъ слабъ, всегда отзовется живой правдой; эхо, будь оно даже самое либеральное и радикальное, всегда отзовется фальшью звуковъ и путаницей“...<sup>1)</sup>

Еще годъ спустя независимость и цѣнность идеалистической программы „Дневника“ стала для критики, интересовавшейся созидательной работой публициста и художника Достоевскаго, совершенно очевидной и несомнѣнной. „Автора—говоритъ П. Полевой—всецѣло занимаютъ въ „Дневникѣ Писателя“ вопросы, волнующіе наше общество, начиная съ самыхъ мелкихъ, обыденныхъ до великихъ, національных, общечеловѣческихъ. Часто взгляды Ф. М. Достоевскаго не подходили вполнѣ къ господствующимъ понятіямъ, но за то никто не могъ заподозрить ихъ въ неискренности... Горячая любовь къ народу, къ Россіи, къ ея славіи и величію—

<sup>1)</sup> „Новое Время“ 1878, № 681. Литературные очерки.—Кой-что о „Дневникѣ Писателя“ г. Достоевскаго и о его авторѣ.—Эхо и голосъ въ журналистикѣ.—Примѣры журнальнаго эхо и голоса въ сужденіяхъ г. Скабичевскаго о Некрасовѣ и сужденіе г. Достоевскаго.—Рутинныя и маломысленныя тирады о Некрасовѣ и мнѣніяхъ о немъ „молодыхъ друзей“.—Слова „Дневника“ о Пушкинѣ и значеніи некрасовской поэзіи. В. Вуренинъ. Стр. 2.

все это ясно видно на страницах „Дневника“. Уже съ первых выпусковъ его всякій почувствовалъ, что писатель не побоялся упрека въ утопизмъ и будетъ говорить прямо, насколько возможно, о всемъ, что онъ считаетъ благороднымъ, высоко-нравственнымъ. „Я неисправимый идеалистъ,—такъ рекомендуетъ себя Ф. М. Достоевскій въ одномъ мѣстѣ своего „Дневника“,—я ищу святыхъ, я люблю ихъ, мое сердце ихъ жаждетъ, потому что я такъ созданъ, что не могу жить безъ святыхъ“... Кто вдумается въ эти слова, тотъ пойметъ многое въ дѣятельности Федора Михайловича, пойметъ и тенденцію его романовъ“<sup>1)</sup>.

Несмотря на такое двойственное отношеніе къ „Дневнику Писателя“—то обличительное, то хвалебное, критика согласно придавала важное значеніе этому изданію Достоевскаго, потому что видѣла въ немъ—такъ можно предполагать—процессъ постепеннаго построенія того идеала, который въ цѣломъ своемъ видѣ долженъ былъ вскорѣ выразиться въ формѣ художественнаго произведенія<sup>2)</sup>. По мѣрѣ того какъ Достоевскій подбиралъ матеріалы для этого близкаго уже идеала, зорко слѣдившая за нимъ критика отмѣчала каждый его шагъ въ этомъ направленіи и расцѣпывала, положительно или отрицательно, каждый камень въ фундаментѣ постепенно складывавшагося зданія его идеологій.

Прежде всего замѣчено было, что Достоевскій сталъ иногда рѣзко порывать съ западническимъ гуманизмомъ или, какъ выражалась передовая печать, измѣнять своему прежнему знамени. Такъ, говоря о безпощадныхъ обвинительныхъ выступленіяхъ автора „Дневника“ по поводу процесса г-жи Капровой („Дневникъ Писателя“ 1876, май, глава первая), критикъ „Голоса“ обвиняетъ самого Достоевскаго именно въ „измѣнѣ знамени“: „Измѣна знамени“ (кто прочтетъ этотъ фельетонъ до конца, тотъ увидитъ, что, въ моемъ примѣненіи, слово „измѣна“ имѣетъ смыслъ фигуральный и ужъ отнюдь не характеръ личнаго оскорбленія),

<sup>1)</sup> „Огонекъ“ 1879, № 34. Современные русскіе писатели. VII. Федоръ Михайловичъ Достоевскій. П. Полевой. Стр. 682.

<sup>2)</sup> См. выше (стр. 202) въ статьѣ В. П. Вуренниа ссылку на „художническую работу“ Достоевскаго, долженствующую смѣнить его „Дневникъ“.

итакъ, „измѣна знамени“, въ которой я обвиняю знаменитаго писателя, заключается въ томъ, что онъ, со времени появленія „Преступленія и наказанія“—стало быть, ровно десять уже лѣтъ—сталъ гонителемъ и прокуроромъ „униженныхъ и оскорбленныхъ“, тогда какъ и самъ онъ, и все мы очень хорошо знаемъ, что весь смыслъ его литературной дѣятельности, все общественное значеніе, весь капиталъ идей, выписимый нами изъ чтенія его романовъ, повѣстей и (въ послѣдніе годы) фельетоновъ, заключается, наоборотъ, въ христіанскомъ, широко-гуманномъ отношеніи къ „несчастнымъ“... Случилось это очень просто и безъ всякаго коварства со стороны г. Достоевскаго. Онъ всегда былъ пѣвцомъ страданія, бардомъ забитости и пришибленности. Это придавало поэзіи его характеръ филантропіи, что онъ самъ видѣлъ и что нѣкоторое время, вѣроятно, доставляло ему удовольствіе. Но мало-по-малу (быть можетъ подъ вліяніемъ раздраженія, возбужденнаго въ немъ журнальными столкновеніями, печатными дразнами) въ немъ усилился элементъ аскетизма, элементъ отреченія отъ благъ сего міра и умерщвленія плоти... Итакъ, въ г. Достоевскомъ, на ряду съ филантропіей, выступилъ второй элементъ—аскетизмъ. Затѣмъ оставалось сдѣлать еще одинъ шагъ, и этотъ шагъ былъ сдѣланъ: оставалось воспѣть не страдальцевъ, не „униженныхъ“, а самый принципъ страданія, само униженіе. Въмѣсто прежняго: „посмотрите, какъ несчастенъ человѣкъ, котораго пытаются“, мы теперь услышали: „посмотрите, какъ хорошо, когда человѣка пытаются покрѣпче“. Казалось бы, что можетъ быть противоположнѣе? А эти контрасты умѣстились въ двадцатилѣтней литературной дѣятельности поэта (о времени до ссылки г. Достоевскаго я здѣсь не говорю, потому что филантропъ въ немъ уцѣлѣлъ во время ссылки и цѣликомъ выступилъ въ „Запискахъ изъ Мертваго Дома“: стало быть, переворотъ произошелъ не въ Сибири, а позже)<sup>1)</sup>... „Весь этотъ выпускъ „Дневника“—

<sup>1)</sup> „Голосъ“ 1876, № 152. Литература и жизнь.—Два слова по поводу смерти Жюль-Занда.—Неудавшіяся жоржзандовы героини въ русскомъ обществѣ и г. Достоевскій.—Филантропія и консерватизмъ, столкнувшіеся въ вопросѣ о невмѣняемости. Л. (= Г. А. Ларошъ). Стр. 2.

говорить другой критикъ по поводу отношенія Достоевскаго къ дѣлу Каировой—проникнуть самымъ черствымъ безсердечіемъ, тѣмъ болѣе возмутительнымъ, что безсердечіе это прикрывается самою сердобольною гуманностью въ христіанскомъ духѣ, тѣмъ іезуитскимъ смиреніемъ паче гордости, которое нѣкогда возводило ближняго на костеръ, скорбя о его паденіи и молясь о его спасеніи“. Находя, что Достоевскій въ лицѣ г-жи Каировой „печатно, т. е. публично и даже болѣе публично, чѣмъ въ залѣ или на площади, наполненной народомъ“, „бросаетъ грязью въ женщину, совершенно ему незнакомую“, — критикъ отказывается вѣрить гуманистическимъ тенденціямъ Достоевскаго: „По крайней мѣрѣ, впредь я не иначе какъ съ отвращеніемъ—говоритъ онъ—буду читать разглагольствованія г. Достоевскаго о евангельской чистотѣ и незыблемости народныхъ основъ, о смиренномудріи, гуманности, незлобii и т. п., о чемъ любить онъ размазывать съ четками въ рукахъ и сердобольными вздохами. Мнѣ такъ и будетъ постоянно мерещиться изъ-подъ маски смиренномудраго лицемѣра скрежетъ зубовъ изувѣра, готоваго съ площадною бранью наброситься на первую женщину, имѣвшую несчастье очутиться на скамьѣ подсудимыхъ“<sup>1)</sup>...

Усиливаясь точнѣе опредѣлить, во имя чего Достоевскій порвалъ съ западнической идеологіей, къ которой былъ такъ близокъ въ сороковыхъ годахъ, критика называла его то „обыкновеннымъ, — но очень умнымъ, — фельетонистомъ славянофильскаго пошиба“<sup>2)</sup>, то безпринципнымъ „идеалистомъ и романтикомъ“ въ духѣ „квасного патріотизма“ и

<sup>1)</sup> „Биржевыя Вѣдомости“ 1876, № 159. Мысли по поводу текущей литературы. — Майскій выпускъ „Дневника Писателя“. Заурядный читатель. Въ видѣ иллюстраціи „нетерпимости“ Достоевскаго къ западничеству и западникамъ—въ томъ видѣ, какъ эту нетерпимость поняли сами обличители отступничества Достоевскаго—можетъ служить, напр., изложенный въ одной газетной статьѣ („Новости“ 1879, № 70. Вчера и сегодня. Чествованіе „человѣка сороковыхъ годовъ“ гг. учеными и литераторами. Коломенскій Кандидъ—В. О. Михневичъ. Стр. 4) разсказъ о томъ, какъ Достоевскій во время чествованія Н. С. Тургенева „настоячиво“ и даже „съ почти негодующимъ лицомъ“ допрашивалъ его, въ чемъ заключается „провозглашенный имъ идеалъ“.

<sup>2)</sup> „Одесскій Вѣстникъ“ 1876, № 116. Литературные очерки. „Дневникъ Писателя“ г. Достоевскаго.—Характеристика этого „Дневника“ и автора его, какъ мыслителя.—Аргументація г. Достоевскаго и ея недостатки.—Вопросъ о войнѣ: Г. Достоевскій и Викторъ Гюго. С. С. Стр. 1.



„затхлой хомяковщины и аксаковщины“ <sup>1)</sup>, то „представителем мистико-славянофильскаго направленія „больныхъ людей“ отживающаго поколѣнія 40-хъ годовъ“ <sup>2)</sup>. Такимъ образомъ краеугольнымъ камнемъ возводимой Достоевскимъ постройки были, по пониманію передовой критики, то „неославянофильскій мистицизмъ“, лишенный однако присущей лучшимъ славянофиламъ 40-хъ годовъ эрудиціи <sup>3)</sup>, то „проприанія и откровенія“ въ духѣ „славянофильскаго кликушества“, полныя шовинизма и фантастики <sup>4)</sup>, то, наконецъ, „разглагольствованія мистическаго характера, безъ ясной системы, въ которыхъ все сводится къ какому-то туманному предопредѣленію, къ судьбамъ, ожидающимъ... и т. д.“ <sup>5)</sup>

Всѣ эти рѣзкія опредѣленія основныхъ тенденцій автора „Дневника“ не ослабляли однако въ глазахъ критики ихъ важности и значенія для постепеннаго роста самого писателя и его идеала. Критики Достоевскаго понимали, что онъ строитъ не на пескѣ, а по меньшей мѣрѣ на такомъ прочномъ основаніи, на которомъ можетъ крѣпко держаться не только „неославянофильскій мистицизмъ“, но и всякое другое, болѣе жизненное, направленіе русской прогрессивной общественности,—и потому они находили нужнымъ серьезно считаться съ новою „вѣрою“ Достоевскаго, противопоставленною имъ „западническому прогрессу“. Это особенно стало замѣтнымъ, когда Достоевскій съ обостреніемъ восточнаго вопроса усиленно заговорилъ въ 1876-7 годахъ въ своемъ „Дневникѣ“ о Европѣ, Россіи, славянствѣ и всечеловѣчествѣ. Ему отвѣчали иногда, правда, съ ироніей и даже съ сарказмомъ, но въ то же время съ нимъ всегда говорили, какъ съ

<sup>1)</sup> „Одесскій Вѣстникъ“ 1876, № 155. Журнальные очерки. Г. Достоевскій и его profession de foi по славянскому, народному и восточному вопросамъ. С. С. Стр. 2.

<sup>2)</sup> „Дѣло“ 1878, № 6. Литературныя мелочи. Все то же (==П. Н. Ткачевъ). Стр. 13.

<sup>3)</sup> „Молва“ 1876, № 39. Литература и журнализмъ.—„Дневникъ Писателя“—ежемесячное изданіе О. М. Достоевскаго. Стр. 679-680.

<sup>4)</sup> „Одесскій Вѣстникъ“ 1877, № 238. Журнальные очерки. Историческія и литературныя характеристики на основаніи журнальныхъ статей.—Щедринъ и его послѣдняя сатира.—Достоевскій, Тьеръ и Эдгаръ Кинэ, поставленные рядомъ другъ съ другомъ на основаніи послѣднихъ №№ „Дневника Писателя“, Вѣстника Европы“ и „Дѣла“. С. С. Стр. 1.

<sup>5)</sup> „Кронштадтскій Вѣстникъ“ 1877, № 61. „Дневникъ Писателя“. Ежемесячное изданіе О. М. Достоевскаго. Нѣкто изъ толпы. Стр. 1.

серьезнымъ идеологомъ, котораго ни въ коемъ случаѣ нельзя обойти молчаніемъ. Вотъ одно изъ изложеній идеологіи Достоевскаго-автора „Дневника Писателя“ въ печати противоположнаго съ нимъ лагеря: „Онъ вѣруеть въ то, что Россія давнымъ давно дошла уже до высшихъ идеаловъ западныхъ переустроителей общественнаго строя, что она хранитъ въ нѣдрахъ своихъ идею „всемірнаго человѣческаго обновленія— въ видѣ божеской правды, въ видѣ Христовой истины, которая когда-нибудь да осуществится же на землѣ, и которая всецѣло сохраняется въ православіи“. Вотъ основной принципъ міровоззрѣнія г. Достоевскаго: церковность, поглощающая въ себѣ всѣ силы, свойства и особенности русско-славянской цивилизаціи. Въмѣсто широкихъ основъ прогресса, не знающаго обязательнаго подчиненія болѣе частной сферѣ человѣческой совѣсти: религіознымъ вѣрованіямъ, г. Достоевскій, повторяя славянофиловъ, проповѣдуетъ такіа истины: Россія, въ допетровскую эпоху, видите-ли, понимала, что несетъ внутри себя драгоцѣнность, которой нѣтъ нигдѣ больше — православіе, что она—хранительница Христовой истины, но уже истинной истины, настоящаго Христова образа, затемнившагося во всѣхъ другихъ вѣрахъ и во всѣхъ другихъ народахъ“... Такимъ образомъ, приходится заключить „со словъ“ (Достоевскаго), что его „православное дѣло“ есть чистѣйшій „человѣческій прогрессъ“. Но если оно такъ, то куда же дѣнется все западное человѣчество со своей теоріей прогресса? Уйдетъ, что-ли, въ панруссизмъ на церковной подкладкѣ? Вѣроятно, такъ; а, пока это совершится, всѣ славяне должны быть, по ученію и пророчеству г. Достоевскаго, объединены Россіей не иначе, какъ въ догматахъ православія, въ которомъ (какъ онъ снова повторяетъ) и заключается вся высшая суть „славянской идеи“... И все это говорится искренно! Но привилегіямъ „искренности“ надо же положить предѣлъ. И всякій изувѣрь убѣжденъ:—и въ нашихъ самосжигателяхъ и морельщикахъ дѣйствуетъ внутреннее чувство, и костры инквизиціи держались за искренность вѣры!..“<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> „Молва“ 1876, № 39. Литература и журнализмъ... Стр. 680—681.

Нѣсколько спокойнѣе и съ нѣкоторымъ вниманіемъ къ идеѣ „общечеловѣка“ изложена та же идеологія Достоевскаго-публициста и политика въ „Дѣлѣ“ 1877 года: „Г. Достоевскій извѣстенъ, какъ даровитый беллетристъ, но онъ берется вовсе не за свое дѣло, когда пускается въ публицистику и политику. Уже съ самаго начала сербскоѣ войны г. Достоевскій забилъ тревогу и повелъ свое славянское пророчество. Въ первомъ номерѣ „Дневника“ за нынѣшній годъ онъ втопталъ Европу въ грязь, доказалъ, что вся она—ложь и неправда, что она утратила даже вѣру въ Бога, и что европейской идеи въ сущности нѣтъ, а то, что мы принимаемъ за идею,—не болѣе, какъ два взаимно поглощающіяся противорѣчія. Г. Достоевскій говоритъ, что романцы, создавъ католицизмъ, дали не правду, а ложь. И когда ложь католицизма была доказана, нѣмцы выдвинулись съ своимъ протестантизмомъ. Эти двѣ идеи, взаимно исключаящіяся, столкнувшись между собою, должны рухнуть, и образуется пустота. Что же наполнить ее? По словамъ г. Достоевскаго, пустоту должна заполнить славянская идея. Славянская идея не есть идея вражды; она идея любви самой широкой, безграничной, міровой. Въ то время, какъ каждый народъ Европы выставляетъ своего спеціального человѣка, славянскій міръ даетъ „обще-человѣка“. Но позвольте, г. Достоевскій. Мы вовсе не отрицаемъ, что идея „обще-человѣка“ имѣетъ законное право на существованіе. Мы бы желали только, чтобы вы намъ доказали, что идея эта принадлежитъ спеціально намъ, русскимъ, и изобрѣтена нами, а не Европой. Если вы это докажете, мы примемъ вашъ патентъ на изобрѣтеніе, а если не докажете, попросимъ васъ воздержаться отъ роздачи историческихъ привилегій. Г. Достоевскій вовсе и не подозреваетъ, что въ его мечтаніяхъ рѣшительно нѣтъ никакого фактическаго содержанія, и мыслить онъ не реально, а Богъ знаетъ какъ,—хоть святыхъ вонъ выноси. Въ то же время сколько искренности, сколько любви, и сколько фанатизма въ его привязанности къ народу, къ Россіи! Г. Достоевскій, по отсутствію реального мышленія, не подумалъ только объ одномъ—какой дать образъ и подобіе „обще-человѣку“, въ

котораго воплотится славянская идея. У всякаго народа есть опредѣленная идея, стремленія, точныя желанія, которыя могутъ быть формулированы. Но что такое „обще-человѣкъ“, съ которымъ г. Достоевскій думаетъ явиться на пиръ природы? И г. Достоевскій дѣлаетъ весьма благоразумно, что обходитъ этотъ вопросъ молчаніемъ, потому что, при всемъ своемъ беллетристическомъ талантѣ, онъ очень хорошо видитъ, какъ ему легко договориться до смѣшного“...<sup>1)</sup>

Такъ понимала передовая критика основу идеологій Достоевскаго; само собою при этомъ разумѣется, что въ сочувствующемъ ему лагерѣ его „profession de foi“ принимали цѣликомъ, безъ комментариевъ, съ одобреніемъ и иногда даже восторженно<sup>2)</sup>. Но для той и другой стороны важно было уяснить себѣ не только эту основу, отвлеченную и обвѣянную мистическимъ идеализмомъ, но и тѣ болѣе конкретныя детали идеологій Достоевскаго, которыя могли имѣть непосредственное отношеніе къ текущей русской жизни. Иначе говоря, являлся невольнo вопросъ о томъ, какое мѣсто въ идеологій Достоевскаго займетъ, напр., русская интеллигенція, въ частности русская молодежь, какую роль отведетъ Достоевскій простому народу, какъ отнесется къ женской эмансипаціи, къ русскому націонализму и т. д. Къ этимъ отдѣльнымъ частямъ возводимой Достоевскимъ постройки критика присматривалась также очень внимательно и даже въ пылу споровъ и возраженій не упускала отмѣтить въ нихъ то, въ чемъ видѣла одинъ изъ устоевъ этого величаваго строительства, которому, при всей его реальной невыдержанности, нельзя было отказать въ самомъ искреннемъ и задушевномъ идеализмѣ.

Въ особенности критику интересовало отношеніе Достоевскаго къ русской интеллигенціи и молодежи, которое въ то время неизбѣжно считалось мѣриломъ степени участія

<sup>1)</sup> Дѣло“ 1877, № 6. Журнальныя замѣтки...—„Дневникъ Писателя“ за 1877 г. №№ 1, 2 и 3. Стр. 62-63.

<sup>2)</sup> Ср. напр. „Русскія Вѣдомости“ 1876, № 82. Журнальное обозрѣніе. „Дневникъ Писателя“. Февраль. II-й ч. Стр. 2.—„Московскія Вѣдомости“ 1876, № 104. Выписки и замѣтки.—„Астраханскій справочный листокъ“ 1877, № 126. Смѣсь. Достоевскій о восточномъ вопросѣ. Стр. 3.

писателя въ прогрессѣ или въ реакціи. При этомъ одни съ полнымъ довѣріемъ относились къ „правдивости“ изображаемыхъ Достоевскимъ „новыхъ людей“, безъ достаточнаго основанія, по его мнѣнію, претендующихъ на роль двигателей въ развитіи русскаго общества <sup>1)</sup>; другіе съ развязностью мелкой прессы, вторящей крупной журналистикѣ, кричали, что Достоевскій,—этотъ „кабинетный моралистъ“, эта „падающая звѣзда“ въ родѣ князя Мещерскаго съ его жалкими „рѣчами консерватора“,—въ своемъ „Дневникѣ“ „сочиняетъ на русское общество всевозможныя обвиненія“, „не имѣя о немъ понятія“, и особенно нападаетъ на молодое поколѣніе—„на „подростковъ“ и даже крошечныхъ людей“ <sup>2)</sup>. Третья категорія критиковъ относилась не такъ прямолинейно къ „прорицаніямъ“ Достоевскаго по адресу молодой русской интеллигенціи и потому оцѣнивала глубже его взгляды въ данномъ направленіи. Для этой категоріи было не только любопытно, но и цѣнно отмѣтить, напр., то обстоятельство, что гр. Л. Толстой своимъ романомъ „Анна Каренина“, въ лицѣ героя романа Левина,—этого художественнаго выраженія „новаго чело-вѣка“, какъ его понималъ самъ Толстой,—„не угодилъ даже и сродственнику своему по міровоззрѣнію г. Θ. Достоевскому“ <sup>3)</sup>; иногда критика встрѣчала это строго-критическое отношеніе Достоевскаго къ физическому и духовному „праздношатайству“ Левина („Дневникъ“ 1877, іюль-августъ) даже съ извѣстнымъ нравственнымъ удовлетвореніемъ <sup>4)</sup>. Наконецъ, такое сознательное и глубокое отношеніе Достоевскаго къ задачамъ русской интеллигенціи, высказанное, напр., въ оцѣнкѣ Пушкина, Лермонтова и Некрасова (по поводу эпизода съ рѣчью Достоевскаго на могилѣ Некрасова—„Дневникъ“ 1877, дек., гл. II), позволяло нѣкоторымъ критикамъ настоятельно подчеркивать неліцемерную солидарность Достоевскаго съ молодымъ поколѣніемъ по вопросу

<sup>1)</sup> „Московскія Вѣдомости“ 1876, № 104. Выписки и замѣтки.

<sup>2)</sup> „Петербургская Газета“ 1876, № 24. Кабинетные моралисты (По поводу „Дневника Писателя“ Θ. М. Достоевскаго). Стр. 1.

<sup>3)</sup> „Виржевыя Вѣдомости“ 1877, № 239. Мысли по поводу текущей литературы. „Дневникъ Писателя“ Θ. Достоевскаго. Заурядный читатель.

<sup>4)</sup> „Крошадатскій Вѣстникъ“ 1877, № 61. „Дневникъ Писателя“... Стр. 1.

объ интеллигенціи, народѣ и ихъ взаимоотношеніи и приглашать молодежь „прислушаться къ искреннему и почувствованному слову автора „Дневника“, чтобы не подпадать подъ вліяніе пустого, формальнаго либерализма<sup>1)</sup>.

Рядомъ съ вопросомъ о молодой русской интеллигенціи стоялъ вопросъ объ отношеніи интеллигенціи къ народу, который былъ выставленъ авторомъ „Дневника“ также въ качествѣ одного изъ устоевъ, на которыхъ долженъ былъ обосноваться его идеалъ жизни. Сочувствующая Достоевскому критика горячо привѣтствовала его выступленія въ „Дневникѣ“ по этому вопросу. „Недовольство окружающею дѣйствительностью и исканіе изъ нея выхода—говорить Вс. С. Соловьевъ—становятся признаками серьезно мыслящихъ людей нашего времени... Гдѣ же выходъ, гдѣ чистый воздухъ, что должно возродить насъ и откуда намъ ждать спасенія?... Не слѣдуетъ ли искать спасенія тамъ, гдѣ жизнь проще и цѣльнѣе, гдѣ человѣкъ долженъ быть ближе къ природѣ и здоровѣе, не слѣдуетъ ли искать спасенія въ народѣ?... Но это не отвѣтъ—это только начало отвѣта, становящееся, въ свою очередь, огромнымъ вопросомъ. Вотъ что по поводу народа говоритъ Ф. М. Достоевскій въ февральскомъ выпускѣ „Дневника Писателя“ (Цитируется „Дневникъ“ 1876, февраль, глава первая, II: „Вопросъ о народѣ... по общему дѣлу въ сердцахъ“). Итакъ, соединеніе съ народомъ, отдача ему того, что есть у насъ дѣйствительно хорошаго, и принятіе отъ него его правды—вотъ въ чемъ, по мнѣнію Ф. М. Достоевскаго, должны мы искать себѣ спасенія. Съ своей стороны мы весьма склонны думать, что если только все это возможно, то здѣсь дѣйствительно и есть наше спасеніе. Но возможно ли это, какимъ образомъ и когда оно будетъ возможнымъ?—вотъ новые вопросы, на которые, по крайней мѣрѣ въ настоящее время, мы не находимъ отвѣта. Для насъ народъ—загадка, теорія, какъ совершенно справедливо замѣтилъ Ф. М. Достоевскій; у насъ есть понятіе о народныхъ идеалахъ, о его правдѣ, о той всевыносящей несокрушимой силѣ, которая живетъ въ немъ;

<sup>1)</sup> „Новое Время“, 1878, № 681. Литературные очерки... В. Буренинъ. Стр. 3.

но при столкновѣніяхъ съ народомъ, при внимательномъ на него взглядѣ, мы сразу замѣчаемъ, что въ настоящее время, при настоящемъ его состояніи, онъ не спасетъ насъ, что онъ самъ несчастливъ, самъ нуждается въ спасеніи. Если спасеніе наше произойдетъ посредствомъ народа, то и спасеніе народа должно совершиться черезъ насъ... Ө. М. Достоевскій говоритъ, что въ русскомъ человѣкѣ изъ простонародья нужно умѣть отвлекать красоту его отъ наноснаго варварства, что нужно судить нашъ народъ не по тому, чѣмъ онъ есть, а по тому, чѣмъ желалъ бы стать, по его идеаламъ. Мы и любимъ прекрасные народные идеалы, какъ любимъ и свои погибшіе идеалы. Сравнивая себя съ народомъ и „отвлекая его красоту отъ наноснаго варварства“, его, присущую ему, упорную, могучую силу отъ безсилія и грязи, въ которыхъ онъ теперь находится, мы готовы сознаться, что мы несравненно слабѣе его; но въ то же самое время мы не можемъ не видѣть всей опасности его настоящаго положенія. Если болѣзнь его будетъ продолжаться и развиваться, то, несмотря на всю свою силу, онъ не только не будетъ въ состояніи спасти насъ, но можетъ и самъ безвозвратно погибнуть... Намъ хотѣлось бы вѣрить, что Ө. М. Достоевскій не увлекается въ своемъ воззрѣніи на народъ, намъ хотѣлось бы раздѣлить его надежды“...<sup>1)</sup>

Народолюбіе Достоевскаго было при этомъ такъ увлекательно, что передъ нимъ не устояли и его литературные противники, находившіе въ „Дневникѣ“ такія мысли объ интеллигенціи и народѣ, которыя иногда соприкасались съ передовымъ народничествомъ семидесятыхъ годовъ. Такъ по поводу февральскаго выпуска „Дневника Писателя“ за 1876 годъ, посвященнаго данному вопросу („Дневникъ“ 1876, февраль, глава первая), А. М. Скабичевскій соглашается съ „цѣлымъ рядомъ professions de foi, въ которыхъ авторъ

<sup>1)</sup> „Русскій Міръ“ 1876, № 65. Современная литература. Наши надежды на народъ.—Ө. М. Достоевскій о народѣ... Вс. С.—въ. Стр. 1—2. Ср. также „Русскій Вѣстникъ“ 1876, т. 122, мартъ. Опять о народности и о культурныхъ типахъ А (вѣенко): авторъ дѣлаетъ *passim* (стр. 365—370, 371, 373) нѣсколько сочувственныхъ замѣтокъ о взглядахъ Достоевскаго на народъ, подкрѣпляя ихъ ссылками на „Дневникъ“.

говорить объ отношеніяхъ интеллигенціи къ народу“; по мѣнѣю этого критика, Достоевскій въ своихъ взглядахъ тутъ даже сходится съ г. Профаномъ „Отечественныхъ Записокъ“, такъ какъ онъ выражаетъ другими словами то же самое, что и Н. К. Михайловскій, т. е. что „у мужика есть чему научиться, но есть и намъ что ему передать“ <sup>1)</sup>.

Къ исканію народа у Достоевскаго, такимъ образомъ, примыкали его читатели различныхъ общественныхъ оттѣнковъ, а нѣкоторые, болѣе родственные ему по духу, съ восторгомъ ловили каждое слово „публициста-проповѣдника“, сказанное на эту тему, и съ нетерпѣніемъ ожидали, какъ онъ будетъ опять и опять „говорить о русскихъ народныхъ силахъ, о предстоящихъ русской интеллигенціи задачахъ... и о разрѣшеніи ихъ въ народномъ духѣ и по требованію народной правды“ <sup>2)</sup>...

Еще болѣе сочувственно отнеслись читатели и критики этой послѣдней группы къ „Дневнику“ Достоевскаго по поводу женскаго вопроса, входившаго также въ область его публицистическихъ темъ. Такъ, разсужденія его на эту тему въ майскомъ выпускѣ „Дневника“ за 1876 годъ приняты были въ нѣкоторыхъ журналахъ съ восторгомъ, какъ правильное истолкованіе уродливыхъ крайностей женскаго вопроса въ Россіи и какъ вѣрная оцѣнка положенія русской женщины <sup>3)</sup>. Въ чемъ именно заключалась, по пониманію критики, эта правильность взгляда Достоевскаго на женскій вопросъ, могутъ отчасти разъяснить слѣдующія строки изъ „педагогической хроники“ журнала „Женское Образование“, посвященныя іюньскому выпуску „Дневника“ 1876 года: „Кому не случалось встрѣчать въ наше время „барышень съ учеными претензіями“, барышень, которыя, клюнувши, такъ сказать, нѣсколько зернышекъ знанія, начинаютъ относиться свысока къ тѣмъ, на долю которыхъ не досталось и этихъ

<sup>1)</sup> „Виржевыя Вѣдомости“ 1876, № 70. Мысли по поводу текущей литературы. — „Дневникъ Писателя“ — объ отношеніи интеллигенціи къ народу и о дѣлѣ Кропелъберга. Заурядный читатель. Стр. 1—2.

<sup>2)</sup> „Донская Пчела“ 1878, № 11. О. М. Достоевскій и его „Дневникъ Писателя“. Иванъ-да-Марья (=И. Ф. и М. Тхоржевскіе?).

<sup>3)</sup> Ср. „Церковно-Общественный Вѣстникъ“ 1876, № 72. По поводу разсужденій О. М. Достоевскаго о русской женщинѣ. Стр. 3.



крупницъ... Нѣкоторыя изъ этихъ дѣвушекъ съ неглубокою натурою легко могутъ приходить къ нѣкоторому „самомнѣнію“. На этотъ недостатокъ, вполне объясняемый крайне низкимъ уровнемъ женскаго образованія, очень любятъ указывать враги высшаго женскаго образованія... Но на ряду съ этимъ непривлекательнымъ типомъ „барышни съ претензіями“, въ женской половинѣ нашего общества сказывается такой серьезный и сильный запросъ на умственную дѣятельность, такое страстное стремленіе къ самостоятельному труду, такое желаніе приспособиться къ какому-нибудь дѣлу, что указанное непривлекательное явленіе представляется незначительной точкой на большомъ свѣтломъ фонѣ. Съ большимъ удовольствіемъ прочли мы въ іюнскомъ № „Дневника Писателя“ страницу, выхваченную прямо изъ жизни. Мы позволимъ себѣ привести ее почти цѣлкомъ (Цитируется рассказъ Достоевскаго—„Дневникъ“ 1876, іюнь, глава вторая, V—о дѣвушкѣ-курсисткѣ, пришедшей къ нему за совѣтомъ и напутствіемъ передъ отправленіемъ въ Сербію, на войну, для ухода за ранеными)... Дѣвушка, симпатично обрисованная авторомъ, не есть явленіе исключительное: она только въ большей чистотѣ и полнотѣ выражаетъ то, что является чистымъ, высокимъ и цѣннымъ въ передовыхъ русскихъ женщинахъ нашего времени. Замѣтить эту чистую и свѣжую струю въ мутномъ потокѣ жизни и оцѣнить ее по достоинству—заслуга не малая, и если бы много было людей способныхъ къ этому, то вопросъ высшаго женскаго образованія не стоялъ бы у насъ въ спискѣ нерѣшенныхъ. „Возрожденіе русской женщины“, говоритъ авторъ „Дневника“ въ другомъ мѣстѣ <sup>1)</sup>, „въ послѣднія двадцать лѣтъ оказалось несомнѣннымъ. Подъемъ въ запросахъ ея былъ высокій, открытый и безбоязненный. Онъ съ перваго раза внушилъ уваженіе, по крайней мѣрѣ, заставилъ задуматься, не взирая на нѣсколько паразитныхъ неправильностей, обнаружившихся въ этомъ движеніи. Теперь, однако, уже можно свести счеты и сдѣлать безбоязненный выводъ. Русская женщина цѣломудренно пренебрегла препятствіями, насмѣшками. Она твердо

<sup>1)</sup> „Дневникъ“ 1876, май, глава вторая, III.

объявила свое желаніе участвовать въ общемъ дѣлѣ и приступила къ нему не только безкорыстно, но и самоотверженно. Русскій человѣкъ, въ эти послѣднія десятилѣтія, страшно поддался разврату стяжанія, цинизма, матеріализма; женщина же осталась гораздо болѣе его вѣрна чистому поклоненію идеѣ, служенію идеѣ. Въ жаждѣ высшаго образованія она проявила серьезность, терпѣніе и представила примѣръ величайшаго мужества“.... Просимъ нашихъ читателей обратить особенное вниманіе на приведенныя строки: онѣ принадлежатъ нашему извѣстному писателю, которому никто не откажетъ въ сильной наблюдательности, и котораго никто не упрекнетъ въ пристрастіи къ какой либо изъ существующихъ у насъ партій“ <sup>1)</sup>).

Въ связи съ оцѣнкой общей идеологіи автора „Дневника Писателя“ въ критикѣ разсматривались и другіе частные вопросы, поднятые имъ иногда попутно или по случайному вызову. Таковъ былъ, между прочимъ, еврейскій вопросъ, затронутый отчасти Достоевскимъ. Говоря о націоналистическихъ тенденціяхъ Достоевскаго, какъ о „шовинизмѣ“, враждебная ему критика возмущалась тѣмъ, что онъ въ нѣмцахъ видитъ будто бы враговъ, а о евреяхъ говоритъ со „скрежетомъ зубовымъ“, такъ какъ его „юдофобія доходитъ почти до мани“ <sup>2)</sup>; въ лучшемъ случаѣ, въ разсужденіяхъ Достоевскаго на эту тему передовая печать подчеркивала недовѣріе его къ жалобамъ евреевъ на свою судьбу и, наоборотъ, полную увѣренность въ томъ, что освобожденный отъ крѣпостной зависимости русскій народъ сталъ жертвой именно

<sup>1)</sup> „Женское Образованіе“ 1876, № 6, августъ. Педагогическая хроника. Страничка изъ жизни. Стр. 283—285. Ср. также „Женское Образованіе“ 1876, № 4, Положеніе у насъ вопроса о высшемъ женскомъ образованіи, В. Сиповскій: на стр. 263-й В. Сиповскій, говоря о томъ, что только наука можетъ отвѣтить на всѣ вопросы русской женщины, ссылается на „Дневникъ Писателя“. Въ связи съ разсужденіями Достоевскаго по женскому вопросу стоитъ отчасти и его оцѣнка Жоржъ-Занда и ея героинь („Дневникъ“ 1876, июнь, глава первая), встрѣченная также очень сочувственно нѣкоторыми критиками „Дневника“: ср. напр.—„Русскій Міръ“ 1876, № 189. Современная литература. О. М. Достоевскій и Эмиль Зола о Жоржъ-Зандѣ. Вс. С.—въ—. „Виржевыя Вѣдомости“ 1876, № 187. Мысли по поводу текущей литературы. Взглядъ на Жоржъ-Зандъ Зола и преимущество оцѣнки Жоржъ-Зандъ г. Достоевскимъ. Заурядный читатель.

<sup>2)</sup> „Одесскій Вѣстникъ“ 1876, № 208. Журнальные очерки.—Бездѣлка Золѣ. —Бездѣлки Достоевскаго. С. С. Стр. 2. Впрочемъ, критикъ „Одесскаго Вѣстника“ считаетъ юдофобами также и Тургенева и Некрасова.

еврейской эксплуатаціи<sup>1)</sup>. Но на ряду съ такимъ пониманіемъ „юдофобіи“ Достоевскаго въ сочувствующей ему печати было горячо встрѣчено то именно рѣшеніе въ будущемъ еврейскаго вопроса на почвѣ общечеловѣческаго нравственнаго идеала, которое онъ набросалъ въ мартовскомъ выпускѣ „Дневника“ 1877 года по поводу письма г-жи Л. о похоронахъ въ М. доктора Гинденбурга. Страницы „Дневника“, посвященныя этому единичному случаю, имѣющему глубокій общечеловѣческій смыслъ, критикъ „Гражданина“, г. Е. Былинкинъ, считаетъ особенно поучительными для русской молодежи, какъ выраженіе высокаго націонализма, стремящагося къ универсальному благу человѣчества. „Общечеловѣческое!“...—говоритъ критикъ подъ впечатлѣніемъ этихъ страницъ „Дневника“. „Какъ кстати стало здѣсь это многознаменательное слово... Въ послѣднее время не разъ поднимались жалобные голоса объ оскудѣніи или даже совершенномъ исчезновеніи въ нашемъ обществѣ нравственнаго идеала, нашего нравственнаго идеала, о происшедшихъ отъ того приниженіи духа, безурядицѣ въ молодыхъ головахъ и о послѣдовавшихъ затѣмъ разныхъ „прискорбныхъ явленіяхъ“. Многіе не вѣрили въ справедливость всѣхъ этихъ жалобъ, а которые вѣрили или сами жаловались, тѣ не умѣли помочь горю, потому что не находили слова, могущаго найти дорожку къ молодымъ сердцамъ. Кажется, авторъ „Дневника“ нашелъ это слово у себя въ душѣ,—это мягкое, горячее, зовущее къ нравственному идеалу слово... Это мнѣ давно предчувствовалось, но особенно ясно представилось, когда я прочелъ мартовскій „Дневникъ“ и при этомъ вспомнилъ... объ успѣхѣхъ (его) между молодежью. Значительная часть мартовскаго „Дневника“ посвящена евреямъ по поводу того, что кто-то изъ нихъ упрекнулъ автора въ выражаемой будто бы имъ ненависти къ ихъ племени. Рѣшительно отрицая въ себѣ такую ненависть, г. Достоевскій повелъ рѣчь вообще о евреяхъ, о ихъ жалобахъ, о ихъ отношеніяхъ къ коренному населенію и кончилъ... попыткой заглянуть въ будущее—възглядомъ примиренія. Для этого нашелся у него

<sup>1)</sup> „Сынъ Отечества“ 1877, № 16. Замѣтки В. Печкинъ.

превосходный случай, именно—письмо, полученное имъ отъ одной молодой дѣвушки, еврейки, изъ города М. (должно быть изъ Западнаго края), писанное подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ отъ похоронъ 84-лѣтняго старца, доктора и акушера Гинденбурга“... (Цитируется дальше то мѣсто „Дневника“—1877, мартъ, глава третья, II—, гдѣ Достоевскій говоритъ о томъ, что „общіе человѣки“, въ родѣ „человѣколюбца“ доктора Гинденбурга, „побѣждаютъ міръ, соединяя его“, а, слѣдовательно, тѣмъ самымъ рѣшаютъ и еврейскій вопросъ<sup>1)</sup>).

Такой же обмѣнъ противоположныхъ мнѣній вызывали и другіе частные вопросы, связанные съ главными положеніями идеала Достоевскаго<sup>2)</sup>.

Но въ „Дневникѣ Писателя“ далеко не все казалось для современной критики спорнымъ и даже непріемлемымъ. Правда, выражаясь словами А. М. Скабичевскаго, можно сказать, что Достоевскій въ своемъ „Дневникѣ“ являлся передъ своими читателями и критиками „въ видѣ двухъ двойниковъ, совершенно противоположныхъ и непрестанно борющихся между собою“; тѣмъ не менѣе, „при всей этой двойственности“, авторъ „Дневника“ рисовался „въ нѣкоторыхъ мѣстахъ чрезвычайно симпатично,—очень можетъ быть, благодаря своему свѣтлому двойнику“, и поэтому иногда даже представители другихъ общественныхъ направлений, во многомъ съ Достоевскимъ расходящихся, могли сказать, подобно только что названному критику: „Мы живемъ съ нимъ одною вѣрою въ такія вещи, которыя должны составлять сущность нашего существованія“<sup>3)</sup>. Дѣйствительно, на этомъ „свѣтломъ двойникѣ“ примирялись наиболѣе рѣз-

<sup>1)</sup> „Гражданинъ“ 1877, № 15. Цикль понятій. (Замѣтки изъ текущей жизни). Е. Былинкинъ. Стр. 384—385.

<sup>2)</sup> Ср. напр. вопросъ о „самоочищеніи страданіемъ“ („Гражданинъ“ 1873, № 2. Дневникъ Писателя. III. Среда. Стр. 32—36) и отзывы о немъ въ „С.-Пет. Вѣд.“ 1873, № 20 (Журналистика. Очищительное значеніе каторги и вернически-вызывательные фельетоны г. О. Достоевскаго. Z) и въ „Гражд.“ 1874, № 42 (Изъ текущей жизни. Стр. 1050—1051). Ср. также выходки противъ Достоевскаго, будто бы отстаивающаго розги въ дѣлѣ воспитанія („Дневникъ“ 1876, янв., глава вторая, III), въ „Петербургскомъ Листкѣ“ 1876, № 23 (Изъ дневника прапорщика Власа Ловласова, Александръ С.) и № 29 (Два слова фельетонисту газеты „Голосъ“, Александръ С.).

<sup>3)</sup> „Виржевыя Вѣдомости“ 1876, № 36. Мысли по поводу текущей литературы. „Дневникъ Писателя“ г. Достоевскаго. Заурядный читатель. Стр. 2.

кія и противорѣчивыя сужденія о Достоевскомъ. И такъ какъ въ его публицистическихъ статьяхъ „свѣтлаго двойника хватило—по выраженію того же критика—не болѣе какъ на два, на три выпуска „Дневника“, да и то съ грѣхомъ пополамъ“ <sup>1)</sup>, и такъ какъ, во всякомъ случаѣ, „лучшій изъ двойниковъ заявлялъ о своемъ существованіи гораздо рѣже, чѣмъ другой—худшій“ <sup>2)</sup>,—то критика искала свѣтлой стихіи постепенно выяснявшагося міросозерцанія Достоевскаго въ тѣхъ страницахъ „Дневника“, которыя посвящены были не публицистикѣ, а художественнымъ очеркамъ, рассказамъ, воспоминаніямъ. Такимъ образомъ, А. М. Скабичевскій лучшими страницами „Дневника Писателя“ считаетъ двѣ-три повѣсти, тамъ напечатанныя <sup>3)</sup>; П. Д. Боборыкинъ совѣтуетъ Достоевскому ограничиться въ „Дневникѣ“ объективнымъ изображеніемъ своихъ реальныхъ наблюденій надъ текущею жизнью <sup>4)</sup>; П. Н. Ткачевъ, имѣя въ виду, между прочимъ, и „Дневникъ Писателя“ говоритъ, что тамъ, гдѣ Достоевскій чуждъ тенденціозности, онъ проникнутъ „истинно-человѣчными, гуманными чувствами“ и является защитникомъ обездоленныхъ <sup>5)</sup>.

Въ особенности въ нѣкоторыхъ, небольшихъ по объему и простыхъ по замыслу, рассказахъ, помѣщенныхъ въ „Дневникъ Писателя“, подчеркиваетъ критика наличность присущаго Достоевскому величаваго гуманитарнаго идеала. Такъ, одна столичная газета на той же страницѣ, гдѣ дѣлаются рѣзкіе выпады противъ консерватизма Достоевскаго, съ особеннымъ удовольствіемъ перепечатываетъ изъ „Дневника Писателя“ (1876, январь, глава вторая, II) рассказъ „Мальчикъ у Христа на елкѣ“, совѣтуя автору и впредь вмѣсто публи-

<sup>1)</sup> Тамъ же, № 306. Нѣчто о прямолинейной простотѣ взглядовъ г. Достоевскаго. Заурядный читатель. Стр. 2.

<sup>2)</sup> „Кронштадтскій Вѣстникъ“ 1877, № 61. „Дневникъ Писателя“. Ежемесячное изданіе О. М. Достоевскаго. Нѣкто изъ толпы. Стр. 1.

<sup>3)</sup> „Биржевыя Вѣдомости“ 1877, № 267. Мысли по поводу текущей литературы.— Нѣчто о предсказаніяхъ г. Достоевскаго, о томъ, почему они не могутъ сбыться, и что было бы, если бы они сбылись. Заурядный читатель. Стр. 2.

<sup>4)</sup> „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1876, № 11. Воскресный фельетонъ. П. Боборыкинъ.

<sup>5)</sup> „Дѣло“ 1878, № 6. Литературныя мелочи. Все тотъ же (—П. Н. Ткачевъ). Стр. 19.

цистическихъ статей писать подобныя именно вещи <sup>1)</sup>). Тому же разсказу въ одной провинціальной газетѣ посвященъ цѣлый хвалебный фельетонъ, гдѣ Достоевскій названъ „русскимъ Диккенсомъ“. По поводу предстоящаго 6 янв. 1877 г. въ одесской биржевой залѣ дѣтскаго бала съ „брильянтовой елкой“ для дѣтей, авторъ этого фельетона вспоминаетъ о Достоевскомъ и его разсказѣ. „Но когда вы, милыя дѣти,—говорить онъ—, будете любоваться этой брильянтовой елкой, загляните за окно. Тамъ вы увидите бѣднаго мальчика, прикрытаго рубищами, посинѣвшаго отъ холода... Я знаю, что мнѣ не слѣдовало бы смущать дѣтское сердце этимъ печальнымъ зрѣлищемъ... Но это дѣлаю не я, это дѣлаетъ Достоевскій... О, это злой и коварный человѣкъ!.. Въ тотъ самый моментъ, когда, окруженные богатствомъ, блескомъ, роскошью, перенесенныя въ какой-то волшебный міръ, дѣти, какъ маленькіе эпикурейцы, наслаждаются розами жизни, жестокосердый Достоевскій является въ ихъ общество и возмущаетъ ихъ разсказомъ о холодномъ и голодномъ мальчикѣ, который ему померещился у окна одной изъ роскошныхъ залъ, сіяющей огнями елки“... Изложивъ дальше разсказъ „Мальчикъ у Христа на елкѣ“, авторъ фельетона дѣлаетъ къ нему такое заключеніе: „Вотъ и весь разсказъ Достоевскаго. „И зачѣмъ я сочинилъ эту исторію?“—спрашиваетъ авторъ. И въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ онъ сочинилъ эту исторію, спросить не одинъ читатель, какъ спрашивали на дняхъ меня собравшіеся у меня знакомые, когда я имъ прочелъ разсказъ одного одессита, доставленный мнѣ въ рукописи и готовящійся къ печати“... При воспоминаніи о томъ, какъ недоумѣвали по поводу этого разсказа „знакомые“, для которыхъ филантропія кажется нелѣпостью, потому что она не можетъ всехъ накормить и, во всякомъ случаѣ, не располагаетъ никакими радикальными средствами борьбы противъ бѣдности,—критикъ горячо защищаетъ такихъ филантроповъ-художниковъ, какъ напр. Диккенсъ и Достоевскій: „...О, милые культурные люди! они забраковали бы всего Диккенса, того самаго Диккенса, который весь былъ состраданіемъ и любовью, который избралъ

<sup>1)</sup> „Петербургская Газета“ 1876, № 24. Кабинетные моралисты... Стр. 1.

цѣлью всей своей дѣятельности, всего своего творчества—и въ особенности въ „святочныхъ разсказахъ“—защиту слабыхъ и бѣдныхъ, не рекомендуя никакихъ средствъ, такъ какъ онъ не былъ социальнымъ философомъ, а лишь вѣчно констатируя эту бѣдность, нищету, униженность, придавленность, забитость, убожество и открывая въ мирѣ этихъ несчастныхъ истинно-человѣческую душу... Да здравствуютъ же русскіе Диккенсы и да будетъ надъ ними благословеніе Божіе!“ <sup>1)</sup>

Изъ другихъ художественныхъ миниатюръ „Дневника“ критика обратила вниманіе на разсказъ „Кроткая“ („Дневникъ Писателя“ 1876, ноябрь, глава первая, I), гдѣ „истинный талантъ“ проявился въ умѣннѣ „въ самой обыденной жизни, въ сферахъ низменнаго существованія... выбрать что-нибудь представляющее живой интересъ для читателей“ <sup>2)</sup>, и гдѣ авторъ сумѣлъ соединить „простоту и свободу вымысла“ съ „богатствомъ содержанія“ <sup>3)</sup>; одна изъ главъ этого разсказа, именно—„самоубійство молодой женщины“ („Дневникъ Писателя“ 1876, ноябрь, глава вторая, II), вызвала даже восторгъ и „съ эстетической точки зрѣнія“ признана была „шедевромъ“ <sup>4)</sup>. Такую же простоту содержанія и величіе идеи находила критика въ разсказѣ „Мужикъ Марей“ („Дневникъ Писателя“ 1876, февраль, глава первая, III) <sup>5)</sup>. „Блестящими“ по формѣ и задушевыми по содержанію считала критика также нѣкоторыя страницы изъ записокъ Достоевскаго объ одномъ изъ его заграничныхъ путешествій, именно о путешествіи въ Эмсъ и о пребываніи тамъ („Дневникъ Писателя“ 1876, июль-августъ) <sup>6)</sup>, и изъ его воспоминаній, каковы

<sup>1)</sup> „Новороссійскій Телеграфъ“ 1877, № 576. Фельетонъ. Русскій Диккенсъ. Z. Z. Стр. 1.

<sup>2)</sup> „Московское Обозрѣніе“ 1876, № 12. За двѣ недѣли.—„Кроткая“, фантастическій разсказъ О. М. Достоевскаго. В. Стр. 182.

<sup>3)</sup> „Русскій Миръ“ 1876, № 300. Литературные очерки. „Кроткая“, разсказъ г. Достоевскаго. „Дневникъ Писателя“. Ноябрь.—нѣ.

<sup>4)</sup> „Одесскій Вѣстникъ“ 1876, № 277. Журнальные очерки. Новый романъ Потѣхина и новый разсказъ Достоевскаго. С. С. Стр. 1—2.

<sup>5)</sup> Ср. „Русскія Вѣдомости“ 1876, № 82. Журнальное обозрѣніе. „Дневникъ Писателя“. Февраль. II—п—т. Стр. 2.

<sup>6)</sup> „Одесскій Вѣстникъ“ 1876, № 208. Журнальные очерки.—Бездѣлка Зола.—Бездѣлки Достоевскаго. С. С. Стр. 2.

напр. воспоминанія о Бѣлинскомъ и Некрасовѣ („Дневникъ Писателя“ 1877, январь, глава вторая, III)<sup>1)</sup>...

По мѣрѣ того какъ въ публицистическихъ статьяхъ „Дневника“ все рѣзче и рѣзче обозначались составныя части идеала Достоевскаго, — въ художественныхъ миниатюрахъ, вкрапленныхъ мѣстами въ „Дневникъ“, замѣтно совершенствовалась его литературная манера въ сторону простого и душевнаго разсказа о глубокихъ и сложныхъ изысканіяхъ художника въ тайникахъ человѣческой жизни. Это было уже наканунѣ „Братьевъ Карамазовыхъ“.



<sup>1)</sup> Ср. „Рижскій Вѣстникъ“ 1877, № 29. Изъ „Дневника Писателя“. Стр. 1— и „Доп.“ 1877, № 25. Фельетонъ. Знакомство Достоевскаго съ Некрасовымъ. Въ обоихъ случаяхъ перепечатываются или пересказываются соответствующія мѣста изъ „Дневника Писателя“; въ „Рижскомъ Вѣстникѣ“ добавлено къ этому нѣсколько словъ по адресу „одной изъ самыхъ счастливыхъ эпохъ нашей литературы“, т. е. 40-хъ годовъ. Отрывки изъ воспоминаній Достоевскаго по его „Дневнику“ помѣщены также въ „Виленскомъ Вѣстникѣ“ 1881 года (№ 34— „Изъ дѣтскихъ воспоминаній“, № 36— „Первое произведеніе“); вступительныя строки фельетона говорятъ о томъ, что Достоевскій „уже оцѣненъ сердцемъ всѣхъ русскихъ людей“, и что на „вѣщія слова“ этого „любвеобильнаго“ человѣка каждый русскій читатель откликнется тоже любовью.



**VI. 1879—1881. Художественная реализация идеала: русская действительность в освещении религиозно-нравственных воззрений Достоевского. Независимость литературной формы и литературной мысли.**  
**„Братья Карамазовы“.**

Общий характер суждений критики о романе „Братья Карамазовы“. Общественно-психологическая сторона романа „Братья Карамазовы“: Новизна и содержательность характеров („Голос“), „знание русской жизни“ („Недѣля“—С. Сычевскій); „цѣлый міръ русскихъ типовъ“ („Правда“); „карамазовщина“ подъ угломъ зрѣнія общественныхъ идеаловъ культурнаго Запада („Свѣтъ“) и „карамазовщина“ съ точки зрѣнія „правды своей, народной“ („Новое Время“—А. Коляковъ); психологическое истолкованіе „карамазовщины“,—психика „родового типа“ („Русская Рѣчь“—Е. Л. Марковъ), „карамазовскій безудержъ“ („Русское Богатство“—Л. Алексѣевъ). Субъективная сторона романа „Братья Карамазовы“ в освѣщеніи прогрессивной печати: вопросы религиозные какъ „главный нервъ романа“ („Недѣля“), ретроградство Достоевскаго („Голосъ“) и его „мистическая теорія“ („Русская Правда“—А. Горшковъ, „Молва“—В. О. Коршъ, „Южный Край“—К. Ярошъ, „Новости“—В. В. Чуйко), отношеніе мистико-аскетическаго идеала Достоевскаго къ просвѣщенію и къ русской интеллигенціи („Новое Обозрѣніе“—М. А. Антоновичъ, „Новости“—В. В. Чуйко); достоинства субъективной стороны романа—высота и человѣчность общественно-политическихъ идеаловъ Достоевскаго („Русское Богатство“—Л. Алексѣевъ), проповѣдь христіанской идеи какъ средства борьбы противъ заблужденій культурнаго уклада жизни („Литературный Журналъ“—В. К. Петерсенъ). Субъективная сторона романа „Братья Карамазовы“ в освѣщеніи консервативной критики: идейное величіе взглядовъ Достоевскаго, важность освѣщаемыхъ имъ типическихъ явленій русской дѣйствительности, „апофеозъ“ идей христіанства, „глубокая жизненная скорбь души, полной любви къ людямъ и молитвенныхъ сокрушеній о ихъ спасеніи и возрожденіи“, освѣщеніе „скрытыхъ источниковъ „человѣческой комедіи“, называемой жизнью“, и „искреннее и участливое затрогиваніе“ „самыхъ жгучихъ современныхъ вопросовъ“, величавая идея романа и ея превратныя толкованія („Новое Время“—В. Ш. Буренинъ); „мірское просвѣщеніе“ и „народная религиозность“ в пониманіи Достоевскаго, настоящій идеалъ Достоевскаго и его тенденціозное истолкованіе г. Антоновичемъ („Мысль“—Л. Е. Оболенскій); основная идея романа и рядъ формулъ для ея выраженія („Газета А. Гатцука“, „Кронштадтскій Вѣстникъ“, „Правда“, „Русская Рѣчь“, „Саратовскій Дневникъ“, „Кіевлянинъ“, „Новое Время“);

развитіе „главной темы“ романа („Русь“—Иполитъ Павловъ); церковно-религіозные вопросы въ романѣ „Братья Карамазовы“ („Православное Обозрѣніе“—С. Л., „Донскія Епархіальныя Вѣдомости“—А. Кирилловъ, „Чтенія въ Обществѣ любителей духовнаго просвѣщенія“— —въ). Художественная сторона романа „Братья Карамазовы“, ея недостатки и достоинства; независимость формы и мысли какъ дальѣйшій моментъ въ развитіи литературной манеры Достоевскаго.

Идеаль О. М. Достоевскаго, постепенно вырисовывавшійся въ „Дневникѣ Писателя“, долженъ былъ въ большей полнотѣ выразиться въ ближайшемъ, уже давно задуманномъ, художественномъ произведеніи. Это произведеніе критика, чутко прислушивавшаяся къ „Дневнику“, встрѣтила съ особеннымъ вниманіемъ, потому что ожидала въ немъ подведенія итоговъ взглядамъ писателя по отдѣльнымъ вопросамъ, поднятымъ имъ въ его публицистическихъ статьяхъ. И дѣйствительно, съ появленіемъ въ печати первыхъ главъ романа „Братья Карамазовы“ <sup>1)</sup> начались о немъ усиленные толки, группировавшіеся, главнымъ образомъ, около двухъ вопросовъ: во-первыхъ, какъ представляетъ себѣ авторъ русскую дѣйствительность, и во-вторыхъ, на основаніи какого личнаго идеала онъ о ней судить; первый вопросъ сводился къ общественно-психологической, второй—къ субъективной сторонѣ новаго романа.

Наличность общественно-психологической стороны въ романѣ „Братья Карамазовы“ отмѣчена была уже въ 1879 году, когда романъ еще не былъ законченъ печатаніемъ. На признаніи значенія и цѣнности романа въ этомъ отношеніи сошлись критики и рецензенты различныхъ направленій и оттѣнковъ. Поражали прежде всего дѣйствующія лица романа, какъ портреты, написанные мастерскою кистью и тщательно отдѣланные. „Превосходенъ старикъ Карамазовъ; очень интересенъ и увлекателенъ, хотя сильно идеализованъ младшій изъ братьевъ, Алексѣй; но верхъ искусства и верхъ вдохновенія—старшій братъ Дмитрій. Это соединеніе необузданной чувственности и честной натуры, потребности въ нравственной грязи и потребности въ анализѣ собствен-

<sup>1)</sup> Романъ „Братья Карамазовы“ впервые напечатанъ былъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ 1879—январь, февраль, апрѣль, май, іюнь, августъ—ноябрь и 1880—январь, апрѣль, іюль—ноябрь

ной души, задорной неуживчивости и нѣжной, любящей натуры, мнительнаго самолюбія и совершенно искренняго самобичеванія — характеръ новый въ русской литературѣ, равно далекій отъ „лишняго человѣка“, столь часто изображаемаго съ виртуознымъ совершенствомъ, и отъ „новыхъ людей“, почти всегда рисуемыхъ съ наивнымъ неумѣніемъ вывѣсочнаго живописца“. Эти хвалебныя строки мы читаемъ въ „Голосѣ“, гдѣ основная идея романа, какъ будетъ указано ниже, истолкована была далеко не въ благопріятномъ для автора смыслѣ <sup>1)</sup>. Въ романѣ увидѣли „знаніе русской жизни, житейскій опытъ и богатый запасъ наблюдений“, иллюстрированные увлекательно нарисованными типическими фигурами, выхваченными изъ русскаго быта<sup>2)</sup>. „Въ романѣ Достоевскаго — развиваетъ ту же мысль одна провинціальная газета — дѣло не въ интригѣ, а въ психическомъ анализѣ, въ типахъ, въ тѣхъ безконечно-разнообразныхъ картинахъ жизни, которыя онъ рисуетъ. Онъ ведетъ читателей въ монастырь и щедрою рукою разсыпаетъ передъ читателемъ чисто русскіе, глубокіе типы и картины. Вотъ старецъ Зосима, вотъ отецъ Ѳерапонтъ, вотъ любопытный „монашекъ“, вотъ отецъ игумень — это все наши, русскіе типы, въ русской обстановкѣ, да еще въ такой, которая близка и дорога нашему народу... Вотъ семья Карамазовыхъ, вотъ madame и m-lle Хохлаковы, вотъ гордая Катерина Ивановна, вотъ Грушенька, — вотъ, наконецъ, и старый штабсъ-капитанъ Снѣгиревъ со своимъ сыномъ Илюшей... „Братья Карамазовы“ — это цѣлый міръ русскихъ типовъ. Публика можетъ имъ наслаждаться; критики и литераторы должны его изучать“ <sup>3)</sup>...

На ряду съ этими общими замѣчаніями о яркости и типичности характеровъ, нарисованныхъ въ романѣ, въ 1879 году сдѣланы были и первыя попытки болѣе детальнаго выясненія того общественно-психологическаго явленія, которое охватывается словомъ „карамазовщина“. Такую именно попытку

<sup>1)</sup> „Голосъ“ 1879, № 148. „Братья Карамазовы“ О. М. Достоевскаго.

<sup>2)</sup> „Недѣля“ 1879, № 5. „Братья Карамазовы“. Романъ О. М. Достоевскаго. Часть первая. Н. Стр. 158—163.

<sup>3)</sup> „Правда“ 1879, № 125. Журнальные очерки. „Русскій Вѣстникъ“ за текущій годъ и новый романъ Достоевскаго С. Сычевскій. Стр. 2.

анализа „карамазовщины“ мы встрѣчаемъ въ журналѣ „Свѣтъ“ за сентябрь 1879 года. Отмѣчая въ романѣ „Братья Карамазовы“ присутствіе свойственнаго Достоевскому „страннаго и туманнаго мистицизма“, критикъ ставитъ себѣ задачей отыскать въ этомъ, обвѣянномъ мистической фантазіей, романѣ „фактическіе элементы“ „живой дѣйствительности“, — иначе говоря, онъ желаетъ художественное произведеніе Достоевскаго „перевести на иной языкъ, языкъ законосообразныхъ явленій и критической мысли“.

Въ результатѣ такого „перевода“ критикъ находитъ возможнымъ выяснитъ сущность той именно общественно-психологической стихіи въ содержаніи романа, которую онъ называетъ „карамазовскою культурой“. Выясненіе начинается съ личности старика Карамазова, какъ родоначальника этой „культуры“: „Основной, такъ сказать, центральный типъ романа, старикъ Карамазовъ, есть типъ прошедшаго времени, и его характеристическая черта въ этомъ отношеніи, т. е. какъ типа не новаго времени, состоитъ въ томъ, что прежде всего онъ не тартюфъ, не лицемеръ. Онъ не надѣваетъ никакой маски религіозной или политической на свое разнузданное распутство, безпринципность и грязь. Онъ негодяйствуетъ открыто, нахально, цинично, онъ утрируетъ свое негодяйство, не оправдывая его никакими мотивами, ни патріотическими, ни общественными, ни философскими. Очевидно, передъ нами образчикъ того, что историки первобытной культуры называютъ „переживаніемъ“, т. е. осколокъ крѣпостничества“... Отъ Федора Павловича Карамазова критикъ переходитъ къ его семьѣ: „Какъ же, по мнѣнію почтеннаго автора романа, Карамазовъ отразился вообще на средѣ, стоявшей отъ Карамазова въ какой-либо зависимости семейной или экономической? Для (объясненія) этого авторъ выводитъ на сцену слѣдующіе типы, представляющіе карамазовскую отрасль: старшій сынъ, направившійся по военной части, второй сынъ, направившійся по учено-литературной, и третій сынъ, избравшій своимъ конькомъ мистическій идеализмъ. Есть еще побочный сынъ, поваренокъ, учившійся въ Москвѣ; этотъ ударился въ самодѣльную, крайне невѣжественную критику окружающихъ

основѣ. Вызвана въ немъ была эта критика, какъ показываетъ авторъ, крайнимъ безобразіемъ всего того, что онъ видѣлъ въ жизни отца, крайнимъ противорѣчіемъ жизни съ тѣми громкими словами и принципами, которые приходилось слышать, хотя бы въ церкви, или прочесть въ любой прописи. Противорѣчіе было такъ велико, что замѣтилось мальчикомъ еще въ то время, когда онъ учился грамотѣ у карамазовскаго лакея... Какъ образовались типы трехъ остальныхъ сыновей, къ сожалѣнію, сказать невозможно: г. Достоевскій, занятый больше всего своими мистическими туманами, не рассказалъ намъ дѣтства и юности этихъ трехъ отпрысковъ настолько, чтобы можно было прослѣдить ихъ развитіе. Остается только сказать, что всѣ они вышли психически-больными людьми. Старшій сынъ, унаслѣдовавшій спинно-мозговые инстинкты и привычки отца, вноситъ въ нихъ изрѣдка человѣческую искру сознанія. Откуда она взялась, эта искра—невѣдомо. Быть можетъ, отъ страдальцы матери перешла она по наслѣдству, вмѣстѣ съ воспоминаніемъ объ ея замученной жизни; быть можетъ, ее раздуло столкновеніе съ одной молодой дѣвушкой, поразившей его своимъ безграничнымъ самоотверженіемъ, своей нравственной высотой,—поразительной даже и въ паденіи, сравнительно съ его нравственной низостью. Этотъ человѣкъ иногда точно пробуждается, видитъ весь ужасъ, всю мерзость своей жизни, но наслѣдственность тянетъ его все сильнѣе и сильнѣе въ самую глубь болота. Можно ожидать, что онъ окончитъ самымъ трагическимъ образомъ, самымъ звѣрскимъ, безцѣльнымъ и бессмысленнымъ преступленіемъ... Личность второго сына еще далеко не выяснилась, какъ и весь романъ, но основная черта этого типа видна уже и теперь. Это—человѣкъ съ сильнымъ логическимъ умомъ и огромной силой воли, но это, что называется, человѣкъ „безъ души“. Въ немъ убито то внутреннее начало, начало нравственное, любовь, которое направляетъ дѣятельность человѣка къ опредѣленной, благой цѣли, заставляетъ отдать ей всю жизнь, вѣрить въ нее, жить и работать для нея. Его мозгъ одинаково спокоенъ, когда онъ рѣшаетъ тотъ или другой вопросъ такъ или иначе, pro или contra. Вѣдь,

ни то, ни другое рѣшеніе не возбуждаетъ въ немъ отчаянія или муки, не возмущаетъ его нравственнаго чувства, не оскорбляетъ его любви. Отъ этого у него нѣтъ и не можетъ быть опредѣленной цѣли въ жизни, потому что для него все равно, какъ бы ни разрѣшился тотъ или другой вопросъ въ жизни и мысли. Онъ не шевельнетъ рукой, чтобы ускорить, остановить или замедлить его рѣшеніе. Развѣ, впрочемъ, это будетъ необходимо лично для него въ данную минуту... Остается младшій братъ — Алексѣй. Мы нарочно оставили его подъ конецъ, чтобы обратить на него особенное вниманіе читателя. Этотъ юноша, такой молодой и чистый, уже успѣлъ настолько потерять вѣру въ дѣйствительность, въ реальную окружающую жизнь, что видитъ одно спасеніе въ аскетизмѣ, въ монастырскомъ затворничествѣ... Пессимизмъ въ такомъ молодомъ возрастѣ не можетъ быть плодомъ „ума холодныхъ наблюденій и сердца горестныхъ утратъ“. Это и не философскій пессимизмъ Гартмановъ и Шопенгауэровъ: младшій Карамазовъ, повидимому, не грѣшенъ особымъ знакомствомъ съ философіей. Русскіе люди иногда уходили въ пустыни, налагали на себя вериги, чтобы укрыться отъ жизненнаго зла, отъ раздражающихъ душу и подавляющихъ тѣло жизненныхъ положеній. Лично Алексѣй едва ли переживалъ подобныя состоянія, а потому въ его аскетизмѣ необходимо искать исключительно моральныхъ вліяній окружающей обстановки. Въ числѣ этихъ вліяній семейныя обстоятельства должны играть не малую роль... Алексѣй рано увидѣлъ съ одной стороны страданія матери, съ другой — безобразія отца. Его сердце, жаждущее любви, какъ и у прочихъ братьевъ, прежде всего наткнулось на противорѣчіе этой жажды любви съ отвращеніемъ. Алексѣй нашелъ выходъ въ формулѣ о всепрощеніи. Вотъ можетъ быть первый толчокъ, бросившій его въ объятія аскетизма. Наслѣдственная болѣзненность и нервность, которой не могло не быть въ дѣтяхъ такого отца, помогла отрицательному взгляду на жизнь, а отсутствіе дѣйствительныхъ, прочныхъ, цѣнныхъ и разумныхъ радостей въ окружающей жизни dokonчили эту работу впечатлительнаго организма. Господину Достоевскому угодно было сдѣлать

своего героя мистикомъ. Конечно, это—его добрая воля; но позволяемъ себѣ замѣтить почтенному автору, что это—анахронизмъ. Современная дѣйствительность имѣетъ и пессимистовъ, и аскетовъ, но они являются не на мистической подкладкѣ. Если же и можно въ ихъ воззрѣніяхъ пайти нѣкоторую дозу мистицизма, то этотъ мистицизмъ имѣетъ совсѣмъ особый объектъ. Появленіе въ романѣ этого типа въ той одеждѣ, какая ему дана, можно объяснить только художественной причудой и произволомъ, не стѣсняющимся условіями пространства и времени. Г. Достоевскій, чтобы высказать какую-нибудь мысль, провести какую-нибудь психологическую задачу, не стѣсняется въ выборѣ средствъ. Только его невольному, художественному чувству мы обязаны тѣмъ, что его Алексѣй и подъ рясой монаха остается не монахомъ. Въ немъ столько чертъ знакомыхъ каждому, въ немъ такъ мало монашескаго, такая жажда быть живымъ дѣятельнымъ членомъ окружающей дѣйствительности, онъ такъ часто мѣшается въ чужія дѣла, дѣла совершенно земныя, что ему не достаетъ только идеи „общества“, во имя котораго онъ сталъ бы работать, вмѣсто идеи „личности“, для которой работаетъ теперь,—чтобы олицетворить собой тотъ же типъ, какой мы видѣли въ редакторѣ-идеалистѣ (т. е. въ Достоевскомъ, какъ авторѣ „Дневника Писателя“), а можетъ быть пойти и далѣе по этому пути, что весьма возможно въ виду его способности къ фанатическому служенію идеѣ“...

Какъ главные, такъ и второстепенныя фигуры романа, взятые вмѣстѣ, позволяютъ критику сдѣлать краткій очеркъ „карамазовщины“, какъ извѣстнаго общественно-психологическаго явленія. „Перебирая вновь типы, созданные карамазовщиной—говоритъ онъ—, мы находимъ, такимъ образомъ, типъ фанатика-аскета, типъ холоднаго, безнравственнаго умницы, софиста XIX вѣка, типъ безшабашнаго прожигателя жизни, способнаго на всякія преступленія, не лишеннаго однако искры нравственнаго чувства, изрѣдка пробуждающагося въ немъ, типъ невѣжественнаго мыслителя-сектанта, запутавшагося въ темныхъ лабиринтахъ противорѣчій окружающей жизни, типъ холопа-педагога, о которомъ мы упо-

мянули ранѣе. Этотъ педагогъ—человѣкъ не мыслящій, не разсуждающій, съ допотопной, окаменѣлой логикой. Какъ китайскими стѣнами, ограниченъ его мозгъ разъ принятыми формулами, усвоенными безъ всякой критики; наконецъ, типъ оскорбленнаго, обиженнаго карамазовщиной ребенка-бѣдняка, этого кровнаго врага карамазовщины, который, быть можетъ, ради этой вражды, дойдетъ и до аскетизма, и до фанатизма, и до мистицизма особаго рода, но только не мистицизма всепрощенія и любви. Мы не видимъ здѣсь еще тартюфа, этого наиболѣе расплодившагося потомка Карамазовыхъ. Однако, въ романѣ намѣченъ и онъ въ лицѣ семинариста, мечтающаго основать либеральный журналъ, съ исключительной цѣлью наживы. Пока же онъ тартюфствуетъ въ монастырскихъ стѣнахъ, ругая въ душѣ почтенныхъ отцовъ и подхалимствуя наружно. Нашъ очеркъ карамазовской культуры былъ бы не полонъ, если бы мы не упомянули о народѣ, фигурирующемъ на заднемъ планѣ картины, и объ одномъ, повидимому, постороннемъ, детальномъ типѣ богатаго помѣщика, либерала 40-хъ годовъ. Этотъ типъ дорисовываетъ картину... Такимъ образомъ, мы видимъ теперь карамазовщину во всей ея полнотѣ и укажемъ существенный ея признакъ. Эти люди, живя повидимому въ обществѣ, живутъ *de facto* внѣ общества; никто изъ нихъ даже не задумывается, что онъ членъ, клѣточка одного цѣлаго организма. Отъ этого у нихъ нѣтъ ни вѣры въ жизнь, ни жизненной цѣли. Это можно сказать и про всѣхъ Карамазовыхъ, къ какому бы типу они ни принадлежали... Такія общества, которыя еще не сознаютъ идеи общества, а живутъ „бессознательной“ общественностью, явившеюся исторически, вслѣдствіе независящихъ отъ нихъ условій, такія, говорю, общества представляютъ низшую форму общественности, какъ бы прочна она ни была. Ихъ связываютъ вмѣстѣ только привычка да внѣшнія силы и потребности, отъ этого въ средѣ такой бессознательной общественности и возможны Карамазовы. Каждая единица не сознаетъ, какъ въ обществахъ съ сознательной общественностью, своихъ правъ и обязанностей относительно цѣлаго. И, пока въ обществѣ не разовьется сознатель-



ная общественность, Карамазовы будутъ жить съ спокойной совѣстью жизнью паразитовъ,—Юханцевы, не краснѣя, будутъ забирать общественныя кассы; житель Царевококшайска не шевельнетъ пальцемъ, чтобы помочь погорѣльцамъ Оренбурга, и т. п. Не то въ какой-нибудь Франціи или Англіи. Каждое явленіе въ общественной жизни касается тамъ всѣхъ и каждого. Намъ еще далеко до этого сознанія общественности“... 1)

Когда романъ былъ оконченъ печатаніемъ, вопросъ о „карамазовщинѣ“ еще разъ былъ поднятъ, но уже въ другомъ направленіи. Какъ было указано выше, въ журналѣ „Свѣтъ“, руководимомъ Н. П. Вагнеромъ, природа „карамазовщины“ поставлена была въ зависимость отъ русской некультурности и той „безсознательной общественности“, которая далеко еще не доросла до общественныхъ идеаловъ Запада, напр. Франціи или Англіи. Наоборотъ, въ одной изъ статей „Новаго Времени“, посвященной роману Достоевскаго, происхожденіе карамазовщины объяснено было обращеніемъ именно къ чужой, западной, правдѣ и утратой правды своей. „...Строй жизни—разсуждаетъ авторъ статьи, А. Кояловичъ—, вся сумма жизни—вотъ сила и оплотъ семьи и ея воспитательнаго значенія. До тѣхъ поръ, пока чужая правда, подъ видомъ всяческихъ заимствованій съ Запада, не стала на мѣсто правды своей, народной, до тѣхъ поръ этотъ строй жизни могъ имѣть все свое воспитательное значеніе въ семьѣ. Родители, являясь образцомъ для своихъ дѣтей, не во имя отвлеченныхъ принциповъ (какъ на Западѣ), а во имя любви къ себѣ требовали отъ нихъ свободнаго подражанія, и въ этомъ подражаніи незамѣтно, исподволь, съ возрастомъ дитяти, переливалась въ сердца и души дѣтей вѣками сознанная праѣдовская правда жизни. Но когда жизнь усложнилась, когда произошло вторженіе и борьба между своей и чужой правдой, борьба, окончившаяся въ извѣстный періодъ въ пользу послѣдней, тогда то, что не могло естественнымъ путемъ войти въ организмъ народной

1) „Свѣтъ“ 1879, № 9. Литературныя типы. Критическія замѣтки.—„Врѣтя Карамазовы“ Достоевскаго. NN. Стр. 97—104.

жизни, эта чужая правда необходимо должна была быть привита искусственнымъ образомъ, при помощи тѣхъ или другихъ компромиссовъ. И эти компромиссы явились въ русскомъ обществѣ въ видѣ... заимствованій и пересаживаній на русскую почву съ Запада... Если мы обратимся къ литературѣ, то мы найдемъ въ ней указанія, какъ жизнь сама предъ-явила себѣ новыя требованія на основаніи новыхъ народившихся осложненій и вопросовъ жизни. Строгій строй исторически сложившейся жизни дворянской семьи, изображенный въ „Семейной Хроникѣ“ Аксакова и „Дѣтствѣ“ гр. Л. Толстого, мы видимъ уже значительно пошатнувшимся, уже утратившимъ свое воспитательное значеніе для новыхъ требованій въ романѣ Гончарова „Обломовъ“. Честная, искренняя, глубоко-симпатичная натура героя романа лишена жизненности, а напротивъ полна элементовъ разложенія и смерти, потому что еще не отыскано примиреніе старой и новой правды, а отживаніе старой правды все болѣе и болѣе ускоряется самой жизнью. Старое поколѣніе разъ и навсегда было признано несостоятельнымъ; задачей новаго поколѣнія явилась необходимость отыскать это примиреніе своей родной, національной правды съ правдой чужой, такъ прямо и властно указанной намъ великимъ Преобразователемъ Россіи. И отсюда начинается та трудная пора для молодой части русскаго поколѣнія, когда каждому новому поколѣнію, еще столь неопытному и слабому, приходилось самому себя воспитывать, или, лучше сказать,—съ собой вмѣстѣ перевоспитывать все русское общество... Вотъ эта-то „переходная эпоха нашего развитія“ „нашла себѣ — думаетъ критикъ—художественнаго изобразителя въ лицѣ и талантѣ Достоевскаго. Въ его послѣднемъ романѣ выставлена передъ нами та новая форма, въ какую вылилась современная жизнь, бросившая, наконецъ, всякіе компромиссы, и какъ будто на минуту застывшая передъ вами во всей неприглядной откровенности уставшаго лгать и притворяться, измучавшагося, истомившагося современнаго человѣка. Эта новая форма—случайное семейство“.

Такимъ образомъ, объясняя происхожденіе карамазовщины замѣною своей правды чужою, критикъ самое яркое выраженіе карамазовщины видитъ въ „случайной семьѣ“, не связанной органически съ нормальнымъ общественнымъ строемъ, опирающимся на исконныя національныя устои и традиции. „Отсутствіе связующей общество и семейство идеи— вотъ признакъ, характернѣйшая черта русскаго случайнаго семейства <sup>1)</sup>. Отсутствіе такой идеи влечетъ за собой разложеніе семьи, какъ органа общественной жизни; недостатокъ сознанія этой идеи повлечетъ за собой и упадокъ старой дворянской семьи, какъ мы видѣли въ „Обломовѣ“ Гончарова. Въ романѣ „Братья Карамазовы“, въ семействѣ Ѳ. П. Карамазова, художникъ даетъ самый крайній типъ случайной семьи. Здѣсь уже не отрицаніе прежняго, и не попытка выдумать свое что-нибудь на мѣсто этого прежняго, и даже не лѣнивое только отношеніе къ своимъ обязанностямъ, здѣсь совершенное забвеніе этихъ обязанностей, отказъ отъ нихъ чистый и открытый, откровенный до цинизма. Авторъ не показалъ намъ на самомъ Ѳедорѣ Павловичѣ все вліяніе отца на дѣтей въ такомъ случайномъ семействѣ... Ѳедоръ Павловичъ не зналъ своихъ дѣтей съ самаго ранняго ихъ возраста и до тѣхъ поръ, когда, какъ отецъ, онъ уже не могъ имѣть на нихъ вліянія. Но намъ разсказана исторія двухъ женитьбъ Ѳедора Павловича, и эта исторія опредѣляетъ будущій характеръ случайнаго семейства какъ нельзя лучше... И вотъ изъ такой-то семьи на такой-то почвѣ рождается послѣднее молодое поколѣніе; откуда взять силъ вырасти и принять на себя ту долю общественныхъ обязанностей, отъ которыхъ такъ легко отказались отцы въ лицѣ Ѳедора Павловича Карамазова? И вотъ художникъ, открывая передъ нами тайну жизни, показываетъ тѣ скрытыя силы, которыя, будучи заглушены въ старомъ поколѣніи страшными жертвами, борьбой и жаждой жизни, вызваны на ростъ и укрѣпленіе въ поколѣніи новомъ, молодомъ. И не семья является руководителемъ подростя-

<sup>1)</sup> Нѣсколько позже на характеристикѣ „случайнаго семейства“ остановился также В. К. Петерсенъ (Ошкесъ): „Литературный Журналъ“ 1881, іюль. Вступленіе къ роману „Ангела“, II, стр. 380 и слѣд.

щей молодежи: весь народъ, въ лицѣ старца Зосимы, свою вѣковую мудрость, просвѣщенную Христовымъ ученіемъ, посылаетъ въ руководители и пѣстуны дѣтей, отвергнутыхъ отцами“.

Какъ критикъ журнала „Свѣтъ“, такъ и А. Кояловичъ въ цитируемой статьѣ самымъ тяжкимъ слѣдствіемъ карамазовщины считаетъ разрывъ представителей „карамазовской культуры“ съ нормальнымъ общественнымъ строемъ и недостаткомъ у нихъ общественнаго сознанія, но средство противъ этого карамазовскаго недуга г. Кояловичъ видитъ не въ усвоеніи западныхъ культурныхъ формъ жизни, но въ поворотѣ къ своей народной правдѣ. Въ различной степени этотъ поворотъ къ „вѣковой мудрости“ народа наблюдается, по мнѣнію критика, у всѣхъ трехъ братьевъ Карамазовыхъ: „Митенька — Карамазовъ вполнѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ онъ уже одной ногой стоитъ на новой дорогѣ. Ему „все позволено“, но въ то же время онъ видитъ всю мерзость такой свободы и жаждетъ искупленія и обновленія, хотя бы въ формѣ „гимна каторжниковъ“. Это уже протестъ новаго грядущаго поколѣнія, первый протестъ задавленныхъ и поруганныхъ силъ души человѣческой. Но пока еще только протестъ, но не борьба: протестующій еще не достоинъ подвига, еще не подготовленъ къ нему, на что и указываетъ Алеша Митенькѣ, когда подтверждаетъ его побѣгъ изъ каторги. На подвигъ призваны другіе люди, просвѣтленные свѣтомъ сознанія и совѣсти. Представителемъ этихъ людей является второй сынъ Федора Павловича, Иванъ Федоровичъ Карамазовъ. Сколько любви, сколько страданія поэта за этихъ людей вылилось въ каждой строчкѣ романа, посвященной описанію думъ, мыслей и дѣлъ Ивана Федоровича Карамазова! Поэтъ, какъ нѣжный пѣстунъ, слѣдитъ за каждымъ шагомъ, за каждымъ новымъ моментомъ возрожденія молодой души. „Глубокая совѣсть“—такимъ именемъ называетъ Алеша своего старшаго брата, Ивана, и въ этомъ названіи все опредѣленіе совершающей подвигъ обновленія молодой души... Совѣсть, искренняя, глубокая жажда высшей правды, неотразимое стремленіе познать и воспріять эту правду—спасли Ивана. И въ его спасеніи—какой великій залогъ спасе-

нія всего молодого поколѣнія! Художникъ понялъ это и изъ суммы отрицательныхъ пока утѣшеній и надеждъ выдѣлилъ положительную сторону подвига, проходимаго теперь молодымъ поколѣніемъ, въ лицѣ своего главнаго героя, Алеши. Что такое сталъ бы Алеша, когда вполне бы возросъ и вступилъ на тотъ путь жизни, который предрекалъ ему его старецъ? Смерть унесла поэта раньше, нежели онъ успѣлъ показать намъ это въ новомъ романѣ, какъ онъ и предполагалъ сдѣлать. Но онъ все-таки успѣлъ нѣкоторыми пророческими чертами охарактеризовать своего будущаго героя, и намъ драгоцѣнны эти черты, какъ великое упованіе поэта, упованіе на наше дѣйствительное, положительное уже, а не отрицательное обновленіе... Иванъ все рѣшеніе, всю правду жизни видѣлъ въ исправленіи „Его подвига“, въ томъ, что одинъ отвѣтитъ за всѣхъ, избранные—за всю массу. Въ этой самонадѣянной гордости, какъ мы видѣли, лежитъ и приговоръ всей программы дѣйствій: она беспильна и уже мертва, ибо основана на эгоизмѣ, на слишкомъ эгоистической любви, не на христіанской любви. Алешѣ, подъ руководствомъ его старца Зосимы, открылось другое, не мертво-рожденное, а полное жизни и вѣры рѣшеніе мучительнаго вопроса о правдѣ жизни. „Всѣ виновны за всѣхъ“, не избранные, а всѣ призваны исполнить правду жизни,—таковъ завѣтъ старца Алешѣ и таковъ девизъ на томъ знамени, съ которымъ поэтъ хотѣлъ выпустить Алешу въ жизнь, на подвигъ жизни... Въ общемъ единеніи, въ союзѣ любви и братства—рѣшеніе всѣхъ мучившихъ насъ вопросовъ“ <sup>1)</sup>.

Независимо отъ этихъ двухъ, нѣсколько тенденціозныхъ, точекъ зрѣнія, отзывающихся западничествомъ и славянофильствомъ, „карамазовщина“ въ годы появленія романа вызвала и болѣе объективное общественно-психологическое истолкованіе, т. е. была подвергнута критическому анализу, какъ матеріалъ для выясненія нѣкоторыхъ, такъ сказать, нейтральныхъ вопросовъ изъ области психики семейной и общественной, не связанныхъ исключительно съ „чужой“ или „своей“ правдой.

<sup>1)</sup> „Новое Время“ 1881, № 1861. „Братья Карамазовы“. Литературно-критическій очеркъ. Александръ Кояловичъ. Стр. 2.

Въ 1879 году на эту именно нейтральную точку зрѣнія сталъ Е. Л. Марковъ въ умѣренно-консервативной по направленію „Русской Рѣчи“<sup>1)</sup>. По мнѣнію Е. Л. Маркова, Достоевскій слѣдитъ въ своемъ романѣ за развитіемъ и видоизмѣненіемъ психики „родового типа“, подвергающагося вліянію тѣхъ или другихъ жизненныхъ условій. Уже въ романѣ „Бѣсы“—говоритъ критикъ—Достоевскій „въ образѣ своихъ главныхъ героевъ, Ставрогинныхъ—матери и сына, и Верховенскихъ—сына и отца, пытался обрисовать различныя видоизмѣненія одного и того же родового типа подъ вліяніемъ различія условій; для психолога дѣйствительно глубоко интересно это прослѣживаніе основного кровнаго единства типовъ въ разнообразіи и даже кажущемся противорѣчіи ихъ; сложная плетеница вкусовъ, способностей, привычекъ человѣка, взглядовъ и стремленій, при проницательномъ наблюденіи можетъ оказаться гораздо менѣе сложною, гораздо болѣе близкою къ чуждымъ ей, повидимому, психическимъ вліяніямъ“...

Въ романѣ „Братья Карамазовы“—продолжаетъ г. Марковъ—Достоевскій также „представляетъ намъ цѣлую маленькую галерею семейныхъ портретовъ: Карамазова-отца, помѣщика послѣдней крѣпостной эпохи, великаго циника и сладострастника, впавшаго почти въ дикость черезъ привычки одиночества и самодурства, въ которыхъ никто и никогда не дѣлаетъ ему препятствій, и трехъ сыновей его, самыхъ, повидимому, разнородныхъ направленій. Одинъ, Иванъ,—это нѣчто въ родѣ ученаго, расчетливаго и холоднаго дѣльца; другой, Дмитрій,—это русская широкая натура, душа на распашку, отчаянный кутила и волокита, ставящій ребромъ и свою жизнь и послѣднюю копейку, весь страсть и вмѣстѣ великодушіе; наконецъ, третій, излюбленный герой романа, самый младшій изъ братьевъ, Алеша,—человѣкъ Божій, монахъ, смиренникъ, идеалистъ. Посмотрѣть со

<sup>1)</sup> „Русская Рѣчь“ 1879, декабрь. Критическія бесѣды.—Сатира и романъ въ настоящемъ году. Е. Марковъ. Стр. 265—287. Обзору другихъ сочиненій Достоевскаго Е. Л. Марковъ посвятилъ въ томъ же журналѣ статьи подъ заглавіемъ „Критическія бесѣды. Романистъ-психіатръ“ („Русская Рѣчь“ 1879, май—стр. 243—275, июнь—стр. 151—206).

стороны на каждого изъ нихъ—всякій самъ по себѣ, на свой образецъ, словно между ними нѣтъ общей ни одной капли крови. А вникнешь глубже—все та же карамазовщина на разныхъ манеры. Въ старомъ грѣховодникѣ отцѣ сидитъ та же коренная фамиліная страстность, что и въ иночествующемъ Алешѣ; и краснорѣчивый дипломатъ Иванъ оказывается въ сущности такимъ же грубымъ рабомъ своей плоти, какъ и отпѣтый братецъ его, Дмитрій. Эта семейственность чертъ проведена въ романѣ очень просто, безъ всякихъ натяжекъ, и сильно содѣйствуетъ правдивости, а стало быть и жизненности типовъ. Она не пристегнута извнѣ, расчетомъ автора, а дѣйствительно выступаетъ, какъ органическое свойство типовъ, сквозь каждую ихъ черту, въ каждомъ ихъ дѣйствіи“.

Въ предѣлахъ своего анализа фамиліной психики Достоевскій, по мнѣнію г. Маркова, въ большинствѣ случаевъ грѣшитъ даже излишнимъ „увлеченіемъ задачами психолога“, которое выражается въ томъ, что „онъ даетъ взаймы своимъ героямъ даже свой языкъ, свои мысли, свои знанія“; но, тѣмъ не менѣе, въ отдѣльныхъ случаяхъ анализъ Достоевскаго приводитъ къ блестящимъ результатамъ. Въ видѣ примѣра критикъ указываетъ на то, съ какимъ безпристрастіемъ обнаруживаетъ Достоевскій присутствіе „четвероногого скота“ въ разумномъ человѣческомъ существѣ: „Зарывшись совсѣмъ съ головою въ психію полузвѣрскихъ людей, обнажая безъ жалости и колебанія когти коршуна, зубы волка, развратное чрево обезьяны, подъ наружнымъ обликомъ человѣка,—романистъ сообщаетъ намъ изъ своихъ глубокихъ изысканій драгоценные „документы человѣчества“. Онъ не преувеличиваетъ, не прикрашиваетъ, онъ только неумолимъ въ своемъ безпристрастіи, и съ суровымъ стоицизмомъ философа обличаетъ четвероногого скота въ разумномъ существѣ, гдѣ бы и подъ какою маскою ни скрывался онъ“.

Два года спустя, когда романъ уже въ цѣломъ видѣ сдѣлался достояніемъ читающей публики и критики, въ томъ же нейтральномъ направленіи, но только болѣе опредѣленно, истолкована была его общественно-психологическая сторона

Л. Алексѣевымъ въ „Русскомъ Богатствѣ“. Считаая главными „достоинствами“ романа Достоевскаго „психологическую и художественную правду“ въ приложеніи къ общественной психикѣ, критикъ видитъ центръ общественно-психологическаго анализа въ фигурѣ Мити Карамазова и въ его исторіи: „...Ни въ одномъ романѣ не сказались такъ всеѣ достоинства творчества Достоевскаго, какъ въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“; нигдѣ еще онъ не подымался до такого потрясающаго лиризма, до такой глубокой психологической правды,—наконецъ, до такой художественной правды, какъ въ этомъ романѣ. Если мы отбросимъ весь монастырскій эпизодъ, старца Зосиму и Алешу, а также механически вставленную въ цѣлое исторію мальчика Илюшечки, то останется у насъ общественно-психологическій романъ—исторія заблужденій и гибели Мити Карамазова, и этотъ романъ, очищенный отъ всего ненужнаго и напрасно загромождающаго его, кажется намъ лучшимъ изъ всего, что написалъ Достоевскій“ <sup>1)</sup>.

Сосредоточивая общественно-психологическій интересъ романа, главнымъ образомъ, въ характерѣ Мити, критикъ называетъ сущность вложенной въ это лицо романа типической психики словами Достоевскаго „карамазовскій безудержъ“ и характеризуетъ ее на примѣрѣ Мити слѣдующимъ образомъ: „Митя—не герой и не исключительный человѣкъ, а самый обыкновенный,—въ этомъ и огромное общественное значеніе исторіи Мити Карамазова... Какъ и Гамлетъ, только вслѣдствіе совсѣмъ другихъ особенностей характера, Митя Карамазовъ есть человѣкъ, не выходящій изъ затруднительныхъ положеній, человѣкъ вѣчныхъ приключеній и казусовъ... Митя неудержимъ въ своихъ симпатіяхъ, неудержимъ и въ своей враждѣ... Митя и неразвитъ, и невѣжественъ, и недалекъ... Онъ не понимаетъ и не старается даже осмыслить окружающее. Безудержныя страсти влекутъ его, и онъ закруживается въ ихъ водоворотѣ такъ, что нѣтъ ему даже возможности обдумать что-нибудь, уяснить себѣ смыслъ жизни. Онъ живетъ, какъ живется, несясь по теченію...

<sup>1)</sup> „Русское Богатство“ 1881, № 11. О „Братьяхъ Карамазовыхъ“ („Братья Карамазовы“, романъ Ф. Достоевскаго. Спб. 1881). Л. Алексѣевъ. Стр. 3.



Очутившись въ тискахъ, Митя начинаетъ метаться какъ угорѣлый. Особенной умственной силой онъ не обладаетъ, и потому рѣшительно не можетъ оріентироваться въ своемъ положеніи. Что, откуда, какъ и зачѣмъ?—ничего онъ не можетъ понять и уяснить себѣ. Въ чемъ же заключается несчастье Мити, почему... жизненная коллизія не могла разрѣшиться для него сколько-нибудь благополучно... Что заставляетъ его поступать во вредъ себѣ и другимъ, тамъ, гдѣ другой устроилъ бы свои дѣла совсѣмъ иначе. Что виной гибели Мити? Достоевскій полагаетъ, что Митя, между прочимъ, сладострастникъ... Нѣтъ, Митя вовсе не сладострастникъ, и не сладострастіе причина его гибели... Не сладострастіе, а нѣчто другое характеризуетъ Митю весьма полно и опредѣляетъ его судьбу: это, говоря словами Достоевскаго,—„карамазовскій безудержъ“. Это такое качество, что разъ человѣку чего-нибудь захотѣлось,—хоть роди, а подавай ему! Отказать себѣ онъ не можетъ; не можетъ побѣдить въ себѣ какого-нибудь желанія, какой-нибудь страсти, не можетъ сдержатъ себя. И это—черта типичная не только для Мити Карамазова, но и для цѣлыхъ слоевъ общества, для цѣлыхъ общественныхъ групп“...

Происхожденіе этой массовой психики, этого „карамазовскаго безудержа“, представляется критику какъ результатъ сложнаго взаимодействія „школьнаго“, „семейнаго“ и „историческаго“ воспитанія отдѣльных личностей и цѣлыхъ поколѣній, обусловливающаго появленіе въ жизни такихъ типичныхъ характеровъ, какъ характеръ Мити: „Человѣческія страсти—враги человѣка. Митя же Карамазовъ—рабъ своихъ страстей, и въ этомъ его несчастье. У Мити нѣтъ воли, которая сдерживала бы его порывы... Какимъ же путемъ—школьнымъ и семейнымъ воспитаніемъ личности, историческимъ воспитаніемъ поколѣній личностей—, вырабатывается эта—столь необходимая какъ для нравственнаго достоинства личности, такъ и для возможности общежитія личностей,—способность воли? Какія условія создали изъ Мити человѣка, не обладающаго этой способностью?.. Вообще о воспитаніи Мити въ романѣ ничего не сказано. Но есть одна, двѣ черточки, по

которымъ можно судить, каково было это воспитаніе. Митя— „былъ одинъ только изъ трехъ сыновей Федора Павловича, который росъ въ убѣжденіи, что онъ все же имѣетъ нѣкоторое состояніе и когда достигнетъ совершенныхъ лѣтъ, то будетъ независимъ“. Знали это и другіе—и потому потакали прихотямъ ребенка. Далѣе: „юность и молодость его протекли безпорядочно: въ гимназій онъ не доучился, попалъ потомъ въ одну военную школу, потомъ очутился на Кавказѣ, выслужился, дрался на дуэли“ и т. д. Судя по этому—Митѣ не приходилось въ дѣтствѣ терпѣть въ чемъ-нибудь стѣсненіе. „Чужой ребенокъ“, живущій у „порядочныхъ“ людей и притомъ—родственниковъ, непременно долженъ быть распушеннымъ, своевольнымъ. Но если бы только школой и воспитаніемъ въ собственномъ смыслѣ этого слова ограничивалось пагубное вліяніе на Митю, то это бы еще куда ни шло. Но у Мити, кромѣ того, этотъ „карамазовскій безудержъ“, этотъ недостатокъ воли,—въ крови, онъ у него—наслѣдственное качество. Всякое же наслѣдственное качество есть то же воспитанное школой и жизнью качество, но воспитанное не въ періодъ жизни одной личности, а въ цѣломъ поколѣніи. Въ послѣднемъ анализѣ наслѣдственныхъ качества сводятся все къ тѣмъ же воспитаннымъ, но воспитаннымъ не въ данномъ человѣкѣ, а въ его предкахъ, и перешедшимъ къ нему по наслѣдству... Митя получилъ по наслѣдству, какъ отъ отца, такъ и отъ матери, это самодурское безволіе, эту страшную безхарактерность“...

Наличность „карамазовскаго безудержа“ не исключаетъ однако—такъ думаетъ критикъ—въ характерѣ Мити тѣхъ положительныхъ духовныхъ качествъ, которыя могутъ психическую организацію его типа вывести на путь „спасенія“: „Изъ него могъ бы, при иныхъ условіяхъ, выйти, если не герой, не боецъ за идею, то во всякомъ случаѣ честный, хорошій человѣкъ... Нѣтъ, читатель, не намъ его судить! Мы не осудимъ его! Мы простимъ ему! Да не будетъ крови его на насъ и на дѣтяхъ нашихъ! Нѣтъ, не осудимъ, а спасемъ Митю, спасемъ душу живую! Вотъ то драгоцѣнное со-

кровище, вотъ та мысль, то чувство, которыя выносимъ мы изъ романа Достоевскаго, и вотъ почему этотъ романъ—гениальное произведение“<sup>1)</sup>).

Второй основной вопросъ, поднятый въ критикѣ по поводу „Братьевъ Карамазовыхъ“, именно вопросъ о субъективной его сторонѣ, былъ обследованъ болѣе подробно. И это вполне понятно: Достоевскій, начавшій свое субъективное строительство еще въ „Дневникѣ Писателя“, теперь готовился въ этомъ большомъ романѣ вывести цѣликомъ зданіе своего идеала, и критика, слегка коснувшись „карамазовщины“, устремилась, главнымъ образомъ, на идею романа, на его тенденціи и вообще на міросозерцаніе автора. Прежняго ожесточенія и рѣзкости въ сужденіяхъ уже не было, потому что Достоевскій выросъ въ такую силу, которую уважали даже и противники; но дѣленіе критики на два лагеря и въ данномъ случаѣ наблюдается.

Съ появленіемъ первыхъ главъ романа насторожившаяся критика не замедлила подчеркнуть, что „главный нервъ романа“—вопросы религіозные и ихъ освѣщеніе съ точки зрѣнія автора. „...Нужно замѣтить“—читаемъ въ „Недѣлѣ“ 1879 года—,<sup>2)</sup> „что въ романѣ вопросы религіозные, какъ можно угадывать, будутъ играть большую роль. Въ немъ многія лица, случайно или преднамѣренно, толкуютъ объ этихъ вопросахъ, отрицая или признавая, и въ разсужденія такого рода вдаются то монастырскіе старцы, то помѣщики и даже лакеи; кажется, что въ этихъ вопросахъ и должно видѣть главный нервъ романа. Всякому понятна важность подобной темы, но, разумѣется, все зависитъ отъ того, какъ будетъ трактовать ее авторъ“... Этотъ „главный нервъ романа“ критика, претендовавшая на прогрессивность направленія, поспѣшила истолковать какъ подтвержденіе ретроградства Достоевскаго, на которомъ онъ прочно остановился

<sup>1)</sup> „Русское Богатство“ 1881, № 12. О „Братьяхъ Карамазовыхъ“. („Братья Карамазовы“, романъ О. Достоевскаго. Спб. 1881). Л. Алексѣевъ. Стр. 2, 3, 7, 9—10, 12, 13, 16, 17—18, 19, 20, 21—22, 23, 26, 31.

<sup>2)</sup> „Недѣля“ 1879, № 5. „Братья Карамазовы“. Романъ О. М. Достоевскаго. Часть первая. N. Стр. 158—163.

за послѣдніе годы. На эту тему мы находимъ пространныя разсужденія въ „Голосѣ“ <sup>1)</sup>: „Г. Достоевскій—прежде всего Жозефъ де-Местръ, возмущенный безбожіемъ современнаго міра и требующій самаго радикальнаго и беззавѣтнаго поворота къ прошлому, не къ тому милому и знакомому намъ времени, когда городовые были просто будочниками, а къ самымъ отдаленнымъ и суровымъ временамъ среднихъ вѣковъ. „Религія любви“ у писателей пошиба де-Местра постоянно на языкѣ, и не на одномъ языкѣ: имъ кажется, что они носятъ эту религію и въ сердцахъ, что они—истые послѣдователи Христа. Но кто не зараженъ де-местровскимъ гнѣвомъ и де-местровскими возжелѣніями, тому всегда будетъ казаться, что ихъ религія—скорѣе всего религія мести и ненависти“... Въ лучшемъ случаѣ основное освѣщеніе романа опредѣлялось какъ „мистицизмъ“, возбуждающій сожалѣніе къ писателю, не сумѣвшему отъ него освободиться. Такъ понимаетъ характеръ идеала въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“ напр. М. А. Протопоповъ (А. Горшковъ) въ „Русской Правдѣ“ <sup>2)</sup>: „Невинный мистицизмъ г. Достоевскаго настолько общезвѣстенъ и, по нашему мнѣнію, настолько безобиденъ, что бороться съ нимъ нѣтъ надобности. Тѣ страницы романа, на которыхъ монастырскіе „старцы“ являются передъ читателями, окруженные блестящимъ ореоломъ неземнаго величія и неземной мудрости, едва ли могутъ возбудить что-нибудь, кромѣ сожалѣнія о писателѣ, которому даже почти гениальный талантъ не помогъ освободиться отъ узъ мистицизма“. Нѣсколько позже, но въ томъ же году, В. О. Коршъ, не дожидаясь окончанія романа, также настойчиво опредѣлилъ его тенденцію какъ „чистѣйшій мистицизмъ“ <sup>3)</sup>. Приведемъ изъ романа разсказъ о кончинѣ старца Зосимы, этотъ критикъ

<sup>1)</sup> „Голосъ“ 1879, № 148. „Братья Карамазовы“. О. М. Достоевскаго.

<sup>2)</sup> „Русская Правда“ 1879, № 51. Русская журналистика. Новый романъ г. Достоевскаго. „Братья Карамазовы“.—Правственный идеалъ г. Достоевскаго.—Алеша Карамазовъ какъ исцѣлитель. Александръ Горшковъ. (—М. А. Протопоповъ).

<sup>3)</sup> „Молва“ 1879, № 281. Журналистика. Общій характеръ послѣднихъ произведеній О. М. Достоевскаго.—Ихъ тенденціозность.—„Братья Карамазовы“.—Двѣ крайности: мистицизмъ и развратъ.—„Старецъ“ Зосима и старикъ Карамазовъ.—Атенетъ.—„Великій инквизиторъ“. Отшельникъ (—В. О. Коршъ).

дѣлаетъ къ нему такое заключеніе: „Великая мысль, представляемая въ чинѣ юродиваго,—развѣ это не верхъ мистицизма, не послѣдній предѣлъ, за которымъ фантазія уже теряетъ всякую реальную почву и переходитъ въ отчаянный и безнадежный бредъ?“...<sup>1)</sup> Иногда этотъ „мистицизмъ“ съ его „поворотомъ къ прошлому“ получаетъ въ истолкованіи критики характеръ борьбы впадающаго въ обскурантизмъ писателя не только съ „мнимымъ знаніемъ“ или съ „малознаніемъ“, а съ знаніемъ вообще, какъ безусловно вреднымъ для „духовнаго просвѣщенія“, при этомъ понятіе о „духовномъ просвѣщеніи“ опредѣляется „смутной идеей“ о „нравственности, проявляющейся независимо отъ ума разсуждающаго“, „живущей и дѣйствующей, какъ нѣчто самостоятельное, вложенное въ сердце человѣка“<sup>2)</sup>.

Окончаніе романа печатаніемъ въ ноябрѣ 1880 года вызвало въ прогрессивной части критики рядъ попытокъ опредѣлить болѣе полно и законченно субъективную его сторону. Одна изъ первыхъ такихъ попытокъ сдѣлана была въ „Новостяхъ“ въ статьѣ В. В. Чуйко. „Романъ мѣстами блеститъ—читаемъ здѣсь—страницами поразительнаго таланта, но весь, въ цѣлости, состоитъ изъ какихъ-то несообразностей и нелѣпостей. Съ одной стороны, вы видите тутъ какую-то проповѣдь мистическихъ теорій, къ которымъ въ послѣднее время г. Достоевскій особенно пристрастился; съ другой, всѣ, безъ исключенія, его дѣйствующія лица — какіе-то сумасшедшіе, больные нервами, эпилептики, въ падучей, кликуши, истеричные. Романъ сначала, пока не утратился интересъ, производитъ тяжелое впечатлѣніе этимъ міромъ патологическаго состоянія нервной системы и душевныхъ болѣзней, а потомъ до крайности надоѣдаетъ длиннотами и повтореніями. Мистическую теорію г. Достоевскаго можно

<sup>1)</sup> „Молва“ 1879, № 288. Журналистика. Продолженіе моихъ скромныхъ замѣтокъ о „Братьяхъ Карамазовыхъ“. Отшельникъ (=В. О. Коршъ).

<sup>2)</sup> „Южный Край“ 1880, № 19. Литературно-общественные очерки. II. Г. Достоевскій о состояніи нашего общества и о душѣ нашего народа III. Галлюцинаціи Ивана Карамазова. Тамъ же, № 21. Литературно-общественные очерки. IV. „Чортъ впадаетъ въ обскурантизмъ“. Тамъ же, № 26. Лит.-общ. очерки. V. Цоде человѣческаго рабства. — VI. Старецъ Зосима. Тамъ же, № 27. Лит.-общ. очерки. VII. Алеша. Статьи К. Яроша.

передать въ двухъ словахъ: въ папскомъ Римѣ государство упразднило церковь; слѣдуетъ же, напротивъ, чтобы церковь поглотила государство,—тогда только настанетъ царство высшей справедливости, основанной на всеобъемлющей любви. Эта-то теорія и составляетъ какъ бы основную тему романа. Теорія не новая и совершенно фальшивая, съ немалою примѣсью изуверства; это не болѣе, какъ іезуитизмъ, понятый своеобразно, хотя г. Достоевскій и защищается отъ этого упрека. Тѣмъ не менѣе авторъ приписываетъ своей теоріи такое большое значеніе, что развиваетъ ее—скучно и даже неталантливо—на нѣсколькихъ печатныхъ листахъ. Вслѣдствіе какого-то страннаго, непонятнаго явленія, это новое іезуитство, прикрывающееся всеобъемлющей любовью къ человѣчеству и къ высшей справедливости, отражается въ душѣ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ, обнаруживая какъ бы, что въ человѣкѣ, каковъ бы ни былъ его психическій механизмъ, естественно роковое стремленіе къ этому своеобразному іезуитству. Такъ, несмотря на вспышки капризно-страстной, необузданной натуры, Грушенька томится отсутствіемъ этой любви; за нею и всѣ остальные дѣлаютъ то же самое: Алеша, Иванъ, Федоръ Павловичъ, Зосима, прокуроръ, защитникъ, Хохлакова Лиза, Катерина Ивановна и проч. Тутъ все, и въ событіяхъ, и въ такъ называемомъ психическомъ анализѣ, и въ характерахъ дѣйствующихъ лицъ, и въ описаніяхъ,—какая-то большая фантазія, по временамъ переходящая въ какую-то галлюцинацію, въ какой-то бредъ больного, совершенно разстроеннаго мозга“... Въ конечныхъ своихъ выводахъ эта „мистическая теорія“ Достоевскаго направлена—такъ думаетъ критикъ—противъ интеллигентнаго общества, а, слѣдовательно, противъ того прогресса, носителемъ котораго оно является: „А знаете ли дѣйствительный смыслъ романа, зачѣмъ весь этотъ бредъ написанъ и напечатанъ? Этотъ смыслъ раскрывается уже совершенно ясно, безъ обиняковъ, въ рѣчи прокурора. Въ картинѣ этой карамазовской семьи мелькаютъ, видите-ли, элементы нашего современнаго интеллигентнаго общества! „Посмотрите — взываетъ прокуроръ—на нашъ развратъ, на нашихъ сладострастниковъ.

Федоръ Павловичъ, несчастная жертва текущаго прогресса, есть передъ иными изъ нихъ почти невинный младенецъ. А вѣдь мы всѣ его знали, „онъ между нами жилъ“...<sup>1)</sup>

Намѣченное въ общихъ чертахъ, въ только что цитированной статьѣ В. В. Чуйко, истолкованіе основной идеи романа, какъ обличенія и даже отрицанія современной ему русской интеллигенціи съ точки зрѣнія мистико-аскетическаго идеала, получило дальнѣйшее развитіе въ статьѣ М. А. Антоновича, появившейся въ печати вскорѣ послѣ смерти Достоевскаго, именно въ мартѣ 1881 года<sup>2)</sup>. По мнѣнію г. Антоновича, послѣднее произведеніе Достоевскаго, т. е. „Братья Карамазовы“, „есть верхъ тенденціозности; его какъ-то странно и называть романомъ. Это трактатъ въ лицахъ; дѣйствующія лица не разговариваютъ, а произносятъ разсужденія и притомъ большею частью на одну и ту же, очевидно, излюбленную авторомъ тему теологическаго или лучше мистико-аскетическаго свойства. Эту тему единодушно развиваютъ дѣйствующія лица: монахи и міряне, старцы и юноши, мужчины и женщины, господа и лакеи, добродѣтельные люди и закоренѣлые грѣшники. Но не довольствуясь этимъ, авторъ приложилъ къ своему роману въ-сурьезъ, взаправду нѣсколько важныхъ и глубокомысленныхъ трактатовъ мистико-аскетическаго содержанія, подъ псевдонимомъ старца Зосимы. Романъ съ приложеніемъ аскетическихъ поученій—да, вѣдь, это несообразность, нелѣпость! Но съ точки зрѣнія тенденціозности эта несообразность, эта нелѣпость естественна и понятна. Для автора самое главное мысль, тенденція, а романъ второстепенная вещь, оболочка, *façon de parler*; онъ старается провести свою мысль всѣми мѣрами, всѣми правдами и неправдами, и, боясь, что читатель самъ не увидитъ и не пойметъ этой мысли въ аллегоріи

<sup>1)</sup> „Повости“ 1880, № 347. Литературная хроника. Романъ г. Достоевскаго „Братья Карамазовы“.—Выводы и впечатлѣнія.—Содержаніе и фабула.—Мистическая теорія г. Достоевскаго.—Его герои и героини.—Психологія г. Достоевскаго.—Сладострастная жестокость, какъ черта общая героямъ г. Достоевскаго.—Какъ г. Достоевскій поражаетъ своихъ противниковъ.—Куда на герояхъ г. Достоевскаго можно до-ѣхать? В. Ч. (=В. В. Чуйко).

<sup>2)</sup> „Новое Обозрѣніе“ 1881, № 3. „Мистико-аскетическій романъ“. („Братья Карамазовы“). Романъ въ 4-хъ частяхъ съ эпилогомъ. Ф. М. Достоевскаго. Два тома. Спб. 1881). М. А. Антоновичъ. Стр. 190—239.

романа, онъ пересыпаетъ аллегорію трактатами, которые уже прямо должны наводить читателя на тенденцію романа“.

Для уясненія основной тенденціи романа критикъ обращается къ „славянофильствующему“ міровоззрѣнію Достоевскаго и опредѣляетъ „кульминаціонный пунктъ“ въ развитіи этого міровоззрѣнія слѣдующимъ образомъ: „Русскій простой, необразованный народъ есть самый религіозный народъ въ мірѣ; онъ стоитъ на самой высшей степени религіознаго совершенства и духовнаго просвѣщенія, такъ что для него не нужно никакое мірское просвѣщеніе. Русскій народъ есть „народъ богоносецъ“, какъ выражается старецъ Зосима псевдонимъ Достоевскаго. Просвѣщеніе есть свѣтъ духовный, озаряющій душу, просвѣщающій сердце; и Достоевскій уже прямо отъ себя утверждаетъ, что „нашъ народъ просвѣтился уже давно, принявъ въ свою суть Христа и ученіе Его“, что хотя наша земля и нищая, но ее всю „исходилъ благословляя Христосъ“. Кромѣ общей религіозности, русскій простой народъ отличается еще особенною любовью и уваженіемъ къ мистицизму и аскетизму, къ усиленнымъ подвигамъ поста, послушанія, цѣломудрія и всякихъ другихъ родовъ умерщвленія грѣховной плоти, словомъ, къ тѣмъ подвигамъ, которые практикуются въ монастыряхъ и скитахъ. „Отъ народа спасеніе Руси“, говоритъ псевдонимъ Достоевскаго; „русскій же монастырь искони былъ съ народомъ“. Изъ этихъ двухъ посылокъ силлогизма всякій, даже не учившійся въ семинаріи ни *Barbara*-мъ, ни *Celarent*-амъ, сразу выведетъ заключеніе: слѣдовательно, спасеніе отъ монастыря. Европейское же просвѣщеніе и образованіе въ этомъ отношеніи діаметрально противоположно духу простого русскаго народа; оно неизбѣжно ведетъ къ невѣрію, къ сомнѣнію, къ умственной кичливости, къ превозношенію и гордынѣ; оно порождаетъ равнодушіе, холодность и даже презрѣніе къ аскетизму, къ посту, цѣломудрію и умерщвленію плоти, а тѣмъ самымъ отчуждаетъ отъ спасительнаго монастыря. Поэтому, если русскій человѣкъ захочетъ умственно развиться и получить европейское образованіе, то онъ вмѣстѣ съ образованіемъ незамѣтно всасываетъ ядъ не-



вѣрія, умственной гордыни и отчужденія отъ монастыря, — словомъ, отрывается отъ почвы. Вслѣдствіе этого-то русская интеллигенція такъ безсильна и бесплодна. Всѣ ея построенія не имѣютъ фундамента и стоятъ на пескѣ; всѣ ея заботы, всѣ ея планы объ устройствѣ или улучшеніи общественныхъ отношеній и объ облегченіи участи простого народа оказываются напрасными и не достигаютъ цѣли. И это будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока интеллигенція не возвратится къ почвѣ, къ простому народу“.

Выводъ изъ такой мистико-аскетической теоріи, по мнѣнію г. Антоновича, совершенно ясенъ и сводится къ тому, что наша русская интеллигенція „должна отказаться отъ своего просвѣщенія, должна отвергнуть зловерное европейское образованіе, отречься отъ него, смирить свою гордость и умъ“ и стремиться къ благоденствію и счастью не усиленіями ограниченнаго ума, а „при помощи аскетизма, самоотреченія и послушанія“, въ особенности же при помощи „земныхъ страданій“, которыя „укрѣпляютъ и очищаютъ душу“ и „содѣйствуютъ нравственному совершенствованію людей“: „...Не нужно никакихъ законовъ, преобразованій и мѣръ для устраненія страданій; нужно только разрушить ту иллюзію и ошибку людей, по которой они считаютъ страданія чѣмъ-то дурнымъ, непріятнымъ, и увѣрить ихъ, что страданія составляютъ благодѣяніе и счастье; нужно не устранять страданій, а только утѣшать страдающихъ и убѣждать ихъ въ прелести и пользѣ страданій“.

При наличности подобной основной тенденціи романъ Достоевскаго утрачиваетъ, по мнѣнію г. Антоновича, характеръ беллетристическаго произведенія и обращается въ поучительную проповѣдь <sup>1)</sup>: „Это вовсе не романъ, а глава изъ Четь-Минеи или переводъ изъ Acta Sanctorum; словомъ это какое-то средневѣковое душеспасительное чтеніе, и при

<sup>1)</sup> Нѣсколько раньше статьи М. А. Антоновича та же мысль о романѣ „Братья Карамазовы“, какъ о проповѣди, отказывающей человѣку „въ правѣ жизненной борьбы“ и рекомендующей ему „смиреніе, какъ единственное средство противъ жизненныхъ золъ“, развита въ статьѣ Арс. П. Введенскаго „Романъ-проповѣдь“, помѣщенной въ „Молвъ“ 1881, № 21 (—Арс. П. Введенскій, Литературныя характеристики, Спб. 1903, стр. 69—81).

чтеніи его никакъ не хочется вѣрить, что это современное произведеніе и притомъ такого автора, который, повидимому, не имѣетъ ничего общаго съ средними вѣками. Здѣсь мы видимъ сюжеты, темы, личности, взгляды, тенденціи, цѣлое міровоззрѣніе, которые обыкновенно встрѣчаются въ твореніяхъ Ефрема Сирина, Іоанна Лѣстничника, Нила Сорскаго и др., и которые такъ необыкновенны въ беллетристикѣ. Романъ разсматриваетъ всѣхъ людей, всѣ отношенія и всю жизнь съ специальной, исключительной точки зрѣнія грѣховности и благочестія и условій, имъ благоприятствующихъ“.

При этомъ самъ Достоевскій становится проповѣдникомъ обскурантизма и „тянетъ“ ту самую „пѣсню“, „которую лазаремъ распѣвали Бурачекъ въ „Маякѣ“ и въ своихъ отдѣльныхъ брошюркахъ, выходившихъ въ 60-хъ годахъ, которую лицомѣрно и фальшиво пѣлъ Аскоченскій, которую элегантно исполняютъ разные великосвѣтскіе Редстоки и Пашковы и, наконецъ, ... которую, по волѣ какой-то злой судьбы, запѣлъ подъ конецъ своей жизни и нашъ безсмертный Гоголь въ своей злосчастной „Перепискѣ съ друзьями“...

Къ этому рѣзкому осужденію основной тенденціи романа „Братья Карамазовы“ вполне примкнулъ въ печати тогда же, въ 1881 году, повидимому, одинъ только В. В. Чуйко, еще раньше г. Антоновича обвинившій, какъ было уже указано, Достоевскаго въ оклеветаніи русской интеллигенціи. Считая статью г. Антоновича „образцомъ ловкой и талантливой критической манеры, которая процвѣтала во времена Добролюбова“, г. Чуйко вполне присоединяется къ мнѣнію этого критика, что „всѣ гадости, какія только можно придумать, все то, что можетъ унижить нравственный обликъ человѣка,—все это Достоевскій соединяетъ подъ понятіемъ интеллигенціи“ <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> „Новости“ 1881, № 105. Литературная хроника. Еще одно „последнее сказанье“ по поводу знаменитаго романа Достоевскаго.—Критическая статья г. Антоновича и выводы, къ которымъ онъ приходитъ.—Теорія смиренія и послѣдствія ея.—Нѣчто о русской интеллигенціи по поводу статьи г. Н. Ш.—Есть-ли возможность разбраться въ вопросѣ объ интеллигенціи?—Опредѣленіе г. Н. Ш.—Два сорта интеллигенціи.—Существуетъ-ли непримиримое противорѣчіе между народными па-чалами и интеллигенціей? В. Ч.

Внѣ этой статьи г-на Чуйко мнѣніе М. А. Антоновича объ основной идеѣ романа „Братья Карамазовы“ стоитъ почти особнякомъ по рѣзкости и односторонности его сужденій<sup>1)</sup>. Идеаль Достоевскаго былъ такъ грандіозенъ и содержателенъ, что отрицать его цѣликомъ и безъ оговорокъ не представлялось возможнымъ даже наиболѣе взыскательнымъ и предубѣжденнымъ его судьямъ. Вотъ почему въ томъ же 1881 году, вслѣдъ за статьей г. Антоновича, сдѣланы были даже среди защитниковъ прогресса, противъ котораго, казалось, выступалъ съ своимъ романомъ Достоевскій, попытки отдѣлать въ идеалѣ его вѣчное отъ временнаго, существенное отъ случайнаго.

Такую именно двойную оцѣнку субъективной стороны романа дѣлаетъ въ „Русскомъ Богатствѣ“ Л. Алексѣевъ, удачно отдѣляющій высоту ученія Достоевскаго отъ его логической противорѣчивости и заключающій отсюда о томъ, что самая степень опасности, происходящей будто бы отъ противленія Достоевскаго прогрессу, гораздо незначительнѣе, чѣмъ иногда думаютъ. „Общественно-политическіе идеалы Достоевскаго—говоритъ г. Алексѣевъ—въ основаніяхъ своихъ, вѣрнѣе—тѣ субъективныя, основанныя на нравственныхъ требованіяхъ автора, положенія, изъ которыхъ онъ выводитъ свое міровоззрѣніе,—такъ высоки и человѣчны, и въ то же время выводимое изъ нихъ нравственно-политическое ученіе такъ элементарно-нелогично въ своемъ построеніи, такъ несовмѣстимо съ умственными привычками интеллигентнаго меньшинства, что ожидать вреда отъ проповѣди Достоевскаго невозможно: онъ—не опасный противникъ прогресса, онъ даже—не противникъ, потому что тѣ, проповѣдуемые имъ, основоположенія, изъ которыхъ онъ выводитъ столь антипатичныя воззрѣнія, для болѣе нормальнаго ума послужать источникомъ для

---

<sup>1)</sup> Отчасти примыкаетъ къ сужденіямъ М. А. Антоновича и В. В. Чуйко Н. К. Михайловскій въ статьѣ „Записки современника. II. О покойникахъ“ („Отеч. Зап.“ 1881, февраль, стр. 242—265), гдѣ онъ, по поводу „Братьевъ Карамазовыхъ“ и, въ частности, по поводу именно характеристики въ романѣ Раскольникова, говоритъ даже о „злонамѣренномъ“ отношеніи Достоевскаго къ нѣкоторымъ непріятнымъ ему представителямъ русской интеллигенціи. Объ этой статьѣ Н. К. Михайловскаго см. вторую часть настоящихъ очерковъ.

выводовъ совсѣмъ противоположныхъ. Достоевскій не найдеть себѣ послѣдователей, т. е. послѣдователей своему учению. Но своимъ искреннимъ, честнымъ, глубоко-правдивымъ отношеніемъ ко всему, о чемъ онъ берется судить, онъ поучаетъ читателя, какъ надо приступать къ сужденію о дѣлахъ людскихъ; своимъ примѣромъ онъ учитъ читателя „со страхомъ и трепетомъ“, серьезно и прочувствованно приступать къ общественнымъ вопросамъ. Достоевскій будитъ чувство и будитъ мысль. Вся непостижимая галиматья, въ которую онъ вѣровалъ, вся его проповѣдь — исчезаетъ при этомъ, какъ бы ея вовсе и не было; читатель не замѣчаетъ ея, потому что все заступаетъ, все покрываетъ собой—страстная любовь автора къ людямъ, его глубокое „проникновеніе“ въ страждущія души... Несмотря на всѣ усилія, какія онъ дѣлалъ для того, чтобы стать поборникомъ мрака,—онъ является свѣточемъ“...

Въ отдѣльныхъ пунктахъ „ученія“ Достоевскаго, изложеннаго въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“, особенно ярко выражается, по мнѣнію г. Алексѣева, и обаяніе его проповѣди и практическая неосуществимость отдѣльныхъ его положеній: „Устами о. Зосимы, о. Паисія, Ивана Карамазова, отчасти Алеши, Достоевскій проповѣдуетъ свое ученіе. Какъ публицистъ—Достоевскій представляетъ удивительно-своеобразное явленіе: при крайней ничтожности аргументаціи, онъ обладалъ громаднымъ обаяніемъ проповѣдника; исходя изъ благороднѣйшихъ, возвышенныхъ симпатій, онъ доходитъ до чудовищнѣйшихъ дикостей, до самаго мрачнаго, средне-вѣковаго, (такъ) что слушатель его не можетъ, даже боится понять его прямо и ищетъ въ словахъ его какого-то сокровеннаго, иного смысла. При всемъ этомъ многое не договорено, о многомъ приходится догадываться... Возьмите, хотя бы, проповѣдь „смиренія“. Что значить „смирить себя“? Толкованій на это можетъ быть, по меньшей мѣрѣ, дюжина. Слово человѣческое есть такая „палка о двухъ концахъ“, что съ помощью его можно не только уяснять понятія, но и запутывать и затемнять ихъ до невозможности... Достоевскій нигдѣ ничего не доказываетъ. Онъ не поучаетъ, не проповѣдуетъ,

по настоящему, а только вѣщаетъ. „Въ народѣ есть церковь“, говоритъ онъ. Откуда онъ это взять? Привелъ ли онъ какія-либо апріорныя разсужденія, изъ которыхъ явствовало бы, что, судя по прошлому русскаго народа, такъ и должно быть?... Откуда знаетъ Достоевскій, что государство уступить мѣсто церкви? Онъ вѣрующій—ладно; но ни въ Священномъ Писаніи, ни у отцовъ церкви никакихъ на сей счетъ пророчествъ онъ не могъ найти... И если такая идеальная государственная форма будетъ найдена и осуществлена, то зачѣмъ тогда „всемирная церковь“? Но у Достоевскаго на все—одинъ отвѣтъ: безъ Бога, безъ вѣры—нѣтъ правды. Но при чемъ же тутъ „всемирная церковь“? Почему государство, т. е. договорный и механическій союзъ,—не можетъ быть союзомъ во Христѣ? Почему во имя Христова можно только лобызаться, утѣшать другъ друга, взаимно филантропствовать, а нельзя, напр., рѣшать вопроса о землевладѣніи или организовать общественнаго воспитанія, вообще—нельзя составить общественнаго договора? „Анархія во Христѣ“ Достоевскаго—одна неосмысленная мечта... (По Достоевскому) люди прежде должны сдѣлаться братьями—и тогда только станетъ возможно братство. Но вотъ затрудненіе: какъ начать свое нравственное перерожденіе, на первомъ же шагу не сталкиваясь съ тѣмъ или инымъ „порядкомъ“, съ тѣми или иными мѣшающими учрежденіями?... Какъ видите, ученіе Достоевскаго полно противорѣчій, недосказаннаго, пропущеннаго... Идеалъ его чистъ и свѣтелъ. Но пути къ нему загромажены противорѣчіями и неясностями, почти не указаны вовсе. Возможно одно примиреніе противорѣчій: вѣра. Вѣруй—и будетъ! Все свершится само собой! Ты слабый человѣкъ, смирись и жди! Не дерзай умомъ проникать въ сокровенныя тайны,—вѣруй! „Буди, буди!“ говорятъ о. Зосима и о. Паисій. Медь бы пить ихъ устами! Но вѣдь мы этакъ придемъ къ чисто восточному фатализму. „Буди!“ А мы-то какъ,—ни при чемъ во всемъ этомъ? Но если мы даже согласимся стать на почву вѣры, куда приглашаетъ насъ Достоевскій,—то и здѣсь онъ не даетъ намъ руководящаго свѣточа, не указываетъ аріадниной нити, могущей вывести насъ изъ

лабиринта противорѣчій и сомнѣній. Онъ самъ—колеблется! Въ пророческихъ словахъ его звучитъ голосъ мучительнаго сомнѣнія“...<sup>1)</sup>

Отчасти такую же двойственную оцѣнку романа „Братья Карамазовы“ мы находимъ въ „Литературномъ Журналѣ“ 1881 года. Авторъ посвященной роману статьи (Ониксъ—В. К. Петерсенъ?), указывая недостатки и странности романа какъ съ художественной, такъ и съ идейной стороны, находитъ однако необходимымъ считаться съ Достоевскимъ, какъ съ замѣчательнымъ мыслителемъ, борющимся при помощи христіанской идеи противъ заблужденій такъ называемаго культурнаго уклада жизни. „Романъ этотъ—говоритъ онъ—, подобно всѣмъ произведеніямъ Достоевскаго, по архитектурѣ своей—романъ весьма неважный; въ немъ попадаются анахронизмы, отступленія чисто публицистическаго характера играютъ видную роль, не всѣ характеры являются выдержанными, а самая фабула неудачна и мѣстами пеловка для прямыхъ тенденціозныхъ цѣлей автора. Но и при всѣхъ этихъ недостаткахъ—это замѣчательное произведение мыслителя, чрезвычайно глубокаго, который въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“ помѣстилъ гениальныя страницы, высказалъ мысли поразительной смѣлости и силы. Эти страницы критика обязана подчеркнуть, комментировать и прославить“... „Общая идея романа“, при всей своей спорности, является поэтому для критика показателемъ силы ума Достоевскаго и недоужинности его духовныхъ исканій: Достоевскій въ этомъ романѣ „болѣе всего интересенъ на почвѣ своей борьбы съ выводами практическаго социализма. Борьбѣ этой посвященъ его почти пророческій романъ „Бѣсы“; ей же принадлежатъ также и „Братья Карамазовы“...<sup>2)</sup> Достоевскій „воевалъ“ противъ признанія социализма—христіанскою идеей. Главная цѣль его была—опровергнуть это заблужденіе, которое ему казалось изъ всѣхъ самымъ пагубнымъ и невѣрнымъ. Кара-

<sup>1)</sup> „Русское Богатство“ 1881, № 11. О „Братьяхъ Карамазовыхъ“ („Братья Карамазовы“, романъ Ф. Достоевскаго. Спб. 1881). М. Алексѣевъ. I—V. Стр. 2, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 28—9.

<sup>2)</sup> „Литературный Журналъ“ 1881, № 6. Вступленіе къ роману „Ангела“. Главы I—IV. Ониксъ (=В. К. Петерсенъ?). Стр. 376, 378.

мазовская исторія и выбрана именно для войны съ такимъ заблужденіемъ, и только тотъ, кто хорошо усвоитъ себѣ это намѣреніе автора, пойметъ цѣль многихъ странностей написаннаго романа“<sup>1)</sup>).

Такимъ образомъ, раскрытіе отрицательной стороны въ субъективной стихіи романа „Братья Карамазовы“ попутно приводило уже его критиковъ къ признанію нѣкоторыхъ несомнѣнныхъ цѣнностей въ его идеалѣ; тѣмъ болѣе эти цѣнности не ускользали отъ тѣхъ его современниковъ, которые, не замалчивая недостатковъ въ міровоззрѣніи Достоевскаго и его художественной манерѣ, сосредоточивали свое вниманіе, главнымъ образомъ, на положительной сторонѣ его субъективныхъ взглядовъ. Къ такимъ критикамъ романа „Братья Карамазовы“ за разсматриваемые годы въ особенности принадлежитъ В. П. Буренинъ.

Внимательно слѣдившій за развитіемъ романа съ момента появленія въ печати первыхъ его главъ, В. П. Буренинъ шагъ за шагомъ отмѣчалъ въ своихъ статьяхъ постепенно раскрывавшіяся идеалистическія воззрѣнія Достоевскаго и въ то же время отвѣчалъ тѣмъ судьямъ романа „Братья Карамазовы“, которые видѣли въ немъ только отрицаніе прогресса или даже клевету на русскую интеллигенцію. Уже по поводу первыхъ главъ романа В. П. Буренинъ замѣчаетъ, что Достоевскій „пишетъ, по выраженію Бёрне, „кровью своего сердца и сокомъ своихъ нервовъ“, и что „у него каждая фигура романа и каждая его страница—плодъ его собственной мысли“. Признавая въ разсужденіяхъ „монастырскаго старца“ мысли самого автора „Дневника Писателя“, критикъ готовъ согласиться съ „либеральными цѣнителями и судьями“ Достоевскаго относительно того, что онъ „впадаетъ иногда въ мистицизмъ“, но при всемъ томъ не можетъ отказать взглядамъ Достоевскаго въ идейномъ величій и высокой человѣчности: „Какъ бы ни ошибался въ своемъ твор-

<sup>1)</sup> Тамъ же, № 7.. Главы V—VII. Стр. 609—610. Не припаяты пока во вниманіе соображенія г. Петерсена о Достоевскомъ, какъ „безповоротномъ отрицателѣ“, подлежатъ разбору во второй части настоящихъ очерковъ.

чествъ г. Достоевскій, онъ всегда остается въ немъ человѣкомъ въ высшемъ смыслѣ слова, онъ всегда въ своихъ образахъ рисуется человѣка и его душу“<sup>1)</sup>.

Съ окончаніемъ въ печати первой части романа В. П. Буренинъ, подчеркнувъ не только „исключительность характеровъ“, которые рисуется въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“ Достоевскій, но и важность тѣхъ типичныхъ явленій русской дѣйствительности, на которыя падаетъ свѣтъ авторскаго идеала: „Несмотря на исключительность характеровъ, рисуемыхъ авторомъ, несмотря на психіатрическій ихъ складъ, въ нихъ отражаются самыя основныя стороны русской жизни съ ея своеобразными общественными и умственными искаженіями, порожденными глубокой внутренней ломкой ея общаго строя и тревожными порывами къ самосознанію“<sup>2)</sup>.

По поводу пятой главы пятой книги романа („Великій инквизиторъ“), напечатанной въ іюньской книжкѣ „Русскаго Вѣстника“ 1879 года, В. П. Буренинъ горячо возсталъ противъ обвиненія Достоевскаго въ „де-Местровскихъ вождельніяхъ“ (см. выше, стр. 242), ссылаясь именно на настоящій, а не на тенденціозно понимаемый критиками Достоевскаго, смыслъ „поэмы“: „Великій инквизиторъ“. „Смыслъ поэмы — говоритъ онъ —, подразумѣваемый, конечно, не „атеизмъ“ Карамазовымъ, отъ лица котораго она излагается въ романѣ, а самимъ авторомъ, именно заключается въ протестъ противъ той инквизиторско-религіозной идеи, которую стремятся навязать проникательные рецензенты г. Достоевскому, и въ глубококомъ апопеезѣ Христовой любви и свободы, той чистой любви, которую стараются эти проникательные господа истолковать въ качествѣ фанатической де-Местровской ненависти“<sup>3)</sup>.

При появленіи въ печати шестой книги романа („Русскій инокъ“) критикъ продолжилъ защиту Достоевскаго „отъ

<sup>1)</sup> „Новое Время“ 1879, № 1060. Литературные очерки. Начало новаго романа г. Достоевскаго. — Общія замѣчанія о дарованіи автора. — Интересъ первыхъ главъ романа... В. Буренинъ. Стр. 2.

<sup>2)</sup> „Новое Время“ 1879, № 1087. Литературные очерки. Два слова о романѣ г. Достоевскаго... В. Буренинъ. Стр. 2.

<sup>3)</sup> „Новое Время“ 1879, № 1203. Литературные очерки. Романъ г. Достоевскаго. — Обвиненіе автора въ инквизиторскомъ фанатизмѣ и ненависти. — Пятая глава пятой книги романа... В. Буренинъ. Стр. 2.



нападокъ нѣкоторыхъ формально-либеральныхъ читателей и критиковъ“, характеризующихъ сущность „Братьевъ Карамазовыхъ“ словами: „мистическія радѣнія“, „лампадное масло“, „психіатрическая истерика“. Дѣло въ томъ — замѣчаетъ по этому поводу г. Буренинъ —, что „лампадное масло“ можетъ претить и въ художествѣ и въ морали только тогда, если оно разливается, во-первыхъ, изъ лицемѣрныхъ побужденій, и если разливаніе его, во-вторыхъ, носить на себѣ характеръ простой обрядности, въ которой не участвуетъ искренность сердца и сознательное созерцаніе мысли. Но, вѣдь, при такихъ условіяхъ равно претятъ и другіе элементы въ художествѣ и въ морали и при томъ элементы даже самые „современные“, модные, реалистическіе, каковы, напримѣръ, хотя бы тотъ же формальный либерализмъ и раціонализмъ, не выносящій запаха „лампаднаго масла“. Если же это, претящее формальнымъ либераламъ, „лампадное масло“ является продуктомъ изстрадавшейся глубокой жизненной скорбью души, полной любви къ людямъ и молитвенныхъ сокрушеній о ихъ спасеніи и возрожденіи, то, какъ бы ни было „ненаучно“ и несовременно подобное настроеніе, въ немъ несомнѣнно заключается извѣстная реальная сила поучительная, благотворная и ... и даже полезная, да, прямо-таки практически полезная. Ну, а коли это такъ, то почему же элементъ „лампаднаго масла“ не долженъ быть допускаемъ въ искусство при условіи религіозной искренности и глубины художника, которыя у г. Достоевскаго несомнѣнны и при томъ развиты въ самой высокой степени? Нѣчто подобное можно сказать и объ участи психіатрической истерики въ талантѣ и произведеніяхъ нашего автора. Будь эта истерика искусственная, притянутая за волосы съ расчетомъ на извѣстные внѣшніе эффекты — она является ложнымъ, безсодержательнымъ и даже противнымъ элементомъ въ романѣ или повѣсти. Но когда эта истерика извлечена авторомъ изъ дѣйствительности, насъ окружающей, когда этой истерикой проникнута наша современная жизнь въ извѣстныхъ ея слояхъ или въ извѣстныхъ представителяхъ, когда при томъ авторъ, по особенностямъ своего дарованія, надѣленъ необычайной способностью схватывать

самыя выразительныя и поразительныя черты этой истерики и передавать ихъ съ аналитической точностью научнаго наблюдателя и съ горячностью и съ живостью художника, — при такихъ условіяхъ эта претящая формальнымъ либераламъ истерика является очень поучительною и даже освѣщающей нѣкоторые скрытые источники „человѣческой комедіи“, называемой жизнью. Въ послѣднемъ произведеніи г. Достоевскаго оба помянутые элемента связаны органически съ тѣми фигурами и съ тѣми мотивами романа, которые составляютъ основу его общаго замысла и дѣйствія.

Для выясненія этого „общаго замысла“, связаннаго съ міровоззрѣніемъ самого автора, критикъ просматриваетъ „замѣчательныя страницы“ „житія Зосимы“ и выводитъ изъ нихъ такое заключеніе о томъ субъективномъ свѣтѣ, которымъ освѣщаетъ Достоевскій русскую жизнь: „Разумѣется, всѣ эти „поученія“ проникнуты извѣстной исключительностію и мистицизмомъ, приличными тому лицу, устами котораго авторъ излагаетъ ихъ въ своемъ романѣ. Но тѣмъ не менѣе они глубоко захватываютъ своей искренностію и своей своевременностію: въ формѣ поученій умирающаго старца авторъ затрогиваетъ въ сущности такія струны злобы дня, которыя должны чутко отозваться въ сердцѣ каждаго, кто живетъ этою тревожною злобой, для кого она невольно сдѣлалась предметомъ неустанныхъ думъ. И вотъ въ этомъ-то затрогиваніи самыхъ жгучихъ современныхъ вопросовъ, хотя бы и подъ мистической формой и въ своеобразномъ до болѣзненности направленіи — въ этомъ-то искреннемъ и участливомъ затрогиваніи и заключается сила г. Достоевскаго, привлекающая къ нему симпатіи читателей самыхъ разнообразныхъ толковъ. Романъ „Братья Карамазовы“, несмотря на многіе недостатки какъ въ цѣломъ, такъ и въ частности, несмотря на исключительно патологическую сущность его героевъ, несмотря на вторженіе въ него различныхъ длинныхъ авторскихъ разсужденій, излагаемыхъ устами дѣйствующихъ лицъ романа, несмотря на нѣкоторый, такъ сказать, исключительный колоритъ многихъ его страницъ, всетаки непреодолимо увлекаетъ читателей глубокимъ интересомъ и, безъ

сомнѣнія, въ нашей литературѣ является однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ произведеній. Великій своеобразный талантъ автора „Преступленія и наказанія“ въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“ блещетъ по временамъ всею своею мощью, и его „проникновенный“ умъ бросаетъ яркій и всегда неожиданный свѣтъ на многія, скрытыя отъ другихъ наблюдателей-художниковъ, стороны русской души и русской жизни <sup>(1)</sup>).

Съ окончаніемъ восьмой книги романа В. П. Буренинъ, защищая Достоевскаго противъ обвиненія въ непониманіи „лучшихъ стремленій русскаго общества“, еще разъ указалъ на то, что „Достоевскій въ своемъ произведеніи глубоко затрогиваетъ самыя жгучія „злобы“ русской дѣйствительности“ и по глубинѣ и свѣжести истолкованія русской жизни „окажется въ десять разъ современнѣе самыхъ современнѣйшихъ повѣстей, романовъ, драмъ и комедій, пшедшихъ изъ-подъ пера беллетристическихъ кропателей нашихъ дней“, хотя самъ онъ далекъ отъ всякихъ претензій на „самую либеральную современность идей и характеровъ“. При этомъ критикъ всецѣло примыкаетъ къ пониманію основной идеи романа, высказанному Е. Л. Марковымъ <sup>2)</sup>, именно какъ идеи „любви къ человѣчеству, теплаго и даже страстнаго отношенія къ святынямъ его“...<sup>3)</sup> Тщательно оберегая цѣлостность и ясность этой величавой идеи романа отъ превратныхъ толкованій, В. П. Буренинъ въ этомъ отношеніи ставилъ даже въ упрекъ Достоевскому излишнее „запутываніе драмы“ и излишнее же злоупотребленіе „читательскими нервами“, такъ какъ эти авторскіе приемы, усиливая впечатлѣніе разсказа въ средѣ читателей, въ то же время заставляютъ самого автора впадать

<sup>1)</sup> „Новое Время“ 1879, № 1273. Литературные очерки. Шестая книга „Братьевъ Карамазовыхъ“ — Пѣчто о „лампадномъ маслѣ“ и „психіатрически-мистической истерикѣ“ въ произведеніяхъ г. Достоевскаго. — Страницы изъ „жизніа“ русскаго инока Зосимы. В. Буренинъ.

<sup>2)</sup> „Русская Рѣчь“ 1879, № 12. Критическія бесѣды...

<sup>3)</sup> „Новое Время“ 1879, № 1357. Литературные очерки. — Последнія главы романа г. Достоевскаго „Братья Карамазовы“. — Мнѣніе одного критика о талантѣ, умѣ и романѣ г. Достоевскаго. — Современные произведенія съ современными идеями. — Мнѣніе г. Евгенія Маркова о „Братьяхъ Карамазовыхъ“. В. Буренинъ.

„въ фальшивое настроеніе“ и утрачивать „истинную горячность вдохновенія“ <sup>1)</sup>).

Съ появленіемъ цитированной выше статьи М. А. Антоновича, В. П. Буренинъ еще разъ выступилъ въ защиту романа „Братья Карамазовы“ и его высокой идеи, что случилось уже послѣ смерти Достоевскаго. Въ своемъ отзывѣ на выпады Антоновича онъ перебралъ всѣ наиболѣе рѣзкія обвиненія, направленные противъ Достоевскаго и его романа, и цѣликомъ отнесъ ихъ на счетъ „семинарщины“ этого критика „добролюбовской школы“. „Въ критическомъ отдѣлѣ „Новаго Обозрѣнія“ — говоритъ В. П. Буренинъ — подвизается г. Антоновичъ. Подвизается онъ надъ „Братьями Карамазовыми“ Достоевскаго и, конечно, „разносить“ знаменитый романъ. Разносить г. Антоновичъ романъ, конечно, все съ тѣмъ же семинарскимъ апломбомъ и съ тѣми же излюбленными приемами и подходами, съ какими когда-то онъ „разносилъ“ (но, увы! не разнесъ) „Отцовъ и Дѣтей“ Тургенева. Тутъ и обычное напominаніе о литературной критикѣ „добролюбовской школы“, подъ каковою критикой г. Антоновичъ разумѣетъ, вѣроятно, себя самого и разумѣетъ совершенно напрасно, ибо онъ не имѣетъ главныхъ качествъ Добролюбова — критическаго вкуса и сосредоточенной мысли, ибо г. Антоновичъ только семинарскій разноситель и журнальный казуистъ, а отнюдь не критикъ. Тутъ и обычное поставленіе въ вину Достоевскому, что его тенденціи обратились въ сторону „Русскаго Вѣстника“ и что покойный будто бы былъ „дѣятельнымъ сотрудникомъ“ „Гражданина“, хотя все его дѣятельное сотрудничество на самомъ дѣлѣ ограничивалось помѣщеніемъ первыхъ главъ его „Дневника“ въ нѣсколькихъ номерахъ органа князя Мещерскаго. Тутъ и обычное приписываніе Достоевскому узкаго ретроградства и даже обскурантизма, приравниваніе его къ Бурачку и Аскоченскому, къ которому, какъ извѣстно, г. Антоновичъ приравнялъ нѣкогда и Турге-

<sup>1)</sup> „Новое Время“ 1880, № 1603. Литературные очерки. „Дневникъ Писателя“ О. М. Достоевскаго. — Отзывы автора о либералахъ. — Защита народа. — Кой-что о міровой скорби, пытавшейся на крѣпостной трудъ. — Что вызовутъ слова г. Достоевскаго о „скитальцахъ“? — Новыя главы романа „Братья Карамазовы“. — Игра на нервахъ читателей. В. Буренинъ. Стр. 2.

нева за „Отцовъ и Дѣтей“, чѣмъ и получилъ себѣ вѣчную славу, приобрѣлъ себѣ репутацію извѣстнаго критика „добролюбовской школы“, а Тургенева бѣднаго навсегда низвелъ съ пьедестала крупнаго художника. И всѣ эти приемы и подходы къ разнесенію писателя и мыслителя, у котораго г. Антоновичъ недостойнъ развязать ремень сапога, производятся съ такою же развязностью, какъ и въ дни оны, когда нашъ критикъ считалъ себя великимъ нѣчто въ „Современникѣ“, преемникомъ автора „Очерковъ гоголевскаго періода литературы“, хотя на самомъ дѣлѣ былъ только самолюбивымъ и беззастѣнчивымъ семинаристомъ, какимъ является и теперь. Но, увы, что прежде въ глазахъ разныхъ добродушныхъ читателей могло казаться „смѣлой отрицательной критикой“, то въ теперешнее время кажется просто нѣкоторою наглою и грубой семинарщиной... Семинарщина съ ея грубымъ и угловатымъ самомнѣніемъ, съ ея казуистическимъ повальнымъ отрицаніемъ, съ ея отсутствіемъ эстетическаго вкуса и чувства, съ ея неуваженіемъ къ высшимъ и оригинальнѣйшимъ представителямъ національнаго искусства, съ ея холопскимъ лукавствомъ, съ ея книжно-теоретическою, бездушною узостью взглядовъ на жизнь и на общественное развитіе, съ ея излюбленными героями, въ родѣ гг. Антоновичей и Елисеєвыхъ, — эта семинарщина спѣла уже давно свою пѣсню до конца. Одно время эта пѣсня раздавалась довольно громко, и ея птицы порхали и въ обществѣ и въ литературѣ очень развязно, даже сажались не только на плечи, но, такъ сказать, на носъ обществу и литературѣ. Но время это прошло невозвратно. Это для всѣхъ ясно и только, кажется, одинъ г. Антоновичъ этого не примѣчаетъ и все думаетъ, что такая, какъ онъ, птица можетъ гнѣздиться все такъ же свободно, какъ нѣкогда гнѣздилась она на семинарскихъ партахъ“...<sup>1)</sup>

Одновременно съ только что цитированной статьей В. П. Буренина выпады Антоновича противъ Достоевскаго встрѣтили энергичное возраженіе по отдѣльнымъ обвинитель-

---

<sup>1)</sup> „Новое Время“ 1881, № 1843. Литературные очерки... Г. Антоновичъ, „разносящій“ романъ Достоевскаго. — Нѣчто о семинарищѣ. — Семинаристъ Ракитинъ и ракитинскія черты въ г. Антоновичѣ... В. Буренинъ. Стр. 2-3.

нымъ пунктамъ, предъявленнымъ роману „Братья Карамазовы“, въ статьѣ Л. Е. Оболенскаго<sup>1)</sup>). Исходя изъ допущеннаго Антоновичемъ тенденціознаго отождествленія Тургенева и Достоевскаго съ Аскоченскимъ, г. Оболенскій заключаетъ, что критическіе приемы Антоновича принадлежатъ къ области той критики, „которая только сплится, до еще съ натяжками, обобщать, но не умѣетъ совсѣмъ различать“... Г. Антоновичъ—говоритъ Оболенскій—„не только не попытался отграничить народническаго направленія Достоевскаго отъ направленій съ нимъ смежныхъ, а именно славянофильскихъ, мистическихъ и др., онъ, напротивъ, смѣшалъ въ одну амальгаму идеи старца Зосимы, затѣмъ—діаметрально противоположныя идеямъ Зосимы—ученія тайнаго инквизитора, затѣмъ невинныя фантазмагоріи о. Терапонта и Дмитрія Карамазова,—приплелъ къ этому Аскоченскаго, Бурачка, Пашкова, Редстока, ученія католическаго іезуитизма и еще какихъ-то неизвѣстныхъ фанатиковъ, аскетовъ, быть можетъ, лично извѣстныхъ самому г. Антоновичу, и всю эту амальгаму, подъ именемъ аскетическаго фанатизма, приписалъ Достоевскому: вѣдь, это—, молъ, все одна шайка!“

Понимая, въ свою очередь, подъ „идеями старца Зосимы“ „олицетвореніе нашей простонародной религіи въ ея идеалѣ“, Л. Е. Оболенскій, путемъ сопоставленія „Братьевъ Карамазовыхъ“ съ „Дневникомъ Писателя“, доказываетъ, что Достоевскій вовсе не вооружается противъ „мірскаго просвѣщенія“, потому что считаетъ науку „страшно нужной“ для народа, но лишь отстаиваетъ „народную религіозность“, какъ необходимую нравственную основу русскаго и вмѣстѣ съ тѣмъ общечеловѣческаго прогресса: „Не науку и не ея заимствование съ запада отрицалъ Достоевскій,... а отрицалъ онъ заимствование западныхъ соціальныхъ инстинктовъ, или, какъ онъ выразился, „механическаго коммунизма“, тогда какъ у насъ есть свой русскій инстинктъ „соціальности“, гораздо высшій,

<sup>1)</sup> „Мысль“ 1881, № 4. Г. Антоновичъ о „Братьяхъ Карамазовыхъ“ и о О. М. Достоевскомъ (Литературная замѣтка). Л. О. Стр. 104—119. Критическій анализъ романа „Братья Карамазовы“ сдѣланъ былъ тѣмъ же критикомъ нѣсколько раньше — „Мысль“ 1881, № 2, стр. 229—260.

не механическій, а сердечный, лежащій въ чувствѣ братской любви, во имя Христа, ко всѣмъ людямъ, ко всѣмъ націямъ, ко всѣмъ народамъ, безъ различія. Вотъ что Достоевскій понималъ подъ народной религіозностью, выстраданной вѣками исторіи, вотъ что онъ понималъ подъ словами „народъ принялъ въ свою душу Христа“ и въ этомъ смыслѣ „просвѣщенъ“. Мы понимаемъ, что противъ этого можно спорить, это можно отрицать, можно не признавать въ нашемъ народѣ никакихъ такихъ „общечеловѣческихъ“ инстинктовъ и стремленій къ „всебратскому единенію“ во имя Христа, но спорить противъ этого и не понимать этого—двѣ вещи разныя. Г. Антоновичъ абсолютно не понимаетъ того, что говорилъ Достоевскій. Онъ вообразилъ, что Достоевскій считаетъ нашъ народъ самымъ религіознымъ и потому не нуждающимся въ западной наукѣ, тогда какъ Достоевскій говорилъ совсѣмъ обратное. Вопросъ идетъ о социальномъ принципѣ и нравственномъ инстинктѣ, облакающемъ для нашего народа въ форму общечеловѣческой любви, ради Христа, а въ Европѣ въ форму механическаго начала коммунизма чисто формальнаго, безъ сердечныхъ побужденій любви и внутренняго стремленія къ единенію. Этого-то не хотятъ понять“.

Такимъ образомъ г. Оболенскій рѣшительно отвергаетъ то тенденціозное пониманіе идеи романа „Братья Карамазовы“, которое навязываетъ Достоевскому Антоновичъ: „Разъ смѣшавши идеи Достоевскаго съ идеями тайнаго инквизитора и Дмитрія Карамазова, т. е. съ идеями западно-европейскаго и нашего доморощеннаго аскетизма, г. Антоновичъ приписываетъ роману такую идею: „Пребываніе въ мірѣ благопріятствуетъ грѣховности, а удаленіе въ пустыню отъ міра благопріятствуетъ благочестію. Міръ и пустыня или обитель это два полюса, двѣ противоположности, это тьма и свѣтъ. Посмотрите, какую трогательную, симпатичную и умиротворяющую картину представляетъ обитель въ сравненіи съ міромъ: тамъ цѣломудріе, дѣвственность, нестяжательность, духовные высшіе интересы, вѣра; здѣсь же сладострастіе, блудъ, своекорыстіе, сребролюбіе, грубые матеріальные интересы и безвѣріе“.

Наоборотъ, въ пониманіи Л. Е. Оболенскаго субъективная сторона романа принимаетъ совершенно иное освѣщеніе: „Идеаль Достоевскаго, сознательно или бессознательно, есть идеаль всякаго живого человѣка; это и есть тотъ „образъ Христа“, который живетъ въ душѣ даже того, кто считаетъ себя врагомъ христіанства. Подумайте: развѣ не это—завѣтная вѣра каждаго? Развѣ осуществленіе въ общественныхъ отношеніяхъ по однимъ „альтруизма“, по другимъ „правды“, по третьимъ „христіанской любви“ и пр. не есть идеаль всѣхъ лучшихъ людей и религій, и наукъ, и философіи? Это ужъ не есть конституціонный договоръ, поддерживаемый силой, это не есть государство, основанное на формальномъ правѣ, которое требуетъ для своей защиты физической силы штыковъ и пушекъ. Это есть свободный союзъ сердецъ одинаково любящихъ. Да, это утопія, это идеаль, но вы же, господа, имѣете свои идеалы и утопіи, позвольте ихъ имѣть и Достоевскому, и попробуйте-ка доказать, что ваши утопіи и идеалы выше, чище, человѣчнѣе! Но для этого, конечно, прежде всего не искажайте чужихъ, не смѣшивайте ихъ съ идеалами Бурачка и Асоченскаго“.

Въ увлеченіи полемикой съ М. А. Антоновичемъ и другими противниками „мистицизма“ Достоевскаго, ни В. П. Буренинъ, ни Л. Е. Оболенскій не выработали однако болѣе или менѣе опредѣленной формулы для основной идеи романа „Братья Карамазовы“, ограничившись лишь общимъ ея разъясненіемъ или описаніемъ. Но попытки краткаго или пространнаго изложенія субъективныхъ воззрѣній Достоевскаго на основаніи содержанія его романа были, во всякомъ случаѣ, сдѣланы,—какъ въ крупныхъ журналахъ, такъ и въ мелкой, особенно провинціальной, прессѣ, нерѣдко восторженно относившейся къ идеалу Достоевскаго. Разсматривая эти попытки въ хронологическомъ порядкѣ, можно указать нѣсколько примѣровъ ихъ уже въ 1879 году. Такъ, „Газета А. Гатцука“ видитъ главный интересъ романа въ тяготѣніи Алексѣя Карамазова къ монастырской жизни<sup>1)</sup>;

<sup>1)</sup> „Газета А. Гатцука“ 1879, № 8. Критика и библиографія. Русскій Вѣстникъ. Стр. 126.



„Кронштадтскій Вѣстникъ“ цѣнитъ романъ Достоевскаго за „свободу и правду“ субъективныхъ взглядовъ автора<sup>1)</sup>; „Правда“ находитъ въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“ „чудовищно-прекрасный душевный и нравственный апокалипсисъ цѣлаго общества, цѣлаго народа“<sup>2)</sup>; Е. Л. Марковъ формулируетъ идею романа какъ „струю любви къ человѣчеству“, какъ „теплое и даже страстное отношеніе къ нравственному святынямъ его“<sup>3)</sup>. Въ 1880 году „Саратовскій Дневникъ“ сущность художественнаго цѣлаго въ романѣ „Братья Карамазовы“ понимаетъ какъ изображеніе на фонѣ отрицательной дѣйствительности высокаго нравственного идеала, напр. въ лицѣ старца Зосимы<sup>4)</sup>; „Кіевлянинъ“ въ основу романа кладетъ славянофильскія воззрѣнія Достоевскаго на высокую миссію русской народности, какъ благовѣстительницы „новаго слова“<sup>5)</sup>. Въ 1881 году А. Кояловичъ основную цѣль романа Достоевскаго видитъ въ томъ, чтобы „изобразить современную жизнь молодежи, художественными образами просвѣтить сознание русскаго молодого общества“<sup>6)</sup>.

Среди этихъ попытокъ выработать извѣстную формулу для обозначенія сущности субъективныхъ воззрѣній Достоевскаго по роману „Братья Карамазовы“ особеннаго вниманія заслуживаетъ помѣщенная въ „Руси“ 1880 года статья Ип. Павлова, въ которой критикъ даетъ не только краткую формулировку „главной темы“ романа, но и ея довольно подробное развитіе и разъясненіе.

Исходя изъ того впечатлѣнія, что романъ „Братья Карамазовы“ въ чтеніи представляется нѣкоторою смѣсью дѣйствительности съ міромъ фантазіи, критикъ видитъ сущность романа въ изображеніи не „внѣшней“, а „внутренней истины“. Этой „внутренней истины“ авторъ достигаетъ, по мнѣнію г. Павлова, выдержанностью характеровъ или, лучше сказать, нѣкоторыхъ характерныхъ явленій человѣческой

<sup>1)</sup> „Кронштадтскій Вѣстникъ“ 1879, № 25. „Братья Карамазовы“. Нѣкто изъ толпы. Стр. 1.

<sup>2)</sup> „Правда“ 1879, № 125. Журнальные очерки... С. Сычевскій. Стр. 2.

<sup>3)</sup> „Русская Рѣчь“ 1879, № 12. Критическія бесѣды...

<sup>4)</sup> „Саратовскій Дневникъ“ 1880, № 251. Журнальное обозрѣніе. Х. Стр. 1.

<sup>5)</sup> „Кіевлянинъ“ 1880, № 258. Среди журналовъ. Е. К. Стр. 2.

<sup>6)</sup> „Новое Время“ 1881, № 1861. „Братья Карамазовы“...

психики, олицетворенныхъ въ томъ или другомъ лицѣ романа: „...Характеры (въ романѣ) — говоритъ критикъ — не представляютъ цѣльнаго человѣческаго образа, а только отдѣльныя черты его. Это отвлеченія, качества и недостатки, воплощенные въ разныхъ лицахъ. Слостолюбіе — Ѳеодоръ Павловичъ Карамазовъ, эгоизмъ — Иванъ Ѳеодоровичъ, разнузданность — Дмитрій, нравственная чистота — Алеша, религіозное смиреніе — отецъ Зосима, свѣтская суетность — г-жа Хохлакова, самолюбіе — Катерина Ивановна, порывистость въ добрѣ и злѣ — Грушенька. Отъ этого, при всемъ разнообразіи представленныхъ характеровъ, каждое лицо, имѣющее выразить извѣстное качество, является поразительно вѣрнымъ само себѣ, но и однообразнымъ. Это какъ бы лица аллегорическія, разыгрывающія мистерію, какъ въ средніе вѣка. Но могучій талантъ вдохнулъ жизнь въ эти аллегоріи, обширный умъ придалъ этой мистеріи глубокое значеніе, захватывающій интересъ“.

Интересъ этой „мистеріи“ зависитъ главнымъ образомъ отъ субъективнаго ея освѣщенія или отъ главной темы романа, которая представляется критику въ слѣдующемъ видѣ: „Главная тема, непрерывно видоизмѣняющаяся во множествѣ разнообразныхъ варіацій, — противопоставленіе жизни внутренней, духовной и жизни внѣшней, матеріальной, правды Божіей и правды мірской. Всего яснѣе выражается она въ словахъ старца Зосимы: „Посмотрите у мірскихъ и во всемъ, превозносящемся надъ народомъ Божіимъ, мірѣ, не искажился ли въ немъ ликъ Божій и правда его?..“ (Цитируется поученіе старца Зосимы: „Нѣчто объ инокѣ русскомъ и о возможномъ значеніи его“, — „Бр. Карам.“, часть вторая, книга шестая, III)... Міру противопоставляется монастырь. Въ мірѣ безвѣріе, разъединеніе, страданіе, въ монастырѣ вѣра, братская любовь и свѣтлая радость, по крайней мѣрѣ, вокругъ старца Зосимы. По срединѣ, между тою и другою сферою, стоитъ Дмитрій Карамазовъ, одной стороною своего существа погрязшій въ похотяхъ и грѣхахъ, другою стремящійся къ правдѣ и высотѣ духовной: натура способная вмѣщать всевозможныя противоположности и разомъ созерцать обѣ бездны:

бездну надъ собою, бездну высшихъ идеаловъ, и бездну подъ собою, бездну самага низшаго и зловоннаго паденія. Натура „разнузданная, безудержная, которой ощущеніе низости паденія такъ же необходимо, какъ и ощущеніе высшаго благо-родства... Двѣ бездны въ одинъ и тотъ же моментъ, безъ того онъ несчастенъ и не удовлетворенъ, существованіе его не полно“. Въ этомъ трагическомъ лицѣ, воплощающемъ собою борьбу добраго и злого начала, а не въ Алешѣ, проходящемъ передъ нами привлекательною, но блѣдною тѣнью, видимъ мы настоящаго героя романа. Здѣсь раскрывается намъ смыслъ мистеріи, выраженный взятыми въ эпитафій словами Евангелія: „Истинно, истинно говорю вамъ: если пшеничное зерно, падши въ землю, не умретъ, то останется одно, а если умретъ, то принесетъ много плода“. Это возрожденіе черезъ смерть, это очищеніе страданіемъ совершается въ душѣ Дмитрія Карамазова. Внѣшняя гибель приведетъ его къ спасенію. Незаслуженный приговоръ суда внутренне справедливъ, нравственно необходимъ, прежде всего для самого подсудимаго. Дмитрій не убилъ отца, но онъ готовъ былъ убить его. „Должно быть мать замолила за него“ въ послѣднюю роковую минуту. Судъ человѣческій ошибся, но черезъ него правда Божія карала цѣлую грѣховную жизнь, карала по любви къ грѣшнику, ради искупленія его. Дмитрій, оправданный, сдѣлался бы опять Карамазовымъ, Дмитрій, осужденный, станетъ новымъ человѣкомъ“...

„Достойнѣ тему--продолжаетъ критикъ—едва ли можетъ выбрать художникъ, едва ли можетъ глубже понять ее. Показать, какъ, прилѣпляясь ко внѣшнему міру, гоняясь за внѣшними благами и наслажденіями, человѣкъ теряетъ самого себя, теряетъ и Бога; какъ напрасно ищетъ онъ его философскими умозрѣніями; какъ страданіе заставляетъ человѣка войти въ себя, а, войдя въ себя, въ глубинѣ души своей онъ Бога находитъ, не умомъ, а чувствомъ познаетъ несомнѣнно, и, придя къ вѣрѣ, тѣмъ самымъ приходитъ къ добру и радости; раскрыть передъ нами „обѣ бездны“: глубину отпавшаго отъ Бога порока и высоту святой добродѣтели—такая задача, которую поставить себѣ есть уже заслуга, выполнить же кото-

рую можетъ быть не подѣ силу даже великому дарованію. Въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“ она выполнена лишь на половину. Мы видимъ страданіе и гибель, спасеніе же и радость только предугадываемъ. Порокъ, „бездна зловоннаго паденія“, представляется намъ съ потрясающей, возмутительною яркостью и мѣстами съ истиннымъ зловоніемъ. Безпощадно оставливаетъ насъ авторъ передъ наготою грязнаго разврата, неумолимо, шагъ за шагомъ, ведетъ по „тайному слѣду“ его, съ мастерствомъ искуснаго анатома вскрываетъ передъ нами зараженные тѣла и обнаруживаетъ всѣ ихъ испорченныя внутренности. Нестерпимое, едва не до тошноты доходящее отвращеніе овладѣваетъ читателемъ. Пусть было бы такъ, если бы только это мучительное чувство изглаживалось, искупалось противоположнымъ, отраднымъ, возвышающимъ впечатлѣніемъ, взглядомъ въ „другую бездну“. Но „высшіе идеалы“ выходятъ тусклы и блѣдны въ сравненіи съ картинами порока и разврата. Послѣ карамазовщины мы хотимъ не такой только святости, которая преклоняется до земли передъ страданіемъ грѣха, чувствуетъ себя всегда и во всемъ передъ всѣми виноватою, проситъ прощенія „даже у птичекъ“, не такой только добродѣтели, которой вѣнецъ есть отреченіе, удаленіе отъ міра. Насъ не утѣшаетъ, не удовлетворяетъ, что каторжники въ рудникахъ срѣтять Бога подѣ землей, если Его изгонять съ земли. Мы хотимъ видѣть воочию, что ни самонадѣянное умствованіе, ни разнузданный порокъ не могутъ изгнать Бога съ земли, какъ не могутъ помѣшать солнцу свѣтить... Добродѣтель непрестанно себя оберегающая, за собою слѣдящая, нуждающаяся въ тщательномъ ежеминутномъ уходѣ, представляется намъ точно также болѣзненной, какъ и развратъ, искажающій, разрушающій человѣка. Гдѣ же здоровье? Напрасно мы ищемъ его въ романѣ Ф. М. Достоевскаго. Мы видимъ только патологическія явленія. Если бы задуманный трудъ былъ выполненъ до конца, если бы рядомъ съ темною, отрицательною стороною жизни авторъ съ такимъ же талантомъ, съ такою же пагубностью, изобразилъ намъ ея свѣтлую, положительную сторону, рядомъ со слабостью и скорбію дѣятельную силу и радость, если бы онъ дѣйстви-

тельно раскрылъ передъ нами „объ бездны“—онъ создалъ бы поистинѣ великое художественное произведеніе“ <sup>1)</sup>...

Извѣстное недовольство даже въ средѣ сочувствующей Достоевскому критики тѣмъ, что „свѣтлая, положительная сторона“ жизни осталась въ романѣ „Братья Карамазовы“ блѣдною и какъ бы не совсѣмъ дописанною, въ одномъ только случаѣ не имѣло мѣста, именно когда дѣло касалось церковно-религіозныхъ вопросовъ, затронутыхъ въ романѣ. Въ соотвѣтствующей группѣ періодическихъ изданій критика съ большимъ удовлетвореніемъ отмѣтила рѣшеніе Достоевскимъ вопроса о взаимоотношеніи церкви и государства.

„Идеаль, рисуемый г. Достоевскимъ—читаемъ въ „Православномъ Обзорѣнн“ за 1880 г.—, касается общихъ формъ государственной и общественной жизни, и потому прежде всего затрогиваетъ вопросъ объ отношеніи между собою церкви и государства... По его представленію государство преобразуется въ церковь вслѣдствіе своего духовнаго перерожденія, одухотворенія своихъ формъ жизни и сообщенія имъ нравственнаго характера, свойственнаго церковному управленію. Въ этомъ случаѣ орудіями власти могутъ быть и свѣтскія лица, но только выполнѣ проникнутыя въ отправленіи своихъ обязанностей духомъ Христовымъ и, слѣдовательно, выполнѣ подчиненныя институту, руководимому этимъ духомъ. Ясно, что такое подчиненіе не заключаетъ въ себѣ ничего принудительнаго, но всецѣло основано на нравственныхъ требованіяхъ внутренняго закона совѣсти... Итакъ, по мнѣнію г. Достоевскаго, вопросъ объ отношеніи церкви къ государству разрѣшается въ томъ смыслѣ, что государство въ процессѣ своего развитія, хотя бы даже въ очень и очень отдаленномъ будущемъ, должно будетъ переродиться въ церковь и усвоить ея духъ и направленіе“. Этотъ „идеаль будущаго“ самъ Достоевскій считаетъ выполнѣ возможнымъ: онъ „твердо вѣрить въ возможность исполненія этого идеала, хотя въ то же время онъ не закрываетъ глазъ предъ неприглядною дѣйствительностію настоящаго времени и яркими

<sup>1)</sup> „Русь“ 1880, № 3. Критика и бібліографія. „Братья Карамазовы“. Романъ О. М. Достоевскаго. Иполитъ Павловъ. Стр. 17—19.

красками рисуешь всё муки и страдания современнаго чело-  
вѣчества, его безплодныя исканія счастья и свободы“...

Для того, чтобы этотъ идеаль осуществить хотя бы въ  
отдаленномъ будущемъ, нужны самоотверженные работники  
на попримѣ правственнаго перерожденія челоуѣческаго об-  
щества. „Но гдѣ же искать этихъ кроткихъ и смиренныхъ,  
этихъ пока одинокихъ носителей идеи, имѣющей поставить  
заблудшее челоуѣчество на нормальный путь счастья и добра  
и такимъ образомъ нравственно переродить его? Въ этомъ  
вопросѣ мы встрѣчаемся съ воззрѣніемъ г. Достоевскаго,  
которое онъ раздѣляетъ вмѣстѣ съ славянофилами и которое  
онъ высказалъ еще такъ недавно публично въ качествѣ  
оратора на народномъ праздникѣ въ честь Пушкина,—съ  
тѣмъ воззрѣніемъ, что насадить эту духовно-нравственную  
цивилизацию среди всѣхъ другихъ народовъ предназначено  
не иному кому, какъ народу русскому... У г. Достоевскаго  
мы находимъ еще болѣе точное и опредѣленное указаніе,  
гдѣ нужно искать и въ русскомъ народѣ этихъ кроткихъ и  
смиренныхъ, имѣющихъ быть провозвѣстниками великихъ  
идей, отъ которыхъ произойдетъ спасеніе міру... Есть въ  
русской землѣ отдѣльный мірокъ, котораго еще не коснулся  
тлетворный духъ современной цивилизаціи: здѣсь и можно  
найти живыхъ носителей образа Христа, устрояющихъ свою  
жизнь на началахъ евангельской простоты и духовнаго брат-  
ства. Это — русскій монастырь и его обитатели,—сюда-то и  
направлены всѣ чаянія и надежды нашего автора. Насколько  
мы понимаемъ, онъ держится того взгляда, что русская  
монастырская жизнь есть явленіе чисто-народное и тѣсно  
связана съ историческими судьбами Россіи. Она не есть  
абсолютное отреченіе и удаленіе отъ общественной жизни;  
напротивъ, въ години народныхъ бѣдствій изъ монастыря  
выходили дѣятели, являвшіеся въ собственномъ смыслѣ  
героями и борцами за національную идею. Не разъ такимъ  
образомъ монастырь сослужилъ добрую службу народу и госу-  
дарству, и г. Достоевскій твердо увѣренъ, что ему предназна-  
чена и въ будущемъ великая роль въ жизни народной“...<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> „Православное Обозрѣніе“ 1880, т. III, № 9. Идеалы будущаго, набросан-  
ные въ романѣ „Братья Карамазовы“. С. Л. Стр. 33, 40, 47, 50—1, 53, 56.

„Идеаль будущаго“, понимаемый въ смыслѣ нравственнаго совершенствованія въ духѣ самоотверженной христіанской любви, долженъ привести (такъ именно толкуетъ критикъ „Православнаго Обзорѣнія“ взгляды Достоевскаго)—въ конечномъ своемъ торжествѣ—не только къ „духовному перерожденію“ русскаго государства и общества, но и къ братскому единенію людей на почвѣ „истиннаго христіанства“: „Что человѣчество въ процессѣ своего развитія, послѣ долгихъ безплодныхъ исканій истиннаго счастія путемъ преслѣдованія узко-эгоистическихъ цѣлей, пойметъ наконецъ, что искомый иксъ заключается въ безкорыстїи самоотверженной свободной любви,—этотъ взглядъ имѣетъ за себя всѣ основанія въ духѣ истиннаго христіанства“. На этой именно почвѣ, въ частности, могутъ установиться идеальныя отношенія православія къ католицизму, долженствующія окончиться побѣдою перваго. Этотъ вопросъ, по мнѣнію критика, и рѣшается Достоевскимъ черезъ посредство Ивана Карамазова: „Намъ думается, что г. Достоевскій устами Ивана Федоровича хотѣлъ... показать, каковы должны быть отношенія православныхъ къ католикамъ. Всѣ горячіе споры, ученые обширныя изслѣдованія, раскрывающія подробно ложь и заблужденія католическаго ученія, тогда только увѣнчаются желаемымъ успѣхомъ, когда они будутъ подкрѣпляться силою дѣятельной любви. Сами же по себѣ эти споры и изслѣдованія—мѣдъ звенящая и кимваль бряцающій, такъ какъ составители и творцы системы католицизма сами яснѣе всякихъ оппонентовъ понимаютъ всю его ложь и заблужденія. Католикамъ нужно доказать, что и слабый и немощный человѣкъ способенъ къ обнаруженію свободной вѣры и любви, что Христосъ не требовалъ отъ него чего-либо непосильнаго, а доказать это можно не горячею полемикой, а практическимъ путемъ дѣятельной любви и братскихъ отношеній къ противникамъ; потому что любовь есть такая могучая сила, предъ которою безсильно самое злое упорство. Тогда только православіе въ лицѣ своихъ сыновъ побѣдитъ такихъ хитроумныхъ, зараженныхъ идеей ложнаго человѣколюбія стариковъ, которые, по мысли романа, составляютъ невидимую, но могучую силу католицизма. Вотъ какой

смыслъ, по нашему мнѣнію, имѣеть въ поэмѣ молодого Карамазова послѣдній поцѣлуй Божественнаго Узника, которымъ. Онъ отвѣтилъ на замысловатую рѣчь инквизитора“<sup>1)</sup>.

Подобная же оцѣнка „церковно-религіозныхъ вопросовъ“, поднятыхъ въ романѣ „Братья Карамазовы“, сдѣлана была въ слѣдующемъ, 1881-мъ, году А. Кирилловымъ въ „Донскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ“. Считаая „напраснымъ трудомъ“ искать въ соответствующихъ главахъ романа „опредѣленнаго религіозно-нравственнаго міровоззрѣнія старца, или вѣрнѣе самого почтеннаго автора“, г. Кирилловъ тѣмъ не менѣе „одно“ считаетъ „яснымъ“: „Достоуважаемый авторъ устами старца провозглашаетъ во всеуслышаніе, что принципомъ всей дѣятельности человѣка должно быть личное самоусовершенствованіе, слѣдованіе его духу Христовой религіи, или иначе: все обнимающая и все улаждающая любовь христіанская; отличительное свойство его должно быть „любовное смиреніе“, эта „страшная сила, изъ всѣхъ сильнѣйшая, подобной которой и нѣтъ ничего...“ „Нашъ знаменитый романистъ — продолжаетъ критикъ — является замѣчательнымъ феноменомъ по своимъ православно-христіанскимъ воззрѣніямъ, по своему глубокому уваженію къ русскому народу, по своей вѣрѣ въ него, въ его нравственную мощь; его произведенія всегда отличаются нравственной тенденціей и производятъ глубоко-нравственное впечатлѣніе... Идеалу автора предносится такое устройство гражданскаго общества, что устои его должны проникнуться христіанскими началами и нравственный евангельскій законъ стать его закономъ (глава „Буди, буди“)“...<sup>2)</sup>

Въ томъ же году критика еще разъ вернулась и къ идеалу инока, нарисованному въ романѣ Достоевскаго въ лицѣ старца Зосимы. Этой темѣ посвящена специальная статья въ „Чтеніяхъ въ Обществѣ любителей духовнаго просвѣщенія“. „Въ этомъ романѣ—читаемъ здѣсь—въ такихъ яркихъ контрастахъ представляется мірская жизнь и жизнь иноческая,

<sup>1)</sup> „Православное Обозрѣніе“ 1880, т. III, № 10. Идеалы будущаго, набросанные въ романѣ „Братья Карамазовы“. С. П. Стр. 215, 244.

<sup>2)</sup> „Донскія Епархіальныя Вѣдомости“ 1881, № 18. Церковно-религіозные вопросы, затрогиваемые въ романѣ О. М. Достоевскаго „Братья Карамазовы“. А. Кирилловъ. Стр. 685, 696—7.



воплощеніе грѣха и добродѣтели въ дѣйствующихъ лицахъ, равно какъ здѣсь же заключается и такое обиліе религіозно-нравственныхъ поученій, что въ общемъ отъ чтенія его получается гораздо сильнѣйшее и благотворнѣйшее впечатлѣніе въ читателѣ, чѣмъ отъ многихъ произведеній нашей собственно духовной литературы. Особенно же хорошо раскрывается здѣсь идеаль иноческой жизни. Строгій ревнитель древняго старчества, инокъ Зосима представленъ авторомъ въ такомъ нравственномъ величіи, при замѣчательной художественной отдѣлкѣ, что, сравнивая современное состояніе монашества съ этимъ свѣтлымъ и достойнымъ образцомъ иночества, приходится горько сожалѣть о томъ, какъ мало похожи современные намъ иноки на этотъ чистый и привлекательный образъ Зосимы“... Поэтому автору цитируемой статьи представляется весьма желательнымъ, чтобы — „въ виду того, что современною прессою поднять уже вопросъ о реформѣ монастырей“, — „было обращено болѣе или менѣе серьезное вниманіе на воззрѣнія Ѳ. Достоевскаго на монашество“... Особенно же важной представляется автору статьи защита у Достоевскаго „старческаго устава“, потому что „старческій уставъ монастырской жизни, не взирая на могущія произойти злоупотребленія, возможныя вездѣ, сохраняетъ свое полное достоинство и можетъ быть особенно полезнымъ для тѣхъ, которые, искренно возжелавъ собственнаго спасенія, искренно же и съ самоотверженіемъ избрали себѣ высокій и многотрудный путь иноческой жизни“...

Такое внимательное отношеніе къ вопросу объ иночествѣ тѣмъ болѣе важно, что конечною цѣлью монастырскаго подвига, по мнѣнію того же автора, является тотъ именно „идеаль будущаго“, къ которому сводятся всѣ „церковно-религіозные вопросы“, поднятые Достоевскимъ, — т. е. духовное перерожденіе государства въ церковь: „...И на монашествѣ, какъ и на бѣломъ духовенствѣ, лежитъ одна и та же обязанность, именно, какъ можно болѣе способствовать тому, чтобы мірское государство стало церковію. Разница между ними заключается только въ употребленіи различныхъ способовъ и средствъ для достиженія этой цѣли. Тогда какъ иноки обязаны быть образ-

цовыми хранителями и образцовыми устроителями братской и подвижнической жизни въ своей средѣ, такъ чтобы ихъ братская жизнь представлялась святымъ идеаломъ и живымъ примѣромъ людямъ мірскимъ, бѣлое духовенство призвано къ непосредственной борьбѣ съ міромъ, къ служенію на пользу церкви въ самомъ мірѣ, къ открытой проповѣди людямъ и непосредственному руководству ими“ <sup>1)</sup>).

Обозрѣвая паралельно съ содержаніемъ романа „Братья Карамазовы“ и его художественную форму, критика на первыхъ порахъ указывала тѣ же достоинства и недостатки литературной манеры Достоевскаго, о которыхъ не разъ уже поднимался вопросъ по поводу и его болѣе раннихъ произведеній. „...Общія свойства—читаемъ въ „Современности“ 1879 года—таланта Достоевскаго: блескъ дарованія, тонкій психическій анализъ съ одной стороны и болѣзненная, „аномальная“ фантастичность, невыдержанность и нѣкоторая тенденціозность, особенно обозначенная у автора въ послѣднее время, съ другой—сразу обнаруживаются и въ его новомъ романѣ „Братья Карамазовы“. Насколько талантливо и типично написана первая книга произведенія, исключительно посвященная изображенію одного помѣщичьяго семейства, настолько же тенденціозны, а иногда и просто скучны, хотя мѣстами и замѣчательно даровиты и оригинальны, первые главы второй книги, наполненныя безконечными и именно „аномальными“ разговорами дѣйствующихъ лицъ“ <sup>2)</sup>).

Въ числѣ недостатковъ особенно подчеркивалась склонность Достоевскаго къ фантастичности и даже кошмарности разсказа. Лица въ романѣ „Братья Карамазовы“—„настоящіе уроды“—разсуждаетъ В. В. Чуйко въ „Новостяхъ“ 1879 года—, не въ „фигуральномъ“, не въ „метафорическомъ“ смыслѣ слова, а въ „фактическомъ“; къ тому же это — „фантастическія созданія, а не дѣйствительность“. „Сколоченныя на одну колодку“, всѣ лица романа Достоевскаго имѣютъ одну „психи-

<sup>1)</sup> „Чтенія въ Обществѣ любителей духовнаго просвѣщенія“ 1881, мартъ. Объ инокѣ русскомъ и о возможномъ значеніи его. По поводу мыслей о русскомъ инокѣ въ романѣ О. М. Достоевскаго: „Братья Карамазовы“. —въ. Стр. 344—5, 357—8, 363.

<sup>2)</sup> „Современность“ 1879, № 25. Литературное обозрѣніе. Крупная литературная повесть: „Братья Карамазовы“, романъ О. М. Достоевскаго. Стр. 2.

ческую основу“, именно „крайне болѣзненно-вздутое самолюбіе“. Этимъ однообразіемъ основы въ изображаемыхъ характерахъ лучше всего опредѣляется, по мнѣнію г. Чуйко, самый „процессъ творчества г. Достоевскаго“: „Обладая сильнымъ воображеніемъ и замѣчательнымъ талантомъ, г. Достоевскій не считаетъ нужнымъ наблюдать людей и изучать жизнь. Онъ себѣ выработалъ, въ этомъ отношеніи, цѣлую систему, полное міровоззрѣніе, которое такъ крѣпко укоренилось въ немъ, что никакія наблюденія не могутъ поколебать его. Замѣчая въ человѣкѣ одно только болѣзненно расплывшееся самолюбіе, онъ всѣхъ своихъ героевъ надѣляетъ имъ, примѣшивая къ нему какія-нибудь постороннія черты: въ одномъ это самолюбіе оформилось въ шутовство, въ другомъ — въ бражничаніе, въ третьемъ — въ практическую смѣтку, въ четвертомъ — въ либерализмъ; такимъ образомъ, получается цѣлая коллекція личностей, наружно отличающихся другъ отъ друга самымъ разнообразнымъ характеромъ, — но, въ сущности, — однакъ и тѣхъ же по своей нравственной (природѣ). Такъ ли поступаетъ дѣйствительно великій художникъ?...“ Поэтому по сравненію съ Тургеневымъ, какъ представителемъ реализма, въ творествѣ Достоевскаго оказывается на лицо только „единственная несомнѣнная реальность: это — его собственное воображеніе, могучее, но странное, искаженное, выродившееся“; въ видѣ примѣра критикъ ссылается на характеры Алеши и Зосимы, въ которыхъ присутствуетъ реальная „правда“ въ смыслѣ вложеннаго въ нихъ собственнаго мистическаго міровоззрѣнія Достоевскаго; „эта правда“, поясняетъ г. Чуйко, „— не объективная правда дѣйствительности, но правда лично принадлежащая г. Достоевскому“<sup>1)</sup>.

Свои соображенія о процессѣ творчества Достоевскаго В. В. Чуйко повторилъ въ слѣдующемъ году въ журналѣ „Огонекъ“. Ссылаясь, какъ и въ предыдущей статьѣ, помѣ-

<sup>1)</sup> „Новости“ 1879, № 125. Литературная хроника. „Братья Карамазовы“, романъ Ф. М. Достоевскаго. — Характеръ творчества г. Достоевскаго; его особенности. — Правдивые уроды. — Лизавета Смердящая и Смердяковъ. — Федоръ Павловичъ Карамазовъ. — Психическая особенность этого характера. — Другія лица: семинаристъ-соціалистъ, атеистъ и карьеристъ. — Міусовъ-либераль. — Психологія г. Достоевскаго. — Его мистицизмъ. — Алеши и отецъ Зосима. В. Ч.

щенной въ „Новостяхъ“ 1879 года, на опредѣленіе таланта Достоевскаго, сдѣланное г. Курьеромъ въ его „Histoire de la littérature contemporaine en Russie“, онъ еще разъ подчеркиваетъ фантазмагоричность и кошмарность романовъ Достоевскаго, производящихъ впечатлѣніе „туманнаго пейзажа“, на фонѣ котораго разыгрываются „исключительныя“ драматическія положенія, выходящія „изъ границъ обыденнаго здраваго смысла“. Правда, „эта односторонность таланта Ѳ. М. Достоевскаго выкупается замѣчательною чуткостью его ко всякаго рода душевнымъ аффектамъ, къ малѣйшимъ, едва лишь уловимымъ, психическимъ движеніямъ, къ такимъ проявленіямъ натуры человѣческой, которыя почти совершенно ускользають отъ наблюденія другихъ художниковъ — психологовъ“; тѣмъ не менѣе „г. Достоевскій, по преимуществу, глубокъ въ изобрѣтеніи болѣзненныхъ, аномальныхъ проявленій души, въ такихъ изгибахъ чувства и воли, которые являются продуктами патологическаго развитія. Эта черта таланта особенно замѣтна въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“ <sup>1)</sup>.

По общему характеру истолкованія литературной манеры Достоевскаго къ статьямъ В. В. Чуйко очень близки два фельетона, помѣщенные подъ общимъ заглавіемъ „Журнальныя замѣтки“ въ „Новороссійскомъ Телеграфѣ“ 1880 и 1881 гг. и помѣченные: „Петербургъ. Z“ и „Петербургъ. W“.

Въ первомъ изъ этихъ фельетоновъ, помимо выясненія односторонности въ психикѣ героев Достоевскаго, опредѣляется, между прочимъ, его литературное мѣсто по отношенію къ школамъ „романтической“ и „реалистической“ и указываются несомнѣнныя достоинства его художественно-психологическаго анализа. Достоевскій — читаемъ здѣсь — „среди романистовъ, какъ русскихъ, такъ и заграничныхъ, занимаетъ совершенно особенное мѣсто: его невозможно причислить къ прежней, романтической школѣ, точно также, какъ его невозможно причислить и къ новѣйшей, реалистической. Его романы, по преимуществу, захватываютъ интересъ читателя своимъ крайне драматическимъ содержаніемъ,—въ противо-

<sup>1)</sup> „Огонекъ“ 1880, № 17. Новости русской литературы. Ѳ. М. Достоевскій.— „Братья Карамазовы“. Диллетантъ (=В. В. Чуйко). Стр. 333.

положность романамъ напр. Зола,—но въ то же время ни одинъ, самый добросовѣстный читатель, не въ состояніи послѣдовательно рассказать ходъ событій, найти логическую нить въ этомъ сложномъ лабиринтѣ трагическихъ или курьезныхъ сценъ, уловить, однимъ словомъ, ту реальную жизненную канву, на которой г. Достоевскій выводитъ узоры своей творческой фантазіи“. Достоевскій строитъ обыкновенно „цѣлую драму, запутанную, сложную, съ неясными и неопредѣленными контурами“. Но потомъ оказывается, что интересуетъ его „не драма и не психологія больной, страдающей души“, а „какая-то идея,—une idée fixe,—глубоко засѣвшая въ мозгу его и теперь мало по малу выступающая наружу“... Этотъ „крупный недостатокъ“, эту „idée fixe“, видитъ критикъ и въ романѣ „Братья Карамазовы“. Для этого романа—также, впрочемъ, какъ и для другихъ произведеній Достоевскаго—эта идея опредѣляется какъ „mania religiosa“: „Г. Достоевскій не даетъ такого полного діагноза всѣхъ родовъ душевныхъ болѣзней..., онъ ограничивается только нѣкоторыми формами болѣзни, специализируется. Замѣчательно, что всѣ его герои и героини кончаютъ формой, извѣстной въ наукѣ подъ названіемъ: „Mania religiosa“. Одна изъ начальныхъ формъ въ развитіи этой болѣзни у героев Достоевскаго — „чудовищное, уродливое развитіе самолюбія“... Къ тому же онъ выводитъ въ своихъ романахъ „не такихъ людей, какъ мы съ вами“, а эпилептиковъ, сумасшедшихъ, истеричныхъ, юродивыхъ, кликушъ, безумныхъ и бѣшеныхъ“. При этихъ недостаткахъ творчество Достоевскаго отличается и извѣстными достоинствами: онъ заглядываетъ глубоко въ сердце и душу человѣка и „выноситъ оттуда, изъ этихъ тайниковъ, такія удивительныя открытія, которыя намъ, простымъ смертнымъ, никогда и не снились“; отдѣльныя черты душевной жизни въ изображеніи Достоевскаго—верхъ правды, но характеровъ, типовъ, „цѣлаго душевнаго склада“ онъ схватить не можетъ <sup>1)</sup>.

Въ другомъ фельетонѣ, наоборотъ, раскрываются, главнымъ образомъ, недостатки психологическаго анализа, сильно

<sup>1)</sup> „Новороссійскій Телеграфъ“ 1880, № 1578. Журнальныя замѣтки. Петербургъ. З. Стр. 1—2.

понижающіе вообще художественную сторону его романовъ—, въ частности, романа „Братья Карамазовы“. Суть романа „Братья Карамазовы“—разсуждаетъ критикъ—не въ фавулѣ, а въ „психологическомъ анализѣ“, какъ принято выражаться. Однако, по его мнѣнію, этимъ терминомъ слишкомъ злоупотребляютъ: психологическій анализъ въ художественномъ творествѣ тогда имѣетъ мѣсто, когда „художественное изображеніе душевной жизни“ совершается по законамъ, соответствующимъ „законамъ психологіи“; беллетристъ въ такомъ случаѣ долженъ быть и настоящимъ психологомъ, въ родѣ напр. Шекспира. Это не приложимо къ Достоевскому. Онъ не психологъ: „...Шекспиръ и психологія—не законъ нашему беллетристу, хотя онъ и славится въ русской литературѣ своимъ психическимъ анализомъ. Если Шекспиръ объективенъ, то г. Достоевскій—черезчуръ субъективенъ. Этимъ я хочу сказать, что онъ не изучаетъ людей и ихъ душевнаго механизма, а воспроизводитъ лишь ту область душевной жизни, которая въ психологіи получила названіе бессознательно-рефлексивныхъ движеній“. Приводится въ примѣръ та сцена изъ романа „Братья Карамазовы“ (книга одиннадцатая, гл. IV: Гимнъ и секретъ), гдѣ Алеша, во время посѣщенія въ тюрьмѣ Дмитрія Карамазова, выслушиваетъ его разсужденія о „хвостикахъ у нервовъ“ и о душѣ. По поводу этого мѣста о „хвостикахъ“ критикъ заключаетъ: „Вотъ вамъ и психологія г. Достоевскаго рядомъ съ обличительными элементами. Я даже начинаю думать, что это объясненіе Дмитрія о хвостикахъ есть именно то самое объясненіе, которое можно сдѣлать, желая дать яркое понятіе о характерѣ психологіи г. Достоевскаго: онъ самъ себя объяснилъ и, признаюсь, великолѣпно. Въ самомъ дѣлѣ, у г. Достоевскаго все дѣло въ хвостикахъ: какъ, значить, задрожать эти самые хвостики, ну, такъ онъ и пошелъ писать. Право такъ; въ этомъ вы легко убѣдитесь, прочитавъ „Братьевъ Карамазовыхъ“. Но дѣло въ томъ, что эти хвостики особенно сильно дрожатъ, когда являются потребности обличать атеизмъ или науку,—тутъ г. Достоевскій неумолимъ“. Приведа затѣмъ, изъ той же главы, содержаніе разговора Алеши съ Дмитріемъ о „Клодь-Бернарѣ“ и

о „чортѣ съ эенкой“, критикъ заключаетъ: „Г. Достоевскій не стѣсняется никакими логическими или художественными цѣлями, когда онъ находитъ нужнымъ „обличать“. Онъ обличаетъ кстати и не кстати“. Подобное пренебреженіе художественными и психологическими задачами приводитъ творчество Достоевскаго къ печальнымъ результатамъ: у него нѣтъ лицъ, характеровъ, героевъ, типовъ, а описываетъ онъ „одно и то же, вѣчно то же лицо, являющееся во всѣхъ его романахъ,—человѣка больного мозгомъ и душой, подавленного душевными страданіями, съ разстроенной нервной системой, эпилептика, потерявшего логическую нить въ идеяхъ, живущаго въ области безсознательнаго рефлекса и подверженнаго тому роду сумасшествія, который въ психіатріи называется *mania religiosa*. Но если изъ-за этихъ болѣзненныхъ припадковъ вы захотите узнать характеръ и индивидуальность этого человѣка, когда онъ былъ въ нормальномъ состояніи,—то принуждены будете сознаться, что ни характера, ни индивидуальности въ этомъ человѣкѣ нѣтъ, что онъ, слѣдовательно, не можетъ служить предметомъ искусства, а годенъ лишь для экспериментовъ въ домѣ умалишенныхъ“<sup>1)</sup>.

Въ томъ же, 1881-мъ, году былъ подведенъ и болѣе полный итогъ „художественнымъ прегрѣшеніямъ“ Достоевскаго въ романѣ „Братья Карамазовы“ — какъ съ точки зрѣнія „школьной эстетики“, такъ и съ точки зрѣнія „эстетической критики“, стоящей на высотѣ современныхъ автору романа требованій. Этотъ итогъ мы находимъ въ „Дѣлѣ“, въ статьѣ Ф. Б—а<sup>2)</sup>. „Хотя авторъ и называетъ — говоритъ критикъ — свое повѣствованіе о жизни или, лучше сказать, о нѣкоторыхъ эпизодахъ изъ жизни братьевъ Карамазовыхъ романомъ, но, съ точки зрѣнія эстетической критики, названіе это едва ли

<sup>1)</sup> „Новороссійскій Телеграфъ“ 1881. № 1802. Журнальныя замѣтки. Петербургъ. W. Стр. 1—2.

<sup>2)</sup> Статьи Ф. Б—а помѣщены въ трехъ №№-хъ журнала „Дѣло“: „Дѣло“ 1881, № 2. Современное обозрѣніе. Новые типы „забитыхъ людей“. „Братья Карамазовы“, Романъ въ 4-хъ частяхъ, съ эпилогомъ, соч. Ф. М. Достоевскаго. Статья первая. Стр. 1—28. Тамъ же, № 3... Статья вторая, стр. 1—40. Тамъ же, № 4... Статья третья. Стр. 1—48. — Къ основной темѣ этихъ статей — анализу „забитости“ въ психикѣ героевъ Достоевскаго — предстоитъ еще разъ возвратиться во второй части настоящихъ очерковъ.

можетъ выдержать... самую даже поверхностную критику. Школьная эстетика соединяетъ, обыкновенно, съ представлениемъ о романѣ представленіе о цѣлостномъ, законченномъ „драматическомъ дѣйствіи“. Она требуетъ, чтобы лица, выводимыя романистомъ, — ихъ характеры, ихъ взаимныя отношенія, даже ихъ разговоры имѣли бы необходимую логическую связь съ этимъ „драматическимъ дѣйствіемъ“, — съ основною идеею, съ основнымъ содержаніемъ романа; чтобы они его выясняли и освѣщали и сами бы, въ свою очередь, имъ выяснялись и освѣщались. Всякіе „вводные“ эпизоды, всякіе „не идущіе къ дѣлу“ сцены и разговоры она считаетъ неумѣстными, противными требованіямъ художественной техники, нарушающими цѣлостность и единство „драматическаго дѣйствія“. Между тѣмъ въ послѣднихъ романахъ, Достоевскаго, и въ особенности въ его „Братьяхъ Карамазовыхъ“, такихъ „вводныхъ эпизодовъ“, „не идущихъ къ дѣлу“ сценъ и разговоровъ не оберешься!... „Братья Карамазовы“ сшиты бѣлыми нитками изъ отдѣльныхъ отрывочныхъ драматическихъ сценъ и эпизодовъ, не имѣющихъ, въ сущности, между собою никакой внутренней логической связи... Не отличаясь ни цѣлостностью, ни единствомъ, ни законченностью, составляющими, по мнѣнію школьной эстетики, необходимое условіе художественности всякаго драматическаго произведенія, повѣствованіе это грѣшитъ и противъ многихъ другихъ „пунктовъ“ и „статей“ эстетическаго кодекса. Дѣйствующія лица совсѣмъ не умѣютъ „разговаривать“, — они вѣчно философствуютъ и резонируютъ, взаимно угощая другъ друга длиннѣйшими рѣчами и проповѣдями, занимающими не только по нѣсколько печатныхъ страницъ, но иногда даже по нѣсколько печатныхъ листовъ. (Приводится въ видѣ примѣра указаніе на философское разсужденіе Ивана Карамазова въ трактирѣ „Столичный городъ“)... Но этого мало: всѣ эти невѣроятно длинныя проповѣди, монологи, тирады и философскія разсужденія, хотя ведутся и отъ лица различныхъ персонажей, но это только повидимому; въ сущности-же, вы чувствуете, что передъ вами философствуютъ, проповѣдываютъ и резонируютъ не Зосимы, не Карамазовы, не Смердяковы, не прокуроры и



не адвокаты, а самъ авторъ. Зосимы, Карамазовы и другія „говорящія“ лица романа говорятъ съ его голоса, употребляя при этомъ одни и тѣ же любимые авторомъ обороты рѣчи, одни и тѣ же любимыя имъ „словечки“, проводятъ однѣ и тѣ же „дорогія“ ему идеи...

„Помимо этихъ—продолжаетъ критикъ—, съ точки зрѣнія школьной эстетики, весьма непростительныхъ недостатковъ (недостатковъ „художественной техники“), „Братья Карамазовы“ повинны и въ другихъ художественныхъ прегрѣшеніяхъ, несравненно болѣе тяжкихъ. Прежде всего поражаетъ въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“ (какъ и въ большей части послѣднихъ романовъ Достоевскаго) полнѣйшее отсутствіе рельефнаго, конкретнаго, художественно-законченнаго воспроизведенія характеровъ не только второстепенныхъ, но даже и главныхъ дѣйствующихъ лицъ (героевъ) романа. Всѣ они страдаютъ какою-то „безличностью“, и ни одно изъ нихъ не запечатлѣно печатью оригинальной самобытной индивидуальности... Авторъ даетъ вамъ нѣкоторые матеріалы для составленія о характерѣ цѣлой группы людей, къ которой принадлежатъ Зосимы, Паисій, Алеши, или о характерѣ отличной отъ нея группы людей, къ которой принадлежатъ Карамазовы (отецъ и два сына), Смердяковы и т. п., но индивидуальный характеръ cadaго лица, принадлежащаго къ той или другой группѣ, оставляется имъ какъ бы въ тѣни... Потому его герои являются въ большинствѣ случаевъ какими-то абстрактными воплощеніями нѣкоторыхъ психическихъ свойствъ человѣческой природы, а не реальными, живыми людьми. Потому-то они и производятъ на читателей странное и въ высшей степени своеобразное впечатлѣніе: читатель смотритъ на нихъ обыкновенно, какъ на какихъ-то „чудаковъ“, эксцентриковъ, „выбившихся изъ нормы“, больныхъ, полупомѣшанныхъ субъектовъ... Эстетическая критика требуетъ отъ художника художественнаго воспроизведенія типическихъ чертъ живыхъ, реальныхъ людей, т. е. такого воспроизведенія, которое, воплощая и обобщая типическія черты въ художественномъ образѣ, не мѣшало бы его, однако, конкретности,

индивидуальной обособленности... Достоевскій совершенно игнорировалъ это требованіе, онъ воплощалъ хотя и типическія черты живыхъ реальныхъ людей, но его воплощенія страдали почти всегда полнымъ отсутствіемъ индивидуальной конкретности; его герои поражаютъ, прежде всего, если можно такъ выразиться, своею односторонностью, крайне однообразнымъ тономъ своей психической жизни, — каждый тянетъ постоянно одну и ту же нотку, вертится неизмѣнно около одной и той же точки. Герои Достоевскаго производятъ впечатлѣніе маньяковъ, ненормальныхъ людей. И они дѣйствительно маньяки, вся жизнь, всѣ мысли, вся дѣятельность которыхъ насильственно пріурочивается авторомъ къ одному какому-нибудь душевному состоянію, къ одной какой-нибудь типической чертѣ, воплощенной въ нихъ романистомъ... Само собою понятно, что комедіи, драмы и трагедіи, въ которыхъ главные роли играютъ маньяки, должны весьма существенно отличаться отъ комедій, драмъ и трагедій реальной дѣйствительной жизни, — драмъ и трагедій, въ которыхъ дѣйствуютъ, страдаютъ, борются, погибаютъ или торжествуютъ люди обыкновенные, заурядные болѣе или менѣе, здоровые и нормальные. И дѣйствительно, почти во всѣхъ романахъ и повѣстяхъ г. Достоевскаго, и въ особенности въ его послѣднемъ романѣ, — фабула — „драма романа“, ея развитіе, ея „завязка и развязка“, отличаются крайнею искусственностью, неестественностью, безалаберностью и какою-то болѣзненностью. Событія, живописуемые романистомъ, не вытекаютъ съ внутреннею, логическою необходимостью (какъ этого требуетъ эстетика) одно изъ другого; они смѣняются и проходятъ передъ вами въ какомъ-то хаотическомъ безпорядкѣ; ихъ естественный ходъ постоянно нарушается всевозможными и часто даже невозможными случайностями, неожиданными и непредвидѣнными „выходками“ героевъ. Конечно, эта неестественность „драмы романа“, съ одной стороны, вполне объясняется характеромъ дѣйствующихъ въ ней лицъ, но, съ другой, она несомнѣнно обусловливается отчасти и недостаточнымъ развитіемъ въ Достоевскомъ художественной творческой фантазіи. Бѣдность творческой фантазіи Достоевскаго лучше всего доказывается самыми

сюжетами, которые онъ выбиралъ для своихъ фабулъ; въ большей части случаевъ („Преступленіе и наказаніе“, „Бѣсы“, „Братья Карамазовы“) онъ ихъ заимствовалъ изъ судебныхъ протоколовъ и уголовныхъ хроникъ... Эксплуатировать постоянно одни только эти, во всякомъ случаѣ, болѣе или менѣе рѣдкія, исключительныя, нарушающія и разстраивающія нормальный ходъ жизни, явленія—эксплуатировать ихъ, въ интересахъ приданія большей занимательности „драмѣ романа“, въ интересахъ раздраженія читательскихъ нервовъ и т. п.—этого не одобряютъ даже и самые снисходительные эстетики...“

Среди недостатковъ и достоинствъ въ художественной сторонѣ новаго романа, знакомыхъ уже по прежнимъ произведеніямъ Достоевскаго, нашлись однако и явные признаки дальнѣйшей эволюціи его литературной манеры, обнаружившіеся впервые такъ замѣтно для читателя и критика именно въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“.

Сначала это „новое“ въ литературныхъ приѣмахъ не поддавалось формулировкѣ. А. М. Скабичевскій, находя въ новомъ романѣ „рядъ личностей, очень хорошо знакомыхъ по прежнимъ романамъ г. Достоевскаго“<sup>1)</sup>, находитъ въ немъ, согласно своему обычному приему оцѣнивать двойственность творчества этого писателя, и двухъ Достоевскихъ—резонера и настоящаго „художника-страдальца“. „...Я впередъ предугадывалъ—говоритъ онъ—, что раньше или позже мы наткнемся въ романѣ на нѣсколько страничекъ, которыя однѣ вырываютъ все произведеніе г. Достоевскаго, въ которыхъ органъ г. Достоевскаго окажется заведеннымъ на самые лучшіе, наиболѣе патетическіе и симпатичные мотивы, какіе только существуютъ въ его творествѣ. И г. Достоевскій не заставилъ насъ долго ждать. Въ апрѣльской книжкѣ „Русскаго Вѣстника“ напечатана между прочимъ шестая и седьмая главы (книги четвертой) второй части романа, носящія заглавіе „Надрывъ въ избѣ“ и „И на чистомъ воздухѣ“. Эти главы представляютъ собою лучшія страницы изъ всего когда-либо написаннаго г. Достоевскимъ. Здѣсь г. Достоевскій является передъ нами не тѣмъ философу-

<sup>1)</sup> „Молва“ 1879, № 45. Мысли по поводу текущей литературы. „Братья Карамазовы“, новый романъ г. Достоевскаго. Заурядный читатель. Стр. 1.

ющимъ святошею-резонеромъ и психіатрическимъ аналитикомъ, какимъ онъ пародируетъ въ предыдущихъ главахъ романа, а художникомъ-страдальцемъ, пишущимъ кровью своего сердца, и какъ этотъ художникъ-страдалецъ посрамляетъ резонерствующаго святошу, какъ передъ яркими сценами жизни меркнуть всѣ мистическія фантазмагоріи распинаія плоти, безпредѣльнаго смиренія и самобичеванія! "...<sup>1)</sup>

Но уже въ томъ же году подыскана была болѣе или менѣе подходящая формула для обозначенія этого новаго признака въ литературной манерѣ Достоевскаго: именно В. П. Буренинъ указалъ въ новомъ романѣ отсутствіе той „банальности“ содержанія, того „шаблона“ формы, которымъ слѣдуютъ „второстепенные“ писатели<sup>2)</sup>; это замѣчаніе г. Буренина усвоено было и нѣкоторыми другими критиками и рецензентами Достоевскаго<sup>3)</sup>. Свою мысль о независимости въ процессѣ творчества Достоевскаго г. Буренинъ развиваетъ<sup>2)</sup> слѣдующимъ образомъ: „...О произведеніяхъ такихъ глубокихъ и серьезныхъ талантовъ, какъ г. Достоевскій, нельзя бесѣдовать такъ легко, какъ приходится бесѣдовать о произведеніяхъ талантовъ поверхностныхъ, въ родѣ гг. Е. Маркова, Боборыкина, Авсѣнки, Маркевича и т. п. Романы и повѣсти этихъ господъ почти всегда бываютъ соблазнительно-ясны съ первыхъ же страницъ, съ первыхъ главъ. Для приговора о ихъ значеніи нечего дожидаться ихъ продолженія и окончанія. При нѣкоторой критической опытности, „идеи“ почтенныхъ авторовъ усматриваются сразу, точно также какъ сразу опредѣляется мелкое и банальное содержаніе изъ героевъ, сочиненная фальшь романическихъ положеній, мнимыя художественныя красоты, вымученная, искусственная или же подражательная психологія и т. д. Въдѣ эти второстепенные писатели „творятъ“ по извѣстнымъ шаблонамъ, установленнымъ крупными талантами. Все, что

<sup>1)</sup> „Молва“ 1879, № 141. Мысли по поводу текущей литературы.—Сравненіе челоѣка съ шарманкой.—Шарманка г. Достоевскаго, заведенная на лучшую и наиболѣе симпатичную сея арію. Заурядный читатель. Стр. 1.

<sup>2)</sup> „Новое Время“ 1879, № 1060 (10 февр.). Литературныя очерки. Начало новаго романа г. Достоевскаго...

<sup>3)</sup> Ср. напр. „Газета А. Гатиука“ 1879, № 8 (24 февр.). Критика и библиографія... Стр. 126: „Достоевскій пишетъ романы не по шаблону“...

встрѣтишь у нихъ своего,—это якобы самый современный покррой, фасонъ внѣшняго образа героя или героини, какая-нибудь модная бытовая „обстановочка“, склеенная по газетной хроникѣ общественной жизни или по даннымъ такъ называемой „скандальной хроники“. Въ созданіяхъ этихъ писателей не душа ихъ участвуетъ: ихъ беллетристическіе плоды суть только результаты извѣстной литературной сноровки. Въслѣдствіе всего этого они такъ легко и удобно поддаются критической оцѣнкѣ по одному началу, такъ легко и удобно третируются критикой и такъ легко и удобно забываются тотчасъ же послѣ ихъ прочтенія. Иное дѣло произведенія такихъ самостоятельныхъ, „первыхъ“ дарованій, какъ Достоевскій.. Онъ прежде всего оригиналенъ и искрененъ. Что бы онъ ни писалъ—пусть это будетъ болѣзненно до нельзя, пусть это будетъ совсѣмъ нелиберально и несовременно въ условномъ журнальномъ смыслѣ—но все у него выходитъ разыграннымъ на сердечныхъ его собственныхъ струнахъ, все у него выходитъ затронутымъ необыкновенно глубоко и съ нервнымъ одушевленіемъ. Заимствованнаго, шаблоннаго, въ произведеніяхъ г. Достоевскаго не отыщете ни одной крупицы: если онъ и заимствуетъ иногда, то у самого же себя, если и повторяетъ кой-какіе лица и мотивы, то все же свои собственные, а не чужіе. Объ его удивительномъ постиженіи человѣческой души и природы, въ особенности въ ея аномальныхъ, болѣзненныхъ проявленіяхъ, сложившихся подъ вліяніемъ аномальныхъ условій современнаго соціальнаго порядка, нечего и говорить: послѣ Гоголя у насъ не было болѣе крупнаго художника въ этомъ отношеніи“...

Дальнѣйшее разъясненіе независимости литературныхъ пріемовъ Достоевскаго, насколько они обнаружались въ романѣ „Братья Карамазовы“, велось критикою въ двухъ отношеніяхъ—и въ отношеніи литературной формы и въ отношеніи литературной мысли. „Достоевскій—читаемъ въ „Голосѣ“ 1879 года <sup>1)</sup>—плыветъ противъ теченія. Онъ пишетъ не только въ такомъ духѣ, но и въ такомъ тонѣ, что неминуемо долженъ

<sup>1)</sup> „Голосъ“ 1879, № 148. „Братья Карамазовы“ Ф. М. Достоевскаго.

возстановить противъ себя большинство читателей; мало сказать, что онъ не льститъ модному либерализму, но буквально дразнить и бѣсить читателя парадоксами, направленными противъ самыхъ завѣтныхъ убѣжденій значительнаго большинства современныхъ людей, и все это въ такой угловатой формѣ, съ такою желчью и ожесточеніемъ, что, повидимому, и нейтральный, равнодушный къ „направленіямъ“ читатель, порою, долженъ терять терпѣніе и становиться въ ряды противниковъ г. Достоевскаго. А на дѣлѣ выходитъ наоборотъ. Не дѣлая уступокъ въ существѣ и не допуская смягченій въ формѣ, г. Достоевскій пріобрѣтаетъ все новыхъ сторонниковъ и прозелитовъ. Остается одно: остается объяснить явленіе силою его таланта, искренностью его убѣжденій, отвагою и дерзостью его борьбы съ современными воззрѣніями и, конечно, отчасти тѣмъ обаяніемъ, которое производитъ парадоксъ, когда его высказываютъ отчаянно и съ беззавѣтною рѣшительностью“.

Независимая мысль Достоевскаго, правда, иногда не подходитъ себѣ какъ будто бы опоры въ реальной жизни, тѣмъ не менѣе онъ обставляетъ развитіе своей идеи такою „логикой фактовъ“, что его рассказъ становится необыкновенно правдивымъ и убѣдительнымъ: „Начиная читать романъ г. Достоевскаго, какъ-бы вступаешь въ какой-то особый міръ, въ которомъ все дѣлается какъ-то особенно, при чемъ чувствуешь, что такъ дѣлаться можетъ, а при извѣстныхъ условіяхъ иначе дѣлаться и не можетъ. Г. Достоевскій и испытывалъ самъ, конечно, то душевное настроеніе, которое онъ въ своемъ романѣ такъ удачно назвалъ „надрывомъ“, и видалъ много испытанныхъ, но, во всякомъ случаѣ, трудно предположить, чтобъ писанное имъ писалось съ натуры. Это, думается мнѣ, плодъ воображенія, апріорной мысли, потому что трудно подобрать „натуру“ для его изумляющихъ своей исключительностью картинъ, и не владѣй авторъ сильнымъ талантомъ, его произведенія низошли бы на степень сборника фальшивыхъ рѣчей, фальшивыхъ положеній, безъ всякой связи, сшитыхъ живыми нитками натянутой фабулы, годныхъ только для изумленія полуграмотнаго читателя. Но его выручаетъ именно, такъ ска-

затѣ, логика фактовъ, которою, по свойствамъ своего таланта, онъ владѣетъ въ такой изумительной степени, какъ никто. Она дѣлаетъ его отчасти непогрѣшимымъ: возьмите самое невѣроятное положеніе, самый неожиданный поступокъ — съ перваго раза васъ даже покоробитъ, какъ будто; но всмотритесь въ лицо или лица, ставшія въ это положеніе или совершившія этотъ поступокъ, и вы поставлены будете въ необходимость согласиться, что жить иначе, поступить иначе это лицо или эти лица не могли; и что изъ всѣхъ возможныхъ положеній, изъ всѣхъ возможныхъ поступковъ, именно силою того, что мы не умѣли назвать иначе, какъ „логику фактовъ“, художникомъ рассказаны именно тѣ, характернѣе и правдивѣе которыхъ выбрать нельзя“ <sup>1)</sup>.

Вступая въ такой именно фазисъ своего развитія, т. е. въ фазисъ независимости отъ установившихся формъ, литературная манера Достоевскаго еще болѣе усваиваетъ себѣ пріобрѣтенный уже раньше „отпечатокъ... своеобразный и даже эксцентричный“, что не позволяетъ литературную дѣятельность этого писателя „пріурочить къ какой-нибудь изъ категорій, установленныхъ нашей критикой“; но это „литературное одиночество“ представляется наблюдателю его „глубоко симпатичнымъ“, потому что оно оригинально, самобытно, какъ настоящій „голосъ“ среди изобилія всевозможныхъ „эхо“ <sup>2)</sup>. Поэтому, развивая дальше то же самое наблюденіе надъ обособленностью литературной манеры Достоевскаго въ эпоху „Братьевъ Карамазовыхъ“, Е. Л. Марковъ въ декабрьской книжкѣ „Русской Рѣчи“ <sup>3)</sup> провозгласилъ его даже освободителемъ литературной мысли отъ плѣна „однообразія и поддѣльности“ и отъ деспотизма критики: „Деспотическая требовательность нашей недавней критической школы до такой степени сузила горизонтъ литературнаго творчества, что въ литературѣ надолго наступила всѣмъ намъ памятная

<sup>1)</sup> „Голосъ“ 1879, № 156. Литературная лѣтопись. — Еще о романѣ г. Достоевскаго, но съ другой стороны. — Литературный замыселъ автора. — Можно ли пайти что-нибудь „національное“ въ герояхъ романа г. Достоевскаго? — Художественная канва романа.

<sup>2)</sup> „Русская Правда“ 1879, № 51. Русская журналистика. Новый романъ г. Достоевскаго „Братья Карамазовы“... Александръ Горшковъ (—М. А. Протопоповъ).

<sup>3)</sup> „Русская Рѣчь“ 1879, № 12. Критическія бесѣды..

эпоха тошнотнаго однообразія и поддѣльности, какъ въ общихъ темахъ, такъ и въ отдѣльныхъ типахъ и сценахъ. Модная печать еще на дняхъ не смѣла касаться многихъ сферъ жизни, многихъ формъ жизни, подъ страхомъ осмѣянія и преслѣдованія. Сочувствіе и свѣтлыя краски обязательно должны были быть только къ услугамъ заранѣе опредѣленныхъ образовъ, на которыхъ стоялъ штампъ привилегированности. Какъ спасительная реакція противъ этого плѣна литературной мысли, какъ рѣшительное заявленіе права литературной свободы,—темы и типы послѣдняго романа Достоевскаго заслуживаютъ горячаго привѣта“.

Если принять въ вниманіе, что независимость въ выборѣ идеѣ и темы, въ обрисовкѣ характеровъ, въ композиціи разсказа—сопровождается въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“ свойственными вообще Достоевскому „глубиной проникновения“ <sup>1)</sup> въ человѣческую душу и „потрясающимъ паѳосомъ человѣчности“ <sup>2)</sup>, то будетъ вполне понятно, что изученіе романа съ этой стороны, едва только начатое современной ему критикой, представляетъ и въ настоящее время весьма интересную и далеко еще не рѣшенную задачу.

Впрочемъ, и въ другихъ отношеніяхъ изученіе романа „Братья Карамазовы“ въ періодъ 1879—1881 гг. сравнительно мало продвинулось за предѣлы обычной газетной и журнальной полемики. Извѣстную цѣнность, правда, представляютъ нѣкоторыя критическія статьи 1881 года, но ихъ, какъ выше было указано, удобнѣе будетъ разсмотрѣть въ связи съ послѣдующей оцѣнкой творчества Достоевскаго, начавшейся уже послѣ его смерти.



<sup>1)</sup> „Русское Богатство“ 1881, ноябрь. О „Братьяхъ Карамазовыхъ“... Л. Алексѣевъ. Стр. 15.

<sup>2)</sup> „Слово“ 1881, № 2. Двойственное творчество. „Братья Карамазовы“, романъ О. Достоевскаго. М. Цебрикова. Стр. 6.



## VII. 1880. Историческое оправдание идеала: прошлая судьба русского человека и его будущее „всемирное назначение“. Речь Достоевского о Пушкинѣ и итоги его основныхъ взглядовъ въ критикѣ.

Пушкинская речь Достоевского, какъ провозглашеніе и историческое оправданіе его идеала. Двойственность впечатлѣній отъ речи Достоевского въ обществѣ и печати: „истинный фюроръ“, „неопровержимые восторги“, анализъ „идеаловъ русского народа“, примиреніе во имя идеала „всечеловѣка“; „ветхозавѣтный папосъ“ речи и ея историческія и философскія противорѣчія, отсутствіе оригинальности въ „идеалѣ общечеловѣчности“, несомѣстимость этого идеала съ практикой текущей русской жизни, „славянофильскія побракушки“ и „національное самообольщеніе“ въ речи Достоевского, связь его идеала съ „застоемъ внутренней жизни“ и возможный вредъ отъ его толковъ о „нашихъ фантастическихъ совершенствахъ“. Речь Достоевского, какъ выраженіе основныхъ его взглядовъ и начало подведенія итоговъ имъ въ критикѣ. Возраженія А. Д. Градовскаго на речь Достоевскаго: замалчиваніе дѣйствительныхъ причинъ русскаго скитальчества, замѣна „общественной правдивости“ личнымъ совершенствованіемъ и превратное пониманіе русскіхъ народныхъ идеаловъ. Замѣчанія Г. И. Успенскаго на речь Достоевскаго: „соображенія всезячяго свойства“ и „самая ординарная проповѣдь полнѣйшаго мертвѣнія“. Развѣтвіе возраженій А. Д. Градовскаго и Г. И. Успенскаго въ прогрессивной части періодической печати („Молва“—Г. К. Градовскій и др., „Новости“—В. В. Чуйко, В. О. Михневичъ, „Страна“—Арс. И. Введенскій, „Берегъ“, „Петербургскій Листокъ“). Появленіе речи Достоевскаго и авторскихъ разъясненій къ ней въ печати и дальнѣйшее подведеніе итоговъ его основнымъ взглядамъ. Спорные пункты въ идеологій Достоевскаго и отношеніе къ нимъ прогрессивной критики: отрицательное отношеніе Достоевскаго къ европейскому просвѣщенію и къ русскимъ его представителямъ („Дѣло“, „Вѣстникъ Европы“); смѣшеніе у него понятій объ общечеловѣческомъ и о народномъ и противорѣчивое усвоеніе русскому народу стихій „всемирности“ („Слово“); критика „народныхъ идеаловъ“ Достоевскаго и его отношенія къ современной русской дѣйствительности (К. Д. Кавелинъ, А. Кошелевъ, Н. К. Михайловскій, М. А. Протопоповъ, Л. Алексѣевъ, К. Ярошъ). Пріемлемая часть идеологій Достоевскаго или „зерна истины“ въ его речи: „обмолвка“ его въ пользу „современныхъ скитальцевъ“ русской жизни и реальная сторона въ его пророчествѣ о будущемъ русскомъ „всечеловѣкѣ“ („Дѣло“, „Современность“), неоспоримая цѣнность народничества Достоевскаго и его конечная цѣль („Мысль“—Л. Е. Оболенскій). Общее отношеніе сочувствующей Достоевскому критики къ провозглашенному имъ идеалу.

Въ то время какъ подъ перомъ Достоевскаго осуществлялась художественная реализація его идеала въ романѣ „Братья Карамазовы“, въ русской общественной жизни наступилъ моментъ, который онъ счелъ удобнымъ какъ для публичнаго провозглашенія своего идеала, такъ и для фактическаго его обоснованія на историческихъ судьбахъ русскаго народа. Этимъ моментомъ были извѣстные „Пушкинскіе дни“ въ Москвѣ, т. е. 5—8 іюня 1880 года. Въ сильной по чувству и мысли и художественной по построению рѣчи Достоевскій прикрѣпилъ свой идеаль къ историческому прошлому русскаго народа и, въ частности, русской интеллигенціи и съ точки зрѣнія того же идеала пророчески освѣтилъ наше будущее „всемирное назначеніе“. Этимъ открытымъ провозглашеніемъ своихъ завѣтныхъ думъ писатель отдавалъ ихъ цѣликомъ на судъ самыхъ разнородныхъ направленій критики общественной и литературной. И, дѣйствительно, критика подвергла основныя положенія его рѣчи взыскательному, хотя иногда и пристрастному, суду и — что особенно интересно —, впервые выслушавъ его взгляды въ сжатой и простой общей формулѣ, впервые же сдѣлала попытку подвести имъ и общій итогъ.

Рѣчь Достоевскаго о Пушкинѣ — сказано было въ одномъ изъ газетныхъ отзывовъ о „2-мъ засѣданіи въ Обществѣ Любителей Россійской Словесности“, состоявшемся 8-го іюня 1880 года, — „произвела истинный фуроръ“. „Это была молнія, прорѣзавшая небо...“ Никогда съ такою глубиною не анализированъ былъ нашъ великій поэтъ отчасти, а отчасти и идеалы русскаго народа<sup>1)</sup>. Эти восторженные строки передаютъ очень хорошо массовое впечатлѣніе отъ рѣчи Достоевскаго: она, казалось, вдругъ освѣтила всю темную область взаимныхъ пререканій, противорѣчій и недоразумѣній въ русской общественной жизни и выяснила въ судьбахъ русскаго народа, прошедшихъ и будущихъ, то именно, что всѣ давно искали и не находили, и что всѣхъ примиряло. „Художественная по формѣ, артистически виртуозная по содержанію, она прочтена была самимъ авторомъ — неподражаемо прекрасно! Прислушавъ рѣчь г. Достоевскаго, всѣ хлопали, кричали,

<sup>1)</sup> „Современныя Извѣстія“ 1880, № 157. Передовая статья.

махали шляпами и платками такъ усердно и единодушно, что И. С. Аксаковъ, взоидя на кафедру, имѣлъ полное право „воочію“, „всевластно“ громыхнуть: „Славянофильство, представителемъ котораго считаютъ меня и западничество, представителемъ котораго является И. С. Тургеневъ, одинаково признаютъ достоинство этой рѣчи. Она—событіе; она примирила оба направленія“. Въ самомъ дѣлѣ, казалось, что Ѳедоръ Михайловичъ своей сонатой ублаготворилъ, объединилъ всѣхъ и вся, „безъ различія званія, занятій и лѣтъ!“... 1) „Казалось, будто сказано было наконецъ то слово, котораго съ нетерпѣніемъ ожидали цѣлыхъ три дня, слово, достойное памяти Пушкина и отвѣчающее на тотъ восторгъ, которымъ всѣ были переполнены“ 2). Въ этомъ смыслѣ рѣчь Достоевскаго названа была въ одномъ изъ отчетовъ о празднествѣ „знаменитою рѣчью“, успѣхъ которой „далеко превзошелъ всѣ ожиданія и всѣ надежды“ 3). „Человѣческое слово не можетъ претендовать на большую силу!“—такъ резюмируется впечатлѣніе рѣчи въ другомъ, подобномъ же, описаніи засѣданія Общества Любителей Россійской Словесности 8-го іюня 4). „Достоевскій произнесъ такую рѣчь—говорится въ отчетѣ „Недѣли“—, какой мы не слыхивали. Если хотите, она была тоже (какъ и рѣчь Тургенева?) на тему о примиреніи—примиреніи между славянофилами и западниками во имя русскаго народа, носящаго въ себѣ идеалъ „всечеловѣка“ 5)...

При наличности „мистической подкладки“ въ рѣчи Достоевскаго всѣхъ увлекало вдохновенное пророчество о „всечеловѣкѣ“ и вѣра „въ мощь и животворящую силу русскаго

1) „Русское Богатство“ 1880, № 7. Еще нѣсколько словъ о Пушкинскомъ празднествѣ. Очевидецъ. Стр. 45.

2) „Семейные вечера“ 1880, № 6. Открытіе памятника Пушкину. П. Страховъ. Стр. 267—8.

3) „Историческая Библіотека“ 1880, №№ 8—9. Открытіе памятника А. С. Пушкину. Стр. 9.

4) „Вѣнокъ на памятникъ Пушкину“. Спб. 1880. Второе торжественное засѣданіе Общества Любителей Россійской Словесности, 8-го іюня, въ Москвѣ. Стр. 61.

5) „Недѣли“ 1880, № 24. Литературно-житейскія замѣтки. Стр. 776. Толки о „примирительномъ“ характерѣ рѣчи Достоевскаго проникли и въ провинціальную печать. Такъ напр., на эту тему написать рядъ статей К. Леонтьевымъ въ „Варш. Дневникѣ“ 1880, №№ 162, 169, 173 („О всемірной любви“).

народнаго духа“ <sup>1)</sup>. Она говорила о возможномъ концѣ людской ненависти и о началѣ прочнаго братства <sup>2)</sup>. Она произвела впечатлѣніе чего-то „грандіознаго, свѣтлаго“,—впечатлѣніе „святыхъ мыслей“. „Начатая довольно тихо, она, по мѣрѣ развитія ея, все росла, крѣпчала и точно громомъ Божиимъ въ послѣднемъ возгласѣ оратора прогремѣла! Прежде аплодисментовъ ее сопровождали слезы и истерики. Да, свѣтло, хорошо было! И откуда у этого маленькаго ростомъ человѣка взялись эти могучіе, чудные звуки! Геній своими крылами осѣнилъ“ <sup>3)</sup>... Эти „неописуемые восторги“ <sup>4)</sup>, вызванные основнымъ настроеніемъ и основною темою рѣчи Достоевскаго, подробно описаны были на разные лады сначала въ столичной печати, московской и петербургской, а потомъ и въ провинціальной <sup>5)</sup>.

Но вмѣстѣ съ первыми восторгами по адресу Достоевскаго, какъ оратора, во всеуслышаніе провозгласившаго свой

<sup>1)</sup> „Живописное Обзоріе“ 1880, № 24: Празднество открытія памятника Пушкину; № 25: Пушкинскій праздникъ въ Москвѣ; № 26: На Пушкинскомъ праздникѣ въ Москвѣ, В. Михневичъ. Цитируется № 25, стр. 470 и № 26, стр. 492 и 494.

<sup>2)</sup> „Петербургская Газета“ 1880, № 112: Ежедневная бесѣда. Н. Баталниъ (Осы). Пушкинскій праздникъ; № 113: Пушкинскій праздникъ. № 116: Ежедневная бесѣда (Осы).

<sup>3)</sup> „Русская Газета“ 1880, № 72. Отблески „Пушкинскихъ дней“.—Впечатлѣніе рѣчи Достоевскаго. Пескомный наблюдатель.

<sup>4)</sup> „Голосъ“ 1880, № 159. Телеграммы (Рѣчь, произнесенная О. М. Достоевскимъ на 2-мъ засѣданіи О. Л. Р. С.). Стр. 3.

<sup>5)</sup> Помимо уже цитированныхъ газетъ и журналовъ, впечатлѣнія рѣчи Достоевскаго переданы, напр., въ слѣдующихъ столичныхъ и провинціальныхъ періодическихъ изданіяхъ: „Современность“ 1880, №№ 99 и 100: Празднество Пушкину въ Москвѣ; „Газета А. Гатнука“ 1880, № 24: Торжество открытія памятника А. С. Пушкину, стр. 396—411; „Церковно-общественный Вѣстникъ“ 1880, № 70: Внутреннія извѣстія. Пушкинскій праздникъ въ Москвѣ, стр. 5—6; „Церковный Вѣстникъ“ 1880, № 24: Лѣтописи. Прошлая недѣля въ Россіи и за границей, стр. 10; „Огонекъ“ 1880, № 26: Празднованіе открытія памятника А. С. Пушкину въ Москвѣ, стр. 495—498; „Ива“ 1880, № 25: Открытіе памятника А. С. Пушкину въ Москвѣ, стр. 503—508 (передается содержаніе рѣчи Д-го); „Всемирная Иллюстрація“ 1880, №№ 599—600: Открытіе памятника Пушкину въ Москвѣ; „Будильникъ“ 1880, № 24: Пушкинскіе дни въ Москвѣ, стр. 650—652; „Кіевлянинъ“ 1880, № 132: Внутреннія извѣстія (О Пушкинской рѣчи О. М. Достоевскаго); „Тверской Вѣстникъ“ 1880, № 23: Открытіе памятника Пушкину и № 24: Конецъ Пушкинскаго праздника въ Москвѣ. Н. Стечкинъ.—„Молва“ о рѣчи Достоевскаго; „Вѣдомости Одесскаго Градоначальства“ 1880, № 130: Засѣданіе въ Обществѣ Любителей Россійской Слоvesности, 8-го іюня; „Рижскій Вѣстникъ“ 1880, № 135: Содержаніе рѣчи Достоевскаго и Аксакова о Пушкинѣ; „Варшавскій Дневникъ“ 1880, № 121: Телеграммы Варшавскаго Дневника и 129: Празднество памяти Пушкина. Москвитинъ. Ссылки на другія изданія, откликнувшіяся на „Пушкинскіе дни“ въ Москвѣ, см. ниже.

идеаль, началось и критическое отношеніе къ содержанію его рѣчи. Въ ней рядомъ съ „ветхозавѣтнымъ паѳосомъ“ и „похвалами русскому народу“, отъ которыхъ у присутствующихъ „захватило дыханіе“, увидѣли противорѣчія, которыхъ не нашли въ спокойной рѣчи Тургенева <sup>1)</sup>. По силѣ одушевленія Достоевскаго сравнивали съ Петромъ Пустынникомъ и признавали за его рѣчью „глубокій умъ“, который „ищетъ въ толпѣ своихъ грезъ и призраковъ недосягаемаго свѣта истины, самой настоящей, самой лучшей и, притомъ, своей оригинальной истины“; но въ то же время его рѣчь считали „весьма уязвимой въ историческомъ и философскомъ отношеніи“ <sup>2)</sup>. Другіе, наоборотъ, не находили никакой оригинальности въ провозглашенномъ Достоевскимъ идеаль, потому что уже „раньше его нѣмецкіе писатели старались усвоить германскому національному генію идеаль общечеловѣчности и стремленія къ общему братству, истекающаго изъ лучшаго знанія нѣмцами особенностей другихъ народовъ“, и даже считали подобный идеаль на практикѣ несомѣстимымъ съ прогрессивнымъ развитіемъ русской жизни: если работать надъ своимъ бытомъ, то не надо стремленія къ „всечеловѣчности“; если же свое оставить, то идеаль „всечеловѣчности“ обратится въ „программу застоя въ настоящемъ съ мечтою о „гармоніи“ въ будущемъ“ <sup>3)</sup>. При такомъ пониманіи „замѣчательная“ рѣчь Достоевскаго приобрѣтала характеръ чего-то не только противорѣчиваго, но и „нѣсколько фантастичнаго“ <sup>4)</sup>. Она блестяща по своимъ эффектнымъ частностямъ: „Великія отдѣльныя философскія мысли и неподобныя поэтическія картины, неподражаемыя характеристики типовъ, глубокій, превосходный анализъ чувствъ и нравственныхъ теченій въ обществѣ и человѣкѣ, безбрежная гуманистическая струя во имя любви, совершенства, правды, смѣлость переходовъ и величіе мыслей, посвященныхъ судьбамъ и вопросамъ всего человѣчества, — все это лилось у Достоевскаго широкою

<sup>1)</sup> „Древняя и Новая Россія“ 1880, іюнь (№ 6): Открытіе памятника Пушкину въ Москвѣ (Изъ записной книжки депутата). Стр. XVI.

<sup>2)</sup> „Новости“ 1880, № 154: Пушкинскій праздникъ. Михневичъ.

<sup>3)</sup> „Страна“ 1880, № 46: Петербургъ, 11 іюня. Стр. 2.

<sup>4)</sup> „Страна“ 1880, № 48: Москва. Пушкинскій праздникъ. 5—8 іюня. Стр. 5.

рѣкою, захватывая духъ у слушателей и мѣняя у нихъ одинъ эффектъ другимъ, не менѣе сильнымъ и не менѣе цѣльнымъ<sup>1)</sup>... Но въ основѣ своей она всетаки сводится къ „славянофильскимъ побрякушкамъ“ и не выдерживаетъ критики со стороны своего призыва къ смиренію „гордаго человека“<sup>2)</sup>. „Художникъ-психологъ“, Достоевскій, обладаетъ талантомъ вкрадываться въ души своихъ слушателей, ослѣплять ихъ возвышенностью идеи, поражать ихъ величіемъ смѣло начертаннаго идеала; но его идеаль „всечеловѣчности“ можетъ сопровождаться „застоемъ внутренней жизни, самымъ унижительнымъ положеніемъ въ нравственномъ, умственномъ и литературномъ отношеніяхъ“<sup>3)</sup>. „Талантъ Достоевскаго оказалъ услугу его парадоксамъ, увлекъ, подкупилъ насъ, и мы были въ упоеніи національнаго самообольщенія“<sup>4)</sup>... Но — дополняетъ эту мысль другая замѣтка о рѣчи Достоевскаго — „мы считаемъ даже вредными эти толки о нашихъ фантастическихъ совершенствахъ, когда дѣйствительность ежечасно напоминаетъ о гораздо болѣе скромныхъ, весьма существенныхъ, но далеко не удовлетворенныхъ потребностяхъ русской жизни, и національной и внутренне-общественной“<sup>5)</sup>...

Такое разногласіе въ оцѣнкѣ рѣчи Достоевскаго объясняется, конечно, прежде всего тѣмъ, что провозглашенный имъ идеаль былъ слишкомъ серьезенъ и поэтому до известной степени обязывалъ критику дать отчетъ въ томъ, какъ слѣдуетъ отнестись къ этому идеалу. Кромѣ того, Достоевскій въ своей рѣчи впервые высказался цѣликомъ — широко и откровенно, не въ предѣлахъ ограниченной мѣстомъ и временемъ фабулы романа и не подъ прикрытіемъ тенденціозно-художественной аллегоріи, а примѣнительно ко всей русской жизни, взятой въ ея историческомъ и современномъ цѣломъ

<sup>1)</sup> „Молва“ 1880, № 162: Пушкинская педѣля въ Москвѣ. — Второе засѣданіе Общества Любителей Словесности. Буква (—И. О. Василевскій). Стр. 2.

<sup>2)</sup> „Молва“ 1880, № 163: Среди газетъ и журналовъ. Стр. 2.

<sup>3)</sup> „Русскій Курьеръ“ 1880, № 163: Передовая статья. Москва, 17 іюня. Стр. 1. „Р. Курьеръ“ цитируетъ мнѣніе „Молвы“ о рѣчи Достоевскаго

<sup>4)</sup> „Берегъ“ 1880, № 107: Впечатлѣнія одного изъ депутатовъ на открытіи памятника Пушкину. Н. Хрущовъ. Стр. 2. Описаніе впечатлѣній отъ рѣчи Достоевскаго см. также „Берегъ“ 1880, № 77: Телеграммы. Стр. 1.

<sup>5)</sup> „Вѣстникъ Европы“ 1880, іюль. Съ Пушкинскаго праздника. 5—8 іюня. Н. А. Стр. XXXIII.

и названной въ ея основныхъ свойствахъ тѣмъ — не иносказательными, а прямыми — именами, которыя, конечно, приходили автору на умъ и раньше, но не были имъ выговорены; это обстоятельство, еще болѣе усиливая разногласіе въ критикѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ побуждало ее подвести, наконецъ, итоги возрѣніямъ Достоевскаго, выраженнымъ въ такой цѣльной и сжатой формѣ. И дѣйствительно, критика обратилась къ подведенію этихъ итоговъ, особенно послѣ того, какъ рѣчь Достоевскаго появилась въ печати <sup>1)</sup>.

Своего рода сигналомъ къ этому подведенію итоговъ послужило извѣстное возраженіе противъ рѣчи Достоевскаго со стороны А. Д. Градовскаго, напечатанное въ „Голосѣ“ <sup>2)</sup>. А. Д. Градовскій видитъ въ рѣчи Достоевскаго „двѣ вещи: оцѣнку Пушкина, какъ народнаго поэта, и нѣкоторое исповѣданіе вѣры самого оратора“. Признавая за Достоевскимъ глубокое проникновеніе въ суть пушкинской поэзіи, г. Градовскій однако находитъ, что онъ „не далъ (разбираемымъ имъ въ рѣчи пушкинскимъ) типамъ полного объясненія именно потому, что связалъ ихъ не со всѣмъ послѣдующимъ движениемъ нашей литературы, а исключительно со своимъ міросозерцаніемъ, представляющимъ много слабыхъ сторонъ“. Обращаясь къ этому міросозерцанію, насколько оно переплелось съ образами поэзіи Пушкина, г. Градовскій отмѣчаетъ прежде всего то, что у Достоевскаго нѣтъ объясненія, „откуда взялись эти „скитальцы“ типа Алеко, „эти мученики, оторванные отъ народа“, точнѣе говоря, — нѣтъ объясненія, что именно вызвало эту свойственную русской интеллигенціи болѣзнь, корень которой Достоевскій видитъ въ отчужденіи интеллигенціи отъ народа; Достоевскій не досказалъ особенно важнаго обстоятельства, именно что это отчужденіе, породившее „лишнихъ людей“, было въ сущности отрицаніемъ, но не „народной правды“, не „коренныхъ началъ русскаго

<sup>1)</sup> Рѣчь О. М. Достоевскаго, появившаяся сначала въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ 1880, № 162, была потомъ напечатана въ „Дневникѣ Писателя“ 1880, авг., глава вторая; кромѣ того она была перепечатана въ цѣломъ рядѣ газетъ и журналовъ 1880 г. (См. А. Достоевская, Библиографическій указатель..., стр. 48—49, №№ 574—587).

<sup>2)</sup> „Голосъ“ 1880, № 174: Мечты и дѣйствительность (По поводу рѣчи О. М. Достоевскаго). А. Градовскій.

міросозерцанія,“ а отрицаніемъ той „тѣневой стороны“, того „мрака“ русской жизни, которыя изобразилъ Гоголь, эта „великая обратная сторона Пушкина“. Разъ не выяснена дѣйствительная причина отчужденія и отрицанія, которыми болѣютъ русскіе скитальцы, то нѣтъ основанія, по мнѣнію г. Градовскаго, видѣть „источникъ ихъ очужденія“ въ гордости и призывать ихъ къ смиренію. „Нельзя, конечно, отрицать въ этихъ типахъ значительной доли гордости; мало того: нельзя не видѣть въ нихъ и великой дозы себялюбія, выразившагося въ такихъ трагическихъ чертахъ въ исторіи Алеко. Но и гордость и себялюбіе не были ихъ первоначальными грѣхамъ, не были и первою причиною ихъ „скитальчества“, физическаго или духовнаго. Совершенно напротивъ: гордость и себялюбіе явились результатомъ ихъ отчужденія, долговременнаго отрицательнаго отношенія ко всему окружающему, плодомъ ихъ одиночества. Черты эти неприглядны—спора нѣтъ. По временамъ онѣ отвратительны, и не даромъ Пушкинъ развѣнчивалъ своихъ героевъ. Но не въ нихъ суть болѣзни: онѣ ея симптомы, ея придатокъ. Лѣчить симптомы и оставлять корень болѣзни едва ли разсудительно. Вотъ почему мы не можемъ согласиться вполне со слѣдующею моралью, выведенною г. Достоевскимъ изъ исторіи Алеко: „Смирись, гордый человѣкъ, и, прежде всего, слѣди свою гордость; смирись, праздный человѣкъ, и прежде всего, потруди на родной нивѣ—вотъ это рѣшеніе по народной правдѣ и народному разуму“. Что гордость и праздность суть пороки, это не подлежитъ сомнѣнію. Но въ данномъ случаѣ, всетаки, остается нерѣшеннымъ: гордость—относительно чего? праздность—почему? Передъ чѣмъ „гордились“ эти люди? Почему они не находили себѣ дѣла въ „родной нивѣ“? Не рѣшенъ вопросъ, передъ чѣмъ гордились „скитальцы“, остается безъ отвѣта и другой—передъ чѣмъ слѣдуетъ „смириться“. Г. Достоевскій останавливается на этихъ вопросахъ такъ, какъ будто бы вся суть дѣла въ личныхъ качествахъ „гордящихся“ и не желающихъ „смириться“. Объясняя, что долженъ познать „гордящійся скиталецъ“, онъ говоритъ ему: „Не внѣ тебя правда, а въ тебѣ самомъ, найди



себя въ себѣ, подчини себя себѣ, овладѣй собою,—и узришь правду. Не въ вещахъ эта правда, не внѣ тебя, не за моремъ гдѣ-нибудь, а прежде всего въ твоёмъ собственномъ трудѣ надъ собою. Побѣдишь себя, смиришь себя,—и станешь свободенъ, какъ никогда и не воображалъ себѣ, и начнешь великое дѣло и другихъ свободными сдѣлаешь, и узришь счастье, ибо пополнится жизнь твоя, и поймешь, наконецъ, народъ свой и святую правду его. Не у цыганъ и нигдѣ міровая гармонія, если ты первый самъ ея недостоинъ, злобенъ и гордъ, и требуешь жизни даромъ, даже и не предполагая, что за нее надо заплатить“.

„Въ этихъ строкахъ—думаетъ Градовскій—г. Достоевскій выразилъ „святая святыхъ“ своихъ убѣждений, то, что составляетъ одновременно и силу и слабость автора „Братьевъ Карамазовыхъ“. Въ этихъ словахъ заключенъ великій религіозный идеалъ, мощная проповѣдь личной нравственности, но нѣтъ и намека на идеалы общественные. Г. Достоевскій призываетъ работать надъ собой и смирить себя. Личное совершенствованіе въ духѣ христіанской любви есть, конечно, первая предпосылка для всякой дѣятельности, большой или малой“... Но „личная и общественная нравственность не одно и то же... Улучшеніе людей въ смыслѣ общественномъ не можетъ быть произведено только работой „надъ собой“ и „смирениемъ себя“. Работать надъ собой и смирять свои страсти можно и въ пустынѣ и на необитаемомъ островѣ. Но, какъ существа общественныя, люди развиваются и улучшаются въ работѣ другъ подлѣ друга, другъ для друга и другъ съ другомъ. Вотъ почему въ весьма великой степени общественное совершенство людей зависитъ отъ совершенства общественныхъ учреждений, воспитывающихъ въ чловѣкѣ если не христіанскія, то гражданскія доблести. Съ этой именно точки зрѣнія, причину „скитальчества“ должно искать не въ однихъ личныхъ качествахъ „скитальцевъ“, а въ качествахъ общественныхъ учреждений прежняго времени. Теперь было бы нелѣпо утверждать, что они погибали отъ своей „гордости“ и не хотѣли смириться передъ „народною правдою“. Никто никогда не отрицалъ прекраснѣйшихъ ка-

чествъ русскаго человѣка, скажемъ больше: если въ душѣ лучшихъ изъ этихъ „скитальцевъ“ первой половины нашего столѣтія и сохранился какой-нибудь помыселъ, то это былъ именно помыселъ о народѣ; самая жгучая изъ ихъ ненавистей была обращена именно къ рабству, тяготѣвшему надъ народомъ. Пусть они любили народъ и ненавидѣли крѣпостное право по своему, по „европейски“, что ли. Но кто же, какъ не они подготовили общество наше къ упраздненію крѣпостного права? Чѣмъ могли, и они послужили „родной нивѣ“, сначала въ качествѣ проповѣдниковъ освобожденія, а потомъ въ качествѣ мировыхъ посредниковъ первой очереди. Значительная часть скитальцевъ даже не отрицала, что въ глубинѣ русскаго духа таится нѣчто величавое въ нравственномъ смыслѣ. Но позволительно сказать, что это „прекрасное“ было прикрыто толстымъ слоемъ грязи и что народная „правда“ какъ-то странно выражалась въ „криво-судіи“ отжившихъ учрежденій“.

Обращаясь, наконецъ, къ основному положенію Достоевскаго, съ точки зрѣнія котораго онъ именно и произноситъ свой судъ надъ скитальцами, т. е. къ его пониманію „народныхъ идеаловъ“, А. Д. Градовскій доходитъ „до самаго важнаго пункта“ въ своемъ „разномысліи“ съ Достоевскимъ: „Требуя смиренія передъ народной правдой, передъ народными идеалами, онъ принимаетъ эту „правду“ и эти идеалы, какъ нѣчто готовое, незыблемое и вѣковѣчное. Мы позволимъ себѣ сказать ему—нѣтъ. Общественные идеалы народа находятъ еще въ процессѣ образованія, развитія. Ему еще много надо работать надъ собою, чтобъ сдѣлаться достойнымъ имени великаго народа. Еще слишкомъ много неправды, остатковъ вѣкового рабства, засѣло въ немъ, чтобъ онъ могъ требовать себѣ поклоненія и, сверхъ того, претендовать еще на обращеніе всей Европы на путь истинный, какъ это предсказываетъ г. Достоевскій. Странное дѣло! Человѣкъ, казнящій гордость въ лицѣ отдѣльныхъ скитальцевъ, призываетъ къ гордости цѣлый народъ, въ которомъ онъ видитъ какого-то всемірнаго апостола. Однимъ онъ говоритъ: „смирись!“ Другому говоритъ: „возвышайся!“ Послушаемъ, къ чему г. До-

стоевскій предназначаетъ Россію: „Впослѣдствіи, я вѣрю въ это, мы, т. е., конечно, не мы, а будущіе, грядущіе русскіе люди, поймутъ уже всѣ до единого, что стать настоящимъ русскимъ и будетъ именно значить: стремиться внести примиреніе въ европейскія противорѣчія уже окончательно, указать исходъ европейской тоскѣ въ своей русской душѣ, всечеловѣчной и всесоединяющей, вмѣстить въ нее съ братскою любовью всѣхъ нашихъ братьевъ, а, въ концѣ-концовъ, можетъ быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармоніи, братскаго окончательнаго согласія всѣхъ племенъ по Христову евангельскому закону“.

Наоборотъ, г. Градовскій думаетъ, что, вмѣсто этого возвеличенія русскаго народа до роли творца „окончательной гармоніи“, „правильнѣе было бы сказать и современнымъ „скитальцамъ“ и „народу“ одинаково: смиритесь передъ требованіями той общечеловѣческой гражданственности, къ которой вы, слава Богу, пріобщились, благодаря реформѣ Петра. Впитайте въ себя все, что произвели лучшаго народы —учители ваши. Тогда, переработавъ въ себѣ всю эту умственную и нравственную пищу, вы сумѣете проявить и всю силу вашего національнаго генія, внести и свою долю въ сокровищницу всечеловѣческаго. Ни одинъ народъ не получилъ всемірно-историческаго значенія, не возвысившись на степень народности, и каждая народность въ свое время проходила черезъ школу всечеловѣческаго, какъ прошли ее народы Европы въ эпоху среднихъ вѣковъ и возрожденія. А тутъ, не сдѣлавшись какъ слѣдуетъ народностью, вдругъ мечтать о всечеловѣческой роли! Не рано ли?... Нѣтъ, затвердимъ и замѣтимъ разъ навсегда, что истинно-всечеловѣческое значеніе мы можемъ пріобрѣсти только послѣ того, какъ мы разовьемся и укрѣпимся въ качествѣ народности, умѣющей и могущей дѣлать свое общественное дѣло, какъ мы, воспринявъ свободно начала общечеловѣческой культуры, откроемъ пути и средства для нашего творчества, которое безъ того навсегда останется въ видѣ зародыша, давая міру однихъ нелѣпыхъ „самоучекъ“, начиная отъ самоучекъ-механиковъ и кончая самоучками - „революціонерами“. Тогда

выступить въ полномъ блескѣ „народная правда“, на этотъ разъ уже нескрытая и неспрятанная подъ семью замками, а сіяющая какъ солнце. Тогда не будетъ уже мѣста скитальцамъ, или, лучше сказать, имъ будетъ мѣсто за общимъ народнымъ трудомъ. Тогда исчезнуть и глупыя мечты о „всемирномъ счастьи“, потому что каждый пойметъ, что отдѣльный человѣкъ можетъ служить человѣчеству только чрезъ свой народъ и что внѣ этого народа ему нигдѣ нѣтъ мѣста. Коротко говоря: нужно только смѣло и бодро идти по пути, открытому съ 1861 года, когда устранена была главная причина нашего „скитальчества“. То, что мы видимъ теперь, есть только наслѣдіе временъ минувшихъ, и, мы вѣримъ въ это, типы нашихъ скитальцевъ не суть типы „постоянные“. Они прейдутъ вмѣстѣ съ ростомъ русскаго общества и народа“.

Такимъ образомъ А. Д. Градовскій въ конечныхъ выводахъ, можно сказать, ставить въ упрекъ Достоевскому, какъ автору рѣчи о Пушкинѣ, замалчиваніе дѣйствительнаго источника происхожденія русскаго скитальчества, замѣну „общественной нравственности“ или „общественнаго совершенствованія“ нравственностью личной или личнымъ совершенствованіемъ и, наконецъ, превратное пониманіе русскихъ народныхъ идеаловъ, находящихся еще въ „процессѣ развитія“, какъ чего-то „готоваго, неизбѣжнаго и вѣковѣчнаго“.

Къ этимъ вѣскимъ и академически спокойнымъ возраженіямъ А. Д. Градовскаго Г. И. Успенскій въ іюньской книжкѣ „Отеч. Записокъ“ прибавилъ отъ себя и болѣе жесткое обвиненіе Достоевскаго въ склонности къ соображеніямъ „уже не всечеловѣческаго, а всезачьяго смысла“. Статья Г. И. Успенскаго <sup>1)</sup> сдѣлалась другимъ центромъ, около котораго, какъ и около статьи Градовскаго, группировались на первыхъ порахъ критическія вылазки противъ рѣчи Достоевскаго. Соглашаясь, что рѣчь Достоевскаго, сказанная просто, безъ громкихъ фразъ, устами Пушкина, объяснила слушающему

<sup>1)</sup> „Отеч. Зап.“ 1880, іюнь (№ 6): Пушкинскій праздникъ (Письмо изъ Москвы). Г. У. Стр. 186—196. (= Г. Успенскій, Полное собраніе сочиненій, изд. Т-ва А. Ф. Марксъ, Спб. 1908, т. 6: Праздникъ Пушкина. Письмо изъ Москвы—іюнь 1880 г. Стр. 592—600).

ее обществу „кое-что въ теперешнемъ его положеніи, въ теперешней заботѣ, въ теперешней тоскѣ“, — Г. И. Успенскій находитъ однако, что при внимательномъ чтеніи рѣчи въ печати она представляется „загадкой, которую нѣтъ охоты разгадывать и которая сводитъ весь смыслъ рѣчи почти на нуль“. Эта загадка обусловлена — такъ думаетъ Успенскій — постоянными противорѣчіями или, такъ сказать, постоянною измѣною Достоевскаго основному смыслу рѣчи, что на языкѣ Успенскаго и называется „соображеніями всезаячьяго свойства“. „Чтобы читатели могли — говорить онъ — яснѣе видѣть, до какой степени рѣчь г. Достоевскаго теряетъ въ пониманіи благодаря этимъ заячьимъ прыжкамъ, приведемъ выписки изъ подлиннаго, напечатаннаго текста...; Вотъ что г. Достоевскій говоритъ о духѣ русскаго народа: „... Что такое сила духа русской народности, какъ не стремленіе ея, въ конечныхъ цѣляхъ своихъ, къ всемірности и къ всечеловѣчности? Да, назначеніе русскаго человѣка есть безспорно всемірное, всеевропейское. Стать настоящимъ русскимъ, стать вполне русскимъ, можетъ быть, и значить только (въ концѣ концовъ, это подчеркните) стать братомъ всѣхъ людей, всечеловѣкомъ, если хотите... Для настоящаго русскаго Европа и удѣлъ аріійскаго племени такъ же дороги, какъ и сама Россія, какъ удѣлъ родной земли... Что нашъ удѣлъ и есть всемірность... Стать настоящимъ русскимъ и будетъ именно значить — ввести примиреніе въ европейскія противорѣчія... Ко всемірному, всечеловѣческому братству сердце русское, быть можетъ, изъ всѣхъ народовъ наиболѣе предназначено“. А вотъ что говоритъ г. Достоевскій о русскомъ „страдальцѣ“: „Въ Алеко Пушкинъ отыскалъ и гениально отмѣтилъ того несчастнаго скитальца въ родной землѣ, того историческаго русскаго страдальца, столь исторически явившагося въ оторванномъ отъ народа обществѣ нашемъ. Это типъ постоянный и надолго поселившійся въ русской землѣ. Эти русскіе бездомные скитальцы продолжаютъ и до сихъ поръ свое скитальчество и, если въ наше время не ходятъ въ цыганскій таборъ искать въ ихъ дикомъ, своеобразномъ бытѣ

своихъ міровыхъ идеаловъ и успокоенія отъ сбивчивой и нелѣпой жизни нашего русскаго интеллигентнаго общества, то все равно ударяются въ социализмъ, ходятъ съ новою вѣрою на другую ниву и работаютъ на ней ревностно, вѣруя, какъ и Алеко, что достигнуть въ своемъ фантастическомъ дѣланіи цѣлей своихъ и счастья не только для самихъ себя, но и всемірнаго, ибо русскому скитальцу именно необходимо всемірное счастье, чтобы успокоиться, дешевле онъ не помирится... Это все тотъ же русскій человѣкъ, только въ разное время явившійся". Этихъ выписокъ, кажется, вполне достаточно для того, чтобы видѣть неразрывную связь скитальца съ народомъ, его чисто-народныя черты; въ немъ все народно, все исторически неизбѣжно, законно... Но у г. Достоевскаго, оказывается, былъ умыселъ другой. Уже и въ тѣхъ выпискахъ изъ его рѣчи, которыя приведены, читатель можетъ видѣть мѣстами нѣчто всезячье. Тамъ воткнуто, какъ бы нечаянно, слово „можетъ быть“, тамъ поставлено, тоже какъ бы случайно, рядомъ „постоянно“ и „надолго“, тамъ ввернуты слова „фантастическій“ и „дѣланіе“, то есть выдумка, хотя немедленно же и заглушены увѣреніемъ совершенно противоположнаго свойства: необходимостью, которая не даетъ возможности продешевить, и т. д. Такіе заячьи прыжки даютъ автору возможность превратить мало-по-малу все свое „фантастическое дѣланіе“ въ самую ординарную проповѣдь полнѣйшаго омертвѣнія. Помаленьку да полегоньку, съ кочки на кочку, прыгъ да прыгъ, всезяцъ мало-по-малу допрыгиваетъ до непроходимой дебри, въ которой не видать ужъ и его заячьяго хвоста. Тутъ оказалось, какъ - то незамѣтно для читателя, что Алеко, который, какъ извѣстно, типъ вполне народный, изгоняется народомъ именно потому, что ненароденъ. Точно также народный типъ скитальца, Онѣгинъ, получаетъ отставку отъ Татьяны тоже потому, что ненароденъ. Какъ-то оказывается, что всѣ эти скитальчески-человѣческія народныя черты—черты отрицательныя. Еще прыжокъ, и „всечеловѣкъ“ превращается „въ былинку, носимую - вѣтромъ“, въ человѣка - фантазера безъ почвы... „Смирись! — вопіетъ грозный гласъ: — счастье не за морями!“ Что же это такое?

Что же остается от всемірнаго журавля? Остается Татьяна, ключъ и разгадка всего этого „фантастическаго дѣланія“. Татьяна, какъ оказывается, и есть то самое пророчество, изъ-за котораго весь сыръ-боръ загорѣлся. Она потому пророчество, что, прогнавши отъ себя всечеловѣка, потому что онъ безъ почвы (хотя ему и нельзя взять дешевле), предаетъ себя на съѣденіе старцу-генералу (ибо не можетъ основать личнаго счастья на несчастьѣ другого), хотя въ то же время любитъ скитальца. Отлично: она жертвуетъ собою. Но — увы — тутъ же оказывается, что жертва эта педобровольная: „я другому отдана!“ Нанялся — проданъ. Оказывается, что мать насильно выдала ее за старца, а старецъ, который женился на молоденькой, не желавшей идти за него замужъ (этого старецъ не могъ не знать), именуется въ той же рѣчи „честнымъ человѣкомъ“. Неизвѣстно — что представляетъ собою мать? Вѣроятно, тоже что-нибудь всемірное. Итакъ, вотъ къ какой проповѣди тупого, подневольнаго, грубаго жертвоприношенія привело автора обиліе заячьихъ идей“.

Такимъ образомъ, по мнѣнію Г. Успенскаго, весь идеалъ Достоевскаго обращается въ концѣ концовъ въ „самую ординарную проповѣдь полнѣйшаго мертвѣнія“.

Возраженія на рѣчь Достоевскаго, сдѣланныя А. Д. Градовскимъ и Г. И. Успенскимъ, въ разныхъ оттѣнкахъ и варіаціяхъ повторены были въ прогрессивной части періодической печати. „Молва“ изложила содержаніе статьи Градовскаго <sup>1)</sup>, привела надлежащую справку изъ современной западноевропейской литературы о разочарованіи иностранцевъ въ „святой Руси“ <sup>2)</sup>, объяснила происхожденіе русскаго скитальчества несоотвѣтствіемъ практики русской жизни идеаламъ, выносимымъ изъ школьнаго образованія <sup>3)</sup>, отвергла положеніе Достоевскаго объ отчужденности интеллигенціи отъ народа <sup>4)</sup>, подыскала къ „поэтическимъ видѣніямъ“ грядущаго мессіанизма Россіи у Достоевскаго соотвѣтствующую параллель въ польской литературѣ <sup>5)</sup> и т. д. Наконецъ, въ „Молвѣ“, въ статьѣ

<sup>1)</sup> „Молва“ 1880, № 174. Среди газетъ и журналовъ.

<sup>2)</sup> „Молва“ 1880, № 171. Среди газетъ и журналовъ.

<sup>3)</sup> „Молва“ 1880, № 176. Журналистика. Грель (== Г. К. Градовскій).

<sup>4)</sup> „Молва“ 1880, № 227. Изъ газетъ и журналовъ.

<sup>5)</sup> „Молва“ 1880, № 243. Поэтическія видѣнія и горькая дѣйствительность. А. З.—нѣ.

Г. К. Градовскаго, нашелъ свое дальнѣйшее развитіе обмѣнъ мнѣній между А. Д. Градовскимъ и Ѳ. М. Достоевскимъ въ томъ смыслѣ, что на отвѣтъ Достоевскаго А. Градовскому<sup>1)</sup> здѣсь напечаталъ свои возраженія Г. Градовскій, принявшій подѣ свою защиту западничества и его отношеніе къ народу. „Позвольте намъ вѣрить — говорить между прочимъ Г. Градовскій —, такъ же горячо вѣрить, какъ и вы, г. Достоевскій, что русскій народъ не только не утратилъ своей самобытности, своего духа, но разовѣетъ ихъ еще лучше, еще красивѣе и полнѣе, нежели онъ теперь это въ силахъ сдѣлать, при нынѣшнихъ условіяхъ. Вотъ вы называете эти условія исполнѣ русскими народными, а мы позволяемъ себѣ сомнѣваться въ этомъ. Вы со страхомъ на Западъ поглядываете, а мы не безъ боязни на Востокъ оглядываемся, спрашивая: да полно, не татарское-ли, не азіатское-ли, не то-ли именно, что вы (т. е. не вы, а многіе изъ васъ) выдаете иногда за коренное и неотъемлемое русское?... Мы просимъ васъ и всѣхъ объ одномъ: если вы вѣрите въ русскій народъ, дайте же ему самому средства говорить за себя. Вы все кричите, что надо ожидать, надо свои особенныя формы изобрѣсти; вы боитесь, что общечеловѣческія формы чужды намъ и отжили свой вѣкъ. Да когда же, наконецъ, вы соберетесь, создать эти особенныя формы? Дайте ихъ, — и мы послѣдуемъ за вами, безповоротнѣе, искреннѣе, горячѣе, чѣмъ ваши обманутые слушатели въ Москвѣ. Вѣдь и то тысячу лѣтъ прождали“...<sup>2)</sup>

Почти одновременно съ указанными статьями „Молвы“ возраженія А. Градовскаго и Г. Успенскаго на рѣчь Достоевскаго были усвоены критикой „Новостей“. Здѣсь В. В. Чуйко резюмировалъ отзывы о рѣчи Достоевскаго, напечатанные въ „Вѣстникѣ Европы“, въ „Отеч. Запискахъ“ и въ „Словѣ“, и въ особенности остановился на темѣ Г. Успенскаго „о все-

<sup>1)</sup> „Дневникъ Писателя“ 1880, августъ (Единственный выпускъ на 1880 г.). Глава третья. Придирка къ случаю. — Четыре лекціи по поводу одной лекціи, прочитанной мнѣ г. А. Градовскимъ. — Съ обращеніемъ къ г. Градовскому. — I. Объ одномъ самомъ основномъ дѣлѣ. — II. Алеко и Держиморда. — Страданія Алеко по крѣпостному мужику. — Анекдоты. — III. Двѣ половинки. — IV. Одному смирился, а другому гордился. — Буря въ стаканчикѣ.

<sup>2)</sup> „Молва“ 1880, № 225. Журналистика, Григорій Градовскій. Стр. 2.



человѣкъ и о заячьихъ свойствахъ г. Достоевскаго<sup>1)</sup>; а В. О. Михневичъ охарактеризовалъ „полемиически-пророческія“ „лекціи“ Достоевскаго, направленныя противъ „либераловъ“ и „западниковъ“, т. е. возраженія Достоевскаго А. Градовскому, напечатанныя въ августовскомъ выпускѣ „Дневника Писателя“ 1880 года. По поводу рѣчи Достоевскаго В. О. Михневичъ, между прочимъ, еще разъ проводитъ ту параллель между Достоевскимъ и Гоголемъ, къ которой неоднократно прибѣгала критика въ своихъ выступленіяхъ противъ автора „Дневника Писателя“ и „Братьевъ Карамазовыхъ“. „Дневникъ“ г. Достоевскаго—говоритъ онъ—живьемъ возстановилъ въ моей памяти самыя выразительнѣйшія мѣста изъ, печальной извѣстности, „Переписки съ друзьями“ Гоголя! Одновременно, конечно, возстановился и тотъ чудовищный фантомъ мракобѣсія, который затемнилъ и подавилъ богатые душевные силы безсмертнаго творца „Мертвыхъ Душъ“. Сходство въ мысляхъ, въ духѣ, въ направленіи, даже въ тонѣ изложенія, оказалось поразительное! Тѣ же эпилептического характера наитія, то же призываніе всеу имени Христа и тотъ же непроглядный мракъ и мракъ. Читатель въ этомъ, надѣюсь, сейчасъ убѣдится. Г. Достоевскій, какъ въ московской рѣчи, такъ и въ комментаріяхъ къ ней въ „Дневникѣ“, отрицаетъ Европу и всю ея цивилизацію, а вмѣстѣ съ тѣмъ отрицаетъ и „русскій европеизмъ“, всѣхъ нашихъ „западниковъ“ и „либераловъ“, которыхъ онъ олицетворилъ въ своемъ знаменитомъ „скитальцѣ“, чуждомъ народу и „оторванномъ отъ почвы“. Западное „просвѣщеніе“ Россіи не нужно, ибо она имѣетъ свое, гораздо высшее и прочнѣйшее, въ Христовой вѣрѣ; имѣетъ все нужное въ самой себѣ, въ сокровищахъ народнаго духа, для того, чтобы воспроизвести „всечеловѣка“, спасти и объединить человечество силою своей любви и устройствомъ „всебратскаго“,

<sup>1)</sup> „Новости“ 1880, № 195. Литературная Хроника. Русская „толстая“ журналистика о Пушкинскомъ праздникѣ.—Три пункта, подвергнувшіеся изслѣдованію журналовъ: воодушевленіе во время праздника и характеръ его, рѣчь г. Достоевскаго, incident Katkoff.—Отзывы „Вѣстника Европы“, „Отеч. Записокъ“ и „Слова“ объ этихъ трехъ пунктахъ.—Характеристика праздника, сдѣланная „Вѣстникомъ Европы“.—Московское ораторство по отзывамъ „Отеч. Записокъ“.—О всечеловѣкѣ и о заячьихъ свойствахъ г. Достоевскаго.—Какъ онъ посмѣялся надъ русскимъ человѣкомъ. В. Ч.

на новыхъ началахъ, „нормальнаго“ общества... Въ этихъ пунктахъ (Достоевскій), почти буква въ букву, сходится съ авторомъ „Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями“...<sup>1)</sup>

Подобнымъ же образомъ откликнулась на выступленія А. Градовскаго и Г. Успенскаго „Страна“. Здѣсь Арс. И. Введенскій, присоединяясь вполне къ мнѣнію Г. Успенскаго, еще разъ подчеркнул, что въ рѣчи Достоевскаго нѣтъ логики: Евгеній Онѣгинъ и Алеко у него то народные скитальцы, то ненародны и безпочвенны; согласился г. Введенскій и съ тѣмъ выводомъ Г. Успенскаго, что въ истолкованіи характера Татьяны рѣчь Достоевскаго свелась къ „проповѣди тупого, подневольнаго, грубаго жертвоприношенія“<sup>2)</sup>. Тотъ же критикъ, возражая на „лекціи“ Достоевскаго, обращенныя къ А. Д. Градовскому, старательно развиваетъ приведенную выше мысль послѣдняго о томъ, что помимо личнаго самосовершенствованія необходима общественная работа, и что однимъ смиреніемъ нельзя создать ни личнаго, ни общественнаго благополучія<sup>3)</sup>. Иногда газетная критика относилась къ обмѣну мнѣній между Градовскимъ и Достоевскимъ даже съ излишней страстностью: такъ напр., „Петербургскій Листокъ“ называетъ возраженія Достоевскаго „злыми препираніями съ Градовскимъ“, еще болѣе увеличивающими недоумѣнія, вызванныя его рѣчью<sup>4)</sup>. По отношенію же къ упомянутой выше статьѣ Г. К. Градовскаго въ газетѣ „Берегъ“ было замѣчено, что Г. Градовскій слишкомъ слабо и неуважительно воюетъ съ „мракобѣсіемъ“ Достоевскаго<sup>5)</sup>.

Подведеніе итоговъ основнымъ взглядамъ Достоевскаго не остановилось однако только на соображеніяхъ А. Гра-

<sup>1)</sup> „Новости“ 1880, № 219. Авторъ „Переписки съ друзьями“, воскресній въ г. Достоевскомъ. Литературно-патологическая параллель. Коломенскій Кандидъ (—В. О. Михневичъ). Стр. 3.

<sup>2)</sup> „Страна“ 1880, № 50. Литературный отдѣлъ. Арс. Введенскій. Стр. 9.

<sup>3)</sup> „Страна“ 1880, № 64. Петербургъ, 16 августа.—Литературный отдѣлъ. Дневникъ Писателя. Единственный выпускъ на 1880 г. Августъ. Арс. Введенскій. Стр. 5—6.

<sup>4)</sup> „Петербургскій Листокъ“ 1880, № 161. Литературныя замѣтки. „Дневникъ Писателя“ О. Достоевскаго. Впрочемъ, въ дни восторговъ, вызванныхъ рѣчью Достоевскаго, „Пет. Листокъ“ раздѣлялъ и эти восторги, какъ и подобаетъ ежедневному „органу“, приспособляющемуся къ настроенію момента (Ср. „Пет. Лист.“ 1880, № 110 Хропика. Пушкинскій праздникъ).

<sup>5)</sup> „Берегъ“ 1880, № 146. Столичная и областная печать. Стр. 3.

довскаго и Г. Успенскаго, подхваченныхъ, какъ только что было указано, нѣкоторыми крупными газетами: оно продолжено было дальше и въ журнальной критикѣ и особенно оживленно производилось послѣ того, какъ въ августѣ 1880 года напечатаны были въ „Дневникѣ Писателя“ и рѣчь Достоевскаго и отвѣтъ его А. Д. Градовскому. Въ сентябрьской книжкѣ журнала „Дѣло“ Достоевскому по поводу его рѣчи поставлено было въ вину въ особенности отрицательное отношеніе къ европейскому просвѣщенію, выраженное въ формѣ „какихъ-то утробныхъ восклицаній“: „Изъ того, что народъ нашъ знаетъ молитвы наизусть и читаетъ Четыи - Миней, у г. Достоевскаго слѣдуетъ, что народу никакого другого просвѣщенія не нужно, что обращаться за нимъ къ еретической Европѣ нѣтъ никакой надобности, что этотъ народъ и безъ того есть совершеннѣйшій сосудъ мира и любви... На прирожденной намъ любви къ ближнему г. Достоевскій строить свой проектъ мірового преобразования. Въмѣсто „житницы хлѣбной“ мы станемъ теперь „житницей любви“ и подъ руководствомъ нашего Петра Пустынника разнесемъ любовь по всему міру. Проектъ обольстительный! Прорицая и поучая, новый Петръ Пустынникъ восклицаетъ: „вижу слѣды сего въ нашей исторіи“... Но гдѣ же (въ нашей исторіи) тотъ идеаль братолюбія, которымъ думаетъ г. Достоевскій спасти язычниковъ-европейцевъ? Спасемъ ли мы ихъ, или они придутъ на помощь къ намъ,—это такого рода вопросъ, который нельзя разрѣшать отъ своего чрева. А что христіанскій идеаль любви и человѣческаго достоинства явился къ намъ только тогда, когда, измученные своими внутренними безпорядками и умственно и душевно, беспильные устроить у себя что-нибудь лучшее, мы обратились къ Европѣ, къ ея идеямъ, идеаламъ и учрежденіямъ, и что насъ спасъ христіанскій идеаль Европы,—этого г. Достоевскій не опровергнетъ никакими заклинаніями и прорицаніями... Для г. Достоевскаго не существуютъ ни Канта, ни Гегели, онъ не признаетъ умственного наслѣдія вѣковъ и ищетъ разрѣшенія всѣхъ мучительныхъ вопросовъ, пережитыхъ съ такой болью человечествомъ, въ одномъ чревовѣщаніи. Поистинѣ, для такого

чудовищнаго отрицанія, съ которымъ явился г. Достоевскій, нужно имѣть мужество не менѣе чудовищнаго умозатменія... Не будучи въ состояннн понять европейскнхъ идей, г. Достоевскій, конечно, не былъ въ состояннн понять и „скитальца“. Еще бы „скитальцу“ найти мѣсто въ сонмѣ людей, пророками и представителями которыхъ являлись у насъ во всѣ времена люди, подобные Магницкому, Руничу, Шипкову, и—не во гнѣвъ г. Достоевскому—къ сонму которыхъ сопричислился нынче и онъ“...<sup>1)</sup>

Дальнѣйшее развитіе вопросъ объ отрицаннн въ рѣчи Достоевскаго и его „лекціяхъ“ европеизма получилъ въ октябрьской книжкѣ „Вѣстника Европы“ подъ перомъ В. В. (В. П. Воронцова?). Обращаясь къ рѣчи Достоевскаго и въ особенности къ его возраженіямъ А. Градовскому, критикъ находитъ, что Достоевскій направляетъ свои „злобно-обвинительныя тирады“ не только противъ просвѣщенной Европы, но и противъ „взятаго у Европы либерализма“ и русскихъ его представителей. Но „на кого направлены эти обвиненія? Когда же это либералы, „подобные“ г. Градовскому (т. е. люди профессорскаго и журнальнаго круга?), бывали у насъ такъ сильны, что могли „два вѣка“ мѣшать Россіи устроиться? Когда они были врагами ея самостоятельнаго развитія? и т. д. На дѣлѣ, если гдѣ были пламенные стремленія къ широкому и свободному устройству Россіи, то именно въ лучшихъ литературныхъ и профессорскихъ кругахъ—еще начиная со временъ Ломоносова; а мѣшали этому люди совсѣмъ иныхъ круговъ, которые не скупились противъ первыхъ никакими помѣхами, запретами, даже осужденіями и ссылками... Г-нъ Достоевскій не можетъ этого не знать—и перевернать такимъ образомъ исторію непозволительно для писателя, себя уважающаго... И какое странное историческое понятіе о „двухъ послѣднихъ вѣкахъ“, за неудовлетворительность которыхъ г. Достоевскій упрекаетъ „либераловъ“, какъ будто въ самомъ дѣлѣ они, а не кто иной, завѣдывали судь-

<sup>1)</sup> „Дѣло“ 1880, № 9. Романистъ, появившій не въ свои сани.—„Дневникъ Писателя“ г. Достоевскаго. Единственный выпускъ на 1880 г. Августъ. Г—П. Стр. 161, 162, 165, 166, 167, 168.

бами русскаго народа!... Итакъ, нашему благополучію мѣшаетъ только Европа и ея наши приверженцы. Но, погодите, „ваша Европа рухнетъ“, „завтра же рухнетъ“ (г. Достоевскій повторяетъ это нѣсколько разъ—стр. 4, 36, 37),—и тогда „и вы, гг. доктринеры, можете быть, схватитесь и начнете искать у насъ народныхъ началъ“... Попрекнувши г-на Градовскаго Христомъ, авторъ продолжаетъ: „Вы спросите: какіе же могутъ быть у насъ свои общественные и гражданскіе идеалы мимо Европы? Да, общественные и гражданскіе, и наши общественные идеалы—лучше вашихъ европейскихъ, крѣпче вашихъ и даже—о, ужасъ!—либеральнѣе вашихъ! Да, либеральнѣе, потому что исходятъ прямо изъ организма народа нашего, а не лакейско-безличная пересадка съ Запада“. Читатель заинтересованъ; онъ ожидаетъ узнать, наконецъ, эти идеалы „и лучше и крѣпче вашихъ“, но увь! не узнаётъ...<sup>1)</sup>

И этотъ вопросъ — объ идеалахъ русскихъ и европейскихъ и ихъ взаимоотношеніи — также обратилъ на себя вниманіе критиковъ рѣчи Достоевскаго. Такъ, въ журналѣ „Слово“ указано было на смѣшеніе Достоевскимъ понятія объ общечеловѣческомъ и о народномъ и противорѣчивое усвоеніе русскому народу стихіи „всемирности“: „...Выраженіе „общечеловѣческая русская народность“ есть абсурдъ и представляетъ то, что на специальномъ языкѣ логики называется *contradictio in adiecto*... Усвоеніе же „идеала всемирности и всечеловѣчности“ съ одной стороны всей русской народности, съ другой—только извѣстной части русскаго общества создаетъ еще и другое недоразумѣніе: Достоевскій „говоритъ, что эта всемирность есть принадлежность верхняго слоя народа и продуктъ оторванности общества отъ народа; онъ приглашаетъ общество лѣчиться отъ этой всемирности и указываетъ лѣкарство въ „смирennemъ общеніи съ народомъ“. Но лѣчиться отъ чего, отъ ложной или правдивой, истинной всечеловѣчности? Отъ какой?... Очень понятно, что нельзя лѣчиться отъ того, что составляетъ натуру или сущность, нельзя, хотя бы на короткіи

<sup>1)</sup> „Вѣстникъ Европы“ 1880, октябрь. Литературное обозрѣніе. I. „Дневникъ Писателя“. Ежемѣсячное изданіе. Единственный выпускъ на 1880 г. Августъ. О. Достоевскаго. В. В. (=В. П. Воронцовъ?). Стр. 816, 817.

мигъ, сбросить съ себя эту натуру. Если принять это въ расчетъ, то оказывается, что всемірность не есть свойство русской народности. Эта всемірность, по словамъ самого г. Достоевскаго, есть случайная болѣзнь незначительной кучки народа, одной только свихнувшейся интеллигенціи“...<sup>1)</sup> Эти недоразумѣнія Пушкинской рѣчи Достоевскаго въ его возраженіяхъ профессору А. Градовскому разрослись въ полный „жалкаго скудоумія“ „бредъ какого-то юродиваго мистика“<sup>2)</sup>.

Не такъ рѣзко, но съ большей убѣдительностью, возразилъ противъ „народныхъ идеаловъ“ Достоевскаго К. Д. Кавелинъ въ ноябрьской книжкѣ „Вѣстника Европы“. „Подобно славянофиламъ сороковыхъ годовъ — говоритъ онъ —, вы видите живое воплощеніе возвышеннѣйшихъ нравственныхъ идей въ духовныхъ качествахъ и совершенствахъ русскаго народа, именно крестьянства, которое осталось непричастнымъ отступничеству отъ народнаго духа, запятнавшему, будто бы, высшіе, интеллигентные слои русскаго общества“... Но „скажите теперь человѣку, не посвященному въ борьбу нашихъ партій, что русскій народъ — образецъ нравственнаго совершенства: онъ съ изумленіемъ вытаращитъ на васъ глаза и начнетъ по пальцамъ пересчитывать вамъ такія явленія изъ жизни русскаго народа, отъ которыхъ морозъ подираетъ по кожѣ. Скажите образованному человѣку, который слышалъ только о славянофилахъ, но не знаетъ ихъ доктринъ, что онъ измѣнникъ русскимъ народнымъ началамъ, отщепенецъ отъ родной земли: онъ или обидится, или подумаетъ про себя, что у васъ голова не въ порядкѣ... Такія же серьезныя недоразумѣнія вызываетъ и вашъ взглядъ на нравственные качества русскаго простого народа, ихъ значеніе и причины. Подобно славянофиламъ сороковыхъ годовъ, вы считаете наши народные качества дознаннымъ, несомнѣннымъ фактомъ и приписываете ихъ тому, что нашъ народъ проникся православною вѣрою и глубоко носитъ ее въ своемъ сердцѣ... Вы будете превозносить простоту, кротость, смиреніе, незлобивость, сер-

<sup>1)</sup> „Слово“ 1880, № 6. За мѣсяцъ. По поводу открытія памятника Пушкину. Стр. 160.

<sup>2)</sup> „Слово“ 1880, № 9. За мѣсяцъ. Incident Достоевскій. Стр. 97—8.

дечную доброту русскаго народа; а другой, не съ меньшимъ основаніемъ, укажетъ на его склонность къ воровству, обманамъ, плутовству, пьянству, на дикое и безобразное отношеніе къ женщинѣ; вамъ приведутъ множество примѣровъ свирѣпой жестокости и безчеловѣчія... Эта-то неопредѣленность, невыясненность характера нашей духовной природы и заставляетъ меня съ недовѣріемъ отнестись къ вашей основной мысли, будто бы мы пропитаны христіанскимъ духомъ“...

При этомъ самое пониманіе Достоевскимъ нравственности, наличность которой онъ устанавливаетъ въ средѣ простаго народа, не удовлетворяетъ К. Д. Кавелина. Считая одинаково одностороннимъ—настаивать ли, какъ это дѣлаетъ Достоевскій, на исключительно „нравственномъ самосовершенствованіи“, или говорить, подобно оппоненту Достоевскаго, проф. Градовскому, по преимуществу объ „общественной нравственности“, какъ основѣ прогресса—, К. Д. Кавелинъ, полагаетъ, что оба эти рѣшенія вопроса „вѣрны, дополняя другъ друга“, и „невѣрны, если ихъ противопоставить одно другому“: „Хорошія общественныя условія воспитываютъ людей къ добру и правдѣ; дурныя сбиваютъ ихъ съ толку и развращаютъ... Безъ сомнѣнія, было бы крайне односторонне думать и заботиться исключительно только о хорошихъ учрежденіяхъ: безъ сильнаго развитія нравственной стороны людей, безъ усвоенія хорошихъ нравственныхъ привычекъ, гражданскіе идеалы не могутъ перейти въ жизнь и прочно водвориться. Въ этомъ смыслѣ я не разъ ратовалъ за личную нравственность и ея необходимость. Но также одностороненъ и вашъ взглядъ, будто нравственное самосовершенствованіе можетъ замѣнить собою гражданскіе идеалы“...

Такимъ образомъ, возражая на основное положеніе Достоевскаго о нравственной красотѣ и мощи русскаго просто-народья и объ оторванности отъ народныхъ идеаловъ русской интеллигенціи, К. Д. Кавелинъ хочетъ какъ бы сказать, что какъ простому русскому народу, такъ и интеллигентнымъ русскимъ скитальцамъ, „отщепенцамъ“ отъ народной правды, одинаково нужны „хорошія общественныя условія“, которыя, воспитывая личную нравственность, тѣмъ самымъ

создаютъ возможность и „гражданскихъ идеаловъ“<sup>1)</sup>. Упустивъ изъ виду эту именно насущную потребность русской жизни, Достоевскій, по мнѣнію Кавелина, неправильно взглянулъ и на простой народъ и на образованное русское общество: „...Вашъ взглядъ на нашъ простой народъ—какъ на хранителя христіанской правды, на палли образованные классы—какъ на отщепенцевъ отъ этой правды, на Алеко, Бельтовыхъ, Тентетниковыхъ и имъ подобныхъ, какъ на представителей этого отщепенства и страданій, которыя оно порождаетъ, ...все это въ моихъ глазахъ не выдерживаетъ критики и есть лишь красиво, талантливо, поэтически выраженный парадоксъ. Не могу я признать хранителемъ христіанской правды простой народъ, внушающій мнѣ полное участіе, сочувствіе и состраданіе въ горькой долѣ, которую онъ несетъ, —потому что, какъ только человѣку изъ простого народа удастся выцарапаться изъ нужды и нажить деньгу, онъ тотчасъ же обращается въ кулака, ничуть не лучше „жида“, котораго вы такъ не любите. Вглядитесь пристальнѣе въ типы простыхъ русскихъ людей, которые насъ такъ подкупаютъ и дѣйствительно прекрасны: вѣдь это нравственная красота младенчествуящаго народа! Первою ихъ добродѣтелью считается, совершенно по восточному, устраниваться отъ зла и соблазна, по возможности ни во что не мѣшаться, не участвовать ни въ какихъ общественныхъ дѣлахъ. „Человѣкъ смиренный“, „простякъ“—это человѣкъ всѣми уважаемый за чистоту нравовъ, за глубокую честность, правдивость и благочестіе, но который именно потому всегда держитъ себя въ сторонѣ и только занимается своимъ личнымъ дѣломъ: въ общественныхъ дѣлахъ или въ общественную должность

<sup>1)</sup> Нѣсколько раньше приблизительно та же мысль была высказана въ статьѣ А. Кошелева („Русская Мысль“ 1880, октябрь. Отзывъ по поводу слова, сказаннаго О. М. Достоевскимъ на Пушкинскомъ торжествѣ. Стр. 1—6). Соглашаясь съ мнѣніемъ Достоевскаго „насчетъ великой будущности русскаго народа и тяжести нынѣшняго нашего положенія“, г. Кошелевъ съ своей стороны полагаетъ, что эта „тяжесть“ происходитъ, вопреки Достоевскому, не отъ свойственнаго намъ излишняго „стремленія къ осуществленію мечтательныхъ затѣй“, а просто отъ „пустоты и духоты нашей жизни“: „Дайте намъ чѣмъ существеннымъ заняться, надъ чѣмъ потрудиться; не запрещайте намъ того, другого, десятого; не стѣсняйте насъ и тутъ и тамъ—и мечты и утопіи будутъ нами покинуты, и мы примемся за дѣло съ такою же ревностью и неустранимостью, съ какими мы совершили освобожденіе крестьянъ и перешли Балканы“.



онъ никуда не годится, потому что всегда молчить и всё въ во всемъ уступать. Дѣльцами бываютъ поэтому одни люди бойкіе, смышленные, оборотливые, почти всегда нравственности сомнительной, или прямо нечестные. Такихъ людей, какъ Алеко, вы считаете разорвавшими связь съ народомъ изъ гордости? Помилуйте! Да это тѣ же восточные люди, которые изъ „великой печали сердца“ отъ непорядковъ въ общественной и частной жизни, или изъ любви къ европейскому общественному и домашнему строю, бросали все и удалялись, кто за границу, кто на житье въ деревню. Это тѣ же пустынножители и обитатели скитовъ, тѣ же „смирные люди“ нашихъ селъ, только съ другими идеалами...—Стало бытъ, скажете вы мнѣ, и вы тоже мечтаете о томъ, чтобъ мы стали европейцами?—Я мечтаю, отвѣчу я вамъ, только о томъ, чтобъ мы перестали говорить о нравственной, душевной, христіанской правдѣ, и начали поступать, дѣйствовать, жить по этой правдѣ! Черезъ это мы не обратимся въ европейцевъ, но перестаемъ быть восточными людьми, и будемъ въ самомъ дѣлѣ тѣмъ, что мы есть по природѣ,—русскими“<sup>1)</sup>.

Статьями А. Д. Градовскаго, Г. И. Успенскаго и К. Д. Кавелина, дополненными и комментированными въ нѣкоторыхъ газетахъ и журналахъ, исчерпываются, можно сказать, наиболѣе существенныя возраженія на рѣчь Достоевскаго. Въ двухъ книжкахъ „Отеч. Записокъ“, за июль и сентябрь, откликнулся на рѣчь Достоевскаго и Н. К. Михайловскій. Но излишняя страстность тона и нѣкоторая предвзятость настроенія по отношенію къ Достоевскому помѣшали ему болѣе или менѣе объективно разобраться въ главныхъ положеніяхъ Пушкинскій рѣчи. Н. К. Михайловскій, говоря вообще, примкнулъ къ возраженіямъ Г. И. Успенскаго и А. Д. Градовскаго, на которыхъ онъ и ссылается въ своихъ замѣчаніяхъ на рѣчь Достоевскаго. Съ своей стороны онъ при-

<sup>1)</sup> „Вѣстникъ Европы“ 1880, ноябрь. Письмо О. М. Достоевскому. К. Д. Кавелинъ. Стр. 433—4, 442—4, 454—5, 455—6. Возраженія Кавелина Достоевскому встрѣтили въ соответствующей группѣ печати живое сочувствіе: ср. „Молва“ 1880, № 315. Журналистика. Грель (=Г. К. Градовскій)—и „Страна“ 1880, № 87. Литературный отдѣлъ. Все тотъ же споръ („Письмо О. М. Достоевскому“ К. Кавелина). А. В. Стр. 7.

бавилъ по адресу Достоевскаго рядъ красиво построенныхъ, но въ то же время не чуждыхъ желчи и сарказма, отдѣльныхъ фразъ и выраженій. Такъ, онъ говоритъ, что въ своей рѣчи, полной „влиянія и противорѣчивости“, Достоевскій преподнесъ публикѣ „камень, обтесанный и покрашенный на манеръ хлѣба“; что онъ воспользовался удобнымъ моментомъ Пушкинскаго праздника и своею рѣчью, чтобы „вымѣнять свои фальшивые камешки на настоящія драгоцѣнности“<sup>1)</sup>; извѣстное же мѣсто изъ полемики Достоевскаго съ проф. Градовскимъ, содержащее пророчество Достоевскаго о близкомъ паденіи Европы („Дневникъ Писателя“ 1880, августъ. Глава третья: Четыре лекціи на разныя темы по поводу одной лекціи, прочитанной мнѣ г. А. Градовскимъ, съ обращеніемъ къ г. Градовскому. III. Двѣ половинки), Михайловскій называетъ „очень горячую, но вмѣстѣ съ тѣмъ чисто дѣтскою, страницю, написанною совершенно въ апокалипсическомъ стилѣ“ и находитъ смѣшною эту „забавную крошку изъ „парламентаризмовъ, гражданскихъ теорій, богатствъ, банковъ, наукъ и жидовъ“, мелко на мелко искрошенныхъ рукою г. Достоевскаго и безсильно плавающихъ въ мискѣ съ русскимъ квасомъ“<sup>2)</sup>.

Съ такою же рѣзкостью выступилъ въ іюльской книжкѣ „Русскаго Богатства“ М. А. Протопоповъ (А. Горшковъ) противъ „того сумбура, который г. Достоевскій выдаетъ за „новое слово“. Г. Протопоповъ находитъ, что Достоевскій въ своей рѣчи и въ поясненіяхъ къ ней просто фразерствуетъ по поводу излюбленнаго имъ принципа „духовной національной самобытности“, подъ которой онъ разумѣетъ съ одной стороны „благодущіе нашего народа“, съ другой—„приниженность личности передъ общею волею“,—черту, „присущую рѣшительно всѣмъ народамъ, стоящимъ на нижнихъ ступеняхъ культуры“; вмѣстѣ съ этимъ „идиллическимъ взглядомъ“ на некультурность нашего народа Достоевскій соединяетъ,

<sup>1)</sup> „Отеч. Записки“ 1880, іюль. Литературныя замѣтки. Н. М. Стр. 132, 133.

<sup>2)</sup> „Отеч. Записки“ 1880, сентябрь. Литературныя замѣтки. Н. М. Стр. 130, 131.

по мнѣнію г. Протопопова, такое отношеніе къ „нашимъ либераламъ“, которое позволило ему ихъ „недостойнымъ образомъ оклеветать“<sup>1)</sup>.

Въ концѣ 1880 года критика еще разъ упрекнула Достоевскаго въ томъ, что онъ идеализируетъ русскій народъ, „возводя его въ генеральскій чинъ“ и представляя его въ будущемъ „героемъ и святымъ“<sup>2)</sup>, а также еще разъ подчеркнула сдѣланное уже раньше замѣчаніе, что въ рѣчи Достоевскаго остаются не выясненными „народный характеръ“ и „народная почва“ и что, слѣдовательно, приходится считать „неоправданнымъ“ „враждебное отношеніе автора къ скитальцу“<sup>3)</sup>. На этомъ закончилось обсужденіе рѣчи Достоевскаго въ печати 1880 года.

Таковы были возраженія на Пушкинскую рѣчь Достоевскаго, а въ связи съ нею и на его идеологію вообще. Но одними возраженіями не могли быть исчерпаны итоги основнымъ взглядамъ Достоевскаго. Даже прогрессивная печать нашла необходимымъ отдать должное нѣкоторымъ неоспоримымъ пунктамъ въ его идеалѣ и, по крайней мѣрѣ, выдѣлить въ немъ такіе элементы, которые для всѣхъ направленій русской общественной мысли казались болѣе или менѣе приемлемыми.

Такіе именно элементы ищетъ въ рѣчи Достоевскаго авторъ одной статьи журнала „Дѣло“, называя ихъ „зернами истины“. Рѣчь Достоевскаго туманна, но въ ней чувствуется „глубокая вѣра“, „несомнѣнная любовь къ народу“, оригинальность и правдивость талантливаго писателя: „Глубокая вѣра слышна въ его словахъ. Несомнѣнная любовь къ народу чувствуется въ его рѣчи, и вмѣстѣ съ тѣмъ, когда вы прочтете рѣчь, у васъ остается нѣкоторое недоумѣніе и вы остаетесь въ какомъ-то туманѣ. Вы не знаете, что именно хочетъ

1) „Русское Богатство“ 1880, № 8. Проповѣдникъ „новаго слова“. „Дневникъ Писателя“. Единственный выпускъ за 1880 г. Августъ. Александръ Горшковъ. Стр. 6, 7—8, 17—18, 19—20.

2) „Русское Богатство“ 1880, № 12. Почему вскипѣлъ бульонъ и почему теперь только мы обращаемъ на это свое вниманіе. Л. Алексѣевъ. Стр. 67.

3) „Южный Край“ 1880, № 19, декабря 19-го. Литературно-общественные очерки. П. Г. Достоевскій о состояніи нашего общества и о душѣ нашего народа... К. Ярошъ. Стр. 2.

сказать художникъ, вы не можете, такъ сказать, перевести его идеаловъ на понятный языкъ. Вы глубоко чувствуете что-то несомнѣнно - правдивое, вы слышите по временамъ оригинальныя мысли, вы видите, что передъ вами много передумавшій талантливый писатель, но, въ общемъ, повторяю, является нѣчто безплотное, какое-то „откровеніе“ въ духѣ Анфантена“... Среди „зеренъ истины“ критикъ отмѣчаетъ, между прочимъ, въ туманной рѣчи Достоевскаго его „обмолвку“ по поводу „современныхъ скитальцевъ“ русской жизни: „Говоря, что Пушкинъ въ лицѣ Алеко и Онѣгина гениально отмѣтилъ „того несчастнаго скитальца въ родной землѣ, того историческаго русскаго страдальца, столь исторически-необходимо явившагося въ оторванномъ отъ народа обществѣ нашемъ“, г. Достоевскій переходитъ къ современнымъ скитальцамъ и говоритъ слѣдующее: „Эти русскіе бездомные скитальцы продолжаютъ и до сихъ поръ свое скитальчество, и еще долго, кажется, не исчезнутъ“... (Цитируется извѣстное мѣсто рѣчи о „скитальцахъ“; цитата заканчивается словами. „И онъ — т. е. русскій скиталецъ — это чувствуетъ и этимъ страдаетъ, и часто такъ мучительно!“). „Въ этихъ словахъ — продолжаетъ критикъ — въ первый разъ, по крайней мѣрѣ, въ теченіе послѣднихъ лѣтъ вы слышите, что за русскими „скитальцами“ послѣдняго времени хоть признано право страданія. И это знаменательно слышать изъ устъ художника, нерѣдко въ своихъ романахъ представлявшаго скитальцевъ „извергами“ и „чудовищами“, знаменательно особенно послѣ всего того, что говорилось вообще о „скитальцахъ“ въ нашей безпашаной печати. Такъ, вѣроятно, поняла это мѣсто и та молодежь, которая сдѣлала овацію г. Достоевскому, и такъ хотѣлось бы понять и намъ. Но найдутся многіе, которые во что бы то ни стало захотятъ непременно придать иное значеніе этимъ словамъ, и они до нѣкоторой степени правы. Дальнѣйшія мѣста рѣчи какъ будто опровергаютъ мѣсто, нами приведенное, но, повторяю, даже и за обмолвку (если бы это была, къ несчастію, обмолвка) нельзя не быть благодарными. „Обмолвки“ эти такъ нужны въ наше смутное время!“... Такое же „зерно истины“ нахо-

дить критикъ и въ „гордомъ пророчествѣ“ Достоевскаго о будущемъ русскомъ „всечеловѣкѣ“ и о томъ „новомъ словѣ“, которое онъ скажетъ Европѣ; это туманное пророчество имѣетъ подъ собою, какъ думаетъ критикъ, то основаніе, что русскій народъ, въ силу извѣстной простоты своего быта и нѣкоторой свѣжести и даже невыработанности всѣхъ своихъ культурныхъ формъ, находится въ лучшихъ условіяхъ по сравненію съ народами Запада, уже изжившими свои силы, и, слѣдовательно, можетъ надѣяться и на дальнѣйшее свое развитіе въ будущемъ<sup>1)</sup>.

Это послѣднее „зерно истины“ съ особенной тщательностью извлечено было изъ рѣчи Достоевскаго въ одной изъ статей „Современности“, гдѣ пророчество о будущности русскаго народа признается приемлемымъ и исторически обоснованнымъ, но лишь не въ той редакціи, которая предложена Достоевскимъ. „У г. Достоевскаго... — читаемъ здѣсь —, по видимому, весьма высокіе идеалы и самыя чистыя желанія. „Петръ Великій, говоритъ г. Достоевскій, несомнѣнно повиновался нѣкоторому затаенному чутью, которое влекло его, въ его дѣлѣ, къ цѣлямъ будущимъ, несомнѣнно огромнѣйшимъ, чѣмъ одинъ только ближайшій утилитаризмъ. Такъ точно и русскій народъ не изъ одного только утилитаризма принялъ реформу, а несомнѣнно уже ощутивъ своимъ предчувствіемъ почти тотчасъ же нѣкоторую дальнѣйшую, несравненно болѣе высшую цѣль, чѣмъ ближайшій утилитаризмъ, — ощутивъ эту цѣль опять-таки, конечно, повторяю это, безсознательно, но, однакоже, и непосредственно и вполне жизненно. Вѣдь мы разомъ устремились тогда къ самому жизненному возсоединенію, къ единенію всечеловѣческому!... Да, назначеніе русскаго человѣка есть безспорно всеевропейское и всемірное. Стать настоящимъ русскимъ, стать вполне русскимъ, можетъ быть, и значить только (въ концѣ концовъ, это подчеркните) стать братомъ всѣхъ людей, всечеловѣкомъ, если хотите“. И не вѣруя вполне въ пророчества г. Достоев-

<sup>1)</sup> „Дѣло“ 1880, июль. Пушкинскій юбилей и рѣчь г. Достоевскаго. О. П. Стр. 116, 117, 118 и 119.

скаго, можно, однако, согласиться съ сущностью выписаннаго мѣста. Петръ Великій, очевидно, продуктъ своего времени, онъ выразитель нароставшаго сознанія силы европейской цивилизаціи. До-петровская Русь испортилась и прозябала безъ малѣйшаго интеллектуальнаго свѣта, но она не изживалась и не разлагалась; духъ этотъ западнаго умственнаго вліянія, очевидно, былъ для нея спасителенъ, но онъ пришелъ на помощь не къ умиравшему организму, а только къ больному. Здѣсь мы имѣемъ въ виду, конечно, только свѣтлыя стороны, западно-европейскаго просвѣщенія. Если разъ признать за Россіей право на извѣстную историческую роль между культурными народами, позднее полученіе ею западно-европейскихъ умственныхъ благъ должно сказаться на самомъ характерѣ этой ея исторической миссіи... До-петровская Русь приняла т. н. западно-европейское просвѣщеніе, будучи уже, болѣе или менѣе, пожившимъ, взрослымъ организмомъ, и сравнительно вскорѣ же взялась за умъ и самокритику. Обратите вниманіе на то, что отъ начала средневѣковья до настоящаго времени — чуть не шестнадцать столѣтій, а отъ петровской эпохи до сегодня нѣтъ и трехъ вѣковъ. По всѣмъ этимъ соображеніямъ, современная лучшая часть Россіи безпристрастнѣе кого-либо можетъ оцѣнивать какъ свое, такъ и чужое, наименьше, чѣмъ кто-либо, имѣетъ тормазовъ для развитія своихъ воззрѣній въ духѣ всемірности и всечеловѣчности (считая при этомъ, разумѣется, Европу вообще праматерью и центральнымъ очагомъ всемірной цивилизаціи). А за воззрѣніями, за идеями, нѣтъ сомнѣнія, своимъ чередомъ придутъ и дѣла и учрежденія. Итакъ, не гордиться, слѣдовательно, должна Россія своимъ любвеобильнымъ по отношенію къ иноземцамъ сердцемъ, а просто радоваться, что довольно поздно застали насъ дурныя стороны западной культуры, что не потеряна еще возможность найти болѣе прямой выходъ къ свѣту и правдѣ. Въ такой редакціи взгляды г. Достоевскаго, намъ думается, выдержали бы какіе угодно нападки"...<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> „Современность“ 1880, № 148. Сила или безсиліе. „Дневникъ Писателя“ Ф. М. Достоевскаго. Единственный выпускъ на 1880 годъ. А. Палимовъ.

Наличность „зеренъ истины“ въ основныхъ положеніяхъ рѣчи Достоевскаго приводило критику умѣренно-прогрессивнаго характера къ мысли о необходимости формулировать болѣе точно сущность идеала Достоевскаго и въ особенности его отношеніе къ современному ему народничеству. Подобную именно попытку опредѣленія Достоевскаго, какъ народника, дѣлаетъ въ „Мысли“ Л. Е. Оболенскій. Достоевскій—говоритъ г. Оболенскій—„тѣмъ и отличается отъ народниковъ-западниковъ или отъ народниковъ-либераловъ, что беретъ народъ конкретный какъ онъ есть, со всѣмъ, что въ немъ симпатично и несимпатично западно-европейскому либерализму, и этотъ конкретный народъ ставитъ идеаломъ для интеллигенціи. Этого мало: тѣ стороны этого конкретного народа, которыя менѣе симпатичны европейски-развитой интеллигентной мысли, онъ выставляетъ, какъ самую существенную идеальную сторону народа, противопоставляя эту сторону европейской цивилизаціи, не только какъ высшее достоинство, но и какъ лѣкарство, какъ спасеніе, долженствующее смягчить и излѣчить всемірныя язвы. Уже съ перваго взгляда видно, что хотя народъ г. Достоевскаго болѣе конкретенъ, чѣмъ народъ либераловъ-народниковъ, однако и этотъ народъ—не вполне реальный, а нѣсколько идеализированный, у котораго усилены, или сильнѣе освѣщены путемъ чисто-философскимъ, а отчасти художественнымъ, тѣ его стороны, которыя противопоставляются Европѣ, какъ идеаль и лѣкарство. Въ свою очередь и Европа, такъ сказать, оскотлена, т. е. изъ нея берутся черты, не представляющія вовсе всецѣлой полноты ея жизни, а лишь выражающія нѣкоторые общіе принципы ея даннаго историческаго момента, каковъ, примѣръ, принципъ современной буржуазіи: „Каждый за себя и Богъ за всѣхъ“. Этотъ-то именно принципъ и олицетворяетъ для г. Достоевскаго всю Европу и европейскую цивилизацію, но едва ли многіе согласятся съ тѣмъ, что это справедливо. Если бы попытаться принципъ нашего народа русскаго вывести изъ принциповъ нашихъ купцовъ, кулаковъ и такъ называемой буржуазіи, то г. Достоевскій врядъ ли поставилъ бы этотъ народъ идеаломъ всей Европѣ и цѣлому свѣту. Въ этомъ радикальная ошибка г. Достоевскаго.

У нашего народа онъ извлекаетъ наиболѣе симпатичныя ему черты и беретъ ихъ у народа работника. Говоря о Европѣ, онъ беретъ наименѣе симпатичные классы, а у этихъ классовъ наименѣе симпатичные принципы“... Но „если на идеалы г. Достоевскаго смотрѣть не какъ на политическую программу, а какъ на формулу, удовлетворяющую, главнымъ образомъ, чувству или вѣрнѣе потребности чувства, а именно чувства любви и уваженія къ своей родинѣ, къ своему народу, то это—почти единственный идеаль, возможный для нашего времени... Идеаль народниковъ-либераловъ неудовлетворителенъ, ... этотъ идеаль разсѣкаетъ конкретную душу народа на двѣ половинки — симпатичную и несимпатичную... Многими изъ своихъ сторонъ народъ намъ, дѣйствительно, чужой и враждебный народъ, и великая заслуга Достоевскаго въ томъ, что онъ стремится, наоборотъ, показать намъ, хотя и въ идеаль, что несимпатичныя либеральному уму черты народа, вовсе не такъ антипатичны, какъ кажутся съ европейской точки зрѣнія. Его великая заслуга, какъ и многихъ писателей 40-хъ годовъ, все одна и та же: это—примиреніе нашей интеллигенціи съ народомъ“...

Опираясь на основномъ мотивѣ народничества Достоевскаго—чувствѣ любви и уваженія къ родинѣ и своему народу—и на конечной его цѣли—примиреніи интеллигенціи съ народомъ—, Л. Е. Оболенскій не находитъ въ его рѣчи ничего „ужаснаго“, никакого „потрясенія“, никакой „опасности“, „которая требовала бы столь широкаго отпора“. Въ частности, критикъ не придаетъ большого значенія и возраженіямъ проф. Градовскаго, потому что Достоевскій расходясь съ нимъ и людьми его образа мыслей въ пониманіи „самосовершенствованія“, по существу своего идеала идетъ однако навстрѣчу не только славянофиламъ, но и западникамъ: Градовскій „ставитъ впередъ самосовершенствованіе политическое, экономическое, а г. Достоевскій дороже всего цѣнитъ самосовершенствованіе внутреннее, личное, нравственное, т. е. развитіе въ личности того же Христа, иными словами, духа общинности, любви и братства. Отсюда, переходя къ интеллигенціи, онъ предлагаетъ и ей проник-



нутся этимъ духомъ, смириться, потому что интеллигенція оторвалась отъ этой стороны народной жизни, она пропиталась европейскимъ индивидуализмомъ, хотя основная черта этой интеллигенціи — скорбь о цѣломъ мірѣ — есть черта чисто русская. Въ этомъ признаніи за типомъ нашихъ либераловъ чисто русской складки, а именно стремленія служить всему міру, г. Достоевскій видѣлъ возможность примиренія народниковъ-славянофиловъ съ западниками-либералами. Славянофилы должны признать, что либеральныя міровыя стремленія нашей интеллигенціи, нашихъ Рудиныхъ, Бельтовыхъ и пр., суть черта народного характера; но за это либералы-западники должны признать, что спасеніе народа русскаго лежитъ не въ западныхъ идеалахъ индивидуализма и эгоизма, а въ нашихъ родныхъ, исторически-народныхъ идеалахъ общности и любви, во имя нравственнаго начала любви и братства, а не во имя одного экономического идеала матеріальнаго счастья, богатства, комфорта, личной свободы и пр.“...<sup>1)</sup>

Конечная цѣль народничества Достоевскаго — примиреніе интеллигенціи съ народомъ — предполагаетъ такимъ образомъ, по мнѣнію Л. Е. Оболенскаго, и примиреніе или объединеніе различныхъ направленій русской интеллигенціи между собою. Для этого объединенія г. Оболенскій указываетъ и извѣстную почву въ видѣ взаимныхъ уступокъ славянофиловъ и западниковъ. Болѣе детальному разъясненію этой почвы, этой, такъ сказать, нейтральной полосы, на которой должно произойти соглашеніе разныхъ группъ нашей интеллигенціи, посвящена была, двумя мѣсяцами раньше, въ томъ же журналѣ „Мысль“ особая статья. Почва понимается здѣсь, какъ и въ только что цитированной статьѣ, въ смыслѣ „народныхъ идеаловъ“, но при этомъ внутренняя природа народныхъ идеаловъ сводится къ одному основному мотиву — синтезу идеализма и реализма —, на признаніи котораго могутъ сойтись, по мнѣнію критика, представители различныхъ теченій нашей интеллигентной мысли и общественности. Этотъ искомый и всѣхъ примиряющій „синтезъ“ идеализма и реализма, въ ко-

<sup>1)</sup> „Мысль“ 1880, № 9. Критическій отдѣлъ. Народники и г. Достоевскій, бичующіе либераловъ. Л. О. Стр. 89, 90, 91, 93.


торомъ заключена настоящая „правда“ нашего прогресса, данъ намъ — разсуждаетъ критикъ — „вдохновеннымъ чувствомъ Достоевскаго, въ свою очередь вдохновеннаго Пушкинымъ и всѣми предшествующими событіями“. Почему именно этотъ синтезъ выраженъ болѣе всего Пушкинымъ, а за нимъ и Достоевскимъ, — это критикъ объясняетъ слѣдующимъ образомъ: „Пушкинъ представлялъ уже въ себѣ такой синтезъ болѣе всѣхъ другихъ нашихъ поэтовъ, а Достоевскій соединяетъ въ себѣ болѣе всѣхъ другихъ и идеализмъ, и страшный опытъ реальной жизни, онъ ближе всѣхъ насъ стоялъ къ народу, страдая вмѣстѣ съ нимъ, и вотъ почему онъ больше всѣхъ реалистъ, но онъ больше всѣхъ и идеалистъ, потому что онъ больше всѣхъ человѣкъ беззавѣтной, непосредственной вѣры, которой, быть можетъ, тоже научился у народа, живя и страдая вмѣстѣ съ нимъ. Но что же оказывается? Вѣдь, этотъ синтезъ идеализма и реализма, труда и вѣры, страданія и прощенія есть самъ народъ? Да, народъ и вся Россія! Достоевскій явился выразителемъ его, какъ болѣе всѣхъ насъ русскій, народный человѣкъ по своему прошлому: онъ говорилъ не отъ одной интеллигенціи, а отъ всей массы народа русскаго и отъ его интеллигенціи, какъ части. Вотъ почему Аксаковъ не ошибся, назвавъ его рѣчь геніальной; она геніальна, ибо выражаетъ цѣлый народъ, цѣлую Россію“<sup>1)</sup>.

Подобное признаніе неоспоримой цѣнности отдѣльных пунктовъ въ провозглашенномъ Достоевскимъ идеалѣ, сдѣланное—въ нѣкоторыхъ указанныхъ уже случаяхъ—даже и въ прогрессивной печати, въ сочувствующей писателю критикѣ вырастало въ восторженное преклоненіе передъ его величавымъ истолкованіемъ судебъ русскаго народа. Примѣры такихъ „неописуемыхъ восторговъ“ были приведены выше<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> „Мысль“ 1880, № 7. А. С. Пушкинъ и О. М. Достоевскій, какъ объединители нашей интеллигенціи. Стр. 80.

<sup>2)</sup> Изъ статей, написанныхъ въ сочувственномъ Достоевскому направленіи, особеннаго вниманія заслуживаетъ статья В. П. Буренина, содержащая, между прочимъ, и возраженія проф. Градовскому на его критику Пушкинской рѣчи Достоевскаго: „Новое Время“ 1880, № 1603. Литературные очерки. „Дневникъ Писателя“ О. М. Достоевскаго. — Отзывы автора о либералахъ. — Защита народа. — Кой-что о „мировой скорби“, питавшейся на крѣпостной трудъ. — Что вызовутъ слова г. Достоевскаго о „скитальцахъ“?... В. Буренинъ.

Но подведеніе итоговъ основнымъ взглядамъ Достоевскаго, начатое, главнымъ образомъ, по поводу его рѣчи о Пушкинѣ, остановилось пока лишь на тѣхъ немногихъ попыткахъ, которыя только что пересказаны. Въ болѣе глубокомъ и безпристрастномъ направленіи оно возобновилось уже послѣ смерти писателя, когда самая критика о немъ вступила въ новый періодъ своего развитія. Этотъ періодъ критики о Достоевскомъ составитъ вторую часть настоящихъ очерковъ.



VIII. 1846—1881. Выводы: общественныя направленія и литературная критика, идеологія Достоевскаго и его литературная манера въ освѣщеніи отзывовъ о немъ современной ему печати.

Использованный въ настоящихъ очеркахъ матеріалъ, состоящій приблизительно изъ 250 — 300 журнальныхъ и газетныхъ статей и замѣтокъ, не подавляетъ своей величиной и разнообразіемъ. Но въ составъ его входятъ посвященныя Достоевскому статьи почти всѣхъ выдающихся представителей нашей критики отъ 40-хъ до 80-хъ годовъ: В. Г. Бѣлинскаго и его современниковъ и ближайшихъ преемниковъ — С. П. Шевырева, А. В. Никитенка, П. В. Анпенкова, А. В. Дружинина, В. Н. Майкова, А. А. Григорьева; Д. И. Писарева, Н. А. Добролюбова и критиковъ „добролюбовской школы“ — наприм. М. А. Антоновича, П. Н. Ткачева и М. А. Протопопова; Н. Н. Страхова, Н. К. Михайловскаго, А. М. Скабичевскаго, В. П. Буренина и многихъ другихъ. Это даетъ основаніе, опираясь на данный критическій матеріалъ, сдѣлать нѣкоторые выводы примѣнительно къ намѣченному выше, въ предисловіи къ книгѣ, историко-литературнымъ вопросамъ.

Критика о Достоевскомъ за время 1846 — 1881 г. даетъ прежде всего рядъ интересныхъ справокъ и иллюстрацій къ исторіи общественныхъ направленій отъ 40-хъ до 80-хъ годовъ. Раскрывая до извѣстной степени тенденціи западничества и славянофильства 40-хъ годовъ (стр. 15 — 22) и характеризуя на нѣкоторыхъ конкретныхъ примѣрахъ прогрессивный подъемъ общественной мысли въ началѣ 60-хъ годовъ (ср. отзывы объ „Униж. и оскорбл.“ и въ особенностяхъ о „Запискахъ изъ М. Д.“ — стр. 34—53, 55—67), критика о Достоевскомъ довольно ярко иллюстрируетъ оба основныя теченія русской обществен-

ности 60—70-х годовъ, прогрессивное и консервативное, и разъясняетъ нѣкоторыя разновидности народничества 70-хъ годовъ (52—54, 67—74, 84—104, 132—159, 165—167, 195—218, 241—262, 307—321). Но самое цѣнное изъ того, что вскрывается критикою о Достоевскомъ въ исторіи русскаго общественнаго самосознанія, заключается въ томъ, что она документально устанавливаетъ нѣкоторыя — такъ сказать, нейтральныя — положенія, на которыхъ сходятся представители различныхъ общественныхъ направленій разсматриваемаго періода времени. Эти нейтральныя положенія слѣдующія: для 40-хъ годовъ — критическое отношеніе къ русской жизни съ точки зрѣнія гуманитарныхъ идеаловъ (17, 20, 21), для начала 60-хъ годовъ — обновленіе общественнаго строя на тѣхъ же гуманитарныхъ началахъ (ср. практическіе выводы, сдѣланные критикой изъ содержанія „Записокъ изъ М. Д.“, — стр. 55—59, 64—67), для конца 60-хъ и начала 70-хъ годовъ — оздоровленіе русской интеллигенціи и созданіе нормальныхъ условий для ея прогрессивнаго развитія (ср. мнѣнія о происхожденіи типа Раскольникова — стр. 112—113 и объ общественно-психологической сторонѣ романовъ „Бѣсы“ и „Подростокъ“ — стр. 159—162, 167—182), для второй половины 70-хъ годовъ — сближеніе интеллигенціи съ народомъ и вниманіе къ т. н. народнымъ идеаламъ (212—214, 249—262, 313—321).

Изъ области исторіи литературныхъ направленій и литературной критики настоящій обзоръ отзывомъ печати о Достоевскомъ иллюстрируетъ, главнымъ образомъ, „натурализмъ“ 40-хъ годовъ и отношеніе къ нему „эстетики чистаго искусства“ (1—15) и „реальную“ критику Добролюбова и „добролюбовской школы“ 60—70-хъ годовъ (46—52, 135—138, 160—162, 171—182, 245—248 и т. п.); кромѣ того при просмотрѣ отзывомъ печати о Достоевскомъ конкретно опредѣляется и положеніе многихъ отдѣльныхъ критиковъ въ общей схемѣ направленій критической мысли за время 1846—1881 г., напр. С. П. Шевырева (18—20), А. А. Григорьева (75), Е. О. Зарина (52—54, 70—74), Н. Н. Страхова (96—102, 116—117), В. П. Буренина (127—130, 138—144, 196, 201—203, 211—212, 253—259), В. Г. Авсеенко (152—156, 159—160), Вс. С. Со-

ловьева (156—159, 168—170, 200—201, 212—213), Н. К. Михайловскаго (162—165, 311—312), А. М. Скабичевскаго (188—191, 206, 213—214, 218—219), Л. Е. Оболенскаго (259—262, 317—319), В. В. Чуйко (243—245, 248, 272—274, 302—3), М. А. Протопопова (242, 312—313) и другихъ. Но особеннаго вниманія— въ области изученія вопроса о характерѣ литературныхъ направлений и критики за время 1846—1881 г.— заслуживаютъ показанія отзывовъ печати, посвященныхъ Достоевскому, о борьбѣ литературной критики противъ крайностей „натурализма“ 40-хъ годовъ, съ одной стороны, и противъ тенденціозныхъ литературныхъ формъ, установленныхъ „критической школой“ 60-хъ годовъ, — съ другой (ср. 6—12, 74—78, 84—88, 115—119, 186—187, 281—286); эти показанія отличаются большой яркостью и свѣжестью и замѣтно проливаютъ свѣтъ на исторію освобожденія нашего художественнаго творчества отъ чередовавшихся въ періодъ 40—80-хъ гг. шаблоновъ и на постепенное движеніе его въ сторону независимости литературныхъ идей и формъ.

Рисуя въ основныхъ чертахъ общественный и литературный фонъ русской жизни 40—80-хъ годовъ, критика о Достоевскомъ довольно рѣзко и детально вычерчиваетъ на этомъ фонѣ фигуру самого писателя какъ со стороны его идеологій, такъ и со стороны приемовъ его художественнаго творчества.

Основные моменты въ развитіи идеологій Достоевскаго получаютъ въ критикѣ о немъ содержательное и иногда даже глубокое истолкованіе. Въ 40-хъ годахъ критика отмѣчаетъ принадлежность Достоевскаго по его преобладающему настроенію къ русскимъ гуманистамъ-западникамъ (15—18) и даже ставить ему въ упрекъ предпочтеніе иноземной „филантропической тенденціи“ „чистому источнику“ русскаго народнаго духа (18—20). Въ началѣ 60-хъ годовъ Достоевскій сохраняетъ еще для критики интересъ представителя прогрессивнаго гуманизма (34—46, 55—67), но вмѣстѣ съ тѣмъ замѣтно обособляется и отъ радикализма эпохи (46—52, 67—70) и отъ ея крайнихъ консервативныхъ тенденцій, граничащихъ съ реакціей (52—54, 70—74). Во второй половинѣ 60-хъ годовъ это обособленіе формируется въ такъ называемую

„почвенность“ (84—85) и еще болѣе обостряетъ отношеніе къ Достоевскому передовой печати (86—91), но одновременно получаетъ довольно глубокое истолкованіе въ критикѣ не только консервативнаго, но и умѣренно-прогрессивнаго характера (96—114). Обособившись въ консервативную „почвенность“, идеологія Достоевскаго вступаетъ въ оппозиціонный фазисъ своего развитія и бросаетъ вызовъ крайнимъ проявленіямъ „западническаго прогресса“. Это случилось въ первой половинѣ 70-хъ годовъ, когда разрывъ Достоевскаго съ передовой печатью оказался настолько рѣзкимъ и откровеннымъ, что даже сочувствующая ему критика не нашла въ своемъ распоряженіи достаточно средствъ (151—159), чтобы защитить его идеологію отъ тяжкихъ, иногда пристрастныхъ и не совсѣмъ обоснованныхъ, обвиненій (132—151). Но Достоевскій не остановился только на отрицаніи „западническаго прогресса“ и на обличеніи его крайностей: въ годы „Дневника Писателя“ онъ приступилъ къ конкретному выясненію отдѣльныхъ частей своего идеала (195—218), а въ годы „Братьевъ Карамазовыхъ“ и своей Пушкинской рѣчи выразилъ его въ цѣломъ видѣ въ приложеніи къ русской современности (224—272) и къ историческимъ судьбамъ русскаго народа (293—321). Всѣ эти отдѣльные моменты въ развитіи основныхъ взглядовъ Достоевскаго обильно и ярко характеризуются современною ему критикою разныхъ направленій.

Наиболѣе значительные и свѣжіе выводы, въ сферѣ оцѣнки идеологіи Достоевскаго современною ему критикою, сводятся однако не столько къ описанію основныхъ моментовъ въ развитіи его взглядовъ и вызванной ими полемики, сколько въ установленіи тѣхъ общепріемлемыхъ, нейтральныхъ, пунктовъ въ его идеалѣ, на которыхъ сходились представители различныхъ направленій общественной мысли и которые составляютъ неоспоримо цѣнную часть идейнаго наслѣдства, оставленнаго Достоевскимъ. Эту своеобразную среднюю линію въ развитіи идеологіи Достоевскаго критика отмѣтила еще въ 40-хъ годахъ, когда въ западническомъ гуманизмѣ писателя усмотрѣла также и первые признаки будущаго служенія

его національной идеѣ въ славянофильскомъ ея освѣщеніи (29—30). Въ началѣ 60-хъ годовъ эта средняя линія выразилась въ своеобразной кристаллизаціи въ воззрѣніяхъ Достоевскаго западнческаго гуманизма въ конкретную русскую форму—гуманитарнаго анализа и освѣщенія современной писателю національной дѣйствительности (34—74). Съ развитіемъ „почвенности“ Достоевскій еще прочнѣе всталъ на среднюю дорогу синтеза западничества и славянофильства (84—85) въ смыслѣ, во-первыхъ, борьбы противъ нѣкоторыхъ трагическихъ увлеченій передового умственного движенія 60-хъ годовъ и связанной съ нимъ „шаткости нравственнаго строя“, а во-вторыхъ—въ смыслѣ творческой работы въ сторону реализаціи „драгоценныхъ, великихъ свойствъ русской души“ въ „истинно-прекрасныхъ дѣлахъ и характерахъ“ (96—104) и въ сторону прикрѣпленія „нашего умственного развитія“, выросшаго подъ иноземными вліяніями, къ національной почвѣ (112—113). Съ обостреніемъ своего разрыва съ „западнческимъ прогрессомъ“ писатель не остановился только на отрицаніи „нигилистическихъ“ надстроекъ въ русской жизни съ точки зрѣнія своихъ субъективныхъ взглядовъ, но раскрылъ также и причины ненормальнаго развитія русской интеллигенціи и средства къ ея оздоровленію, что признано было и передовой печатью (160—162, 167—185); причины и средства раскрывались при этомъ путемъ признанія „идеи разумной и плодотворной“ (162), хотя бы она была и западнаго происхожденія, и въ то же время путемъ согласія съ началами „душевнаго благообразія“ (184—185), хотя бы ихъ приходилось искать не среди близкой къ западной культурѣ интеллигенціи, а исключительно въ средѣ простого народа. Приступивъ затѣмъ къ выясненію своего идеала въ частяхъ и въ цѣломъ видѣ, Достоевскій опять-таки занялъ настолько своеобразное—и до извѣстной степени примиряющее, среднее—положеніе въ своихъ сужденіяхъ о русской интеллигенціи, русскомъ народѣ, религіи и нравственности, нашемъ прошломъ, настоящемъ и будущемъ, что критика разныхъ лагерей признала приемлемымъ и даже цѣннымъ многое изъ области его народолобія, отношенія къ



просвѣщенію, націонализму, женскому вопросу (210—218), согласилась съ высотой и человѣчностью его общественно-политическихъ воззрѣній (249—272) и даже нашла возможнымъ выдѣлить „зерна истины“ не только въ его взглядахъ на интеллигентнаго „скитальца“ и на русскій народъ, но и въ его пророчествѣ о будущемъ русскомъ „всечеловѣкъ“ (313—320).

Цѣлый рядъ цѣнныхъ разъясненій дала посвященная Достоевскому критика 1846—1881 гг. также и по вопросу о характерѣ самыхъ приѣмовъ его художественнаго творчества. Исходнымъ моментомъ въ развитіи литературной манеры Достоевскаго является, по истолкованію современной ему критики, зависимость его отъ т. н. „натурализма“ 40-хъ годовъ, — въ частности отъ художественныхъ формъ творчества Гоголя (1—15, 22—24). Но уже въ началѣ 60-хъ годовъ Достоевскій замѣтно отступаетъ отъ типичныхъ приѣмовъ „натуральной школы“ и ея послѣдователей, въ особенности же отъ преобладавшаго въ ней копированія окружающей житейской пошлости, и усваиваетъ своей, первоначально „натуральной“, манерѣ творчества характеръ своеобразнаго соединенія реалистическаго изображенія жизни съ идеалистическимъ ея пониманіемъ (75—82). Дальнѣйшее обостреніе разрыва Достоевскаго съ „натуральной школой“ выразилось въ томъ, что онъ вмѣсто типоваго изображенія внѣшней дѣйствительности выдвинулъ на первый планъ изученіе духовной природы человека не только въ ея отрицательныхъ, но и въ положительныхъ проявленіяхъ и, такимъ образомъ, отъ натурализма внѣшняго бытописанія сдѣлалъ переходъ къ натурализму психологическихъ изысканій (115—130). Это увлеченіе психологическими изысканіями доходитъ затѣмъ, въ годы романовъ „Бѣсы“ и „Подростокъ“, даже до нѣкотораго равнодушія Достоевскаго къ самостоятельной работѣ надъ внѣшней фабулой романовъ, выразившагося въ усвоеніи имъ обычныхъ литературныхъ шаблоновъ, соотвѣтствовавшихъ его тенденціозному отношенію въ эти годы къ „западническому прогрессу“ (185—187); но на фонѣ тенденціознаго литературнаго шаблона его психологическій анализъ тѣмъ не менѣе продолжаетъ развиваться

и вырастает до степени проникновенной психологической правды (187—194). Сосредоточившись окончательно на анализе психики индивидуальной и массовой, а также и на проведении в общественное сознание своих величавых идей, Достоевский освободился в последние годы своей литературной деятельности не только от традиций высшего натуралистического бытописания, но и от литературных шаблонов вообще, что и выразилось сначала в „Дневникъ Писателя“ в видѣ простых по формѣ художественныхъ миниатюръ (219—222), а потомъ и в романѣ „Братья Карамазовы“ в видѣ болѣе широкой независимости его литературной манеры отъ „деспотической требовательности“ критики и вообще отъ „плѣна литературной мысли“ (281—286).

Къ выясненію, въ частности, этой своеобразной независимости въ литературной манерѣ Достоевскаго критика отнеслась съ особеннымъ вниманіемъ. Уже въ 40-хъ годахъ подмѣчена была въ общихъ чертахъ свойственная специально Достоевскому любовь къ психологическому анализу съ преобладающимъ стремленіемъ анализировать аномальныя душевныя состоянія (24—26). Въ началѣ 60-хъ годовъ Достоевскій, по наблюденіямъ критики, расширилъ область приложенія этого своеобразнаго психологическаго анализа, направивъ свои изысканія не только на темную стихію человѣческой психики, которою она соприкасается съ пошлостью жизни, но и на ея свѣтлую стихію, которая содержитъ въ себѣ матеріалъ и творческую силу для созданія высокаго жизненнаго идеала (77—78, 82). Во второй половинѣ 60-хъ годовъ въ сложной и своеобразной манерѣ Достоевскаго производить психическій анализъ, — манерѣ, раскрывающей обѣ стихіи человѣчности — и „внутренніе недуги“ и „искру Божію“, — отмѣченъ былъ еще одинъ признакъ дальнѣйшаго ея развитія, — именно развѣтвленіе психологическаго анализа Достоевскаго на два вида: анализъ психики общественной и анализъ психики индивидуальной (118—127). Въ первой половинѣ 70-хъ годовъ сдѣланы были новыя попытки раскрыть точнѣе самый процессъ постепенно развивающагося психологическаго анализа Достоевскаго, и въ результатѣ

этихъ попытокъ о Достоевскомъ стало складываться представленіе, какъ о мастерѣ слова, детально работающемъ надъ деталями человѣческой психики въ цѣляхъ раскрытія ея сокровенной сущности и освѣщенія ея свѣтомъ внутренней правды самого писателя (191—194). Во второй половинѣ 70-хъ годовъ, по поводу художественныхъ миниатюръ „Дневника Писателя“ и романа „Братья Карамазовы“, критика установила, наконецъ, и то характерное свойство литературной манеры Достоевскаго, въ силу котораго онъ, вопреки банальнымъ приѣмамъ современныхъ ему беллетристовъ, гонявшихся за занимательною фабулою романа и за законченнымъ „драматическимъ дѣйствіемъ“ въ немъ, склоненъ, главнымъ образомъ, къ художественной обработкѣ небольшихъ рассказовъ или отдѣльных, почти законченныхъ и независимыхъ по содержанію, частей большого романа, въ предѣлахъ которыхъ имъ глубоко и тщательно анализируется по преимуществу одна изъ его излюбленныхъ идей или одна изъ остановившихъ его вниманіе своеобразныхъ чертъ человѣческой психики.

Такимъ образомъ, въ результатѣ своихъ наблюденій надъ литературной манерой Достоевскаго въ связи съ его идеологіей, современная ему критика пришла, можно сказать, къ слѣдующему знаменательному выводу: въ художественномъ творествѣ Достоевскаго должны быть изучаемы не столько цѣлыя художественныя творенія, длительныя и развитыя драматическія дѣйствія, широкія картины жизни, сложные характеры и образы, сколько отдѣльные художественно-психологическіе этюды, эскизы, эпизоды, главы, миниатюры, разбросанные по его романамъ и другимъ произведеніямъ и заключающіе въ себѣ детальную работу художника-психолога надъ той или другой изъ его величавыхъ идей, надъ тѣмъ или другимъ изъ попавшихъ въ поле его наблюденій явленіемъ душевной жизни массовой или индивидуальной; совокупность такихъ отдѣльныхъ изученій, посвященныхъ небольшимъ самостоятельнымъ частямъ творческой работы писателя, дастъ возможность историку литературы построить въ цѣломъ видѣ какъ собственную идеологію писателя, такъ и тѣ сокровенныя глубины человѣческой психики, которыя онъ пытался озарить свѣтомъ своего идеала.

Такой, повидимому, завѣтъ оставила оцѣнивавшая Достоевскаго современная ему печать критикѣ, приступившей къ оцѣнкѣ писателя послѣ его смерти. Усвоила ли этотъ завѣтъ послѣдующая, посмертная, критика о Достоевскомъ и сдѣлала ли что-нибудь въ этомъ направленіи, покажетъ дальнѣйшій обзоръ критической литературы, посвященной Достоевскому съ 1881 года и до нашихъ дней.



## Указатель именъ.

Авсѣенко В. Г. (А. О.) 131, 132, 152,  
155, 156, 159, 160, 167, 191, 192,  
194, 213, 282, 323.  
Аксаковъ Н. О. 289, 320.  
Аксаковъ С. Т. 232.  
Алексѣевъ Л. 223, 238, 241, 249, 250,  
252, 286, 287, 313.  
Аппенковъ П. В. 26, 28, 322.  
Антоновичъ М. А. 85, 223, 245, 247, 248,  
249, 258, 259, 260, 261, 262, 322.  
Анфантенъ Барталеми Просперъ 314.  
Аскоченскій В. П. 197, 248, 258, 260, 262.  
Ахшарумовъ П. Д. 83, 110, 111, 112, 113.  
Барковъ Н. С. 90.  
Баталниъ П. А. (Осы) 290.  
Бёрне Людвигъ 203, 253.  
Боборыкинъ П. Д. 195, 198, 199, 219, 282.  
Боткинъ В. П. 129.  
Бурачекъ С. А. 248, 258, 260, 262.  
Буренинъ В. П. (Z) 84, 128, 129, 130,  
131, 132, 138, 140, 142, 144, 145,  
187, 191, 193, 195, 196, 201, 203,  
212, 218, 223, 253, 254, 255, 257,  
258, 259, 262, 282, 320, 322, 323.  
Бутковъ Я. П. 6.  
Былинкинъ Е. 217, 218.  
Вѣлинскій В. Г. 1, 2, 13, 15, 16, 17, 25,  
26, 28, 31, 35, 78, 87, 129, 222, 322.  
Вагнеръ Н. П. 231.  
Василевскій П. О. (Буква) 292.  
Введенскій Арс. П. 247, 287, 304.  
Венгеровъ С. А. П.  
Виргилій 60.  
Волынский А. Л. 110, 117.

Воропцовъ В. П. (В. В.) 306, 307.  
Гартманъ Эдуардъ 228.  
Гегель 305.  
Герценъ А. П. 79.  
Герцъ-Виноградскій С. Т. (С. Г.—В.) 148.  
Гете 82.  
Гоголь П. В. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13,  
17, 22, 23, 28, 32, 34, 35, 75, 76,  
78, 117, 283, 294, 303.  
Гончаровъ Н. А. 132, 232, 233.  
Гофманъ Теод. Амад. 27, 28.  
Градовскій А. Д. 287, 293, 295, 296,  
297, 298, 301, 302, 303, 304, 305,  
306, 307, 308, 309, 311, 312, 318,  
320.  
Градовскій Г. К. (Грель) 287, 301, 302,  
304.  
Гребцовъ Н. 132, 171.  
Григорьевъ А. А. 34, 75, 115, 135, 322, 323.  
Губеръ Э. Н. 9, 30.  
Гюго В. 194, 206.  
Диккенсъ 29, 127, 194, 220, 221.  
Добролюбовъ П. А. (П—бовъ) 33, 46, 47, 48,  
49, 50, 51, 52, 53, 81, 258, 322, 323.  
Достоевская А. Г. П. 22, 293.  
Достоевскій М. М. 24, 25, 85, 89.  
Дружининъ А. В. 29, 322.  
Елисѣевъ Г. З. 259.  
Ефремъ Сиринъ 248.  
Жорикъ-Зандъ 28, 29, 205, 216.  
Заринъ Е. О. (З—ль) 33, 52, 53, 54, 70,  
71, 73, 74, 323.  
Зола Эмиль 216, 221, 275.  
Иоаниъ Мѣствичникъ 248.

- Кавелинъ К. Д. 287, 308, 309, 310, 311.  
 Кантъ 305.  
 Капустинъ С. А. 83, 102, 104, 109, 110, 121.  
 Катковъ М. Н. 134.  
 Квитка-Осповьяненко Г. О. 4.  
 Кеплеръ 96.  
 Кипе Эдгаръ 207.  
 Кирилловъ А. 224, 270.  
 Ключниковъ В. П. 91, 133, 141, 162.  
 Кокъ Поль де- 90.  
 Коршъ В. О. (Отшельникъ) 223, 242, 243.  
 Кошелевъ А. И. 287, 310.  
 Кояловичъ А. 223, 231, 234, 235, 263.  
 Курьеръ (Courrière С.) 274.  
 Кушелевъ - Везбородко Г. А. гр. 33, 34, 52, 81.  
 Кушевскій Н. А. (Новый критикъ) 182, 195, 199.  
 Ларошъ Г. А. (L) 195, 205.  
 Леонтьевъ К. Н. 289.  
 Лермонтовъ М. Ю. 3, 32, 211.  
 Ломоносовъ М. В. 306.  
 Лохвицкій А. В. 83, 103, 104, 120.  
 Лукіашъ 148.  
 Люисъ Джоржъ-Генри 90, 98.  
 Лъсковъ Н. С. (Стебницкій) 131, 133, 134, 135, 140, 141, 144, 162.  
 Магницкій М. Л. 306.  
 Майковъ А. Н. 89, 161.  
 Майковъ В. Н. 5, 13, 24, 322.  
 Маркевичъ В. М. 282.  
 Марковъ В. В. 172.  
 Марковъ Е. Л. 223, 236, 237, 257, 263, 282, 285.  
 Марлинскій (А. А. Бестружевъ) 28.  
 Мережковский Д. С. 110.  
 Местръ Жозефъ де- 242.  
 Мещерскій В. П. кп. 135, 197, 211, 258.  
 Миллеръ О. О. 152.  
 Милоковъ А. П. 33, 34, 60, 61, 62, 64, 82.  
 Минаевъ Д. Д. (L'homme qui rit) 131, 135.  
 Михайловскій Н. К. (Н. М., Профанъ) 131, 132, 138, 162, 163, 164, 167, 186, 214, 249, 287, 311, 312, 322, 323.  
 Михневичъ В. О. (Коломенскій Кандидъ) 206, 287, 290, 291, 303, 304.  
 Мулловъ П. А. 33, 58.  
 Налимовъ А. 316.  
 Некрасовъ Н. А. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 16, 20, 23, 24, 35, 36, 203, 211, 216, 222.  
 Никитенко А. В. 9, 10, 20, 322.  
 Ниль Сорскій 248.  
 Ньютонъ 96.  
 Оболенскій Л. Е. 223, 260, 261, 262, 287, 317, 318, 319, 324.  
 Островскій А. Н. 75.  
 Павловъ Ил. П. 224, 263, 267.  
 Папютинъ Л. К. (Ниль Адмирари) 195, 196, 197.  
 Паскаль 133.  
 Пашковъ В. А. 248, 260.  
 Петерсенъ В. К. (Онискъ) 223, 233, 252, 253.  
 Петровъ К. 102.  
 Печкинъ В. 217.  
 Писаревъ Д. Н. 33, 63, 64, 83, 91, 96, 100, 111, 322.  
 Писемскій А. О. 79, 133, 155, 156.  
 Платонъ 19.  
 Погодинъ М. П. 88.  
 Полевой П. Н. 195, 203, 204.  
 Потѣхинъ А. А. 221.  
 Протопоповъ М. А. (А. Горшковъ) 223, 242, 285, 287, 312, 313, 322, 324.  
 Пушкинъ А. С. 3, 211, 287, 288, 289, 290, 291, 293, 294, 299, 314, 320, 321.  
 Пятковский А. П. 33, 34, 37, 78, 79, 117.  
 Редстокъ Гренвилъ-Вальдигревъ, лордъ 248, 260.  
 Руничъ Д. П. 306.  
 Сантовъ В. И. П.  
 Сепъ-Симонъ 144.  
 Синовскій В. Д. 216.  
 Скабичевскій А. М. (Заурядный читатель) 132, 183, 188, 191, 193, 194, 195, 199, 203, 206, 211, 213, 214, 216, 218, 219, 281, 282, 322, 324.  
 Соловьевъ Вс. С. (В. С., Sine ira, Вс. С-въ) 131, 132, 156, 159, 167, 168, 170, 191, 195, 200, 201, 212, 213, 216, 323.

Сологубъ В. А. гр. 89.

Спасовичъ В. Д. 197.

Стечкинъ Н. 290.

Страховъ Н. Н. (Косица) 34, 83, 85, 96,  
98, 100, 102, 104, 107, 116, 117,  
118, 132, 135, 289, 322, 323.

Суворинъ А. С. 133.

Сычевскій С. И. 223, 225, 263.

Сю Евг. 10.

Ткачевъ П. Н. (П. Н., П. Никитинъ, Все  
тотъ же) 131, 132, 135, 137, 145,  
160, 162, 172, 179, 187, 195, 207,  
219, 322.

Толстой Л. Н. гр. 132, 211, 232.

Тургеневъ И. С. 5, 28, 39, 75, 79, 89,  
90, 115, 132, 140, 149, 206, 216,  
258, 259, 260, 289, 291.

Туръ Е. (графиня Е. В. Салиасъ-де-Турне-  
миръ) 33, 34, 40, 42, 82.

Тхоржевскіе И. Ф. и М. (= Иванъ-да-  
Марья?) 201, 214.

Тьеръ Луи-Адольфъ 207.

Успенскій Г. И. 287, 298, 299, 301,  
302, 304, 305, 311.

Фетъ (Шеншинъ) А. А. 89, 133.

Фурье Шарль 144.

Хитровъ А. 33, 34, 43, 46, 80.

Хрущовъ И. П. 292.

Чебышевъ - Дмитріевъ А. П. (= Эксъ?)  
167.

Чернышевскій Н. Г. 84, 259.

Чуйко В. В. (В. Ч., Дилетантъ) 223, 243,  
245, 248, 249, 272, 273, 274, 287,  
302, 303, 324.

Шевыревъ С. П. 1, 3, 4, 18, 19, 20, 23, 30,  
322, 323.

Шекспиръ 87, 276.

Шестовъ Л. 110.

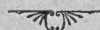
Шишковъ А. С. 306.

Шопенгауеръ Артуръ 228.

Щедринъ (М. Е. Салтыковъ) 207.

Эвальдъ А. В. (А. Лёнивецъ) 33, 68, 70.

Ярошъ К. 223, 243, 287, 313.





30 = 00

Въ книжныхъ магазинахъ „Новаго Времени“, Т—ва  
М. О. Вольфъ, Н. П. Карбасникова и у автора  
(Варшава, Университетъ).



30

80K



